



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все примечания, комментарии и другие записи, существующие в оригинальном издании, как наименование о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

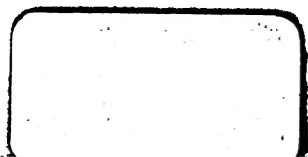
We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

3 3433 06702935 9



XODM

* George Keenan

Григорій Мачтетъ.

СИЛУЭТЫ

(НОВЫЕ ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ).

I. Онъ и мы.—II. Его часъ насталь!—
III. Безгласный.—IV. Именемъ закона!—
V. Человѣкъ съ планомъ.—VI. Конецъ
Анчарова.—VII. Блудный сынъ.

ИЗДАНИЕ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА

„РУССКАЯ МЫСЛЬ“.

МОСКВА.

Типо-лит. И. Н. Кушнерова и К^о, Пименовская ул., д. Кушнеровой.

1888.

*To Mr. George Kennan
friendly G. G. Skatshelky*
Григорій Мачтетъ.

Ваше кн. издательство. В. Г. Мачтетъ.

1... Угасивъ

СИЛУЭТЫ

(НОВЫЕ ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ).

Томъ I

I. Онъ и мы. — II. Его часъ насталъ! —
III. Безгласный. — IV. Именемъ закона! —
V. Человѣкъ съ планомъ. — VI. Конечъ
Анчарова. — VII. Блудный сынъ.

ИЗДАНИЕ РЕДАКЦІИ ЖУРНАЛА

„РУССКАЯ МЫСЛЬ“.

— 38 —

МОСКВА.

• Типо-лит. И. Н. Кушнерова и Ко, Пименовская ул., д. Кушнеровой.

1888.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

918174

ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
R 1940 L

ОНЪ И МЫ.

(СИЛУЭТЫ ИЗЪ МІРА СОВРЕМЕННЫХЪ ТИПОВЪ).

ОНЪ И МЫ.

(Силуэты изъ міра современныхъ типовъ).

— Баба!

Иначе мы его никогда и не звали. Справляться объ его имени, отчествѣ и фамиліи никому, я думаю, ни разу не приходило въ голову. Можно было думать, что ихъ у него совсѣмъ и не было.

— Баба!—такъ и окрестила его школа.

Трудно, право, рѣшить, въ чемъ собственно коренилась причина этого,—правду сказать, не совсѣмъ лестнаго,—эпитета, котораго обладатель его, можетъ быть, и не заслуживалъ вовсе, гдѣ былъ его корень? Онъ не былъ плаксою, не былъ и трусомъ. Онъ великолѣпно парировалъ удары и квасилъ носы не хуже любого изъ насъ въ часы рекреационныхъ досуговъ. Онъ умѣлъ отлично метать мячикомъ, а блеялъ возломъ такъ великолѣпно, что какъ только его голосъ сливался съ общимъ хоромъ всего класса, учитель чистописанія затыкалъ уши и бѣжалъ за инспекторомъ. Вообще онъ былъ отличный товарищъ.

И тѣмъ не менѣе, онъ остался „бабой“. Его сѣрые глаза, сѣрое, длинное лицо, сѣрые волосы, длинная сѣрая фигурка, все длинное и сѣрое, съ виду апатичное и вялое, безохотное, индифферентное, — все это вмѣстѣ точно намекало на бабу. Къ тому же, онъ никогда не протестовалъ, какъ и не высывался съ своимъ мнѣніемъ въ случаяхъ товарищескихъ рѣшеній, а шелъ за классомъ до того, что имъ помыкали. Когда нужны были руки, чтобы безропотно выполнить придуманную обща шалость, на которую не многіе бы рѣшились, всегда какъ-то случалось такъ, что идти на нее приходилось бабѣ. И баба шелъ и дѣлалъ, не протестуя, не колеблясь, не труся и даже не плача, когда „подвигъ“ натывался на „возмездіе“.

У насъ уже былъ „затычка“, мы сдѣлали его „бабой“.

Впрочемъ, была и еще причина, о которой умолчать нельзя, такъ какъ она-то и служила основаніемъ того отношенія, не то снисходительнаго, не то свысока, которое сложилось къ нему у всѣхъ и такъ рельефно вылилось въ эпитетъ „бабы“. Онъ былъ какъ-то бабьи привязчивъ и отзывчивъ, бабьи жалостливъ и наивенъ. Его можно было надуть всегда, и самымъ безцеремоннымъ образомъ; къ тому же, онъ совсѣмъ не умѣлъ мстить и таить злобу, такъ что злѣйшій врагъ могъ всегда рассчитывать у него на полное прощеніе. Вынимая въ рекреационныя минуты изъ кармана сочную, длинную колбасу, онъ всегда ѣлъ крохи ея, такъ какъ никогда не умѣлъ отстоять ее отъ просившихъ „кусочка“.

— „Баба“, голубчикъ, дай!...

Ну, конечно, онъ не могъ устоять...

Любили ли его? Да, если хотите; но я не хотѣлъ бы такой любви. Это была, въ сущности, не любовь, а какая-то жалость, смѣшанная съ ироніей. Его жалѣли, насмѣхаясь, и, жалѣя, конечно, обижали. Вѣдь, онъ все могъ простить. Онъ совсѣмъ не отстаивалъ своего „я“, своего добра, своихъ правъ, и всѣмъ могъ поступиться. Можно было сомнѣваться даже, способенъ ли онъ вообще чувствовать боль и обиду, какъ всѣ... Однимъ словомъ, онъ былъ „баба“.

И его обижали. Обижали не по злобѣ, не съ тѣмъ, чтобы непременно обидѣть, нанести зло, конечно, а просто... такъ, отъ легкости, съ какою обыкновенно относятся люди и дѣти другъ къ другу,—потому что все это сходило безнаказанно, потому что это вошло какъ-то въ привычку, потому, наконецъ, потому... что это было... смѣшно, что ли. Да, смѣшно,—это забавляло, служило игрушкой, развлекало, а люди, вѣдь, часто не прочь дѣлать себѣ изъ другихъ забаву и развлеченіе. Къ тому же, стоило только затѣмъ попросить у него прощенія, поцѣловать его, похлопать,—вообще, заговорить дружески,—и всякій слѣдъ обиды исчезалъ, ибо „баба“ моментально превращался въ мякоть. Такъ дѣло и шло...

А онъ все прощалъ и прощалъ и, поднадутый кѣмъ-нибудь до смѣшнаго, вновь глупо вѣрился надувателю. Такихъ типовъ не уважаетъ школа,—смѣлый, задорный дѣтскій или, вѣрнѣе, школьный эгоизмъ, способный увлечься только силой, смѣлостью и инициативой. Прощать,

не давать сдачи казалось несомненнымъ бабствомъ, а бабства школа совсемъ не терпитъ.

Не будь „баба“ хорошій товарищъ, его сжили бы со свѣта. Но и такъ онъ постоянно платился за свою наивность, довѣрчивость и положительное неумѣнье отстаивать собственнымъ кулакомъ свое право на признаніе за нимъ его „я“.

Разъ, когда у него еще не было имени, кучка сорванцовъ-товарищей, наскучивъ болтать ногами и всовывать бумажные хвосты мухамъ въ часы досуга, вздумала учить его „счету“. Ему влѣпили двадцать горячихъ „задачъ“, но онъ, блѣдный, съ искрающимися глазами, съ сжатыми кулаками, простилъ все, когда сорванцы, убѣгая отъ его здороваго кулака, закричали ему:

— Прости, ну, прости! Голубчикъ!

Руки его безсильно повисли, поблѣднѣвшія губы задрожали, изъ глазъ показались слезы и онъ утѣлся плача на парту.

— Милый! Ну, да уважи же, кто?—любовно допрашивалъ его „ехида“, нашъ инспекторъ, предвѣщая, конечно, массу сладостныхъ возмездій, какъ только „вышпіонишь“ происшествіе,—ну же!

Но тотъ только хныкалъ и хныкалъ.

— Ну же?!

Тотъ мычалъ.

— У-у-у, баба!

Классъ разразился хохотомъ; настоящее слово было найдено! De jure онъ остался равенъ всѣмъ, de facto онъ сталъ бабой.

Его губы, казалось, всегда свѣтились доброю, ласковою улыбкой, подслѣповатые сѣрые глаза мигали, только мигали. О, эти глаза! Они смѣшили насъ, точно надѣляли насъ смѣлостью творить ему всякія пакости въ полной увѣренности на безнаказанность. Узкіе, съ красными голыми вѣками, какъ у кролика, безбровные, вѣчно мигавшіе, они свѣтились такимъ добродушіемъ, такою безграничною наивною, что невольно какъ-то „подмывали“, подзадоривали. Глумленіе казалось дѣломъ настолько естественнымъ, что мы прощали его даже злѣйшему врагу—„ехидѣ“, разражаясь всегда громкимъ хохотомъ на его совѣты „бабѣ“ „припилиить свои вѣки“. Даже учитель нѣмецкаго языка, которому мы каждый классъ втыкали въ стулъ булаву, рисовали на доскѣ мѣломъ свинью и подписывали: Францъ Антоновичъ, котораго мы не ставили и въ грошъ, не слушали, не боялись, презирали,—даже онъ, трепетавшій насъ, курносыхъ сорванцовъ, какъ огня,—безнаказанно, при общемъ хохотѣ, глумился надъ „бабой“.

— Каспадинъ „папа“!—говорилъ онъ, какъ-то тупо улыбаясь и поворачивая къ классу съ подмигиваньемъ, рассчитаннымъ на поддержку, свои „нѣмецкія бѣльмы“,—каспадинъ „папа“, што ви всо микаете, ничего не внимаете, ваше дѣло не знаете?

„Баба“ усиленно мигалъ въ отвѣтъ и краснѣлъ, какъ піонъ, а мы разражались хохотомъ. Никому и въ голову не приходило обидѣться и вступить за „бабу“.

Но мы его не презирали,—нѣтъ. Онъ былъ намъ дорогъ по-своему, можетъ быть, въ глубинѣ души даже и

правился. Такая, повидимому, аномалія, какъ то, что мы безнаказанно позволяли глумиться „врагамъ“ надъ товарищемъ, объясняется очень просто. Въ этомъ глумленіи мы прозрѣвали нѣкоторое признаніе нашего авторитета, нѣкоторое заигрыванье съ нами, что, понятно, пріятно щекотало наши души. Но „бабу“ мы, все-таки, любили, можетъ быть, *по-своему*,—это особая статья,—но, все-таки, любили. Насъ что-то влекло къ нему, тянуло, привязывало, несмотря на все, но что именно, мы не могли бы дать себѣ отчета. Бывали случаи, когда мы даже гордились имъ. Я думаю, тутъ были двѣ причины: во-первыхъ, онъ былъ отличный товарищъ; во-вторыхъ... во-вторыхъ, бывали моменты, когда онъ становился не „бабой“.

Странное дѣло! Когда ему приходилось защищать или отстаивать другихъ, что-нибудь близкое, дорогое, его длинная, сѣрая фигура, полная съ виду апатіи, неуклюжая, смѣшная и добродушная, преображалась моментально. Онъ становился вдругъ строенъ и ловокъ. Валия, длинные руки энергично сжимались въ кулаки; вѣчно улыбавшіяся губы сурово сдвигались, блѣднѣли и дрожали гнѣвомъ; красные, вѣчно мигавшіе глаза не мигали. Нѣтъ, они не мигали, — они вдругъ загорались какимъ-то холоднымъ, неподвижнымъ, стальнымъ блескомъ!

Его первая любовь были мы, его товарищи-сверстники, и его хромоногій голубъ. За насъ онъ всегда готовъ былъ вынести безропотно всѣ „возмездія“, начиная съ лишенія обѣда до „ложись, каналья!“ включительно; за своего голубя онъ способенъ былъ подраться съ нами.

Какъ и гдѣ досталъ онъ его себѣ, осталось тайной, но онъ привязался къ нему, какъ старая дѣва къ москѣ. Онъ кралъ для него въ кухнѣ хлѣбъ, а карманы его были вѣчно набиты горохомъ. Не разъ разсыпался этотъ горохъ въ классѣ, вызывая неудержимый хохотъ, за которымъ, конечно, „бабу“ ждало „возмездіе“, но онъ стоически выдерживалъ все, стоически шелъ въ карцеръ, стараясь лишь о томъ, чтобы подхватить по пути какъ можно больше разсыпанныхъ горошинъ. Въ часы отдыха, когда всѣ играли въ мячъ или чехарду, онъ задиралъ къ крышѣ свои красные глаза и кричалъ неизмѣнное „улю-лю!“ Боже, какъ смѣшило насъ это „улю-лю“, какъ весело хохотали мы надъ нимъ, надъ „бабой“, надъ его страстью, надъ его неуклюжими ласками слетавшему къ нему глупому, хромоногому голубю! Понятно, эта страсть, какъ всякая слабость, стала предметомъ нашей общей травли и насмѣшекъ, подчасъ остроумныхъ, но всегда, надо признаться, довольно злыхъ. То, что „баба“ относился къ нимъ обычно добродушно, не переставая улыбаться своею длинною улыбкой, только дразнило насъ, только подливало въ огонь масла. Въ концѣ - концовъ, разъ какъ-то, совсѣмъ невзначай, мы пригрозили въ унисонъ, что свернемъ его голубю шею.

Мы видѣли, что „баба“ поблѣднѣлъ, и этого было достаточно, чтобы подзадорить насъ на все. Мы бросились къ нему и, сначала шутя, а потомъ все больше увлекаясь, въ серьезъ стали нападать на его сокровище. Голубь сидѣлъ у него на лѣвой рукѣ и „баба“ прижалъ его къ груди, весь блѣдный, взволнованный, съ широко

вытаращенными глазами. Правую рукой онъ парировалъ нашу атаку и, не обращая никакого вниманія на сыпавшіеся удары, весьма удачно кvasилъ наши носы направо и налево. Такое неожиданное, необычное явленіе само по себѣ привело насъ въ бѣшенство. Мы набросились на него, уже не помня себя.

Моментъ, и голубъ былъ бы нашъ; но тутъ „баба“ весь преобразился. Онъ вытянулся, выпрямился, сталъ ловокъ, строенъ, совсѣмъ неузнаваемъ. Ловкимъ прыжкомъ онъ выскочилъ съ голубемъ у груди изъ нашей кучи и такъ же быстро поднялъ своею дюжею, необычайно сильною рукой громадный камень. Онъ поднялъ его надъ головой и, какъ статуя, какъ изваяніе, спокойно, неподвижно ожидалъ атаки.

Я былъ уже возлѣ него и моя рука почти касалась голубя. Камень меня не смущалъ,—въ рукахъ „бабы“ онъ казался не страшнымъ. Я забылъ о немъ даже; я, какъ и всѣ, былъ увлеченъ этою страстною охотой. Еще моментъ, и я бы истерзалъ, измѣялъ несчастную птицу. Но тутъ я, на счастье, поднялъ глаза. „Баба“ не мигалъ, онъ смотрѣлъ на меня какимъ-то тупымъ, неподвижнымъ, стальнымъ взглядомъ, холоднымъ, какъ ледъ.

Мы отступили, съѣжились всѣ,—всѣ до одного. Мы видѣли всѣ этотъ страшный, неподвижный взглядъ. Я дрожалъ, я понималъ, что еще моментъ, одинъ только моментъ, и камень спокойно размозжилъ бы мнѣ черепъ.

Мы продолжали, понятно, звать его „бабой“, но его голубя мы оставили въ покоѣ.

Я помню другой случай, смѣшной, комичный, если

хотите, но, во всякомъ случаѣ, довольно рельефно рисующій „бабу“. Мы были уже въ старшихъ классахъ, уже читали, спорили и дѣлились на кружки,—понятно, враждовавшіе другъ съ другомъ. „Идеалисты“ враждовали съ „реалистами“, хотя сливались съ ними въ общей ненависти къ „зубриламъ“. Взаимныя пикировки на почвѣ юношескаго задора и нетерпимости, насмѣшки, взаимные счеты и прочее, и прочее, хорошо извѣстное каждому, помнящему моментъ перваго духовнаго пробужденія, пестрили нашу школьную, замкнутую жизнь, усиливая взаимное раздраженіе. Оно росло и каждый день выливалось въ какомъ-нибудь остромъ столеновеніи, смѣшномъ, но всегда честномъ и искреннемъ.

„Баба“ былъ, конечно, „идеалистъ“. Онъ очень любилъ стихи, цвѣты и никакъ не могъ примириться съ мыслью о необходимости постоянного потрошенія лягушекъ. Но и тутъ, какъ прежде, онъ былъ всегда внѣ всякихъ столеновеній, ссоръ и счетовъ, прощая „реалистамъ“ или, вѣрнѣе, встрѣчая свою длинную, добрую улыбкой ихъ насмѣшки, оскорбленія и открытое глумленіе, приводившее въ ярость его единомышленниковъ. А эта ярость все росла и росла и ждала, кажется, только предлога, чтобы довести дѣло до генеральнаго сраженія.

Предлогъ, конечно, нашелся; когда его ищутъ, онъ всегда не за горами... Фреда, голубоглазая, хорошенькая Фреда, наша звѣзда, наше солнце, нашъ идеалъ,—Фреда, для которой даже „реалисты“ подбирали приемы, а „идеалисты“ слагали аршинныя оды,—эта Фреда въ одно свѣтлое, радостное утро рвала сирень для

букета своему „папѣ“, учителю французскаго языка. Понятно, къ ней на помощь устремились, какъ въ фокусу, всѣ лучи идеализма и реализма и, пытая и сопя отъ восторга, толкая другъ друга, на-перебой ципали сирень, конечно, не забывая „принциповъ“. И тѣ, и другіе, понятно, наперерывъ старались освѣтить ея хорошенькую, будрявую головку *своимъ* „свѣтомъ“. Но Фреда, жестокая Фреда только смѣялась, только заливалась своимъ серебрянымъ смѣхомъ, какъ строгій математическій перпендикуляръ, не склоняясь ни въ одну сторону. Очевидно, нужно было убѣжденіе посильнѣе, какое-нибудь неопровержимое доказательство, безусловно неопровержимое. И оно нашлось,—оно, конечно, нашлось. Его нашелъ и выпалилъ самый убѣжденный „реалистъ“.

— Идеалисты ослы!

Нить порвалась. Какъ?! ослими предъ Фредой?! Предъ Фредой? Нѣтъ! Это была капля, переполнившая чашу!... Дуэль!!

Да, дуэль,—дуэль, о которой мы читали въ романахъ, которую смѣшивали съ захватывавшими духъ описаніями рыцарскихъ турнировъ Вальтеръ-Скота! Но на чемъ? О, на чемъ угодно; развѣ могъ имѣть значеніе такой пустой вопросъ предъ такимъ страшнымъ, такимъ невыразимымъ оскорбленіемъ?! Пистолеты? Но одинъ, всего одинъ старый, заржавленный кремневый пистолетъ сторожа Потапа, которымъ мы за пятакъ потихоньку отъ „ехиды“ пугали воробьевъ, очевидно, не годился. Дуэль съ однимъ пистолетомъ—абсурдъ, да, къ тому же, пистолеты дѣлаютъ много шума. Сабель не было, о шпа-

гахъ мы не имѣли даже понятія. Что же? Циркуль! Да, острыя ножи стального циркуля, крѣпко привязанныя бичевками къ класснымъ палкамъ для географическихъ картъ, должны были служить оружіемъ, способнымъ исполнѣть такое страшное оскорбленіе.

Съ одной стороны стоялъ убѣжденный реалистъ, здоровый, сильный, ловкій, съ другой... съ другой — пока никого еще не было. Идеалисты кипятились, кричали: „дуэль, дуэль!“ — всѣ вмѣстѣ, но никто самъ не вызывался къ барьеру. Одинъ „баба“ не кипятился, не волновался, не кричалъ: „дуэль!“ — а только мигалъ и улыбался своею длинною, все прощавшею улыбкой, но на него смотрѣли въ упоръ всѣ, всѣ до одного. Всѣ кипятились, кричали, клялись, что дуэль необходима, что это чортъ знаетъ что, если ея не будетъ, что это будетъ поворотъ для *всѣхъ*, что сама Фреда, наконецъ... — и смотрѣли на него. Онъ чувствовалъ этотъ взглядъ, онъ видѣлъ его, онъ не могъ не видѣть, и краснѣлъ, все краснѣлъ и мигалъ.

— Кому же идти, кому? Вѣдь, нужно же, господа, идти кому-нибудь! Вѣдь, такъ?... Баба, ты что же молчишь, ты какъ думаешь, а? Вѣдь, прощать нельзя... Неужели же не найдется товарища?

И товарищъ, конечно, нашелся, — пошелъ „баба“. Это было такъ естественно, такъ согласовалось съ общимъ мнѣніемъ, что именно ему нужно встать на защиту партіи и ея принциповъ.

Тѣнистый уголъ задняго двора былъ оцѣпленъ нами плотнымъ кругомъ. Мы не дышали, мы напряженно ждали начала и внутри насъ разливался какой-то осо-

бренный жаръ нетерпѣнія и страха. Было какъ-то и жутко, и хорошо. Секунданты, важные, какъ сенаторы древняго Рима, приготовляли оружіе, сдвинувъ брови и видая изподлобья мрачные взгляды. Они, какъ и мы, всѣ были убѣждены, что на насъ смотритъ Исторія и чинить свой неизгладимый карандашъ. Реалистъ нервно крутилъ едва пробивавшійся усъ и краснѣлъ; „баба“ стоялъ спокойно, невозмутимо и мигалъ глазами. Наши сердца тревожно бились: скорѣй, скорѣй, скорѣй!

Я помню, какъ „баба“ вдругъ выпрямился и пересталъ улыбаться. Глаза не мигали, они смотрѣли неподвижно на тонкое стальное остріе... Было что-то новое въ этой длинной, неуклюжей фигурѣ, какая-то скрытая красота вдругъ, точно проснувшись, разлилась по этимъ длиннымъ членамъ. Вотъ онъ двинулъ быстро рукою, вотъ они сшиблись... Разъ, два, три... еще и еще... и въ ужасѣ мы бросились бѣжать.

Мы бѣжали, какъ испугнутое овечье стадо, гуртомъ, тѣсно сжатою толпой, безсмысленною отъ паническаго страха. Впереди всѣхъ летѣлъ блѣдный реалистъ, нечаянно-нежданно протянувшій бабину руку, за нимъ секунданты, за секундантами мы всѣ. Эта темная, темная и, вмѣстѣ съ тѣмъ, алая струйка, оросившая длинную бѣлую руку, гнала насъ и, казалось, гналась по пятамъ. Кровь! Боже мой, кровь! Это былъ животный ужасъ,— тотъ дикій, неописуемый ужасъ, отъ котораго дрожить, какъ листъ, здоровый буйволъ, наткнувшійся на бранные останки собрата.

Когда мы, наконецъ, опомнившись, со страхомъ, смѣ-

шаннымъ съ жгучимъ любопытствомъ, вернулись къ раненому, онъ сидѣлъ на землѣ и спокойно старался удерживать пальцами здоровой руки бившую влѣвомъ кровь. На землѣ, тутъ же, стояла алая, смѣшанная съ пылью лужа и валялось оружіе. Мы хотѣли сказать ему много, но уста наши, наши блѣдныя уста повторяли одно: „баба, баба!“ Онъ улыбался намъ, онъ замигалъ глазами.

— Больно тебѣ, „баба“, больно?—чуть не плача, спросили мы, наконецъ, хоромъ,—больно?

— Да, но ничего. Я могу еще этою рукой!

Здоровою рукой „баба“ поднималъ свое оружіе, а мигавшими глазами искалъ противника.

Въ университетѣ онъ былъ тою же „бабой“, что и въ школѣ, длинной, сѣрой, доброй, всегда готовой на всякую жертву для товарищей, всегда любящей и робкой. Его любили, но, какъ и въ школѣ, кажется, жалѣли больше, чѣмъ любили. Почему именно жалѣли, Богъ его знаетъ,—на свѣтѣ ужъ бываютъ такіе типы, которые во многихъ ничего, кромѣ жалости, не вызываютъ. Черезъ-чуръ просто какъ-то у нихъ все выходитъ, черезъ-чуръ естественно, искренно до донкихотства,—не чувствуется ни тѣни тщеславія, эгоизма, самоувѣренности,—всего того, что необходимо сопровождаетъ сильные характеры, сильные типы. То, что всякому другому дало бы ореолъ величія, принесло бы уваженіе, если не поклоненіе, у „бабы“ выходило всегда такъ дѣтски-просто, такъ наивно, что лишало его малѣйшей тѣни подобія герою, вызывало не уваженіе, а какое-то насмѣшливое полуудивленіе,

полупоощреніе: ай да „баба“! „Паспарту“, который только фабрилъ усы и искалъ богатыхъ невѣсть, поощрительно хлопалъ его по плечу; „лизунъ“, только лизавшійся къ профессорамъ и напускавшій на себя мракъ учености, пожималъ плечами при одномъ взглядѣ на него; „юристъ“ находилъ, что онъ „невмѣняемый“,—словомъ, многіе изъ насъ находили въ немъ что-то такое, что дѣлало насъ выше его, что позволяло намъ смотрѣть на него какъ-то свысока, какъ-то поощрительно, и покровительственно хлопать его по плечамъ. Конечно, были и другіе,—были и такіе, что относились къ нему иначе, возносили его,—уважая, ставили даже выше себя,—но я ихъ не касаюсь. Я говорю здѣсь объ отношеніи *нашего*, далеко не малочисленнаго, кружка,—„спеціалистовъ“, какъ звали насъ одни,—„практиковъ“, какъ звали другіе. Но и мы его любили,—любили какъ-то странно, покровительственно, свысока... Но, ей-Богу, крѣпко любили, хотя, право, часто онъ казался намъ невыносимъ...

Многіе въ университетѣ строили тогда все свое міровоззрѣніе на одномъ „желудкѣ“, на его правахъ, игнорируя все остальное,—все, что не касалось „желудка“. Все придетъ съ сытымъ желудкомъ, говорилось тогда; но будетъ ли возможность желудку быть сытымъ при отсутствіи какихъ-нибудь другихъ факторовъ міровыхъ отношеній, объ этомъ какъ-то не думали вовсе. Все, что не касалось непосредственно „желудка“, улучшенія матеріальнаго быта людей,—все это являлось пустыми звуками, толченьемъ воды. Это было естественное увлеченіе только что пробивавшимися новыми экономическими тео-

ріями, и всѣ мы увлекались ими по-своему, кто искренно, кто такъ себѣ, а кто изъ моды, изъ желанія быть на виду.

Одинъ „баба“ былъ противъ и стоялъ за свои сантименты, за поэзію, науку, искусство, культуру и, въ томъ числѣ, только за экономическія теоріи. Его положительно приводило въ страхъ увѣреніе, что масса можетъ обойтись и безъ картинъ, и безъ статуй, и безъ поэзіи, и даже безъ науки,—что, слѣдовательно, онѣ не нужны и излишни.

Онъ совсѣмъ не понималъ, когда ему кричали прямо въ ухо, даже въ оба сразу, что важнѣе всего экономическій бытъ, что все остальное—ерунда и придетъ съ новыми отношеніями быта,—онъ ревѣлъ въ отвѣтъ свое неизмѣнное: наука, этика, человѣческое достоинство! Все, все вмѣстѣ, а не одно что-нибудь впереди,—все!

Онъ готовъ былъ собственнымъ тѣломъ прикрыть свое все: и науку, и искусство, и этику, и культуру, когда мы, въ пылу споровъ, кричали: долой все! Это была ересь, но „бабѣ“ всѣ могли простить ее.

Онъ былъ слишкомъ наивенъ, слишкомъ похожъ, казалось, на взрослого ребенка, чтобы не прощать ему все то, что не простилося бы другому, и слишкомъ искренъ,—да, слишкомъ правдивъ и искренъ! Въ немъ всецѣло сидѣло его дѣтство, весь онъ—прежній, довѣрчивый и наивный до смѣшнаго. Его надували, надъ нимъ смѣялись, ему говорили съ сожалѣніемъ: эхъ, баба, баба! А онъ все не мѣнялся, все оставался самымъ собою, все прощалъ и вновь позволялъ надувать себя, забывая прошлое. У него выманивали подъ разными предлогами деньги, въ которыхъ, правду сказать, онъ всегда относился

какъ - то чисто по - дѣтски, хозяйка оставляла его безъ обѣдовъ, держала часто въ нетопленной комнатѣ и т. д., и т. д., а онъ все сносилъ, все терпѣлъ, все прощалъ, когда въ глаза ему приводилась самая нахальная ложь въ видѣ оправданія, — въ особенности если со слезами на глазахъ, — и вѣрилъ ей безусловно.

— Нельзя, вѣдь, господа, иначе, она, вѣдь, сама, бѣдная, какъ рыба бьется! — защищалъ онъ, помню, свою хозяйку, которая три дня подрядъ продержала его безъ обѣда. — Нужно быть человѣчнѣе!

— Да она надуваетъ тебя, она пользуется твоею безобидностью! — возражали мы, чѣмъ приводили его въ негодование.

— Послушать васъ, такъ на свѣтѣ только мошенники!... Я не могу такъ относиться къ людямъ!

Что намъ было дѣлать? Мы разсмѣялись и нашъ смѣхъ перешелъ даже въ хохотъ, когда „юристъ“ махнулъ безнадежно рукой:

— Эхъ, ты, неприспособленный! — вырвалось у него съ неподдѣльной горечью.

Дѣйствительно, онъ былъ какой-то „неприспособленный“. Это было самое настоящее слово.

И, все-таки, онъ сыгралъ „въ романъ“, хотя вѣрнѣе, что на немъ сыграли. Рядомъ съ нимъ въ номерахъ жила прехорошенькая егоза съ темнымъ прошлымъ и не совсѣмъ опредѣленнымъ настоящимъ, мадемуазель Шольцъ. Она состояла гдѣ-то закройщицей или модисткой, но, какъ гласили слухи, еще недавно предпочитала иглоу офицеровъ и адвокатовъ. Въ послѣднемъ

не было ничего невозможнаго при ея хорошенькихъ глазахъ и шелковыхъ кудряхъ, силу которыхъ она несомнѣнно знала. Вѣчная пѣвуныя и хохотунья, она съ нѣкоторыхъ поръ стала мрачна и ясно приналегла на „бабу“, какъ на самый удобный матеріалъ для амурныхъ демонстрацій. „Баба“ бѣгалъ женщинъ, краснѣлъ при каждомъ взглядѣ пары хорошенькихъ глазокъ, жилъ Іосифомъ, былъ довѣрчивъ и несомнѣнно представлялъ собою подходящій экземпляръ для всякой ловкой интриганти, такъ или иначе добывающейся „законныхъ узъ“, какою мы считали тогда мадемуазель Шольцъ. Она начала съ „знижекъ“, съ длинныхъ разговоровъ, чему „баба“ поддавался и что насъ пугало за него, и, въ концѣ-концовъ, кончила тѣмъ, что попросила у него денегъ. Онъ, понятно, самъ почти босой, оборванный, полуголодный, отдалъ ей весь свой заработокъ за уроки.

— Да ты рехнулся! — набросились мы всѣ на него.

— Нѣтъ, — отвѣчалъ сконфуженный „баба“, — она говорила: до зарѣзу... ну...

— Ну, и баба — вотъ что! Она изъ тебя жилы вытянетъ!

Точно сговорившись, мы разомъ двинулись къ Шольцъ, потащивъ съ собой и „бабу“. Нужно было вывести ее на свѣжую воду, спасти слюняваго рыцаря изъ розовыхъ ногтей хорошенькой сильфиды. Мы вошли, возбужденные, красные отъ волненія, и застали ее за грудой тюля и блондъ сконфуженной и рестерянной. Какъ только приступили мы въ-перебой выговаривать ей ея наглость, она, понятно, разрыдалась.

— Я... я...—всхлипывала она,—простите... я...

Въ понятномъ волненіи мы продолжали свое, жестко упрекали ея кокетство и вымогательство, а „бабѣ“ советовали не быть бабой. Въ пылу увлеченія мы и не замѣтили, что онъ пересталъ вдругъ мигать, выпрямился и глядѣлъ на насъ безъ улыбки своимъ жесткимъ, стальнымъ взглядомъ.

— Довольно!—крикнулъ онъ рѣзко, и голосъ его дрожалъ отъ волненія,—будетъ этой наглої, подлой комедіи! Не ваше дѣло... Простите, мадемуазель, и имѣ, и мнѣ!—обратился онъ къ рыдавшей.

— Идіотъ!—вырвалось у насъ хоромъ и застыло тотчасъ же,—такъ поразила насъ послѣдующая сцена. Рыдавшая сильфида вдругъ бросилась къ „бабѣ“ на шею и, рыдая, всхлипывая и глотая слезы, стала просить у него прощенія. „Баба“, весьма естественно, стоялъ дуракомъ и хлопалъ глазами.

— Вы добрый, вы святой, — говорила ему рыдавшая стрекоза, — да, да... святой! А вы — жесткіе, скверные, злые... фи!—посылала она по нашему адресу, топая хорошенькою ножкой, — у-у, какіе злые! Я его люблю, люблю!... Вотъ вамъ! — и она крѣпко поцѣловала стоявшаго багровымъ истуканомъ „бабу“.

Мы, понятно, расхохотались.

— Ай да „баба“!... Л-л-л-овко!

— Что ловко, что?—повернула она къ намъ свое заплаканное лицо. — У-у... гадкіе!... Онъ святой... Вы понимаете? — святой!... Нѣтъ, вы понять не можете...—вы его не знаете!... Вы—злые, злые, скверные... фи!... А его я

люблю... Да!... Слышите?— повернулась она къ „бабѣ“.— Я васъ люблю, люблю, люблю!... Мнѣ ничего не нужно, нѣтъ! Я только такъ, для пробы, попросила,—испытать, посмотрѣть, отдастъ ли онъ! — говорила она уже намъ, — мнѣ ничего!... Я все отдамъ... и свое отдамъ... все отдамъ!... Вотъ!... вотъ!... вотъ!... берите! — кричала она, быстро бросившись къ коммоду и лихорадочно вбѣгая намъ на столъ и деньги, и браслеты, и серьги, и всякую другую мелочь,—вотъ... берите!...

Но „бабы“ уже не было, его и слѣдъ простылъ. Онъ выбѣжалъ, какъ сумасшедшій.

Эта глупая сцена съ романтическимъ букетомъ имѣла, конечно, свои послѣдствія. Мадемуазель Шольцъ стала преслѣдовать „бабу“ своею страстью, которой онъ бѣгалъ, краснѣя, какъ дѣвчонка. Все это морило насъ со смѣха, тѣмъ не менѣе, зная характеръ „бабы“, его слюнявость и привязчивость, все еще продолжая считать Шольцъ интриганткой, каковой къ стыду нашему, не оказалась,—мы стали сильно побаиваться за исходъ этой уморительной комедіи. „Баба“, съ его слюнявостью и цѣломудріемъ весталки, влюбись онъ только хоть немножко, конечно, не задумался бы жениться на самой незавидной репутаціи. Понятно, мы рѣшили спасти его во что бы то ни стало.

Запасшись предварительно цѣлымъ рядомъ неопровержимыхъ доказательствъ, что въ прошломъ за сильфидой, которую мы тогда ненавидѣли отъ всей души, значился и штабъ-офицеръ, и адвокатъ, мы рѣшились обличить ее, вывести все на свѣжую воду и открыть, такимъ образомъ, глаза довѣрчивому „бабѣ“, который никогда нѣга-

вѣмъ слухамъ не придавалъ значенія. „Фактовъ! Фактовъ!“ — кричалъ онъ всегда, и мы рѣшили дать ему эти факты, тутъ же, на глазахъ его сильфиды. Не говоря ему, конечно, ни слова и все время ведя съ Шольцъ тонкую политику, мы, когда все было подготовлено, позвали и „бабу“, и ее на вечеринку.

Вечеринка шла какъ нельзя лучше и все, повидимому, предвѣщало полный успѣхъ нашему предпріятію. „Бабѣ“ мы насильно влили въ горло изрядную дозу „блондиночки“, отчего онъ, понятно, немного охмѣлѣлъ и сталъ комично развязенъ; мадемуазель тоже „приложилась“ и особенно живо сверкала глазами; мы были „на второмъ взводѣ“ уже и незамѣтно, тихо, дипломатично подошли къ самому „пунету“.

— А говорятъ, мадемуазель, вы не особенно того... чтобы строги! — началъ „Паспарту“, больше другихъ нахажившійся подъ вліяніемъ выпитой „блондинки“.

Мадемуазель заёрзала. Ея лицо вспыхнуло, затѣмъ поблѣднѣло.

— Не строга?... Какъ не строга?... Что вы хотите связать?

— Да просто... проститутка-съ! — выпалилъ расхрабрившійся „юристъ“, пріучившій себя съ IV курса къ сильнымъ терминамъ, столь необходимымъ въ юридической практикѣ.

— Проститутка?

Дѣвушка стала блѣдна, какъ полотно. Она вскочила, потомъ сѣла, потомъ снова вскочила. Вглядѣ ея перебѣгалъ съ „бабы“ на насъ и обратно. „Баба“ сидѣлъ

пьяный, весь красный, мигалъ и пыхтѣлъ, ничего, казалось, не сознавая.

— Прости-тут-ка?!

Она провела рукой по лбу и зарыдала.

— Такъ в-о-тъ зачѣмъ вы меня позвали! — сказала она вдругъ севозъ слезы, остановивъ на насъ точно съ укоромъ свои глаза, — в-о-тъ! Ахъ!... О, какіе вы злые... ахъ!... Прости-тут-ка?! Ну, да, ну, да... да... да... да! — кричала она съ отчаяніемъ, — я была проститутка, я продавалась... да!... Ахъ! Ну, да... ахъ! Но зачѣмъ же меня покупали, — меня, голодную... безпріютную... всѣ... всѣ... зачѣмъ? — какъ-то тихо, какъ-то страшно тихо спросила она.

Наступило неловкое молчаніе. „Баба“, пьяный, согѣлъ, а она рыдала и рыдала.

— Проститутка! — бросилась она снова, — а вы... вы всѣ, покупатели, вы--нѣтъ?... Ха-ха-ха! — захохотала она вдругъ истерически, — ха-ха!... Нѣтъ, вы нѣтъ! О, вы честные!... Я проститутка... ну, да! Я продавалась... за хлѣбъ, — понимаете? — за хлѣбъ!... Кто мнѣ далъ что-нибудь такъ... безъ... безъ?... Я дитя была, безпріютное, брошенное на улицу... Офицеръ навормилъ, пріютилъ и... и... за это... за это... Ну, да, проститутка! Ахъ, ахъ, ахъ! — хваталась она за голову.

— Мелодрама! — прошипѣлъ неунывавшій „Паспарту“.

Она отняла руки и посмотрѣла въ его сторону. Лицо ея было блѣдно и холодно, слезы застыли и стояли каплями на щекахъ. Она тихо, тихо покачала головой.

— Ахъ, вы, честные, честные! Мелодрама! Зачѣмъ

же вы покупаете голодныхъ дѣтей, безпріютныхъ женщинъ?! Честные!—вдругъ злобно захохотала она,—честные! Гадкіе вы всѣ... вотъ что, гадкіе! Я проституткой была и вы! Я хлѣбъ теперь зарабатываю, а вы... вы... ну?—подбоченилась она вдругъ съ нахальнымъ, вызывающимъ взоромъ,—ну, кто изъ васъ отказался бы купить меня, ну? Да вы бы подрались изъ-за меня! Проститутка!... Ну, я продаюсь... слышите?... Ну, кто дастъ больше?... Покупайте!...—почти выкрикивала она все съ тѣмъ же вызывающимъ, нахальнымъ видомъ, топнувъ ножкой.

Признаться, она была дивно хороша въ эту минуту съ своими блестящими глазами, разбившимися волосами и ярко вспыхнувшимъ на щекахъ румянцемъ.

— Сколько же?—невозмутимо спросилъ задѣтый этимъ вызовомъ „Паспарту“, не сводя съ нея своего единственного, подернувагося масломъ глаза.

Она вдругъ насупилась и румянецъ исчезъ съ ея щекъ мгновенно.

— Подлецъ!—выпалила она прямо въ упоръ,—подлецъ!... вы, вы, всѣ. Вотъ!—задышалась она,—меня укоряли, что я проститутка, а сами покупаете,—подлецъ! Зачѣмъ вы укоряли? Зачѣмъ позвали сюда? Зачѣмъ?

Нашъ угаръ прошелъ, мы всѣ вскочили.

— Оставьте его! — указали мы на все сопѣвавшего спяна „бабу“,—вы его поймать хотите! Дудки, сударыня, мы понимаемъ ваши козни!

Она посмотрѣла недоумѣвающимъ взглядомъ.

— Козни? Его поймать? А... а... а!—протянула она, только теперь догадавшись.—Вотъ что! Вы его отъ меня

спасти хотите. Вы думаете, я ему зло сдѣлаю, я... я... я?! Я ему зло? Да я его люблю, понимаете?! Мнѣ...

— Законныхъ узъ хочется!—подхватилъ „юристъ“.

— Законныхъ узъ?! Да развѣ бы я пошла за него? Да развѣ я стою его?! Что вы? Женою его стать! Его женою!... Да я бы зарѣзалась скорѣй! Любовницей его— и то счастье!

— Лучше моей! — подхватилъ сильно охмѣлѣвшій „Паспарту“, но предъ нимъ уже стоялъ весь блѣдный, весь дрожащій „баба“. Онъ тяжело дышалъ, улыбка исчезла, глаза не мигали, они стояли неподвижно.

— На колѣни!—зарычалъ онъ вдругъ,—становись на колѣни!

Мы всѣ остолбенѣли. „Паспарту“ вынулъ изъ кармана правую руку.

— Слышишь? На колѣни! Проси прощенія!...

„Баба“ шипѣлъ, а не говорилъ.

— Ты съ ума сошелъ? Ты пьянъ, „баба“?

Быстрѣе молніи схватилъ „баба“ большой ножъ, которыми мы рѣзали только что колбасу, и поднесъ его къ самому носу „Паспарту“.

— Я те-бя за-рѣ-жу!—отчетливо шипѣлъ онъ, задыхаясь.—Слышишь? Я те-бя за-рѣ-жу, если ты не...

„Паспарту“ сталъ на колѣни передъ рыдавшей Шольцъ. Онъ, какъ и всѣ мы, видѣлъ этотъ неподвижный, стальной взглядъ, съ которымъ „баба“ когда-то чуть не разможилъ мою голову за своего голубя.

Хмѣль нашъ прошелъ совсѣмъ. Эта дикая сцена способна была отрезвить самого пьянаго. „Баба“ выронилъ

ножъ и бросился къ дѣвушкѣ. Онъ поднялъ ее съ кресла, ласкалъ и успокаивалъ, точь-въ-точь какъ когда-то хромого голубя. Длинные руки опять начали дѣлаться длинными, глаза опять замигали, только улыбки еще не было, да грудь дышала неровно. Настъ уже начало смѣшивать все это и душить какое-то больное, обидное чувство за этотъ страхъ, пораженіе передъ „бабой“. Въ особенности сердился „Паспарту“. Онъ даже дрожалъ отъ негодованія и все ворчалъ, что только спяна послушался „этой слюнявой бабы“. „Баба“ опять сталъ для настъ только бабой.

— Ишь, баба... расхотился!

Но онъ настъ не видѣлъ, не слышалъ. Онъ прижималъ бившуюся въ рыданіяхъ дѣвушку и успокаивалъ ее посвоему. Его губы дрожали.

— Я не стою такой любви, нѣтъ, нѣтъ!—свороговоркой, точно желая скорѣе выговориться, лепеталъ онъ,—и не могу на нее отвѣтить. Я васъ *такъ*,—онъ все подчеркивалъ это „такъ“,—я васъ *такъ* не люблю. Я бы сейчасъ женился на васъ, если бы любилъ васъ *такъ*. Но я люблю васъ, какъ *сестру*,—да, какъ хорошую, дорогую *сестру*. Любовница... это подло! Я братъ вамъ. Я люблю васъ, какъ сестру!

Шольцъ положила обѣ руки на его сухія плечи, прислонилась къ нему головой, а онъ повернулся къ намъ.

— Она сестра мнѣ, братцы, слышите? Сестра!... Вы оскорбили ее спяна, но она вамъ прощаетъ. Правда?

Дѣвушка кивнула головой.

— Въ глубинѣ души они честные, это несомнѣнно!... И такъ, она сестра мнѣ, отнынѣ сестра!...

И онъ, дѣйствительно, сталъ ей братомъ. Холилъ, лѣлялъ, заботился, читалъ книги, училъ и, высунувъ языкъ, рыскалъ, отыскивая ей работу. Это была бы, конечно, не дурная идиллія, еслибъ мы не побаивались сквернаго финала, такъ какъ все еще считали Шольцъ интриганткой, но, къ счастью, финала такого не случилось. Въ одно прекрасное утро она исчезла, оставивъ „бабѣ“ только небольшой влочокъ бумаги, на которомъ довольно нетвердымъ почеркомъ было надарапано:

„Прощай, мой братъ! Я очень, слишкомъ люблю тебя, чтобы быть тебѣ сестрой! Я не могу. Я уѣду, но всегда останусь честной, вланусь тебѣ. Я буду работать“.

Куда она исчезла, Богъ ее знаетъ. „Баба“ чуть съ ума не сошелъ.

Была въ университетѣ съ нимъ еще одна исторія, которую только и могъ продѣлать „баба“, и только ему одному она могла сойти даромъ: до того была всецѣло въ его правахъ. Грустной памяти одинъ студентъ выкинулъ рѣдею, крупную подлость по отношенію къ своимъ товарищамъ, приведшую въ естественное, невыразимое негодование всѣхъ. Всѣ волновались и чуть ли не больше всѣхъ волновался „баба“, требовалъ суда, выпятился, возбуждалъ болѣе хладнокровныхъ. Можно было думать, что онъ сотретъ его съ лица земли, испепелить, искрошить, можно было ждать чортъ знаетъ чего. Когда толпа застигла виновника въ пустой аудиторіи и приступила къ нему съ ужаснымъ обвиненіемъ, на „бабѣ“ лица не

было, онъ дрожалъ весь, какъ листъ. Припертый къ стѣнѣ юноша съ тупымъ, безхарактернымъ лицомъ испуганно поводилъ только глазами и даже не пытался оправдываться, точно не слышалъ этихъ страшныхъ, несмысленныхъ обвиненій, этихъ неизгладимыхъ эпитетовъ, которые вся толпа бросала ему прямо въ лицо. Ужасъ, неописуемый ужасъ стоялъ только въ его широко раскрытыхъ глазахъ,—физическій, животный страхъ, бессмысленный и дикій. Онъ кричалъ только: „пустите, пустите!“ и старался вырваться изъ плотно сжатаго круга плечъ, головъ, рукъ, но старался какъ-то бессознательно, рефлективно, все больше блѣднѣя, все больше охватываясь ужасомъ.

Отдѣльные крики слились уже въ одинъ общій гулъ негодованія. У болѣе нервныхъ раздувались уже ноздри и туманились глаза. Чья-то рука налегла уже на плечо негодая и трясла его, причемъ онъ сталъ плакать. Еще моментъ, и сотни рукъ поднялись въ воздухѣ, съ однимъ общимъ крикомъ: „бей, бей, бей мерзавца!“

Тотъ присѣлъ, какъ заяцъ, когда его настигаютъ въ полѣ, когда нѣтъ силъ ему ловкимъ прыжкомъ отскочить въ сторону. Черезъ секунду его бы не стало,—вмѣсто дряблага, гадяго лица, осталась бы только истерзанная, безформенная масса. Но въ этотъ-то именнó моментъ чьи-то двѣ длинныя, дюжія руки подняли его, какъ мячикъ, на воздухъ и, несмотря на проклятія, угрозы, толчки и сыпавшіеся, какъ горохъ, удары, съ страшною силою раздвигая плечи, вынесли его изъ толпы за дверь.

Это былъ, конечно, „баба“.

Онъ вошелъ къ намъ опять, блѣдный, еле дышашій, съ крупными каплями пота на лбу. Мы бросились къ нему съ тою же злобой, съ тѣмъ же негодованіемъ, которыя волновали наши сердца, но онъ стоялъ спокойно, скрестивъ свои длинные руки, и смотрѣлъ на насъ ровнымъ, спокойнымъ взглядомъ. Повинуясь какому-то необъяснимому инстинкту, мы замолчали, точно съ тѣмъ, чтобы дать сказать ему слово.

— Сто противъ одного!... Нѣтъ!...—говорили его блѣдныя губы, еле выговаривая слова,—нѣтъ!... Это... это... Развѣ вы не понимаете, что каждый ударъ вашъ ему искупленіе?...

Что успокоило насъ, не знаю, но мы крикнули ему всего-на-всего: „баба“!

Въ жизнь онъ вышелъ тѣмъ же „бабой“, тѣмъ же „неприспособленнымъ“ добрымъ малымъ. Когда я пріѣхалъ въ N., гдѣ встрѣтился со многими изъ нашего школьнаго кружка, то засталъ уже всѣхъ пристроившимися, у „дѣлъ“, въ хорошей обстановкѣ, кромѣ, конечно, „бабы“. „Юристъ“, въ ожиданіи товарища прокурора, велъ выгодные процессы, упражняясь за приличное вознагражденіе „во взысканіяхъ“, и владѣлъ, благодаря своему умѣнью вертѣть развязно пенсне и удивительно спитымъ брюкамъ, прекрасными сердцами бомонда. „Паспарту“ слопалъ уже двухъ молодыхъ дѣвушекъ, захвативъ себѣ, вѣроятно, на память, ихъ десять тысячъ, и теперь побѣдоносно сражался съ культурой на страни-

цах неофициальнаго отдѣла мѣстных *Губернскихъ Вѣдомостей*, получая, понятно, поощренія, какъ „надежный писатель“. Всѣ, словомъ, пристроились, какъ кто могъ или умѣлъ, одинъ только „баба“ шляется „безъ якоря“, возясь только съ своими книгами, статьями въ какомъ-то невозможно-ученомъ журналѣ, который не могъ платить ему даже гонорара, и перебивался, точно студентъ, а не кандидатъ, то уроками, то перепиской, то корректурой „паспартускихъ“ статей. Правда, у него было двѣ съ половиной тысячи, доставшіяся ему неожиданно-негаданно отъ какой-то тетки, которая онъ положилъ въ банкъ и съ которыми не зналъ что дѣлать, по собственному наивному признанію. Эти двѣ съ половиной тысячи показались ему чѣмъ-то вродѣ Ротшильдова богатства.

Мы, понятно, старались навести его на путь истины, увѣщевали, доказывали, предлагали даже услуги и протекціи, чтобы пристроить его, но ничто не брало. Наши увѣренія, что теоріи одна вещь, а практика жизни—другая, что, пока теоріи летаютъ журавлемъ подъ небесами, нужно для себя ловить хоть синичку, оставались гласомъ вопіющаго въ пустынь. Съ необычайнымъ упрямствомъ онъ оставался все тою же неприспособленною „бабой“ и доказалъ это самымъ неопровержимымъ образомъ.

„Юристъ“ велъ какое-то дѣло противъ одного сельскаго общества, пропустившаго какіе-то сроки и которому, поэтому, приходилось или внести значительную сумму денегъ истцу, или разстаться съ своею землею и

лѣсомъ. Понятно, „юристу“ было тяжело, какъ порядочному человѣку, вести такое дѣло, ему было жаль безграмотныхъ ротозѣевъ, не умѣвшихъ выиграть свою тяжбу, несомнѣнную и чистую, но что же онъ могъ подѣлать? Не онъ, такъ велъ бы дѣло другой юристъ, а, отказываясь отъ правтвенія изъ-за разныхъ принциповъ, можно было бы легко положить собственные зубы на полку. Такъ смотрѣлъ весь городъ, всѣ порядочные люди, кромѣ, конечно, „бабы“. Тотъ положительно не могъ простить „юристу“ этого дѣла.

— Да пойми, миленькій, пойми, что не я, такъ другой бы повелъ дѣло!—убѣждалъ его „юристъ“.

— Ну, и пусть бы велъ другой!—съ упрямствомъ возражалъ „баба“.

— Да, вѣдь, съ такою теоріей, красавчикъ, нашему брату зубы пришлось бы проглотить!

— Ну, и проглоти, или займись другимъ дѣломъ!

— Эхъ, ты, баба, баба!

Что, въ самомъ дѣлѣ, другаго можно было бы сказать на это близорукое упрямство?

Но разъ, когда „юристъ“ добился, наконецъ, исполнительнаго листа отъ суда и *polens-volens* принужденъ былъ приступить ко взысканію силой, такъ какъ не понимавшее ничего въ законахъ и судебныхъ формахъ сельское общество грубо противилось описи, подобный діалогъ ихъ кончился иначе.

— Ты самъ внеси эти деньги!—выпалилъ раздраженный споромъ „баба“.

— Я... я... внести эти деньги?... Внести двѣ тысячи

триста пять рублей сорокъ двѣ съ половиною копѣекъ?... Да ты съ ума сошелъ!

— Нѣтъ, не сошелъ!—крикнулъ „баба“.—Ты долженъ внести... ты самъ жалѣешь этихъ бѣдняковъ!...

— Во-первыхъ, это не резонъ, котикъ мой,—возразилъ спокойно „юристъ“.—Такихъ дѣлъ и бѣдняковъ много на свѣтѣ. Не могу же я вносить за всякаго, согласись!

— Не можешь... Вѣрно! Но за этихъ можешь!—горячился „баба“.

— Но гдѣ же тутъ логика, розанчикъ мой, гдѣ логика?—живо возразилъ „юристъ“.—Почему именно, почему долженъ я внести за *этихъ*, а не за другихъ?... Объясни!... Почему за Петра, а не за Ивана, когда положеніе Ивана, можетъ быть, во сто кратъ хуже?

Баба не возразилъ. Онъ смотрѣлъ только на говорившаго холоднымъ, неподвижнымъ взглядомъ.

— Это—во-первыхъ, дитя мое родное,—продолжалъ тотъ,—это—во-первыхъ, а во вторыхъ—съ—вотъ что!... Я настолько развитой человѣкъ, что, понятно, не уважаю филантропію. Филантропія, какъ и ты знаешь, только развращаетъ! „Help your self“,—это великій принципъ... Д-да-съ! Частными примочками-съ не поправишь общаго воспаленія-съ... Палліативы безполезны!

— Такъ ты не внесешь?—ровно, спокойно спросилъ его „баба“, когда онъ кончилъ.

— Ни за что-съ!

„Баба“ хлопнулъ дверью. Въ этотъ же день онъ взялъ свое Ротшильдово богатство изъ банка и внесъ сполна всю сумму судебному приставу за крестьянъ.

Мы, понятно, могли только пожалѣть его и сказать ему обычное: ахъ, баба!—но въ душѣ у насъ, ей-Богу, что-то ёрзало...

Онъ женился.

Эта женитьба была, конечно, курьезна, какъ и все то что онъ дѣлалъ. Женитьба безъ малѣйшей доли любви, привязанности, какая-то донкихотская женитьба въ интересахъ только другаго лица, молодой, неопытной дѣвушки, немножко нервной, немножко экзальтированной, съ которой неосторожно пошутилъ, по обыкновенію, неугомонный „Паспарту“. Вѣчно увлекающійся каждою любовью, „Паспарту“, не провѣривъ, не проанализировавъ своихъ отношеній къ влюбленной въ него дѣвушкѣ, не сообразивъ, что съ его стороны это была одна „вспышка молодости“, позволилъ себѣ перейти извѣстныя границы, а когда его молодой угаръ прошелъ, дѣло оказалось дрянъ: на-лицо были неумолимые законы природы. Понятно, что, какъ искренній и прямой человѣкъ, онъ прямо объяснилъ, что все это была одна пустая вспышка страсти, что онъ искренно раскаивается, хотя, естественно, виноватъ не онъ одинъ, а оба, но поправить дѣло женитьбой не можетъ, такъ какъ понимаетъ семью только на началахъ истинной любви, а фиветивные браки считаетъ мерзостью. У дѣвушки родители были строгіе; она возмутилась, сдѣлала „Паспарту“ вполне заслуженную,—правда,—скандальную, сцену, на которую нечаянно наткнулся „баба“. Несмотря на то, что дѣвушка частенько вторила шуткамъ надъ нимъ „Паспарту“ и относи-

лась къ нему, какъ и мы, немного свысока, онъ вскипѣлъ, обозвалъ „Паспарту“ подлецомъ, а изумленной, не вѣрившей себѣ дѣвушкѣ, грозившей, что она бросится въ прорубь, предложилъ свою „руку и имя“.

— Я васъ не люблю... зачѣмъ... зачѣмъ? — шептала она поблѣтѣвшими губами.— Вѣдь, я васъ *такъ* не люблю...

— Любите, какъ брата, какъ брата любите,—отвѣчалъ онъ, весь сконфуженный и красный, беря ее хорошенькую ручку.

— Вы послѣ пожалѣете... Я не перенесу этой жертвы!—колебалась она, конфузясь и какъ бы робѣя,—зачѣмъ, зачѣмъ? О, какой вы честный!

— Что за жертва?... Никакой жертвы тутъ нѣтъ съ моей стороны! — увѣрялъ „баба“.—Не пускать же васъ въ прорубь, въ самомъ дѣлѣ!

Мы были на этой курьезной свадьбѣ. И женихъ, и невѣста были блѣдны,—трудно сказать даже, кто изъ нихъ былъ блѣднѣе. Она выглядѣла, къ тому же, какъ-то растерянно и неловко, но „баба“ шелъ смѣло и гордо, точно велъ дѣйствительную невѣсту. Онъ взглянулъ на насъ мелькомъ, но, признаться, этотъ чертовски холодный взглядъ, быстрый, неуловимый, какъ-то моментально заставилъ насъ спрятать свои улыбки.

Но что всего курьезнѣе, эта фикція перешла въ дѣйствительность. Въ дѣвственномъ сердцѣ „бабы“ вспыхнула неугасимая страсть къ супругѣ, отразившаяся, вѣроятно, рефлексивно и въ ея сердцѣ. Они зажили счастливыми супругами,—по крайней мѣрѣ, „баба“, который дѣйстви-

тельно полюбилъ всецѣло, безумною, первою любовью. Была ли счастлива она?—не думаю. „Баба“ былъ слишкомъ скученъ для нея, слишкомъ абстрактенъ, невыносимъ съ своею вѣчною задумчивостью, теоріями, витаніями въ пространствѣ. Такіе типы могутъ любить сильно, но любить собственно *не умѣютъ*. Выраженія ихъ любви скучны, медленны, вялы и грубоваты до того, что могутъ посѣять сомнѣніе въ дѣйствительномъ чувствѣ. Ну, могъ ли, въ самомъ дѣлѣ, быть страстнымъ любовникомъ длинный, робкій, скромный „баба“ съ его длинными, длинными руками?

По крайней мѣрѣ, она ему пристроила рога.

Это случилось уже много времени спустя послѣ свадьбы. Они жили далеко, въ глухомъ захолустномъ городѣ, гдѣ „баба“ пристроился при управленіи желѣзной дороги. Нежданно-негаданно его женѣ выпало въ Н. небольшое наслѣдство, а „баба“ волей-неволей, страшно тоскуя за домомъ, не доѣдая, не досыпая ночей, приказалъ къ намъ устраивать женины дѣла по наслѣдству. Дѣло затягивалось разными формальностями, „баба“ стоналъ подъ игомъ разлуки, порывался домой, мучился, какъ вдругъ нежданно получилъ отъ жены письмо съ извѣщеніемъ, что его права занялъ другъ его дома. Письмо было грубо, жестко; оно обвиняло во всемъ „бабу“ за его неумѣнье любить, холодность, угрюмость, холодныя письма и т. д., но въ немъ, все-таки, сквозило что-то вродѣ любви или, скорѣе, сожалѣнія къ несчастному мужу.

„Баба“ былъ блѣденъ, какъ смерть, когда читалъ, —

это было при мнѣ,—а когда кончилъ, схватился за сердце. Судорога свела его лицо, зубы застучали, какъ въ лихорадкѣ. Страшное, невыразимое горе сквозило въ его чертахъ и, рыдая, онъ упалъ на диванъ лицомъ ницъ. Я испугался и бросился къ нему съ водой.

— Что съ тобой? Что случилось?

— На, прочти, — сказалъ онъ, — ты другъ, ты товарищъ!... Прочти громко и скажи, что думаешь... Я не могу, не могу думать, не могу сообразить!

Весь волнуясь, весь дрожа отъ негодованія, я прочелъ это письмо. „Баба“ сидѣла неподвижно, повернувъ ко мнѣ свое каменное, неподвижное лицо.

— Ну?

— Плюнь! Она не стѣдитъ тебя, не понимаетъ! Это жестокость, это холодная жестокость!—еле выговаривалъ я отъ негодованія. „Баба“ покачалъ головой.

— Нѣтъ! Это — ошибка больной, вѣтренной натуры... Это—вспышка, это—минутное болѣзненное увлеченіе!... Она раскается, ты ее не знаешь, она и теперь раскаивается!

— Такъ что-жь?—закричалъ я внѣ себя на эту скупость,—такъ что-жь? Неужели это можно простить?... Неужели?...

— Можно!—былъ отвѣтъ.

— Ну, это чортъ знаетъ что!... Тебѣ, братъ, и на роду написано быть рогиносцемъ, видно!

„Баба“ не смутился.

— Это—вспышка, это болѣзненная вспышка! Она любить меня и раскается!... Я это знаю... Развѣ ты не чувствуешь это изъ тона?

— Ну, такъ что-жь? Чортъ въ немъ, въ этомъ тонѣ! — вспылилъ я, наконецъ.

— Ты не любишь, — отвѣтилъ онъ съ удареніемъ, — ты не любишь и не любишь!

И онъ простилъ. Онъ послалъ при мнѣ телеграмму всего въ два слова:

„Люблю и прощаю“.

— Баба ты, вѣчная баба! — могъ я только крикнуть ему, искренно его жалѣя.

Въ письмѣ дѣйствительно стояло: „Я сдѣлала это подѣ страшнымъ сознаніемъ, что ты не любишь меня, что я тебѣ чужая, подѣ тяжелымъ воспоминаніемъ о твоей угрюмости и вѣчной холодности... Я думала и думаю, ты будешь счастливѣе безъ меня, что другая женщина, которая полюбитъ и оцѣнитъ тебя, сдѣлаетъ тебя счастливѣе“. И многое другое въ этомъ же родѣ, но развѣ это мѣняло сущность?

Я потерялъ „бабу“ изъ вида на цѣлые годы. Слышалъ, что жена его умерла, что судьба выдала его во всѣ стороны, закинула даже куда-то на далекій сѣверъ, въ какую-то мерзвѣйшую тундру. Чтѣ онъ дѣлалъ, какъ жилъ, гдѣ мыкался — я не зналъ и не знаю. Какіе-то обрывки неясныхъ слуховъ долетали до меня, но я не придавалъ имъ значенія. Вѣрные, точные, несомнѣнные факты принесло мнѣ только письмо знакомаго врача съ поля болгарской войны, которое я и привожу.

„Тороплюсь писать вамъ по порученію одного стараго

вашего друга, товарища и соотечественника, по фамилии (приведена фамилія), смертельно раненаго вчера шальной пулей при геройской защитѣ важнаго стратегическаго пункта. Онъ говорилъ, впрочемъ, что вы его знаете больше подъ кличкой „баба“. Каковы же должны быть у васъ мужчины, если такъ могутъ умирать ваши „бабы“? Онъ умиралъ у меня на рукахъ въ полуразстрѣлянной старой избушкѣ, спокойно, хладнокровно, безъ стонувъ и жалобъ, несмотря на ужасныя страданія. Я, врачъ, выдавшій много смертей, такой еще не видѣлъ. Случайно, изъ разговора, узнавъ о нашемъ знакомствѣ, онъ поручилъ мнѣ передать вамъ его послѣдній привѣтъ. Онъ умеръ въ полномъ сознаніи. Передъ смертью онъ сказалъ, что не жалѣетъ о жизни, потому что *такъ умереть хорошо!*“...



ЕГО ЧАСЪ НАСТАЛЪ!

(ПОВѢСТЬ).

ЕГО ЧАСЪ НАСТАЛЪ!

(Изъ давно забытыхъ мемуаровъ тетеньки).

ПОВѢСТЬ.

Говорятъ, что исторія не повторяется; говорятъ еще, — и это самое главное, — что она будто бы ничему не учитъ. Я, конечно, не авторитетъ въ наукѣ, — можетъ быть, потому-то и сомнѣваюсь крѣпко въ этихъ положеніяхъ. Будь первое правда, то, мнѣ сдается, людямъ, навѣрное, жилось бы веселѣе на свѣтѣ, а второе уже потому не правда, что опытъ не учитъ только тѣхъ, кого вообще ничему научить нельзя. Я же совсѣмъ не такого мнѣнія о людяхъ, далеко не такого!

Какъ бы тамъ ни было, — права я или нѣтъ, — я, все-таки, хочу рассказать вамъ исторію моего дѣда, — преподавательную, по-моему, исторію! Не то, чтобы мой дѣдъ былъ выдающійся герой, какой-нибудь замѣчательный администраторъ, гений, — отнюдь нѣтъ и нѣтъ. Онъ просто былъ честный, стойкій, умный и справедливый человекъ, — настоящий „европеецъ“, въ лучшемъ смыслѣ этого слова, по привычкамъ и по взглядамъ, а исторія такихъ

людей, ихъ жизни, ихъ успѣховъ и неудачъ подчасъ далеко не безынтересна. Право, мнѣ кажется, что бывають времена, когда правдивая исторія простаго честнаго человѣка не менѣе полезна, чѣмъ жизнеописаніе храбраго генерала или бдительнаго администратора.

И такъ, вы уже знаете, что за человѣкъ былъ мой дѣдъ. Я до сихъ поръ еще живо помню его высокую, сильную фигуру съ длинными, откинутыми назадъ, сѣдыми волосами и высокимъ лбомъ, его какъ бы угрюмо нахмуренныя брови, изъ-подъ которыхъ свѣтились такіе добрые, такіе человѣческіе глаза, точно улыбкой обдававшіе cadaго при взглядѣ; живо помню его мѣрную, степенную, ровную походку съ заложенными за спину руками; помню, какъ бы только сегодня видѣла его возлѣ, хотя онъ давно уже покойся подъ чугунною плитой на церковномъ погостѣ, и сама я стала ветхою старухой. Много времени прошло уже съ тѣхъ поръ, какъ мы сживали съ нимъ на излюбленной скамейкѣ въ саду подъ старою липой и онъ такъ любовно ласкалъ мою юную русую головку... Сколько годовъ, и радостныхъ и горькихъ, и свѣтлыхъ и мрачныхъ, пронеслось мимо, — чего только не пришлось мнѣ видѣть, пережить, перечувствовать, — а и теперь еще люблю я вспоминать то далекое прошлое, посидѣть, пометать тамъ, подъ старою липой. Еще больше постарѣла, нагнулась старая липа, совсѣмъ потрескалась скамейка, состарѣлась, согнулась и я, — а порою, въ тихія лунныя ночи, мнѣ сдается, право, что ничто кругомъ не измѣнилось, все осталось попрежнему, и вотъ-вотъ изъ густой тѣни любимой его аллеи вынырнетъ

дѣдъ и подойдетъ ко мнѣ со своею ласковою, бодрящею улыбкой.

— Чего закручинилась?—скажетъ онъ мнѣ, какъ бывало, лаская мои длинные русые волосы. — Не печалься, Оля, не унывай... Знаешь пословицу: перемелется—мука будетъ!

— Будетъ-то—будетъ!—отвѣчу я придавленнымъ голосомъ, прижимаясь къ его сильной груди, — будетъ! Но каково-то перемалываться?!

Дѣдъ еще ласковѣе погладитъ мою голову и станетъ говорить такъ тихо-тихо, точно ему очень трудно выговаривать:

— Что же дѣлать, птичка моя?... За то будемъ праздновать, когда доживемъ до лучшаго!

И, чтобы отогнать отъ меня горькія думы, чтобы развлечь, занять инымъ, онъ стянетъ меня за руки со скамейки и потащитъ за собою по аллеѣ, рассказывая такъ увлекательно свои интересныя наблюденія, столеновенія, свои встрѣчи съ тогдашними знаменитостями Европы. Онъ много видѣлъ и зналъ, — мой славный дѣдъ!

Впрочемъ, простите! Я заболталась и перескочила. Богъ знаетъ куда. Плохая я разскащица... Всегда такъ: начну съ одного, а кончу непременно другимъ, и самой даже смѣшно станетъ. Но ужъ не взыщите: мой неискусный рассказъ будетъ, право, интересенъ!

Постараюсь исправиться и начну, какъ слѣдуетъ, ab ovo. Дѣдъ женился еще въ ранней молодости, когда служилъ въ гвардіи, на бѣдной дворянѣ, круглой сиротѣ, въ которую, какъ говорили, былъ влюбленъ до безумія. Не знаю, любила ли его также сильно бабушка,

но бракъ ихъ, въ концѣ-концовъ, оказался неудачнымъ. Черезъ годъ послѣ свадьбы у нихъ родилась дочь,—моя мать,—а еще черезъ нѣсколько лѣтъ, когда дѣдъ вернулся изъ турецкой кампаніи, гдѣ былъ раненъ пулею въ ногу, они навсегда развѣхались. Бабушка поселилась въ Москвѣ съ дочерью, которую дѣдъ ей уступилъ подѣ условіемъ, что сама она воспитывать ее не будетъ, а отдастъ непременно въ пансіонъ, а самъ, выйдя тутъ же въ отставку, почти безвыѣздно жилъ за границей, изрѣдка только навѣщая свою любимую деревню „Пустынью“, гдѣ все только возился съ книгами. Чтò послужило причиной этой размолвки, я точно не знаю. Дѣдъ никогда не обмолвился мнѣ даже словомъ по этому поводу. Помню только, со словъ матери, что бабушка любила свѣтъ, выѣзды, балы, была необузданно-вспыльчива, отчасти даже легкомысленна; при своей красотѣ, всегда имѣла толпы поклонниковъ, а все это не нравилось дѣду. „Онъ всегда былъ такой хмурый книгоѣдъ!“—добавляла она въ концѣ своихъ разсказовъ.

Такимъ образомъ, мама росла внѣ всякаго вліянія дѣда и почти его не знала или, лучше сказать, знала со словъ страстно любимой ею бабушки, пріучившей ее смотрѣть на многое своими глазами. Какъ только стукнуло ей шестнадцать лѣтъ, бабушка выдала ее замужъ за виднаго, немолодаго чиновника, — моего отца. Сама я даже и не видала бабушки; она умерла еще до моего рожденія, простудившись на балу.

Пока мы, то-есть я и братъ Сережа, жили у родителей въ Москвѣ, мы дѣда видали очень и очень рѣдко. Онъ

вѣчно странствовалъ по чужимъ краямъ или запирался въ своей „Пустынькѣ“. И мать, и отецъ оба одинаково недолюбливали дѣда; и отецъ даже звалъ его не иначе, какъ „фантазёръ“ и „мечтатель“. Значенія этихъ словъ мы съ братомъ, конечно, не понимали, но насмѣшливый, ироническій тонъ ихъ постигали вполне. Недружелюбное отношеніе родителей перешло къ намъ: мы съ Сережей считали дѣда злымъ, и въ рѣдкія его посѣщенія, — хотя онъ всегда привозилъ намъ гостинцевъ, — боялись его, избѣгали и дичились. Способствовало этому еще и то, что ни одно изъ его посѣщеній не обходилось безъ споровъ и столкновеній съ матерью. Мать относилась къ крѣпостнымъ и въ сѣченію ихъ розгами, какъ всѣ тогда относились: она считала ихъ полулюдьми, а сѣчь ихъ признавала дѣломъ не только не постыднымъ, но вполне естественнымъ и необходимымъ. Насъ она до безумія любила и баловала, такъ что въ домѣ мы дѣлали, положительно, что хотѣли, и являлись, такимъ образомъ, маленькими, но необузданными тиранами, которыхъ трепетала вся прислуга. Одного нашего капризнаго визга было достаточно, чтобы вспылчивая, заправлявшая отцомъ, мать отсылала подъ розги самыхъ старыхъ, самыхъ преданныхъ слугъ. Вотъ этого-то всего и не могъ переносить хладнокровно дѣдъ, и по этимъ поводамъ у него всегда происходили ссоры съ матерью. Понять сущность этихъ споровъ мы съ братомъ не могли, но мы понимали, что дѣдъ былъ не за насъ, что онъ былъ *противъ* матери, а этого для насъ, дѣтей, было вполне достаточно, чтобы не влюбить дѣда.

Помню еще ту страшную тревогу въ домѣ, которую надѣлалъ намъ дѣдъ. Произошло это въ памятномъ 1848 году. Отецъ пріѣхалъ со службы блѣдный, встревоженный, и немедленно сталъ шептаться съ мамой, а мама расплакалась, стала кричать, что дѣдъ всѣхъ насъ погубить, что онъ сумасшедшій, что его нужно посадить въ больницу и проч. въ томъ же родѣ. Отецъ, чуть не плача, дрожа, поднималъ руки къ образамъ и во всемъ поддакивалъ мамѣ. „Погубить насъ, дѣточки, вашъ дѣдъ,—плакала мать, обнимая и прижимая насъ къ себѣ,—совсѣмъ погубить, сумасшедшій!“ И мы, испуганные, вторили ей самымъ искреннимъ визгомъ. Дней семь продолжалась у насъ подобная сумятица; всѣ были встревожены, плакали, ругали дѣда, но, наконецъ, успокоились, — бѣда прошла мимо. Все дѣло было въ томъ, что дѣду приказали вернуться изъ-за границы въ Россію. Онъ это исполнилъ; но, вернувшись, заявилъ о своемъ желаніи освободить крѣпостныхъ и сталъ хлопотать о разрѣшеніи. Въ описываемое ужасное время, когда болгаринская печать забрасывала грязью все европейское, интеллигентное, травила либерализмъ и открыто превозносила невѣжество, — заявленіе дѣда показалось страшнымъ вольнодумствомъ. Съ нимъ произошли какія-то непріятности и грозили еще бѣднѣя, но, благодаря заступничеству вліятельныхъ знакомыхъ, все ограничилось для него ссылкой въ любимую его „Пустыньку“, гдѣ онъ долженъ былъ оставаться безвыѣздно. Это-то и растревожило моихъ родителей.

Несмотря на все это, мнѣ пришлось-таки поселиться

у дѣда, стать его воспитанницей, любимицей и горячей поклонницей. Опять забѣжала впередъ,—простите, такой уже нравъ у меня! Еще дѣдъ это замѣтилъ и всегда улыбался на мои рассказы. „Ты бы, Оля, — говаривалъ онъ, слушая и лаская меня, — ты бы ужъ такъ и начинала или съ начала, или съ конца, а то Богъ знаетъ, что у тебя выходитъ — и конецъ, и начало вмѣстѣ!“ Но всегда слушалъ съ интересомъ. Послушайте же и вы!

Такъ какъ я уже сказала, что мнѣ пришлось расти и жить у дѣда въ „Пустынькѣ“, а не въ Москвѣ у родителей, то мнѣ осталось сказать, какъ это вышло. И отецъ, и мать мои умерли въ одинъ день отъ свирѣпствовавшей тогда эпидеміи. Въ домѣ живыми остались только я съ фрейлейнъ Миллеръ, гувернанткой, да нѣсколько человѣкъ прислуги. Сережа дома не жилъ, — онъ уже учился въ корпусѣ. Тяжелые были эти дни, и они навсегда врѣзались въ мою, еще дѣтскую, память; многому они научили меня, на многое открыли глаза. Начать съ того, что мнѣ пришлось крѣпко пожалѣть о своемъ поведеніи съ прислугой и краснѣть предъ собой за свое прошлое. Только тогда поняла и убѣдилась я, что за добрые, хорошіе люди были они всѣ, сколько любви и деликатности таилось въ нихъ. Когда я осталась круглою сиротой, когда баловавшей и заступавшейся за меня матери не было, — всѣ они окружали меня такою заботливостью, такою сердечною теплотой, такимъ участіемъ, точно я была не тиранъ ихъ, не капризная, избалованная, испорченная баловствомъ дѣвчонка, а самое милое существо. Бѣдные, добрые люди, вмѣсто того,

чтобы вымещать теперь на мнѣ все вынесенное изъ-за меня же, рыдали вмѣстѣ со мною и стали вдвое услужливѣе. Помню, какъ мнѣ становилось стыдно предъ ними, и въ глубинѣ души я тихо каялась. Также стыдно мнѣ было и предъ старушкою Миллеръ, — этою воплощенною кротостью и всепрощеніемъ, — которая съ тѣхъ поръ до самой своей смерти замѣняла мнѣ мать. Каждый день, бывало, съ братомъ придумывали мы ей новыя пакости и выкидывали ихъ безнаказанно, на глаза матери, все намъ прощавшей и позволявшей. Просто, въ грошъ не ставили мы старушку и чего-чего только не выкидывали! Но бѣдная, добрая Миллеръ, буквально не умѣвшая сердиться, только плакала, повторяя свое любимое и насъ смѣшившее, стереотипное: „ахъ, пфуй! ахъ, пфуй!“ — „Чего разнюнилась, колбаса нѣмецкая?“ — крикнетъ ей, бывало, въ отвѣтъ Сережа (онъ былъ тогда страшный нахаль), а бѣдная Миллеръ только пуще зальется слезами. — „Они безъ сердца, они совсѣмъ безъ сердца!“ — съ ужасомъ плачется она. Бѣдная, любящая Миллеръ! — нѣтъ, нѣтъ... сердце у насъ было, но ужасное воспитаніе, взбалмошность, своевольство не давали ему возможности даже и пикнуть!

Фрейлейнъ Миллеръ, заливаясь слезами, послала дѣду о нашемъ несчастіи эстафету, — тогда телеграфовъ еще и въ поминѣ не было. Черезъ мѣсяцъ или около того пріѣхалъ дѣдъ, выхлопотавъ себѣ отпускъ, и увезъ насъ, то-есть меня и Миллеръ, съ собою въ деревню. Никогда не забуду я этого свиданія съ дѣдомъ. Когда онъ вошелъ, я встрѣтила его безъ прежней боязни, — фрейлейнъ

Миллеръ, мало-по-малу овладѣвавшая моимъ сердцемъ, успѣла уже передать мнѣ часть своего благоговѣнія и любви къ дѣду, котораго она звала не иначе, какъ: *hoch-edles Herz* и *grosswürdiger Herr*. Къ тому же, меня, дѣвочку, давило, пришибало сознание сиротства, одиночества, отсутствіе родной души. Я бросилась къ дѣду съ рыданіями, а онъ ласково взялъ меня на руки и долго носилъ по залѣ. „Не плачь, Оля, — уговаривалъ онъ меня, когда я, всхлипывая и задыхаясь отъ слезъ, изливала ему свое горе, — только головка разболится. Не тебѣ одной пришлось безъ мамы остаться, — смотри вонъ, — и онъ указывалъ черезъ окно на улицу, — смотри: тамъ половина дѣтей безъ матерей остались!...“ Его спокойный, ласковый голосъ подѣйствовалъ на меня, — я скоро успокоилась и, помню, стала смотрѣть черезъ плечо на улицу, ища глазами дѣтей, о которыхъ онъ говорилъ.

Я зажила въ тихой деревенской глуши и скоро забыла если не свою утрату, то свое горе, найдя новую сильную привязанность. Дѣтское сердце, вѣчно требующее любви, всецѣло полюбило сѣдаго дѣда, а дѣдъ платилъ ему тѣмъ же. Онъ возился со мною по цѣлымъ днямъ, помогалъ Миллеръ въ преподаваніи, не давалъ мнѣ скучать и незамѣтно, но систематически переламывалъ, передѣлывалъ мой взбалмошный характеръ, мой избалованный нравъ. И никогда не только угрозы, но даже и хмураго вида: всегда ровный, спокойный, неизмѣнный. Съ каждымъ днемъ чувствовала я все болѣ-

шую любовь къ нему, привязывалась все сильнѣе, и, часто, помню, недоумѣвала, за что именно не любили дѣда покойные родители. Въ особенности смущало меня, врѣзавшееся почему-то въ память, отцовское выраженіе „фантазёръ“. Оно положительно безпокоило меня, надоѣдало, лѣзло въ голову. Я билась надъ его значеніемъ, но спросить самого „фантазёра“ не рѣшалась, сама не зная почему. Часто, бывало, смотрю я на мѣрно шагающаго дѣда,—смотрю, не спуская глазъ,—и сотни разъ повторяю про себя это мучительное слово. Чтò такое „фантазёръ“? Почему дѣдъ „фантазёръ“?—не выходило у меня изъ головы. Пробовала я спрашивать Миллеръ, но она только мнѣ и отвѣтила обычнымъ: „ахъ, пфуй!“ да посовѣтовала выбросить такіа глупости изъ памяти. Любопытство и муки мои все разгорались, такъ что разъ я не выдержала и, гуляя съ дѣдомъ по его любимой аллеѣ, спросила, наконецъ:

— Дѣдушка, милый дѣдушка, чтò значитъ „фантазёръ“?

Дѣдъ удивленно посмотрѣлъ на меня, подумалъ и отвѣтилъ:

— Такъ зовутъ, Оля, человѣка, который думаетъ о чемъ-нибудь невозможномъ, несбыточномъ...

— А развѣ ты думаешь, дѣдушка?—выпала я живо, какъ-то невзначай и перебивая его.

Дѣдъ совсѣмъ остановился.

— Нѣтъ!—вдругъ отвѣтилъ онъ, подумавши и какъ бы слегка покраснѣвъ, — нѣтъ, Оля, я о невозможномъ не думаю...

— Но папа...—начала было я опять, повинаясь какой-то неодолимой потребности высказаться.

Дѣдъ перебилъ меня.

— Я понимаю, Оля, понимаю! — заговорилъ онъ быстро,—ты хочешь сказать, что слышала это отъ папы!... Твой папа, Оля, былъ хорошій человекъ, но онъ, какъ и всѣ люди, могъ ошибаться. Впрочемъ, ты такъ еще мала, что и говорить объ этомъ не слѣдуетъ,—все равно не поймешь!—и дѣдъ, какъ ни въ чемъ не бывало, высоко поднялъ меня на воздухъ, что онъ дѣлалъ въ особенно ласковыя минуты.

И — странное дѣло — съ тѣхъ поръ я успокоилась, и мучившее меня слово „фантазёръ“ совершенно улетучилось изъ головы.

Но отъ всего прежде слышаннаго я вполнѣ не отдѣлалась, потому что вскорѣ затѣмъ, въ одну изъ подобныхъ же прогулокъ, я опять спросила дѣда, уже гораздо храбрѣе:

— Правда, дѣдушка, мама говорила: ты хотѣлъ мужиковъ на волю выпустить?

— Правда!—спокойно отвѣтилъ дѣдъ.

— Зачѣмъ же, дѣдушка?

— А затѣмъ, Оля, что крѣпостнымъ плохо жить... Вѣдь, ты не захотѣла бы сама стать крѣпостной, не правда ли?

— Нѣтъ; но они мужики, дѣдъ, они... — пробовала я защищать слышанное отъ матери.

— Что же, что мужики?—засмѣялся дѣдъ.—Развѣ у нихъ не такая же голова, руки, сердце, какъ у тебя? Развѣ они не такіе же люди?

— Да, дѣдъ; но они такіе... такіе *простые!*—нашла я, казалось, самое подходящее слово.

— То-есть бѣдны, необразованы, ты хочешь сказать,—подхватилъ дѣдъ.—Такъ что же?... А если бы ты была бѣдна и оставалась всю свою жизнь такою же необразованной, какъ теперь, развѣ бы ты захотѣла быть крѣпостной?

Я была совсѣмъ сбита. Дѣйствительно, я бы никогда не согласилась быть крѣпостной. Оставался послѣдній аргументъ, и я за него ухватилась:

— Мама говорила, что это нехорошо!...

— Почему?

Это „почему“, которымъ дѣдъ обыкновенно огорошивалъ каждое мое „хорошо“ или „нехорошо“,—что было его манерой заставлять меня думать, — поставило меня втупикъ.

— Не знаю... мама...—путалась я, краснѣя.

— И мама твоя не знала, почему, вѣрь мнѣ!—сказалъ дѣдъ.—И мама твоя, и ты, и я, всѣ мы—христіане; всѣ должны помнить великую заповѣдь: не желать ближнему, чего себѣ не желаемъ. Развѣ твоя мама пожелала бы стать крѣпостной?

Вмѣсто отвѣта, помню, я только крѣпче прижалась къ дѣду.

Мало-по-малу, незамѣтно для меня самой, благодаря дѣду, его разговорамъ, его часто шуточнымъ съ виду замѣчаніямъ, брошеннымъ точно невзначай, мимоходомъ,—новые понятія и взгляды закрадывались въ мою еще юную голову, вытѣсняя изъ нея старое. Дѣдъ будилъ во мнѣ

присущія каждому человѣку чувства справедливости, любви, состраданія къ ближнимъ, болѣе несчастнымъ,—будиль, ибо всѣ эти чувства во мнѣ еще спали, никто ихъ не воспитывалъ, не трогалъ и — кто знаетъ? — можетъ быть, безъ него зародыши этихъ лучшихъ свойствъ человѣка, поднимающихъ его надъ дикимъ звѣремъ, заглохли бы въ моемъ сердцѣ, даже не проснувшись. До него, напримѣръ, я не стыдилась бить и ругать людей, если только они не были господа, а высшимъ актомъ милосердія считала подачу нищимъ копѣйки по праздникамъ. Мнѣ всегда, помню, нравились въ такихъ случаяхъ низкіе поклоны нищихъ и ихъ причитанья: „Спаси тебя Господь, милостивица!“ Подавая имъ взятую у мамы копѣйку, я въ самомъ дѣлѣ считала себя милостивицей. Дѣдъ училъ меня смотрѣть иначе на вещи, открывалъ глаза на многое, доселѣ непонятное, заставлялъ незамѣтно стыдиться многого, что мнѣ казалось вполне естественнымъ,—словомъ, незамѣтно, но шагъ за шагомъ, тихо, спокойно, безъ угрозъ и наказаній, переламывалъ, перевоспитывалъ меня. Добрый, славный дѣдъ! И какъ онъ всегда радовался, какъ сіяло его доброе лицо, когда старыя привычки все больше и больше забывались мною! Онъ бралъ меня тогда на руки, высоко подбрасывалъ на воздухъ и говорилъ:

— Смотри, будь у меня голова! — Это было высшею похвалою въ его устахъ.

Но, конечно, все это сдѣлалось не сразу и не скоро, потому что я была, дѣйствительно, сильно испорчена домашнимъ баловствомъ и своевольничаньемъ. Много гад-

кихъ сценъ и поступковъ выкинула я, прежде чѣмъ дѣду удалось передѣлать меня на свой ладъ. Сколько обидныхъ для него пакостей творила я день за днемъ, уже зная, что поступаю скверно, чувствуя свою неправоту! Но такой ужъ у меня былъ испорченный характеръ, — своевольный, дерзкій, буйный. Какой-то бѣсенокъ просыпался во мнѣ иногда и точно толкалъ: „дѣлай, дѣлай, нарочно!“ А моя материнская вспыльчивость! Боже мой, до чего она иногда доводила меня!... Но умный, добрый дѣдъ со всѣмъ этимъ справлялся терпѣливо, одинаково спокойно и неизмѣнно-ровно. Расскажу два случая, ясно и цѣльно обрисовывающихъ его манеру воспитанія или, лучше сказать, моего переламыванія.

Случилось мнѣ какъ-то разъ поссориться со своею сверстницей Настей, дочерью кухарки Оеклы. Обыкновенно съ Настей мы не ссорились, потому что характеръ былъ у нея робкій, покорный, тихій, и она всегда и во всемъ мнѣ уступала. Но тутъ вдругъ съ чего-то заупрямилась, — я вспылила, обозвала ее холопкой и, помня еще угрозы матери прислугѣ, крикнула ей внѣ себя:

— Я тебя, негодную, запорю!

Я, конечно, сейчасъ же спохватилась, вспомнивъ, что въ сосѣдней комнатѣ сидѣлъ за газетой дѣдъ, но было уже поздно. Въ полуоткрытую дверь я увидѣла, какъ дѣдъ вздрогнулъ, бросилъ газету и позвонилъ. Помню, что въ то мгновеніе во мнѣ влокотали и гнѣвъ, и страхъ, и стыдъ. Я стояла неподвижно, точно каменная, и какъ-то невольно слѣдила за всѣми движеніями дѣда, не спуская съ него тревожнаго взгляда.

— Розгу!... Принеси розгу!—сказалъ дѣдъ, когда на звонъ явился слуга Яковъ.

Мы обѣ съ Настей поблѣднѣли и стояли, не дыша. Каждая изъ насъ думала, что розгу принесутъ именно для нея. Мнѣ страшно хотѣлось просить дѣда, но языкъ не шевелился, и я только тихо плакала. Настя тоже.

Розгу принесли, и дѣдъ направился съ нею къ намъ. Испугъ мой перешелъ въ ужасъ,—ноги подкашивались, сердце перестало биться.

— Дѣдъ, дѣдъ, дѣдъ!—взмолилась я, бросаясь къ нему въ охватившемъ меня ужасѣ,—дѣдъ!—Я рыдала навзрыдъ, и слезы мѣшали мнѣ выговаривать слова. Бѣдная Настя сидѣла, разинувъ ротъ и вытаращивъ широко глаза.

— Что, Оля, что?—спокойно спросилъ дѣдъ на мои всхлипыванія.—Ты хотѣла сѣчь Настю, а и велѣлъ принести розгу... Яковъ, помоги Олѣ!—и онъ протянулъ мнѣ розгу, а Яковъ подошелъ, насмѣшливо улыбаясь,—онъ отлично зналъ и понималъ дѣда.

— Что же, Оленька?—спросилъ онъ,—дѣдъ всѣмъ приказывалъ звать меня просто Олей, — что же, прикажете разложить Настю? Настя, ложись! Оленька сѣчь тебя будетъ!

Тутъ Настя вдругъ взвизгнула и заревѣла благимъ матомъ, а за нею я. Вся въ слезахъ, ловила я руки дѣда, цѣлуя и прося простить мнѣ. Но дѣдъ все повторялъ свое:

— Ты хотѣла *пороть* Настю?... На, попробуй, какъ это сладко, пори, а я посмотрю, дѣйствительно ли ты такая злючка!

— Дѣдъ, голубчикъ дѣдъ, — молила я, падая на колѣни, — прости меня!

— Не мнѣ тебя прощать, а Настѣ, — спокойно, но угрюмо отвѣтилъ дѣдъ, опуская розгу.

— Настя, голубка моя! — Я подползла къ ней на колѣняхъ и осыпала поцѣлуями ея платье, руки, лицо. — Прости, прости! — молила я въ глубокомъ раскаяніи, но бѣдная Настя отъ страха ничего не видѣла и не понимала. Наконецъ, дѣдъ сжалился надо мною, поднялъ меня съ полу и сказалъ:

— Я такъ и думалъ, Оля, что ты неспособна мучить другаго человѣка. Но зачѣмъ же ты лжешь на себя? Зачѣмъ грозить сдѣлать то, чего никогда не сдѣлаешь?

— Не бу-у... не бу-у-ду! — всхлипывала я истерически.

— И не дѣлай, никогда не дѣлай! Дашь слово?

Я дала, и дѣйствительно съ тѣхъ поръ языкъ мой ни разу въ жизни не грозилъ никому розгой.

Но всего труднѣе было отучить меня отъ драчливости. Мама никогда не сдерживала моей вспыльчивости, и я, бывало, какъ разойдусь, то становлюсь точно бѣшеной, хотя послѣ вспышки, конечно, каюсь, какъ всѣ вспыльчивые. Забывая все, я толкалась ногами и царапалась, какъ кошка... И уговаривалъ меня дѣдъ, и стыдилъ, — ничто не помогало: обуздывать себя, казалось, было мнѣ не подъ силу. Пришлось дѣду придумать особенное, сильное средство. Драки у меня выходили только съ Анютой, сестрой Насти, — дѣвочкой бойкой, неуступчивой, на сестру свою не похожей. Разъ, когда яхватила Анюту по

щекѣ, а та побѣжала, по обыкновенію, съ воемъ къ матери, смиренная, тихая Оекла ворвалась, какъ буря, и порядочно оттрепала мнѣ вихорь.

— Вотъ, будешь знать, какъ другихъ бить!—крикнула она при этомъ.

Я просто не взвидѣла свѣта, изъ глазъ посыпались искры, ноги подкосились. И боль, и испугъ, и неожиданность, и обида, и стыдъ,—глубокій стыдъ,—приковали меня къ мѣсту. Но вдругъ все это сразу смѣнилось бѣшенствомъ, необузданною яростью, жгучею потребностью мести. Не помня себя, ничего не сознавая, пылая одною страшною злобой, побѣжала я въ кабинетъ дѣда съ жалобой, оглашая весь домъ невѣроятнымъ визгомъ. На мой визгъ выскочила встревоженная Миллеръ съ безчисленными вопросами. Но я не отвѣчала, а, держась за голову и продолжая выть, бѣгала изъ комнаты въ комнату по всему дому, ища дѣда. Его нигдѣ не было.

— Was doch?—чуть не падая въ обморокъ, закричала Миллеръ, догнавъ, наконецъ, меня и схвативъ за рукавъ,—was?

— Оекла!—могла проговорить я только сквозь стиснутые зубы,—Оекла!

— Ахъ! Mein Gott!—всплеснула Миллеръ руками, увидѣвъ слѣды пальцевъ Оеклы на моей прическѣ,—ахъ!

Вся боль, вся обида точно удесятерились во мнѣ съ этимъ „ахъ“. Я вырвалась и побѣжала...

Оекла была въ корридорѣ, когда я съ нею столкнулась. Увидавъ своего врага, какъ бѣшеная кошка, бросилась я на нее, царапая и что-то шипя въ безсильной

ярости. Но та повалила меня на колѣни своими дюжими руками и стала просто-на-просто тузить, приговаривая: „Не бей, не бей, не бей другихъ! Слушайся дѣда!“ Сначала я ревѣла и задыхалась отъ бѣшенства и боли, но что было дальше—не помню.

Я пришла въ себя въ своей комнатѣ, на своей кровати; Миллеръ сидѣла возлѣ и, плача, мѣняла мнѣ компрессы въ головѣ. Тѣло у меня ныло, болѣло, но ни бѣшенства, ни прежней обиды уже не было,—все прошло! Когда я очнулась и припомнила всѣ подробности происшедшаго, мнѣ стало невыразимо стыдно.

— *Agnes Kind!*—шептала добрая Миллеръ.

Я взяла ея руку, поцѣловала и заплакала. Но это было уже хорошія, человѣческія слезы.

— Нѣтъ, нѣтъ... я... злая!—шептала я ей въ отвѣтъ,—злая!

Вошелъ дѣдъ. Онъ былъ блѣденъ, но, по обыкновению, спокоенъ. Не говоря ни слова, онъ сѣлъ на край кровати и взялъ мою руку.

— Дѣдушка, милый дѣдушка!—заплакала я сильнѣе поднося его руку къ губамъ,—дѣдушка!

— Что, птичка моя?—спросилъ ласково дѣдъ и сталъ гладить мои волосы.

— Прости меня... Я не буду...

— Вѣрю, вѣрю, Оля,—отвѣтилъ онъ еще ласковѣе.

— Анята... Настя!..

Откуда-то мигомъ взялись обѣ и стали цѣловать меня, а я буквально осыпала ихъ поцѣлуями. Прибѣжала и Оеела, вся въ слезахъ, съ причитаньями и съ жало-

бой на то, что все это приказалъ ей сдѣлать дѣдъ. Дѣдъ молчалъ, и впослѣдствіи мы никогда не поминали съ нимъ происшедшаго,—оно точно умерло... Но за то я навсегда перестала драться.

Однако, выходитъ такъ, что я, кажется, больше говорю вамъ о себѣ, чѣмъ о дѣдѣ, исторію котораго я взялась рассказать. Говорила я раньше, что я плохая рассказчица! Но, кромѣ того, жизнь дѣда до того тѣсно связана съ моею, что, говоря о немъ, невольно какъ-то захватываешь и себя. Вмѣстѣ коротали мы наши дни въ глуши, въ одиночествѣ, вмѣстѣ и одинаково волновались, жили, думали,—до того вмѣстѣ, что порою насъ совсѣмъ нельзя отдѣлять другъ отъ друга. А что были это за дни для дѣда, что за дни! Я была его единственнымъ другомъ, его собесѣдникомъ, близкимъ ему человекомъ, дѣлившимъ его радости и горе. Со мною только отдыхалъ онъ, со мною надѣялся, ждалъ лучшаго будущаго, въ которое страстно вѣрилъ. Я была для него больше, чѣмъ Пятница для Робинзона, положеніе котораго такъ близко подходило къ положенію бѣднаго дѣда. Что бы онъ дѣлалъ безъ меня? Кому бы отдалъ свою потребность любить, куда бы дѣвалъ энергію, насущную потребность въ живомъ, осмысленномъ трудѣ, не подвернись ему дѣло моего воспитанія? И какъ страстно отдался онъ ему весь, какъ систематически, какъ строго-последовательно воспитывалъ онъ во мнѣ человека!

Правда, онъ любилъ читать, у него была прекрасная

библіотека, онъ любилъ зарываться въ книги; но развѣ какія бы то ни было книги могутъ замѣнить живое дѣло, замѣнить друга, близкаго человѣка, спасти отъ хандры и тоски, доводящей порою узника до самоубійства и помѣшательства? А какъ походило положеніе дѣда на положеніе заключеннаго!

Его не давили, правда, четыре гладкія бѣлыя стѣны; его тюрьма была шире, больше, здоровѣе: ея стѣны начинались съ границами деревни, выѣздъ изъ которой былъ ему запрещенъ строго-на-строго. Въ этихъ предѣлахъ онъ могъ считаться даже свободнымъ человѣкомъ, но только относительно; а эта относительность могла, пожалуй, сдѣлать свободу хуже заключенія. Слово „опальный“ во всемъ связывало ему руки. Ему прямо, официально „посоветовали“,—а насколько такіе совѣты разнятся отъ прямыхъ приказаній, пусть судятъ тѣ, кто ихъ выслушивалъ,—какъ можно меньше входить въ сношенія со своими крестьянами и, для спасенія отъ худшаго, избѣгать „всего... такого...“ Для болѣшей определенности, это „всего такого“ сопровождалось подмигиваніемъ и выразительными движеніями всѣхъ пяти пальцевъ правой руки. Въ виду этого, дѣдъ бросилъ всякія мечты объ улучшеніи хозяйства, сдалъ всю землю крестьянамъ, а себѣ оставилъ только любимый садъ, въ которомъ лѣтомъ возился по цѣлымъ днямъ, да книги. Когда я подумаю только о томъ, что было бы съ дѣдомъ, не пошли ему судьба меня, сейчасъ же вспоминаются слова великаго поэта:

«Тяжко впасть у кайданы»,

говорить онъ, „умирать въ неволи“, но еще хуже, сто разъ хуже—„спаты на воли“. Бѣдному дѣду пришлось бы тогда худшее: „спать на волѣ“.

Слово „опальный“ носилось за нимъ слѣдомъ, отдаляло отъ него всѣхъ, дѣлало какимъ-то прокаженнымъ, пугаломъ, котораго всѣ сторонились. Кромѣ того, оно отрывало широкое поле для грязныхъ интригъ противъ него, каверзъ, инсинуацій со стороны разныхъ проходимцевъ, которыхъ было-таки немало кругомъ. Находились и такіе люди, которые инсинуаціями на добраго, честнаго дѣда надѣялись выдвинуться, обратить на себя вниманіе и, пожалуй, чего добраго, заслужить благодарность. О, такихъ было много, очень много! Лучшіе люди, цѣнившіе и уважавшіе дѣда, въ глубинѣ души раздѣлявшіе его взгляды, боялись посѣщать его, вести съ нимъ открытое знакомство, благодаря подобнымъ проходимцамъ, поставившимъ себѣ какъ бы цѣлью и долгомъ слѣдить за каждымъ его шагомъ. Если они и заѣзжали къ намъ изрѣдка, то всегда какъ-то украдкой, невзначай, подъ предлогомъ купли или продажи чего-нибудь, и эта боязливость, этотъ трепетъ отравляли дѣду самую радость свиданія съ дорогими людьми, съ которыми потолковать и поспорить онъ всегда былъ бы не прочь. Атмосфера доноса, инсинуацій, шпіонства до того всевластно царилъ тогда кругомъ, что дѣдъ боялся за своихъ гостей. Однако, все-таки, эти рѣдкія-рѣдкія посѣщенія оживляли его, приносили ему много отрады.

Они всегда сопровождались горячими спорами или толками, а при этихъ спорахъ и толкахъ всегда присут-

ствовала я, такъ какъ дѣдъ никогда не разставался со мною, не отпуская отъ себя ни на шагъ. Сначала я засыпала подъ нѣкъ на колѣняхъ дѣда, а послѣ, когда стала постарше и поумнѣе, слушала ихъ со жгучимъ, страстнымъ любопытствомъ просыпающейся здоровой юности, которая стремится все понять, все постигнуть, вездѣ отыскать чистую правду. Иногда, въ пылу спора, дѣдъ обращался ко мнѣ, какъ бы ища подтвержденія своихъ словъ, и заставлялъ меня высказывать свое мнѣніе.

— Оля... ну, какъ?... Что же ты молчишь?—кричалъ онъ мнѣ. И когда я, вся краснѣя, путаясь, конфуясь, высказывала, наконецъ, почти слово въ слово то, что утверждалъ онъ, такъ какъ дѣдъ давно передалъ мнѣ цѣлкомъ свои взгляды и симпатіи,—восторгу его не было конца.

— Слышите, слышите?—говорилъ онъ тогда разгоряченному собесѣднику,—слышите?! Вотъ она, правда-то! Сама юность это утверждаетъ!... А юное сердце, сударь, не ошибается,—нѣтъ, не ошибается!

И, почти не слушая возраженій, онъ протягивалъ ко мнѣ свои сильныя руки, какъ бы желая поднять меня на воздухъ и точно забывъ, что на мнѣ уже было длинное платье.

Вотъ я и опять къ себѣ перескочила, но, судите сами, могла ли я этого не сдѣлать, рассказывая про дѣда, когда мы съ нимъ были связаны во всемъ и всегда?

Самымъ тяжелымъ, самымъ непріятнымъ для насъ обстоятельствомъ, — я себя уже не отдѣляю отъ дѣда, — было то, что наши ближайшіе сосѣди, всѣ тѣ, что жили

вокругъ нашей „Пустыньки“, были скверные люди и закоренѣлые враги дѣда, хотя дѣдъ никогда не сдѣлалъ имъ ничего дурнаго и всегда,—еще до ссылки,—избѣгалъ какихъ бы то ни было сношеній. Они травили его, какъ могли, инсинуировали, писали доносы, изъ-за которыхъ дѣду выпало немало непріятностей, шпионили за нимъ почти отерты. Въ особенности отличался ближайшій сосѣдъ нашъ, помѣщикъ Усатовъ, жестокій, злой и крайне необразованный человѣкъ. Его нахальство и дерзость доходили до того, что онъ не стѣснялся, проѣздомъ черезъ деревню, открыто разспрашивать нашихъ крестьянъ о житьѣ-бытьѣ дѣда, о томъ, что онъ дѣлаетъ, кто у него бываетъ,—словомъ, обо всемъ. Но и этого показалось ему мало, — несмотря на все, онъ рѣшился даже лично пріѣхать къ намъ, какъ ни въ чемъ не бывало, подъ предлогомъ взять въ аренду землю, сданную дѣдомъ крестьянамъ.

Какъ теперь помню его коренастую фигуру, красное нахальное лицо съ закрученными черными усами, его венгерку съ шитьемъ и воспаленные глаза, когда онъ пренахально ввалился въ гостиную. Дѣдъ принялъ его сдержанно, но, по обычаю, вѣжливо.

— Чему я обязанъ неожиданною честью?...—холодно спросилъ онъ, щура свои глаза, что выдавало его волненіе.

— Какое тамъ „честью“!—громко засмѣялся пьяный Усатовъ.—Просто, батенька, заѣхалъ по-сосѣдски, какъ на Руси-матушкѣ принято... Дѣло есть!

Онъ путался, заикался и, видимо, хотѣлъ язвить дѣда, но тотъ даже не моргнулъ глазомъ.

— Какое дѣло?—спросилъ онъ такъ же холодно-вѣжливо.

— Землю хочу вашу снять... Все равно не хозяйничаєте, мужикамъ сдаете...

— Сдаю, — отвѣтилъ дѣдъ, — потому и не могу уже вамъ отдать...

— Пустяки-съ, пустяки, батенька: то — мужики, а то — я, дворянинъ! Дворянину всегда должно отдать преимущество, по нашимъ, по русскимъ законамъ. Впрочемъ... по-французски... оно, конечно!...—и Усатовъ залился, не договоривъ, грубымъ, пьянымъ хохотомъ.

Я увидѣла, что у дѣда начинаютъ подергиваться углы губъ и глазъ, и инстинктивно подбѣжала къ нему. Дрожжащими руками посадилъ онъ меня возлѣ себя и, умиро-творенный, можетъ быть, моею близостью, отвѣтилъ такъ же спокойно, чуть-чуть рѣзче:

— Земли моей я вамъ не отдамъ ни въ какомъ случаѣ и прошу впредь меня такими предложеніями не беспокоить!

Онъ поднялся.

Усатовъ побагровѣлъ еще больше, глаза его широко раскрылись, губы искривились въ гадкую улыбку; казалось, вотъ-вотъ онъ брякнетъ что-то особенно скверное, но, къ счастью, онъ молча поднялся и такъ же молча вышелъ, пошатываясь. Бѣдный дѣдъ дрожалъ.

Не уступала Усатову, во всѣхъ отношеніяхъ, и ссѣдка наша, вдова майора Прыщева, съ ея шестью перерзѣлыми дочерьми, тщетно, но упрямо ловившими жениховъ по всему уѣзду. Цѣлыя легенды ходили о нихъ

по этому поводу, а самой майоршу, за ея языкъ, всѣ звали „газетой“. Для своихъ крѣпостныхъ она являлась такимъ страшилищемъ, что предводитель не разъ намекалъ ей довольно прозрачно объ опеке. И вотъ такая-то особа съ какимъ-то наслажденіемъ взялась травить дѣда сплетнями, доносами, инсинуаціями и надзирать за его поведеніемъ. Къ счастью, однако, она была такъ хорошо извѣстна всѣмъ, что на ея слова мало или почти совсѣмъ не обращали вниманія. Тогда она перемѣнила тактику и, чтобы досадить дѣду, взялась за меня.

Разъ, когда я съ Настей, Анютой и другими подружками,—мнѣ уже было пятнадцать лѣтъ,—шла въ лѣсъ за грибами, на насъ наскочила въ коляскѣ г-жа Прыщева и, завидя меня, крикнула кучеру остановиться.

— *Ma chère, ma très chère!*—кинула она мнѣ, сладко улыбаясь,—вы внучка *monsieur N?*—Она назвала фамилію дѣда.

— Да, *madame*,—отвѣтила я, дѣлая ениксенъ.

— *Ah, pauvre enfant, pauvre enfant!* Какъ мнѣ васъ жаль, бѣдная сирота, безъ матери!—завизжала Прыщева, закатывая глаза къ небу.—Бѣдная сирота! Я буду вашей шатап, хотите, а? Садись ко мнѣ, милка!

Я стояла, удивленная и пораженная, но та стала осыпать меня поцѣлуями, схватила въ свои объятія и, не смотря на мое прямое сопротивленіе, втащила къ себѣ въ коляску.

— Трогай!—приказала она кучеру, и я помчалась, чуть не плача.

— Ненадолго, ненадолго!—тараторила Прыщева, все

цѣлуя да цѣлуя меня. — Я только познакомлю васъ со своими дѣвочками. Ахъ, какая ты красавица, душева! Ну можно ли такой красавицѣ жить въ глуши, цѣлѣсти безъ общества! Да въ тебя сразу влюбятся всѣ наши кавалеры!

Все это и тому подобное Прыщева тараторила мнѣ пятнадцатилѣтней дѣвчонкѣ, всю дорогу до своего дома. Я сидѣла въ коляскѣ, какъ на иглобѣгахъ, и, повторяю чуть не плакала. Когда мы пріѣхали, на меня выскочили всѣ шесть старыхъ дѣвъ разомъ и стали также души въ объятіяхъ, осыпать поцѣлуями, называть *chante-mante*, *ange* и тому подобными, еще незнакомыми мнѣ эпитетами. Всѣ онѣ надо мною ахали, причитали, разсыпались въ сожалѣніяхъ, кивая весьма прозрачно въ сторону дѣда. И несчастная я, и бѣдная, и дикаркой расту, и въ глуши пропадаю, гдѣ завянетъ моя красота, и прочее, въ томъ же родѣ, безъ конца! А когда онѣ узнали, что дѣдъ учить меня и алгебрѣ, и геометріи, и естественнымъ наукамъ, какъ мальчика, то пришли просто въ ужасъ. Онѣ даже сказали что-то обидное для него, но сейчасъ же спохватились, замѣтивъ на моихъ щекахъ румянецъ негодованія.

— Бѣдная, бѣдная,—кричали онѣ,—что же изъ васъ выйдетъ... *bas bleu?* О, это ужасно... это ужасно! Вамъ нуженъ свѣтъ, умѣнье держать себя *comme il faut*. Бѣдное дитя!

Наконецъ, онѣ отпустили меня, измучивъ болтовней, объятіями, угощеніями и потребовавъ слова, что я навѣщу ихъ. Я, понятно, не дала его, а чтобы отвязаться скорѣе, сказала, что спрошусь у дѣда, что безъ него я

ничего не привыкла дѣлать. Онѣ кричали опять: „Pauvre enfant!—нѣтъ, нѣтъ, мы приплемъ за вами экипажъ!“ Я вырвалась и уѣхала. Ахъ, какъ я жалѣла послѣ, что наотрѣзъ, хотя бы и грубо, не отказалась отъ этого приглашенія!

Съ какимъ восторгомъ примчалась я въ „Пустыньку“, къ дорожному и милому дѣду! Онъ уже зналъ о моемъ похищеніи отъ вернувшихся сверстницъ, и я видѣла, что онъ взволнованъ.

— Дѣдъ, дѣдъ!—кинулась я къ нему.—Какъ я рада, что отвязалась, наконецъ... Представь себѣ!—и я стала рассказывать все, все, съ мельчайшими подробностями,— всѣ вздохи, охи и разговоры. Дѣдъ все слушалъ молча, но когда я дошла до ужаса по поводу моего ученья, онъ спросилъ:

— А ты какъ думаешь, Оля, хорошо ли дѣлаешь, что учишься?

— Конечно, да,—отвѣтила я, не колеблясь ни секунды.

— Да, да, — подхватилъ дѣтъ, — всегда такъ думай! Женщина—такой же человѣкъ, какъ мужчина, и еще вопросъ, дитя мое, кому нужнѣе образованіе: ей или намъ?

Къ моему удивленію, дѣдъ не выказалъ ни малѣйшаго негодованія на похищеніе меня Прыщевой, какъ я ожидала, а, напротивъ, когда я кончила свой рассказъ, онъ сказалъ совсѣмъ неожиданно для меня:

— А знаешь, Оля, что... Поѣзжай, право, къ нимъ, когда онѣ пришлютъ за тобой!—и онъ въ волненіи заходилъ по комнатѣ.

— Дѣдъ, дѣдъ!—почти крикнула я,—ни за что!... Онѣ дурные люди!

— Это вѣрно, Оля, но, все-таки, напрасно,—убѣждалъ меня дѣдъ, хотя, какъ мнѣ казалось, это стоило ему немало.—Поѣзжай! Я дѣйствительно воспитываю тебя дикаркой... Все со мной, старикомъ, сидѣть тебѣ, молодой птичкѣ, не слѣдуетъ. Посмотри людей, жизнь... Вѣдь, повѣчно же тебѣ жить со старикомъ-дѣдомъ!

Но я не дала ему договорить. Я выпулась къ нему и, поднявшись на пальцахъ, зажала ему ротъ.

— Дѣдъ... слышишь, дѣдъ?—никогда! Кромѣ тебя, мнѣ никого не нужно!

Дѣдъ посмотрѣлъ на меня, заглянулъ въ глаза и, вѣроятно, прочелъ въ нихъ твердую рѣшимость, потому что, обнявъ меня, сказалъ только:

— Ну, какъ знаешь, какъ знаешь, Оля!

Черезъ день Прыщева прислала-таки за мною коляску, съ запиской, чтобы ея „tres chère ange“ непременно къ ней явилась, такъ какъ она-де жить безъ меня не можетъ. Разорвавъ записку, я выбѣжала сама на крыльцо и прямо сказала кучеру передать барынѣ, что я никогда и ни за что не поѣду туда, куда не ѣздитъ дѣдъ.

— Такъ и скажите, — добавила я, — такъ прямо и скажите!

Коляска уѣхала, но что же изъ этого вышло? Трудно повѣрить, что сдѣлала г-жа Прыщева, а, между тѣмъ, это фактъ. Она написала предводителю длинное жалобное письмо, призывая его вступить за „несчастную сироту дворянку“, т.-е. меня, „которую-де злой, безум-

ный и дурной старикъ (это дѣдъ-то!), котораго всѣ считаютъ отвратительнымъ и ужаснымъ человѣкомъ, всячески тиранить, мучить, держать взаперти, учить безнравственности, обращаетъ въ свою вѣру и воспитываетъ, какъ мальчика“. Все это, буквально, выраженія самой Прищевой. Въ концѣ она приписывала мнѣ небывалыя достоинства, называла „ангеломъ“, увѣряла, что я рвусь къ ней всею душой, что ея сердце обливается кровью и слезами при одномъ воспоминаніи обо мнѣ... и т. д. и т. д. все въ томъ же родѣ.

Нашъ предводитель былъ прекрасный человѣкъ; онъ глубоко уважалъ дѣда, хотя во многомъ съ нимъ расходился, но онъ былъ человѣкъ въ высшей степени гуманный, просвѣщенный, вѣжливый,—человѣкъ, умѣвшій, цѣнить чужія искреннія мнѣнія. Получивъ письмо г-жи Прищевой и зная, что оно—сплошная ложь и клевета, онъ, тѣмъ не менѣе, не оставилъ его безъ вниманія, а самъ пріѣхалъ съ нимъ къ дѣду — и вотъ почему. Онъ зналъ, что на дѣда такъ и сыплются кругомъ доносы, ябеды, всякія грязныя сплетни. Оставъ онъ письмо Прищевой безъ вниманія, новая гнусная клевета распространилась бы безпрепятственно кругомъ. Онъ хотѣлъ повести дѣло официально, чтобы зажать ротъ сплетницѣ.

— Благодарю... благодарю! — еле выговорилъ бѣдный дѣдъ отъ волненія, сжимая руку предводителя, по прочтеніи привезеннаго имъ письма, — благодарю!... Оля! — крикнулъ онъ въ мою комнату.

Я вошла и застала дѣда съ письмомъ въ рукѣ. Онъ былъ блѣденъ, какъ мертвецъ, дрожалъ, и мнѣ даже по-

казалось, что въ его честныхъ, мужественныхъ глазахъ стоятъ слезы. Все выносилъ онъ до сихъ поръ молча, спокойно, твердо, но обвиненіе въ жестокости, въ варварствѣ со мною, его любимицей, наглое обвиненіе въ томъ, что онъ, любящій, добрый, мучить меня, — было выше его силъ.

— Оля, — сказалъ онъ дрожащимъ голосомъ, подавая мнѣ письмо, — на, прочти и отвѣчай господину предводителю на его вопросы!

Взволнованная состояніемъ дѣда, я взяла письмо и стала читать. Дрожь меня пробирала, холодомъ сжимало мое тѣло, когда я пробѣгала эти гнусныя строки. Сердце у меня стучало, точно рвалось изъ груди, а къ горлу, къ глазамъ подступали слезы.

— И вы... и вы... могли повѣрить?... Могли? — чуть пробормотала я предводителю и разрыдалась.

— Ни одной строчкѣ, ни одному слову! — крикнулъ старикъ-предводитель, подбѣгая ко мнѣ и хватая мою руку, — ни одной буквѣ не вѣрю, дитя мое!

— Это ложь! это гнусность! это клевета! — кричала я, вся въ слезахъ.

— Конечно! Знаю! — отвѣчалъ предводитель. — Я затѣмъ и пріѣхалъ, чтобы имѣть возможность заткнуть глотку этой ужасной женщинѣ, чтобы выступить въ защиту вашего почтеннаго дѣдушки, котораго я, — какъ и вы, — уважаю. Но поймите же, дитя мое, что я долженъ былъ выполнить эту тяжелую формальность... Поймите...

Я уже не слушала... Я бросилась къ дѣду, который сидѣлъ блѣдный, тяжело дыша... Я цѣловала его, глади-

ла сѣдые волосы, обливала лицо его слезами... И вдругъ дѣдъ не выдержалъ, схватился за грудь руками, не то застоналъ, не то зарыдалъ глухо, безъ слезъ, спазматически. Спазмы мѣшали ему дышать,—это былъ его первый припадокъ.

Предводитель, весь блѣдный, схватилъ графинъ и подбѣжалъ къ дѣду.

— Успокойтесь,—крикнулъ онъ мнѣ,—вы, дитя мое, только разстраиваете старика... Выпейте-ка, выпейте,—пройдетъ!

Дѣдъ быстро оправился, но я не могла успокоиться.

— Скажите, — рыдала я, — что имъ всѣмъ сдѣлалъ дѣдъ, чего они отъ него хотятъ, за что его гонять и травятъ?

— Не его... не вашего дѣда,—перебилъ меня предводитель, — онъ никому зла не сдѣлалъ и не сдѣлаетъ... Вы ошибаетесь! Это просвѣщеніе травятъ, науку, все то, чѣмъ надѣлила насъ Европа... Ему не хотятъ простить, что онъ не похожъ на нихъ, что онъ европеецъ, а не вандалъ... что онъ имѣетъ свои principes, что онъ стойкій, независимый человѣкъ... вотъ что! Это старая пѣсня, дитя мое!—закончилъ онъ, вздохнувъ.

За Прыщеву онъ взялся круто. Чтобы покончить дѣло, эта сплетница должна была написать ему формальное заявленіе, въ которомъ признавала ложью все письмо и просила извиненія. Копію этого письма она сама должна была переслать дѣду.

Такъ вотъ какіе люди окружали насъ съ дѣдомъ, какими розами надѣляла насъ жизнь. Удивительно ли, что

дѣдъ такъ сильно, такъ беззавѣтно привязался ко мнѣ, своему дѣтищу, которому онъ передалъ и свою душу, и сердце, всѣ свои взгляды, свои симпатіи, и которое,—какъ онъ зналъ,—сохранить ихъ въ себѣ до конца. Я дѣйствительно была его дѣтищемъ, всецѣло и нераздѣльно. Онъ переломилъ, перевоспиталъ меня, развилъ мое сердце, мою голову,—мы понимали другъ друга съ полуслова. Монотонно тянулись наши дни, но мы забывались за работой, за дѣломъ, и не скучали. До обѣда мы учились, играли на фортепіано, возились въ саду или въ оранжереѣ, въ которой были собраны чудеса флоры чуть ли не цѣлаго міра. Съ Миллеръ, доброй, старой Миллеръ, я скоро перестала заниматься, такъ какъ преподаваніе взялъ на себя дѣдъ, предоставивъ ей, къ ея великой радости, завѣдываніе домою. Она, любившая меня даже больше своей старой сѣрой кошки Амальхенъ, ни за что не хотѣла разставаться со мною и, такимъ образомъ, чувствовала себя прекрасно въ своей новой роли, тѣмъ болѣе, что безъ дѣла она оставаться не могла и, какъ всякая нѣмка, носила въ крови кухню и елочи.

Ну, и хозяйничала же она!...

— Ради Бога, поменьше картофеля и побольше масла,—не жалѣйте его!—упрашивалъ ее часто дѣдъ, но добрая, во всемъ и всегда уступавшая нѣмка, благоговѣвшая предъ дѣдомъ, тутъ, въ хозяйствѣ, была непоколебимо тверда въ своихъ принципахъ и въ своей скупости. Много картофеля и мало масла—было ея завѣтомъ и, волей-неволей, стало подъ конецъ и нашимъ, благодаря ея твердости.

Послѣ обѣда мы катались верхомъ или гуляли по деревнѣ (послѣобѣденный моціонъ былъ тогда въ модѣ), заходя въ избы крестьянъ, которымъ дѣдъ всегда давалъ какіе-нибудь совѣты. Они любили его до обожанія и каждое слово принимали съ глубокою вѣрой. Помимо того, что дѣдъ, конечно, никогда не дрался, не бранился, какъ другіе, и дѣлалъ для нихъ все, что могъ,— всѣ они отлично знали, что дѣдъ хотѣлъ ихъ освободить. Не только свои, но и всѣ чужіе крестьяне какъ-то особенно мягко и любовно улыбались ему при встрѣчѣ.

— Здравствуй, батюшка, здравствуй, кормилецъ! — раздавалось вокругъ, при нашихъ прогулкахъ, и въ этихъ словахъ, въ ихъ тонѣ слышался не рабскій вымученный привѣтъ, а чистая человѣческая радость, неподдѣльная, некупленная, — слышалась съ какимъ-то не то сожалѣніемъ, не то грустью. Да, грустью, потому что всѣ простые, бѣдные люди жалѣли его отъ души. Только отъ нихъ однихъ и слышалъ дѣдъ человѣческую ласку!

По вечерамъ мы читали въ библіотекѣ. Дѣдъ велъ строго-систематически эти чтенія и требовалъ отъ меня словеснаго или письменнаго отчета въ каждой прочтенной главѣ. Послѣ чтенія иногда мы устраивали балъ. Зажигалась люстра въ залѣ, Миллеръ садилась за рояль, сбѣгала вся дворня, и начинались танцы. Дѣдъ и я танцовали со всѣми, кого только успѣли выучить, по очереди. Затѣмъ мы играли въ жмурки или другія игры,— если дѣдъ не устраивалъ туманныхъ картинъ съ объясненіями,—и хохотали и веселились, какъ ни въ чемъ

не бывало, во всякомъ случаѣ, пріятнѣе и непринужденнѣе, чѣмъ всѣ Усатовы и Прыщевы цѣлаго міра.

Впрочемъ, объ одномъ я умолчала. Разъ въ мѣсяцъ, не чаще, мы получали отъ нашего единственнаго корреспондента, Сережи, письмо. Въ первые годы онъ сильно скучалъ по мнѣ и страшно рвался въ „Пустыньку“, куда его, конечно, не пускали. Читая его письма, я сначала обыкновенно сильно разстраивалась. Въ нихъ сквозила грусть, скука и ясно слышалась жалоба на то, что ему, бѣднягѣ, не давали ни выспаться, ни наѣсться вволю.

Но съ теченіемъ времени, мало-по-малу, тонъ его писемъ сталъ значительно измѣняться—и чѣмъ дальше, тѣмъ больше. Стала проскальзывать какая-то фальшивая нота безшабашнаго ухарства, хорошо знакомаго всѣмъ, помнящимъ тогдашнюю корпусную жизнь. Препней мягкости, грусти, тоски по родному дому и скрытыхъ слезъ—какъ не бывало! Сережа все больше описывалъ корпусныя шалости съ нелюбимыми офицерами и дядьками,—шалости, которыя въ его глазахъ, очевидно, принимали характеръ подвиговъ, сообщалъ разные обидныя прозвища ихъ, вродѣ: „жаба“, „корыто“, „хлюсть“ и т. п., и, въ тому же, все порывался на модный тогда Кавказъ „бить черкесовъ“. Признаться, этотъ новый тонъ писемъ былъ мнѣ очень непріятенъ, даже больше, чѣмъ дѣду, который иногда увѣрялъ, что все это пройдетъ. Въ особенности не понимала я этой безпричинной ненависти въ черкесамъ, этой жажды бить ихъ... Лермонтовъ научилъ меня, напротивъ, любить Кавказъ и его вольнолюбивый, храбрый народъ.

Разъ, за вечернимъ чаемъ, намъ подали новое письмо, и дѣдъ, внимательно прочитавъ его, сильно нахмурилъ брови.

— Бѣдный мальчикъ,—сказалъ онъ при этомъ,—какъ бы изъ него въ самомъ дѣлѣ не вышелъ отчаянный кадетъ... На, Оля, прочти!...

Письмо дѣйствительно было странное,—странные всѣхъ, до сихъ поръ полученныхъ. Оно начиналось прямо безъ всякихъ предисловій, безъ обыкновенныхъ „дорогой дѣдъ“ или „милая Оля“, съ фразы: „Мнѣ дали пятьдесятъ, и я ни разу не вскрикнулъ!“ Затѣмъ шло только описаніе, за что именно достались ему эти „пятьдесятъ“. Онъ вымазалъ чернилами носъ заснувшему въ креслѣ дежурному офицеру.

Эти первыя розги стояли мнѣ многихъ горячихъ слезъ. Но вскорѣ я тоже привыкла и перестала плакать, такъ какъ каждое новое письмо Сережи неизмѣнно сообщало о новыхъ „пятидесяти“ или о бѣльшей цифрѣ, которыми онъ, очевидно, хвасталъ. Мало того, онъ старательно, съ какою-то непонятною мнѣ гордостью, складывалъ эти цифры въ сумму и въ каждомъ своемъ письмѣ подводилъ итоги. Итогъ росъ съ невѣроятною быстротою: Сережа воровалъ тысячами. Тщетно писала я ему, что мнѣ и дѣду такое поведеніе его тяжело, непріятно, обидно, что хвастаться розгами гнусно и недостойно,—онъ не обращалъ на мои слова (дѣдъ ему не писалъ) ни малѣйшаго вниманія и даже увѣрялъ, что я, „какъ баба“, не могу понять „истиннаго кадета“. Дѣдъ все больше хмурился, сердился на эти письма, а цифры все росли и

росли. Наконецъ, мы получили отъ него письмо всего въ нѣсколько строчекъ: „Передъ фронтомъ дали 300 и на шинеляхъ отнесли въ лазаретъ. Лежу,—пришлите денегъ!“

Со мной чуть дурно не сдѣлалось, и дѣдъ принялся меня успокоивать.

— Въ лазаретѣ-то онъ, въ лазаретѣ, но про триста вретъ, такъ не порютъ!—говорилъ онъ, угрюмо шагая взадъ и впередъ.—Знаешь, что, Оля? Напиши-ка ему, что перестанешь отвѣчать на письма, если въ нихъ будутъ одни итоги ровокъ, право! Можетъ быть, одумается, а? Какъ ты думаешь?

Я такъ и сдѣлала, но—простите—я опять забѣжала впередъ, и далеко впередъ!

До этого печальнаго письма, еще задолго до него, на долю бѣднаго дѣда выпало много горя, чуть не перевернувшего вверхъ дномъ все наше мирное, тихое житье въ глухой „Пустынѣ“... И все опять за его доброту, за высокую честность, за справедливость! Конечно, тутъ опять постарались наши добровольцы-соглядатаи, наши враги, которые никакъ и никогда не могли простить дѣду того, что онъ былъ не дикій самодуръ, не безшабашный псовый охотникъ, не бичъ всего окружающаго, а просвѣщенный, гуманный человѣкъ, настоящій европеецъ. Да, да, именно европеецъ: это—самое подходящее слово, самый вѣрный эпитетъ. По убѣжденію нашихъ враговъ, все, что не пило, не дралось, не уська-

ло зайцевъ, не вѣрило въ чертовщину и лѣшихъ, не пороло людей на конюшнѣ,—было не русское, не исконно-русское, а чужеземное, позорное, преступное даже. Только этимъ исчерпывался, по ихъ мнѣнію, настоящій русскій духъ. Читать книги, слѣдить за газетами, интересоваться общественною жизнью и ея вопросами,—вообще, чѣмъ бы то ни было, выходящимъ изъ сферы пересчитаннаго, даже обращаться ласково съ людьми—было, по меньшей мѣрѣ, смѣшно, глупо, подозрительно. Все это величалось „масонствомъ“, „умничаньемъ“, „сованьемъ носа не въ свое дѣло“. И такія вещи высказывались вслухъ, громко, съ апломбомъ, съ чувствомъ собственного достоинства. Европа съ ея наукой, цивилизаціей, гуманностью, со всѣмъ тѣмъ, чѣмъ она была выше и впереди насъ, осыпалась насмѣшками, бранью, забрасывалась грязью, затаптывалась ногами... „Шапками закидаемъ!“—только и всего. И печать,—этотъ, по-настоящему, факель общественной жизни, ея нервъ,—подлая, продажная болгаринская печать громко вторила такому слѣпому карканью. Чтò это было за время, чтò за дикое время!

И, однако, чтò бы съ нимъ ни случилось, какія бы тяжелыя непріятности ни выпадали ему на долю, какъ бы скверно ни приходилось, мой славный дѣдъ никогда не поддавался, никогда не терялъ вѣры въ себя, въ жизнь, въ будущее,—нѣтъ, никогда! Онъ всегда оставался однимъ и тѣмъ же, неизмѣнно хорошимъ, честнымъ человекомъ. Онъ вѣрилъ,—всецѣло вѣрилъ,—что наступить, должно наступить другое время; что его взгляды, его

убѣжденія получать свою санкцію и право на жизнь, что они станутъ общимъ достояніемъ. Онъ вѣрилъ, что его часъ, его время придетъ,—и оно пришло, дѣйствительно пришло вполнѣдствіи,—пришло чудное, розовое, мягкое, бодрящее, какъ ясный разсвѣтъ майскаго утра,—но чего только не пришлось вынести до его прихода! И, главное, зачѣмъ, зачѣмъ? Виновникомъ неприяностей, о которыхъ я сказала выше, явился опять тотъ же сосѣдъ нашъ, Усатовъ. Благодаря его стараніямъ, дѣдъ чуть не поплатился ссылкой въ свою далекую, глухую деревушку, на крайнемъ сѣверѣ - востокѣ. Началось съ того, что Усатовъ, всегда искавшій случая насолить дѣду, жестоко высѣкъ одного изъ дѣдушкиныхъ крестьянъ, почтеннаго, умнаго старика Ефима, когда тотъ возвращался изъ города мимо Усатовской усадьбы. Высѣкъ безъ всякой вины со стороны того, самымъ наглымъ образомъ приказавъ своей дворнѣ схватить его, втащить во дворъ и бить, какъ только узналъ въ немъ дѣдушкина крестьянина.

— Кланяйся барину, да не забудь рассказать, какъ у меня учать!—съ хохотомъ приказалъ онъ несчастному послѣ расправы.

Когда плачущій старикъ передалъ все это дѣду и попросилъ у него защиты, дѣдъ, какъ и я, пришелъ въ сильное негодованіе и общалъ Ефиму сдѣлать все возможное, чтобъ Усатову не прошло это даромъ. Онъ дѣйствительно сейчасъ же написалъ предводителю и исправнику, требуя формальнаго слѣдствія и преданія Усатова суду за истязаніе. Посланные имъ вернулись въ тотъ же

день вечеромъ съ отвѣтомъ: отъ предводителя, что онъ дѣла этого не оставитъ,—отъ исправника, что тотъ придетъ завтра самъ.

Исправникъ дѣйствительно пріѣхалъ на другой же день и сталъ приставать къ дѣду—не начинать дѣла, а какъ-нибудь мирно покончить съ Усатовымъ, давая понять, что у того есть сильныя связи въ губерніи и что, такимъ образомъ, дѣло легко можетъ кончиться ничѣмъ для Усатова, а дѣду надѣлать только лишнихъ непріятностей. Но дѣдъ, понятно, ничего и слушать не хотѣлъ. Волею-неволей, пришлось исправнику приступить къ формальному дознанію, что онъ сдѣлалъ крайне неохотно. Добрый человекъ, никому не желавшій зла, онъ дѣйствительно боялся за дѣда, зная, какъ легко напакостить человеку въ его положеніи.

— Плюньте вы на него, подлеца! Разбойникъ, вѣдь, всему уѣзду извѣстный,—твердилъ онъ и послѣ допроса,—право, плюньте! Я помогу кончить миромъ и самъ посоветую ему, разбойнику, дать что-нибудь потерпѣвшему... а, право?

Но дѣдъ твердо стоялъ на своемъ.

— Законъ, ограждающій людей, не долженъ оставаться мертвою буквой... Не могу!... Да и какое имѣю я право идти на сдѣлку, когда потерпѣвшій обратился ко мнѣ за защитой?

— Помилюте, если дѣло въ этомъ,—радостно закричалъ исправникъ, — такъ и толковать нечего: мужикъ охотно возьметъ рубль-другой и успокоится!

— Ты согласишься взять деньги?—спросилъ дѣдъ Ефима, стоявшаго молча у порога.

Ефимъ былъ нѣсколькими годами только моложе дѣда, но еще бодрый, свѣжій мужикъ, съ громадною бородащей, въ которой не было ни одного сѣдаго волоска. Это былъ умный, степенный, гордый мужикъ, во всю свою жизнь не испытавшій розогъ, прекрасный хозяинъ, глава большой семьи. Дѣдъ навѣщалъ его часто и очень любилъ бесѣдовать съ нимъ, какъ съ умнымъ, крайне любознательнымъ человѣкомъ.

— Согласенъ?—переспросилъ дѣдъ, не сводя съ него тревожнаго взгляда. Согласіе обидѣло бы его.

Я тоже не спускала любопытныхъ глазъ съ Ефима, стараясь уловить въ его лицѣ волновавшія его мысли, но оно было безстрастно и спокойно, точно высѣченное изъ камня.

— Если есть такой законъ, баринъ, такъ не слѣдъ мнѣ противъ него идти,—грѣхъ это!—сказалъ онъ спокойно. — Пустъ, какъ законъ, а денегъ мнѣ не надо... Чай, тоже душу имѣемъ!

Я чуть не бросилась къ Ефиму на шею, а дѣдъ обернулся къ исправнику, торжествующій, довольный и гордый.

— Слышали?... Онъ, можетъ быть, плохо выразился, но онъ много сказалъ,—не могу!

Исправникъ махнулъ рукой и уѣхалъ, отказавшись даже отъ обѣда.

Все это было только началомъ; но послушайте, что вышло дальше! Черезъ нѣсколько дней, какъ разъ вслѣдъ за днемъ моего рожденія, — мнѣ исполнилось шестнад-

цать лѣтъ и мы отпраздновали ихъ своимъ веселымъ пиромъ,—къ крыльцу нашего дома подошло десять оборванныхъ, изможденныхъ усатовскихъ крестьянъ и стали въ рядъ, обнаживъ покорно головы.

— Чего вамъ, добрые люди?—спросилъ крайне удивленный дѣдъ.

— Къ твоей милости!—отвѣчали тѣ, низко кланаясь.— Не знаемъ!... Баринъ прислалъ... Вотъ, записку далъ!— и дѣду подали усатовскую записку.

Онъ пробѣжалъ ее глазами... Я не спускала съ него тревожнаго взгляда, предчувствуя что-то недоброе, и дѣйствительно дѣдъ все блѣднѣлъ и блѣднѣлъ. Губы, подбородокъ, руки у него затряслись.

— Дѣдъ!... дѣдъ!... — бросилась я къ нему, боясь новаго припадка.

Дѣдъ повернулъ ко мнѣ лицо, — оно было страшно. Глаза потускнели, губы посинѣли, брови то сжимались, то разжимались; я никогда не видала его такимъ. Онъ былъ внѣ себя, полонъ той страшной ярости, на которую способны только крайне сдержанные люди, когда ихъ, наконецъ, прорветъ. Онъ дрожалъ, задыхаясь, судорожно глоталъ воздухъ и совалъ мнѣ записку.

„Такъ какъ я узналъ,—писалъ Усатовъ,—что вы обидѣлись на меня за то, что я поучилъ немного одного изъ вашихъ каналій, то, чтобы загладить обиду, нанесенную столь великомудрому сосѣду, посылаю десятокъ своихъ мерзавцевъ, которымъ вы можете всыпать, сколько угодно, а я претендовать не буду“.

— Знаете... знаете...—кричалъ дѣдъ, судорожно сжи-

мал желѣзную рѣшетку балкона, — знаете, что пишетъ вашъ баринъ, этотъ звѣрь... этотъ мер... мерзав... знаете?

— Не знаемъ! — кланялись испуганные люди. — Мы ничего не знаемъ!

— Знаете?—не слушалъ ихъ дѣдъ.—Онъ предлагаетъ мнѣ сѣчь васъ!... Слышите! Сѣчь! Ни въ чемъ неповинныхъ! Но скажите ему, что онъ—подлецъ... Нѣтъ... скажите ему, что онъ... не...го...дый!

— Дѣдъ,—умоляла я, плача,—успокойся!

— Нѣтъ!—продолжалъ онъ, не обращая на меня вниманія.—Нѣтъ, стойте!... Стойте... говорю вамъ! (крестьяне собрались бѣжать). Скажите ему, что я не *па-лачъ*! Слышите?—не *палачъ*! и поэтому,—слышите?—*поэтому* я плюю на него... вотъ такъ!...—и дѣдъ плюнулъ.

Крестьяне повернулись, но дѣдъ не унимался, не смотря на то, что я повисла у него на шеѣ.

— Оля! — кричалъ онъ мнѣ. — Оля... нѣтъ!... это пустяки!... пусти меня!... Вели заблаживать и давай мнѣ мои пистолеты! Слышишь, писто... Слышишь?... Я еще могу,—о... могу... я!...

Но онъ уже ничего не могъ больше,—бѣдный, бѣдный дѣдъ! Онъ лежалъ безъ движенія на каменномъ полу, только урывками, съ какимъ-то стономъ глотая воздухъ. Что дѣлала я — не помню, не знаю. Помню только не то крикъ, не то молитву сбѣгавшагося народа: „спаси тебя Господь!“—звучало кругомъ и теперь еще, когда я пишу эти строки, стоитъ громомъ въ моихъ ушахъ.

Цѣлый мѣсяцъ пролежалъ бѣдный дѣдъ въ постели, и что это за мѣсяцъ былъ для меня! Откуда только бра-

лись у меня силы: двигаться, ходить, казаться бодрой въ глазахъ дѣда, чтобы не пугать его, несмотря на безсонныя ночи и овладѣвавшее мною по временамъ страшное отчаяніе. Хотя лѣкарь Шнупфъ и увѣрялъ меня постоянно, что все это „ничво, — отъ пичонка“, я видѣла, какъ дѣдъ хирѣлъ и таялъ изо дня въ день. На его: „это карашо!“—я не обращала никакого вниманія, такъ какъ эти слова онъ говорилъ всегда и при всякомъ случаѣ, даже когда паціентъ приближался къ агоніи. Но, все-таки, онъ спасъ дѣда. Дѣдъ оправился, хотя у него открылась старая турецкая рана. „Это ничво, это карашо, — говорилъ добрый старикъ Шнупфъ, разводя руками отъ изумленія, что скверная рана не поддается его искусству, — это карашо!“—но бѣдный дѣдъ могъ ходить, только опираясь на мою руку.

А пока онъ лежалъ, борясь между жизнью и смертью, по уѣзду летали курьеры, сказали слѣдователи, производя строгое дознаніе по доносу Усатова, обвинившаго дѣда „въ возбужденіи“ его крестьянъ, — тѣхъ десяти, что онъ присылалъ къ дѣду, — „въ поношеніи и поправленіи его власти и авторитета“! Казалось бы, возможно ли возникнуть подобному обвиненію, а, между тѣмъ, оно не только возникло, но и повело за собою цѣлое слѣдствіе, выставившее дѣда какимъ-то злымъ, опаснымъ человѣкомъ, котораго слѣдовало упрятать возможно дальше. Да, жалоба дѣда на Усатова канула подъ сукно; послѣдній дѣлался обвинителемъ, а обвиняемымъ—дѣдъ! Вотъ что значили усатовскія связи.

Дѣдъ чуялъ собиравшуюся надъ нимъ грозу, но былъ

такъ же твердъ и гордо-спокоенъ, какъ и всегда. Да и могъ ли быть инымъ подобный человѣкъ — этотъ мощный, твердый дубъ, не ломавшійся ни подъ какою бурей,—разъ только онъ считалъ себя правымъ? Стороной ему давали понять, что если онъ замнетъ свое дѣло съ Усатовымъ, то его оставить въ покоѣ, но гордый дѣдъ всегда отвѣчалъ на подобные намеки, что никакихъ сдѣлокъ съ негодеемъ у него быть не можетъ. И обвиненіе противъ него росло!

Разъ, когда я водила его по любимой аллеѣ, ему подали письмо отъ предводителя. Этотъ честный человѣкъ увѣдомлялъ дѣда, что, благодаря усатовскимъ связямъ и пристрастному веденію слѣдствія, дѣла его очень плохи, и ему грозитъ ссылка въ далекую, глухую деревеньку. Возмущаясь, негодуя, называя все прямо „подлостью“, онъ совѣтовалъ ему непременно обратиться къ кому-нибудь изъ прежнихъ вліятельныхъ знакомыхъ въ столицѣ. „Нужно бороться съ противникомъ, — писалъ онъ, — его же оружіемъ... На протекціи и связи отвѣчайте тѣмъ же!“

Кончивъ читать, дѣдъ глубоко задумался, а я расплакалась.

— Ну, что, дѣдъ?... Что, голубчикъ дѣдъ?—тревожно спрашивала я, роняя слезы,—ты напишешь, да?

— Напишу, Оля, — отвѣтилъ дѣдъ, и лицо его сжалось,—но только ради тебя, дорогая моя птичка, ради тебя... Для себя я никогда бы не просилъ!

Меня точно ожгло отъ этихъ словъ.

— Дѣдъ!—почти испуганно крикнула я,—для меня?—

ни за что! Пусть хоть въ адъ, — ни за что! Не пиши, намъ вездѣ будетъ хорошо съ тобой!

Дѣдъ обнялъ меня и сталъ гладить мои волосы, — онъ ихъ очень любилъ. Двумя пальцами взялъ онъ меня за подбородокъ и посмотрѣлъ въ глаза; они глядѣли прямо, смѣло и рѣшительно. Поборовъ горе, я улыбалась.

— Славная ты у меня, Оля, славная! — сказалъ онъ мнѣ первый разъ за все время нашей жизни.

Но тутъ мнѣ вновь стало жаль его, и я раплакалась.

— И чего они хотятъ отъ тебя, за что гонять? — причитала я сквозь слезы, цѣлуя его руки.

Дѣдъ выпрямился; ему, видимо, страшно тяжелы были мои слезы. Онъ взялъ мою руку, сжалъ ее и сказалъ:

— Не плачь, Оля, не плачь, моя внучка! Не меня это преслѣдуютъ, нѣтъ! — припомни слова предводителя, давно тебѣ сказанныя! Это невѣжество ополчилось, тьма, которая боится и не любитъ свѣта... Это не меня травятъ, а интеллигента въ моемъ лицѣ... Онъ теперь не нуженъ, его бьютъ, топчутъ... Но онъ понадобится... Погоди, всѣмъ понадобится и всѣ побѣгутъ къ нему! Наше время придетъ, погоди, какъ это ни кажется маловѣроятнымъ! Ни одинъ живой организмъ не можетъ обойтись безъ свѣта, а общество — тотъ же организмъ. Тьма разсѣется, какъ бы только не пришлось намъ всѣмъ дорого расплачиваться за ея долгое владычество!...

Дѣдъ вѣрно пророчилъ. Въ тотъ же годъ началась расплата, началась страшная Крымская война.

Если между явленіями общественной жизни и природы можно проводить параллели и строить на нихъ ана-

логи, то эта война была тою бурей-грозой, послѣ которой неминуемо всегда наступаетъ свѣтлое вѣдро. Но что это за гроза была, что за буря, — даже вспомнить страшно и никогда не понять тому, кто самъ не гнулся подъ ея напоромъ! Не было уголка въ цѣлой странѣ, гдѣ бы ея порывы не вносили невыразимаго горя. Каждый пушечный выстрѣлъ вызывалъ вопли матерей, каждая граната разсыпалась по странѣ слезами. Сколько жизней погибло, сколько слезъ, — горячихъ слезъ, — омочило землю, сколько вдовъ и сиротъ осталось на свѣтѣ!... Но кто же ихъ сосчитаетъ? Ратники, войска, — войска, ратники, раненые за ранеными, паннихиды за паннихидами, слезы, вопли и пораженія за пораженіями, — вотъ что только стояло въ глазахъ, что было ясно, понятно, что сознавалось всѣми! Ужасъ страшныхъ пораженій, когда ранѣ почти всѣ были такъ увѣрены въ побѣдахъ, всѣ кричали: „шапками закидаемъ!“ — съ паѳосомъ декламируя болгаринско-патріотическія рѣмы, — этотъ ужасъ какъ-то ошеломилъ, озадачилъ: однихъ привелъ въ колоссальное недоумѣніе, другихъ — въ оцѣпенѣніе. Никто, кажется, ничего не понималъ, не видѣлъ, не сознавалъ, кромѣ того, что стояло прямо предъ глазами. Горькая была эта чаша, и да минуетъ она насъ навѣки.

Черная рѣчка... Инкерманъ... Севастополь — это не поминалъ съ ужасомъ этихъ страшныхъ именъ смерти, въ комъ не вызывали они содроганія?

За этою грозой, за общимъ горемъ, о преслѣдованіи дѣда какъ-то забыли. Начатое слѣдствіе заглохло, кануло въ воду, — о немъ ничего не было слышно. Мы не

поминали, намъ было тоже не до того! Нашъ домъ превратился въ мастерскую, въ которой я, Миллеръ, Настя, Анюта и всѣ прочія мои подружки съ утра до вечера щипали корпію и шили бѣлье для ратниковъ, а широкій, прекрасный дворъ—въ громадныя пекарни, гдѣ дѣдъ и по ночамъ даже возился со своими сухарями. Цѣлыя горы ихъ отправлялъ онъ совершенно безвозмездно, почти каждый день. Всѣ запасы хлѣба превратилъ онъ въ сухари, а все ворчалъ, что мало. Въ особенности обидно ему было, что самъ онъ не можетъ идти въ Севастополь.

— Старъ я сталъ, Оля,—говорилъ онъ,—а нужно бы!... Всѣ... вся Россія идетъ!...

— Ну, куда же тебѣ, дѣдъ, — уговаривала я его, — вѣдъ, тебя Шнупфъ не пустить. Ты ходить не можешь изъ-за раны!...

— То-то и плохо, Оля, то-то и плохо,—грустно отвѣчалъ онъ,—подаваться я сталъ, подаваться!.. А нужно бы...

Вотъ въ это-то время мы получили замѣчательное письмо Сережи, извѣщавшее насъ о „трехъ стахъ“ и о лазаретѣ,—письмо, о которомъ я упомянула выше. На другой день, утромъ, когда я кончила уже свой извѣстный отвѣтъ на него, ко мнѣ подошелъ дѣдъ.

— Я плохо тебѣ посоветовалъ, дитя мое, — сказалъ онъ.—Напиши-ка лучше Сережѣ, чтобы онъ просился въ Севастополь юнкеромъ, право! Ему уже восемнадцать лѣтъ, учится онъ изъ рукъ вонъ плохо, по нѣ-

сколько лѣтъ въ классѣ сидитъ,—пусть-ка идетъ въ Севастополь... Честнѣе, чѣмъ подъ розгами лежать!

У меня такъ и сжалось сердце.

— Въ Севастополь, дѣдъ?... Сережа?

— А что же, Оля? Всѣ идутъ!.. Въ двѣнадцатомъ году дѣти шли!.. И что онъ за исключеніе?... Царскіе дѣти подъ пулями стояли!...

Не весело было мнѣ посылать такой совѣтъ, но я, все-таки, написала, потому что сознавала его справедливость. Только Сережѣ не суждено было увидѣть Севастополь,—онъ сильно заболѣлъ въ это время, о чемъ насъ извѣстило корпусное начальство. Дѣдъ хотѣлъ было уже просить отпуска въ Москву, но пришло извѣстіе, что бѣдняга поправляется и жизнь его внѣ опасности. Бѣдняга, кажется, былъ правъ, сообщая о „трехъ стахъ“!

Война кончилась!... Буря-гроза промчалась, поломавъ многое, но очистивъ воздухъ... „Миръ!“ „миръ!“—радостно носилось кругомъ, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, чуялось, что что-то лопнуло, порвалось,—что собственно, никто не могъ бы сказать опредѣленно,—но что-то тяжелое, гнетущее рухнуло и откуда-то разомъ понесло жизнью, радостью, надеждами... Жизнь улыбалась, — а что за прелесть ея улыбка! Какъ поплы, какъ невыразительны всѣ аналогіи, всѣ сравненія ея, хотя бы съ улыбкой яснаго весенняго утра!... Какое утро, какой мигъ изъ міра явленій природы можетъ дать хотя приблизительное понятіе о пробужденіи человѣческаго духа, — объ этой прелести

всеобщаго людскаго оживленія, съ его энтузіазмомъ, кипучею страстностью, горячими порывами, вѣрой въ одно добро, одно чистое добро!...

Откуда-то разомъ взялись новые люди; пошли новыя рѣчи, новые толки и взгляды... Дѣло историка-психолога — разобрать и показать, какъ все это могло случиться сразу; я же констатирую только то, что наблюдала и чувствовала. Съ новымъ царствованіемъ точно началась новая эра въ жизни, народилось, точно сразу, новое поколѣніе... Это вставалъ пришибленный, загнанный интеллигентъ; къ нему обращались всѣ взоры, отъ него ждали обновляющаго слова и труда; его звали поднимать, оправить, воззвать въ жизни помятое, разбитое, обезсиленное... *Новый часъ наставалъ* — сегодняшнее совсѣмъ не походило на вчерашнее! Чтѣ еще только вчера казалось несбыточнымъ, даже не тѣснилось въ головѣ и, во всякомъ случаѣ, не вертѣлось на языкѣ, — сегодня уже являлось такимъ естественнымъ, высказывалось такъ громко, такъ твердо, какъ самое непоколебимое убѣжденіе, какъ несокрушимый фактъ. А въ pendant къ этому все, чтѣ вчера еще считалось сильнымъ, непоколебимымъ, теперь вдругъ пряталось, ступшеывалось, старалось не попадаться на глаза. Усатовыхъ, Прищевыхъ — какъ не бывало, точно въ воду канули! Ихъ сразу какъ-то забыли, точно ихъ и на свѣтѣ совсѣмъ не было, а если который-нибудь изъ нихъ являлся на сцену въ новой роли и, закрывъ глаза на прошлое, кричалъ о гуманности и прочихъ высокихъ матеріяхъ, стараясь подчасъ забирать октавой выше другихъ, ему жали руки,

какъ другу, какъ своему, все забывая, все прощая, не разбираясь въ его прошломъ, въ его искренности или неискренности... Юность всегда великодушна, забывчива и полна всепрощенія... А это была юность жизни! И дѣдъ ожилъ!.. Опала была съ него скоро снята: это извѣстіе привезъ ему самъ вновь назначенный губернаторъ, пріѣхавъ съ визитомъ. Дѣдъ принялъ его съ замѣчательнымъ спокойствіемъ и съ большимъ достоинствомъ. Какъ теперь помню я эту величественную, высокую фигуру сѣдаго дѣда, а передъ нимъ губернатора, обвѣшаннаго орденами. Послѣдній, кажется, остался немного разочарованнымъ,—онъ рассчитывалъ на большій эффектъ.

— Я привезъ вамъ радостную новость,—говорилъ онъ, пожимая руку дѣда,—и надѣюсь, что прошлое вами забудется... Ваши силы понадобятся *намъ*, очень понадобятся...

Онъ особенно упиралъ на слово „*намъ*“.

— Благодарю государя моего, — отвѣчалъ дѣдъ,—отъ всего сердца и желаю ему успѣха во всѣхъ начинаніяхъ... Всю жизнь, кровь по каплѣ всегда готовъ отдать на пользу его народа; но я старъ уже, дряхлъ,—у него найдутся лучшіе слуги, болѣе молодые... Новыя пѣсни,—нужны и новые люди!...

— Вы самый *новый* человѣкъ, именно для новыхъ пѣсней!—галантно подхватилъ губернаторъ, охорашиваясь.—*N'est ce pas, mademoiselle?*—и онъ щелкнулъ слегка шпорами въ мою сторону.

— О, да!—отвѣчала я отъ всего сердца,—да!... Но его рана!.. Докторъ посылаетъ дѣда непремѣнно за границу!

— Что-жь, и поѣзжайте! Я немедленно пришлю вамъ паспортъ... Но возвращайтесь скорѣе... Вы знаете?— мы (губернаторъ сдѣлалъ опять сильное удареніе на „мы“),—мы начнемъ настоящую bataille со всѣмъэтимъ...— онъ покивалъ пальцами,—спѣшите!

Хотя Шнупфъ и кричалъ постоянно „карашо“ или успокоивалъ, что все это происходитъ отъ ненавидимой имъ почему-то „пичонка“, но рана дѣда беспокоила его сильно, и онъ настоятельно посылалъ больного за границу... Мы быстро собрались и... Но я опять забѣжала впередъ.

Послѣ своей болѣзни Сережа писалъ намъ очень рѣдко и мало. Въ его письмахъ не было уже ни цифръ, ни розогъ, и почти ничего не было. Всѣ они стали какими-то сухими, официальными отвѣтами на мои длинные письма: живъ, молъ, здоровъ, и больше ничего!... Объясняли мы это различно: то лагерною жизнью, то тѣмъ, то другимъ, но серьезно задаться этимъ вопросомъ какъ-то не успѣли. Разъ, помню, онъ даже сильно удивилъ насъ съ дѣдомъ, высказавъ въ письмѣ, вскользя, удивленіе, что люди находятъ удовольствіе въ истребленіи другъ друга. Это такъ не походило на прежняго Сережу, такъ не вязалось съ его старымъ желаніемъ бить черкесовъ! „Видишь, я тебѣ говорилъ, что это пройдетъ, — сказалъ довольный дѣдъ.—Мальчикъ, кажется, мѣняться сталъ. Исполать ему!“ И дѣйствительно, Сережа „мѣнялся“.

Представьте же себѣ наше удивленіе, когда къ намъ, сидѣвшимъ за вечернимъ чаемъ и мирно гадавшимъ о

предстоявшей поѣздѣ за границу, неожиданно вошелъ высочій, блѣдный, черноглазый кадетъ, въ которомъ такъ трудно было признать съ перваго взгляда Сережу. Онъ вошелъ свободно, спокойно и, какъ ни въ чемъ не бывало, сталъ цѣловать дѣда и меня.

— Сережа, ты ли это? — кричала я, не вѣря себѣ и плача отъ радости.

— Я... я... А какъ ты выросла, Оля, какая громадная стала! — говорилъ онъ, не выпуская меня изъ объятий. — И дѣдъ какъ постарѣлъ!...

— А ты молодцомъ сталъ... молодцомъ! — отвѣчалъ ему дѣдъ, обнимая его стройную, сильную фигуру въ истрепанной, засаленной кадетской курткѣ. — Молодецъ, братъ!

Мы ликовали, смѣялись, шутили, какъ никогда. Дѣдъ, однако, опомнился первый и спросилъ:

— Ты какъ же пріѣхалъ... въ отпускъ?

— Нѣтъ, не въ отпускъ! — замылся какъ будто Сережа.

— Исключили?

— Нѣтъ!... Просто, — взялъ да и пріѣхалъ! — онъ опустилъ глаза.

— Безъ позволенія, безъ отпуска?... Такъ ты бѣжалъ? Сережа сильно зарумянился.

— Не выдержалъ, дѣдъ!... Надоѣлъ корпусъ!

— О! — сказалъ дѣдъ, — это ты плохо придумалъ!... Теперь хлопотъ сколько будетъ съ корпуснымъ начальствомъ!... Лучше бы написалъ, что хочешь выйти, — я бы подалъ прошеніе о твоёмъ увольненіи. А теперь...

Но тутъ мы оба съ Сережей бросились къ дѣду и стали его упрашивать. Дѣдъ сейчасъ же успокоился, тѣмъ

болѣе, что Сережа ему очень понравился. Юношеская смѣлость и неразсчетливость, правду сказать, подкупили-таки дѣда. Онъ уже улыбался и только говорилъ:

— Экая безшабашная голова! И въ кого ты пошелъ?

— Въ тебя, дѣдъ,—отвѣчалъ ему Сережа,—въ тебя!...— и смѣялся, обнимая сѣдаго, добраго старика, который тоже разсмѣялся.

— А, вѣдь, и правда,—говорилъ онъ,—я, вѣдь, тоже когда-то выкинулъ въ этомъ родѣ... Но что ты будешь дѣлать?

— Въ университетъ пойду.

— Въ университетъ?—удивился дѣдъ.—А экзамень?

— Захочу — подготовлюсь!... Я и учителя себѣ привезу!—смѣло отвѣтилъ дѣду Сережа.

— Гдѣ же онъ? — спросили мы съ дѣдомъ въ одинъ голосъ.

— Въ деревнѣ остался, — сейчасъ придетъ!... Пѣсни услышалъ и сталъ записывать... Онъ этнографъ...

Мы все больше и больше удивлялись и Сережѣ, и его словамъ, и его учителю. Дѣду сильно по душѣ пришлось желаніе Сережи идти въ университетъ; онъ нѣсколько разъ называлъ его молодцомъ (а, вѣдь, онъ былъ скупъ на похвалы) — и совсѣмъ забылъ, что ему придется много хлопотать, чтобы замаять исторію бѣгства изъ корпуса и предотвратить дурныя ея послѣдствія. Сережа сталъ намъ подробно излагать свое „перерожденіе“, какъ онъ „прозрѣлъ“, по его словамъ, и все больше подкупалъ дѣда въ свою пользу. Прежде всего, „на нихъ, кадетъ, повліялъ“ новый учитель словесности, который-де, какъ

говорилъ Сережа, научилъ ихъ „смотреть на жизнь и жизнь...“ Затѣмъ, случайная встрѣча его съ привезеннымъ учителемъ довершила дѣло. По его словамъ, этотъ другъ — студентъ — былъ „замѣчательно сильный“ человекъ, начитанный и „другъ народа“. Всѣмъ онъ былъ обязанъ себѣ, своимъ силамъ, такъ какъ былъ круглымъ сиротой и такимъ же бѣднякомъ. Въ университетъ, въ столицу, онъ приобрелъ пѣшкомъ изъ далекой губерніи.

— Да, судя по твоимъ словамъ,—сказалъ дѣдъ,—это действительно недюжинный человекъ!

— О, ты самъ увидишь!—восторженно, весь сияя, подхватилъ Сережа, а я все глядѣла въ окно, чтобы увидеть, наконецъ, этого „сильнаго“ человека, который, признаюсь, меня заинтересовалъ... Слово „сильный“ не выходило у меня изъ головы.

Онъ вошелъ и сразу расположилъ насъ къ себѣ. Его сутуловатая, тощая фигура была некрасива, движенія угловаты, — въ нихъ сквозила робость, непривычка къ обществу,—но глаза глядѣли такъ умно, прямо, честно, что невольно заставляли забывать все это. Къ тому же, разговорившись, онъ пріободрился и сталъ держать себя непринужденнѣе. Оказалось, что онъ только въ пути узналъ о бѣгствѣ Сережи, не подозрѣвая даже, что тотъ ѣдетъ безъ разрѣшенія, но находилъ, что все это вполне въ его характерѣ, насколько онъ успѣлъ его узнать.

— Думаете ли, что у него хватитъ выдержки подготовиться?—спросилъ дѣдъ.

— Думаю, что онъ добьется того, чего онъ хочетъ!—

отвѣтилъ тотъ, какъ всегда, коротко, ясно и сжато. Дѣду очень понравился этотъ отвѣтъ.

— Ну, исполать ему,—весело сказалъ онъ.—Лучшаго я ему ничего и пожелать не могу! А, признаться, сильно смущалъ онъ меня своимъ кадетскимъ удалствомъ и похвальбой розгами. Думалъ, выйдетъ забулдыга!... Вы знаете?...

— Знаю и нахожу естественнымъ,—возразилъ тотъ.—Энергіи дѣвать было некуда, выхода не было другого для болѣе живыхъ натуръ.

— Ну, положимъ! — отвѣтилъ дѣдъ. — Вѣдь, не всѣ же... Вѣдь, вотъ вы, вѣроятно, иначе расходовали свою энергію...

— Я — другая статья... Мнѣ съ раннихъ лѣтъ пришлось мать содержать. Работать нужно было... Мужикъ, вѣдь, я...

Глаза дѣда ясно блеснули теплымъ сочувствіемъ, а мнѣ вдругъ стало жаль юноши... Много вынесеннаго горя свозило въ этомъ: „мужикъ, вѣдь, я“.

— Вы крестьянинъ? — спросила я, покраснѣвъ, сама не зная отчего.

— Почти... Сынъ деревенскаго дьячка... Отецъ землю пахалъ!...—отвѣтилъ онъ сумрачно, краснѣя и не глядя на меня. А Сережа такъ и пожиралъ его восторженными глазами.

Долго не расходились мы въ этотъ вечеръ. Много рассказывалъ дѣдъ, много говорилъ и гость, — оба, кажется, пришли по душѣ другъ другу. Я напряженно слушала ихъ рѣчи, изрѣдка вставляя только что-нибудь,

и вполне готова была согласиться съ братомъ, что его другъ — „сильный человѣкъ“. Одно только смущало меня: мнѣ казалось, что сильный человѣкъ не долженъ бы такъ краснѣть и опускать глаза, когда на него упорно смотритъ хотя бы и восемнадцатилѣтняя блондинка. Но, понятно, я никому этого не сказала.

Когда молодые люди ушли и я собиралась въ свою комнату, дѣдъ остановилъ меня.

— Ну, какъ тебѣ понравилась молодежь, Оля?—спросилъ онъ.

— Они... хорошіе, дѣдъ,—отвѣтила я,—очень!...

— Новое поколѣніе!...—сказалъ дѣдъ задумчиво, какъ бы про себя, — новыя сѣмена... свѣжія... здоровыя... сильныя! Это сила уже... и сила съ вѣрой! Славные! Пошли имъ Богъ только широкую, гладкую дорогу... Пусть во всемъ и всегда встрѣтитъ ихъ удача! Пусть не гибнутъ безъ... безъ... безъ...—Тутъ слова дѣда перешли въ тихій шепотъ.

— Ты молишься, дѣдъ?—глупо перебила я его, улыбаясь.

— Молюсь, Оля, молюсь!... — отвѣтилъ онъ взволнованнымъ голосомъ, и я ясно видѣла, какъ по щекамъ его скатились на полъ крупныя слезы.

Только что сталъ дѣдъ поправляться за границей, только что стала заживать его мучительная рана, а его уже сильно, неудержимо потянуло назадъ, на родину. Да и какъ могло не тянуть его туда, гдѣ лежали

самыя сильныя его симпатіи,—все, что онъ считалъ дороже самой жизни? Чудныя вѣсти неслись оттуда, розовыя, свѣтлыя вѣсти. Святой благовѣсть приближающейся свободы уже гудѣлъ и разливался кругомъ, чаруя, возбуждая, оживляя старика. Все, что онъ считалъ святымъ, за что боролся, столько вынесъ, за что надъ нимъ глумились, — скоро должно получить и жизнь, и плоть, стать общимъ достояніемъ, неотразимымъ фактомъ! О, что за счастье было для старика!... Не знаю, возможно ли большее счастье на свѣтѣ для человѣка. Воля, воля, будетъ дана воля! — гудѣло кругомъ, писалось въ письмахъ, въ газетахъ, говорилось при каждой встрѣчѣ... И у дѣда, у стараго моего дѣда, потухавшіе глаза загорались юношескимъ огнемъ, грудь дышала свободно и сильно, блѣдныя старческія щеки покрывались румянцемъ.

Сережа, который дѣйствительно выдержалъ экзамены въ университетъ и поступилъ на естественный факультетъ, писалъ намъ со своимъ другомъ длиннѣйшія письма, полныя всякаго рода слуховъ, надеждъ и утокъ, которыми тогда такъ кипила столичная жизнь.

— Твой часъ уже настаетъ!—сказала я разъ дѣду въ восторгѣ отъ только что полученнаго письма, въ которомъ сообщалось, что освобожденіе крестьянъ можно считать дѣломъ рѣшеннымъ.

— Нѣтъ, не мой!—весь сіяя тоже, возразилъ дѣдъ горячо,—не говори такъ, Оля, не говори! Что я такое?—Часъ справедливости, часъ народа—великій часъ! Вѣка пройдутъ, а онъ все будетъ сіять въ своей славі!

— Вѣдь, ты... — начала было я, но дѣдъ перебилъ меня сурово:

— Вѣдь чтó?... Что я предсказывалъ его, что я понималъ его, вѣрилъ въ него,—это еще не заслуга, Оля!

— Но ты еще раньше хотѣлъ самъ... ты столько вынесъ!—настаивала я, краснѣя и волнуясь при видѣ его раздраженія.

— Такъ что же?—еще суровѣе перебилъ меня дѣдъ,—потому что сознавалъ справедливость этого, потому и хотѣлъ освободить... Экая, подумаешь, заслуга!... Развѣ ты сочла бы подвигомъ возвратитъ владѣльцу найденныя тобою и потерянные имъ деньги, хотя бы сама и лишилась отъ этого многихъ удобствъ?... Вѣдь, нѣтъ?... Такъ не говори же такъ!

Я не говорила больше, чтобы не сердить дѣда, но въ душѣ, все-таки, стояла на своемъ, можетъ быть, потому, что я, вѣдь, была женщина.

Въ Россію мы вернулись какъ разъ въ то время, когда кругомъ шли толки о предстоявшихъ выборахъ въ знаменитые комитеты по освобожденію крестьянъ, и вскорѣ по приѣздѣ дѣдъ получилъ приглашеніе прибыть на собраніе. Мы быстро собрались и поѣхали въ городъ, такъ какъ дѣдъ ни за что не хотѣлъ ѣхать безъ меня. Онъ взялъ меня и въ собраніе... Онъ шелъ, опираясь на мою руку, такъ какъ иначе не могъ ходить. Живое помню до сихъ поръ это прелестное утро... Все кругомъ улыбалось, ликовало, горѣло страстно, горячею жизнью!... Само солнце, казалось мнѣ, свѣтило какъ-то особенно ласково и ярко, а воздухъ ласкалъ, точно бархатъ. Дѣдъ

шелъ, по обыменовенію, тихо, спокойно, степенно, ничѣмъ не выдавая своего волненія, хотя онъ шелъ на первое собраніе, послѣ долгихъ дней опалы. Волновалась, горѣла, кипятилась за него я! Я ликовала, я торжествовала за него его побѣду, его славу, — я гордилась, что часть его наступалъ. Да, его часть, его!... Я это чувствовала каждымъ первымъ, каждою маленькою жилкой!... „На-те, глядите, — хотѣлось мнѣ крикнуть громко, сквозь слезы святаго торжества, — вотъ онъ, дряхлый, разбитый, больной старикъ, котораго вы гнали, преслѣдовали, надъ которымъ глумились! Смѣйтесь же, смѣйтесь, — вотъ онъ! Онъ пустой мечтатель, фантазеръ, онъ — вредный человекъ! Но вы уже не смѣетесь, — нѣтъ! — вы теперь сами увлекаетесь его фантазіями, повторяете его сумасбродства... Теперь вы поняли его, признали! Теперь вы выберете его своимъ представителемъ, потому что кого же вамъ выбирать, какъ не его?“...

И въ волненіи, въ какомъ-то страстномъ экстазѣ, я чуть не плакала сама надъ своею импровизаціей. А дѣдъ шелъ все такъ же спокойно, глубоко задумавшись, не видя ни моего волненія, ни готовыхъ вырваться наружу блаженныхъ слезъ. Мы немного опоздали... Всѣ уже были давно въ сборѣ, громадная зала была набита биткомъ... Весь мой пылъ, все мое краснорѣчіе мигомъ улетучились, какъ только мы очутились среди густой толпы и шумнаго говора, и я вся раскраснѣлась... Видно, необычайное, интересное зрѣлище представляли мы вдвоемъ съ дѣдомъ, — ранняя юность и сѣдая старость, — потому что къ намъ вдругъ всѣ обернулись и не спус-

кали съ насъ полуудивленныхъ глазъ... Но вотъ по заламъ, по рядамъ людей пронесся сдержанный шепотъ,—какой-то особенный звукъ, какой-то тихій общій говоръ,—и вдругъ, и зала, и люди, и воздухъ, все слилось въ одинъ общій крикъ: „просимъ! просимъ! просимъ!“ а ему вторилъ со всѣхъ сторонъ поднявшійся громовой раскатъ рукоплесканій.

Мы остановились. Ко мнѣ вернулось мое прежнее волненіе,—сердце, казалось, хотѣло выскочить изъ груди, слезы затуманили глаза. Я видѣла только взволнованное, прелестное лицо дѣда. Онъ стоялъ, выпрямившись во весь ростъ, немного приподнявъ голову, съ закинутыми назадъ въ беспорядкѣ сѣдыми волосами, блѣдный, дрожавшій отъ волненія... Мнѣ даже показалось, можетъ быть, сквозь туманъ собственныхъ слезъ, что глаза его были влажны... Впрочемъ, вездѣ, у всѣхъ они были влажны...

„Просимъ! просимъ! просимъ!“—гудѣла между тѣмъ зала, а рукоплесканія все росли и росли, заглушая стукъ моего трепетавшаго сердца. Я не помню хорошо, что было дальше,—все слилось для меня въ одно сладостное ощущеніе торжества, счастья, гордости, и я только старалась не расплакаться навзрыдъ, потому что по лицу моему давно катились крупныя слезы. Помню, какъ сквозь сонъ, что дѣдъ началъ что-то говорить, наотрѣзъ отказывался, ссылаясь на болѣзнь и старость, кажется, предлагалъ выбирать молодыхъ, свѣжихъ людей, но его не слушали, ему не давали говорить, его хватали за руки, жали ихъ; ему что-то кричали, убѣждали, при

неумолкавшихъ кругомъ рукоплесканіяхъ. Насъ стѣснили, сжали, какъ кольцомъ, и цѣлыя сотни рукъ протягивались впередъ черезъ плечи, головы, лова дрожавшія руки стараго дѣда. Я уже ничего не сознавала, не видѣла, не понимала, и совсѣмъ не помню, какъ мы вышли, что говорилъ при выходѣ дѣду предводитель и на что собственно отвѣчалъ ему губернаторъ: „теперь можно... можно!“

Мы сейчасъ же помчались домой, въ „Пустынью“, и всю дорогу молчали. Я ликовала всею душой, прижавшись къ дѣду,—мнѣ нуженъ былъ покой, чтобы насладиться вполнѣ, всецѣло, — постичь, охватить цѣликомъ всю глубину этого великаго счастья. А дѣдъ что-то обдумывалъ... Былъ праздничный день и, въѣхавъ въ деревню, мы застали на площади почти все ея населеніе. „Идите... ко мнѣ!“ — крикнулъ дѣдъ, махнувъ рукой, и вся толпа суетливо бросилась за нами.

Мы съ дѣдомъ стояли на крыльцѣ, прямо лицомъ къ лицу со всею почти деревней,—взрослыми, подростками, бабами, дѣтьми; а за ними спускался съ неба красный, раскаленный шаръ солнца, золота и обливая мягкимъ розовымъ свѣтомъ всю картину, — воздухъ, народъ, деревья и бѣлыя стѣны... И дѣдъ, и народъ стояли безъ шапокъ... Всѣ съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ вглядывались въ него, ждали его слова, а онъ стоялъ взволнованный, какъ никогда, дрожащій, блѣдный, и задыхался... По крайней мѣрѣ, его грудь судорожно поднималась... Вѣтеръ разносилъ его длинные сѣдые волосы; онъ что-то силился сказать, но губы ему не повиновались отъ вол-

ненія... Его волненіе видимо передалось толпѣ, по ней пробѣжалъ трепетъ, какое-то движеніе, и отъ нея перешло на меня. Я вся задрожала съ ногъ до головы, задрожала, какъ въ лихорадѣѣ, и вдругъ все поняла: и эту толпу, и дѣда, и вспомнившіяся мнѣ слова губернатора: „можно, теперь можно!“ Я совсѣмъ не могу опредѣлить, что за ощущеніе овладѣло мною; мнѣ казалось, живо казалось, что я поднимаюсь на воздухъ...

— Я давно хотѣлъ васъ освободить,—говорилъ дѣдъ порывами, задыхаясь,—но нельзя было... Теперь можно... *Теперь вы свободны!*—крикнулъ онъ,—всѣ... всѣ свободны!... Вы не рабы больше!... Живите съ миромъ,—берите свою землю и свои угоды!... Отпускаю!—онъ едва выговаривалъ.—Не поминайте лихомъ... Зла не помните,—если что... Простите по-человѣчески! Спасибо вамъ за все!... Спасибо!—и дѣдъ низко-низко поклонился.

Не знаю, говорилъ ли еще что-нибудь дѣдъ, да и вѣрно ли я запомнила его слова! Мои уши, казалось, потеряли способность слышать, глаза затуманились, ноги подкашивались... Я даже не видѣла дѣда... Я услышала только вверху какой-то глухой стогрудый стонъ, или крикъ, похожій на стонъ, а, можетъ быть, и стогрудое рыданье... Что-то двинулось, зашевелилось, затопталось,—какая-то густая масса тѣлъ... Сотни рукъ,—больше: нѣсколько сотенъ рукъ! — мозолистыхъ, грубыхъ и нѣжныхъ, дѣтскихъ, мелькнули въ воздухѣ, крестясь и благословляя, и вдругъ, сама не знаю какъ, и себя, и дѣда, и весь народъ увидала я на колѣняхъ, плакавшими, какъ дѣти.

И совсѣмъ не помню какъ, — мы вдругъ съ дѣдомъ очутились во главѣ всего народа и шли по улицѣ къ нашей сѣрой покосившейся церкви... Не знаю, какъ отперли церковныя двери, кто прозвонилъ, о чемъ молился сѣдой отецъ Паисій... Я совсѣмъ не слышала клира, да и какъ было его слышать, если вся церковь, — вся, отъ мала до велика, — рыдала навзрыдь!

БЕЗГЛАСНЫЙ.

(ОДНА ИЗЪ НЕДОМОЛВОКЪ СТАРАГО ВРАЧА).

БЕЗГЛАСНЫЙ.

(Одна изъ недомолвокъ стараго врача).

Я зналъ его со школьной скамейки.

Настоящее имя его значилось только въ классномъ журналѣ, метриѣ и иныхъ „документахъ“... Для насъ, его сверстниковъ, одноклассниковъ, а впоследствии—друзей, онъ былъ только „безгласный“. „Безгласнымъ“ окрестила его школа, и это школьное прозвище, какъ зачастую бываетъ, такъ и осталось за нимъ на всю его жизнь.

Нельзя сказать, чтобы это прозвище отличалось обыкновенною школьною мѣткостью, зачастую чрезвычайно вѣрно и цѣльно характеризующею человѣка. Вовсе нѣтъ! „Безгласный“ если и не обладалъ особенно сильною гортанью, способною перекрычать весь классъ, каковою, напримеръ, гордился его близкій другъ и сосѣдъ по партѣ, окрещенный нами „Тромбономъ“, то отнюдь не отличался и безгласіемъ. Напротивъ! Порою, когда классъ пускалъ въ ходъ свой „вавилонскій визгъ“, какъ называлъ школьный законоучитель, отецъ Арефа, нашъ об-

щій восторженный крикъ, которымъ мы обыкновенно встрѣчали спасительный звонокъ въ концѣ урока,—голосъ „Безгласнаго“ звучалъ особенно рѣзко. Нельзя сказать также, чтобы „Безгласный“ отличался особенною молчаливостью. Если онъ, правда, и не былъ особеннымъ охотникомъ до воспоминаній о каникулахъ, разсказовъ о своей семьѣ, роднѣ и домашней обстановкѣ,—разсказать онъ могъ бы только больное и тяжелое,—то, все-таки, никогда не уклонялся отъ „разговора“, даже во время урока, шепотомъ, за что не разъ и несъ достодолжное возмездіе.

„Безгласнымъ“ окрестили его собственно не мы, а нашъ злѣйшій врагъ, инспекторъ, котораго мы единогласно прозвали „Желтою селедкой“. Этотъ инспекторъ, желчный, худой и длинный, съ безпокойно бѣгающими узкими глазками, постоянно разыскивающими „виноватаго“, вѣчно подслушивавшій, вѣчно шипѣвшій угрозы, ненавидѣлъ насъ такъ же, какъ и мы его, и звалъ насъ не иначе, какъ „дикія лошади“. Несмотря на всю несообразность такого прозвища, несмотря даже на то, что, повидимому, на этомъ уподобленіи насъ четвероногимъ именно и основывалъ „Селедка“ свое обыкновеніе весьма развязно обращаться съ нашими вихрами и ушами, мы, признаться, съ нимъ скоро примирились. Оно всѣхъ ровняло, никого не выдѣляло, никого не дѣлало предметомъ особенной злобы или ненависти. Всѣ были „дикія лошади“,—всѣмъ доставалось одинаково!

Но онъ былъ выдѣленъ изъ нашей среды, онъ стоялъ особнякомъ, онъ былъ не „дикая лошадь“, а „Безглас-

ный“,—слѣдовательно, „я“, на которое было обращено „особое вниманіе“. И, Боже мой, какъ же ему доставалось!

Правду сказать, у „Желтой селедки“ было нѣкоторое основаніе выдѣлать его изъ общей среды, поставить особнякомъ. Всѣ мы, „дикія лошади“, въ случаѣ какихъ-либо „правонарушеній“ или „проступковъ“, пускали въ ходъ неимоверныя усилія, чтобы такъ или иначе сбить съ толку, навести на ложный слѣдъ, извернуться, вывернуться,—божились, клялись, сотни разъ повторяли: „не я“, старались „мило“ улыбаться и, произнося слова: „господинъ инспекторъ“, смягчали тонъ до нѣжности. Одинъ только „Безгласный“ упорно молчалъ въ такія минуты, потупивъ голову, и нервно крутилъ двумя пальцами лѣвой руки пуговицу своего мундира.

Это была его обычная манера объясняться съ „начальствомъ“, за что собственно „Желтая селедка“ и прозвалъ его „Безгласнымъ“. Хвалили ли его, бранили ли, онъ молчалъ и крутилъ пуговицу. Онъ точно не умѣлъ говорить, когда „начальство“ (весь учебный персоналъ—отъ педеда до директора включительно) обращалось къ нему за чѣмъ-нибудь инымъ, кромѣ обычнаго спрашиванія урока. Когда ему задавали обидный вопросъ: есть ли у него языкъ, или куда онъ его спряталъ?—онъ только стискивалъ зубы, краснѣлъ и моргалъ глазами.

По этой ли причинѣ, или почему другому, только „Желтая селедка“ ненавидѣлъ его до остервенѣнія, какою-то глубокою, страстною ненавистью. Безмолвное

кручение пуговицы, которое онъ называлъ „упорствомъ“ и „запирательствомъ“, приводило его положительно въ ярость. Онъ оставлялъ въ покоѣ насъ и набрасывался на неповиннаго подчасъ Безгласнаго, служившаго, такимъ образомъ, постояннымъ „возлищемъ отпущенія“ для всего класса... Онъ трясъ его за вихоръ, топалъ ногами, кричалъ, грозилъ и, не добившись, въ концѣ-концовъ, ни слова, обрушивалъ на него всю вину. Безгласный былъ виноватъ у него всегда и за все, что бы ни случилось, и за все отвѣчалъ своими боками. Даже разъ, когда мы, въ отсутствіе Безгласнаго, сбили съ Желтой селедки мѣтко пущенными снѣжками фуражку и Селедка самъ отлично зналъ, что Безгласный не участвовалъ въ этомъ подвигѣ, онъ, все-таки, привлекъ его къ допросу.

— Ты бы участвовалъ, если бы былъ съ ними?—ехидно спросилъ его Селедка.

Безгласный молчалъ и крутилъ пуговицу, пока не былъ оставленъ безъ обѣда вмѣстѣ со всѣми. Онъ не отрицалъ ничего, какъ и ничего не утверждалъ никогда, никогда не оправдывался, никогда не защищался и все несъ спокойно, твердо, безъ слезинки, не прося пощады, что давало поводъ Желтой селедкѣ подозрѣвать, будто у него „каменное“ сердце. Посылали ли его въ карцеръ,— онъ молчалъ и крутилъ пуговицу; оставляли ли безъ обѣда, ставили ли въ уголъ—то же; грозили ли удалить изъ гимназіи,—онъ молчалъ и крутилъ пуговицу до тѣхъ поръ, пока выведенный изъ себя Селедка не хваталъ его за вихоръ и такимъ образомъ не втаскивалъ въ карцеръ. Блѣдный, съ громаднымъ лбомъ, съ добрыми сѣрыми

глазами на выкатѣ, съ вѣчно торчавшими во всѣ стороны вихрами на головѣ, онъ становился только блѣднѣе и какъ-то угрюмо, сердито выглядѣлъ въ такія минуты.

Его отецъ, спившійся съ кругу мелкій чиновникъ въ отдаленномъ уѣздномъ городишкѣ, женившись на второй женѣ, наградившей его новымъ потомствомъ, какими-то путями пристроилъ Безгласнаго казенно-коштнымъ пансіонеромъ и съ той поры махнулъ на него рукой, уступивъ всѣ свои „отцовскія права“ надъ сыномъ Желтой селедкѣ. Воспользовавшись этимъ, Селедка выпоролъ разъ Безгласнаго собственноручно за чужую шалость, о которой тотъ даже и не зналъ, выпоролъ „въ свое удовольствіе“... Порка была жестокая; Селедка вложилъ въ нее всю свою душу. Но Безгласный не издалъ ни одного стога, ни малѣйшаго крика, и когда его, растерзаннаго, окровавленнаго, обезсиленнаго, тащили въ больницу,—онъ молчалъ и все такъ же крутилъ свою ни въ чемъ неповинную пуговицу.

Съ той поры онъ сталъ нашимъ „героемъ“. Мы любили его до обожанія, несмотря на то, что учился онъ лучше насъ всѣхъ, шелъ всегда „первымъ“ и никогда не привозилъ съ „каникулъ“ и „праздниковъ“ ни пирожковъ, ни варенья, ни другихъ вкусныхъ лакомствъ. Основаніемъ для такой любви служила не одна ненависть Желтой селедки. Насъ что-то влекло къ Безгласному, тянуло: что—мы и сами не отдавали себѣ отчета. Мы знали только одно, что онъ никогда никого „не выдастъ“, никогда не пойдетъ противъ „класса“ и сдѣ-

ласть для него все, чего отъ него ни потребуютъ. Всегда отлично зная урокъ, онъ, когда „классъ“, на зло нелюбимому учителю, не училъ заданнаго,—отвѣчалъ, какъ и всѣ мы: „не знаю“, за что, конечно, шелъ въ карцеръ, а мы отдѣлывались нулями и единицами. За это-то мы любили его, даже больше—гордились имъ.

И Безгласный платилъ намъ тѣмъ же. Намъ, своихъ сверстниковъ, свой классъ, свои парты онъ любилъ, какъ любили мы свои семьи, свои дома, своихъ родныхъ. Мы были его семьей, классъ—роднымъ домомъ, парта—кроваткой, на которой мы нѣжились дома подъ нѣжными ласками матери. Другой семьи, другаго дома у него не было... его „миръ“ не выходилъ за предѣлы школьнаго зданія!

Тѣмъ не менѣе, мы вывихнули ему руку.

Это случилось въ то достопамятное утро, когда учитель исторіи не явился въ классъ по болѣзни и мы, не зная, куда дѣваться отъ скуки, вмѣсто того, чтобы сидѣть смирно, вздумали „демонстрировать“ вытверженный урокъ изъ исторіи. Классъ раздѣлился на „афинянь“ и „спартанцевъ“, и злополучный рокъ толкнулъ Безгласнаго пристать къ немногочисленной кучкѣ послѣднихъ. Парты превратились въ холмы и рвы Платей, мѣлъ и книги въ камни и острые стрѣлы, линейки замѣнили мечи и копья,—и, по данному сигналу, „Эпаминонды“ бросились на „Леандровъ“. Мужество съ обѣихъ сторонъ было безгранично, подвиги невѣроятны!... Если не дрожала земля, за то дрожали полъ, дрожали окна, дрожали стѣны... Бойцы дрались, какъ древніе герои, па-

дали безъ стона, утирали разбитые въ кровь носы безъ слезинки, схваченные за руки брыкались ногами,—самъ Ахиллъ не сдѣлалъ бы большаго!

Наконецъ, раздался пронзительный побѣдный кличъ „аэинянъ“... Спартанцы были смяты. Ихъ главный вождь, Безгласный, получивъ неимовѣрнаго тумака, полетѣлъ съ парты на полъ и вивихнулъ руку... Еще одинъ натискъ и... Но вдругъ воцарилась гробовая тишина и „герои“ остановились, какъ вкопанные: Желтая сеledка поднималъ Безгласнаго за вихоръ.

— Что это у васъ такое было?—злбно зашипѣлъ онъ. Гробовое молчаніе.

— Кто дрался?

Ни звука.

Сеledка огинулъ испытующимъ взоромъ наши носы,—они говорили за насъ! Наказать приходилось всѣхъ,—это было трудно.

— Ты съ кѣмъ дрался?—набросился онъ съ яростью на Безгласнаго.

Безгласный молчалъ.

— Ну, голубчикъ, скажи, я тебя прощу!—заговорилъ Сеledка сладенькимъ голоскомъ.

Безгласный молчалъ и крутилъ пуговицу.

— Н...н...н...ну же!—и Сеledка рванулъ его за больную руку.

Безгласный молчалъ.

Вмѣсто больницы, онъ попалъ въ карцеръ.

Мы были спасены! Мы испустили ликующій крикъ въ честь стойкаго и твердаго героя, вызвавшій на его блѣд-

ныя щеки румянецъ торжества и гордости. Но скоро чувство эгоистической радости смѣнилось въ насъ сердечною болью,—намъ стало жаль Безгласнаго. Наша печаль увеличилась еще больше, когда мы вспомнили, что въ тотъ день „вторымъ“ приходились битки съ кашей. Боже, битки съ кашей и онъ ихъ даже не понюхаетъ?! Это было больше, чѣмъ жестоко... Селедза зналъ, что дѣлалъ!

Во что бы то ни стало, мы рѣшили не допустить подобнаго варварства. Каждый долженъ былъ пожертвовать квадратный дюймъ битка и цѣлую ложку каши!... „Жертвы“ составили двѣ громадныя горы, съ трудомъ помѣстившіяся въ носовой платокъ, съ которымъ „охотники“, выждавъ сумерекъ, направились къ карцеру, крадучись, какъ бенгальскіе тигры... Въ корридорѣ былъ „мракъ Аида“... тишина нарушалась только нашимъ собственнымъ осторожнымъ сапомъ... Длинный „Журавль“ подставилъ свои плечи; съ помощью „Носорога“, „Тромбонъ“ взмогился на нихъ и прильнулъ своимъ вздернутымъ носомъ къ оконцу надъ дверьми карцера.

— Безгласный!...

— А?—послышался радостный шепотъ.

— Хочешь ѣсть?

— Хочу, братъ!...

— На!

Тромбонъ смѣло надавилъ рукой. Стекло зазвенѣло, разлетѣвшись въ дребезги, и драгоценный грузъ гулко шлепнулся на полъ карцера.

— Спасибо, братцы!

О, какою радостью, какимъ торжествомъ забились наши сердечки, заслышавъ эти два простыя слова!

Мы прыгали отъ восторга, цѣловались, обнимались, качали „на ура“ смѣлаго Тромбона и длиннаго Журавля, давили объятіями хладнокровнаго Носорога... Мы были внѣ себя!

Но наша радость скоро смѣнилась горячими слезами.

Что-то дернуло нашего врага, вѣчно шпионившаго за нами въ сумерки съ потайнымъ фонарикомъ, заглянуть въ карцеръ. Незамѣтно подкравшись, Желтая селедка быстро отворилъ дверь и въ тотъ же моментъ снопъ яркаго свѣта его фонарика облилъ и разбитое стекло, и битвы съ кашей, и почти давившагося ими Безгласнаго.

— Кто тебѣ далъ?—заревѣлъ Селедка.

Безгласный молчалъ.

— Кто разбилъ стекло?

Безгласный молчалъ.

На другой день мы обливались горькими слезами, прощаясь съ Безгласнымъ, котораго „въ назиданіе всѣмъ“ исключили изъ гимназій.

Я былъ уже на IV курсѣ, когда Безгласный только что поступилъ въ университетъ... Боже мой, что пришлось ему вынести, прежде чѣмъ удалось добиться права вступить въ „храмъ науки“! Онъ успѣлъ побывать и суфлеромъ, и писцомъ въ какой-то канцеляріи какого-то никому ненужнаго управленія, и актеромъ „безъ рѣчей“, и народнымъ учителемъ,—и куда только ни ки-

дала его еще судьба! Разказы его объ этихъ скитаньяхъ по бѣлу-свѣту, о голодныхъ дняхъ, борьбѣ за насущный кусокъ хлѣба, обо всѣхъ „тернiяхъ“, такъ обязательно раскинутыхъ жизнью на пути бѣднаго, одинокаго человѣка безъ связей, знакомства и протекцій,—могли вызывать и слезы, и безграничное уваженiе къ его личному мужеству и прекрасному сердцу. Попрежнему въ немъ жило что-то чарующее, влекущее къ нему, доброе и сильное, здоровое, какъ сама юность, которою дышала вся его высокая и сильная фигура. И теперь онъ былъ прежнiй Безгласный—добрый, самоотверженный и преданный.

Я былъ въ восторгѣ, когда неожиданно-негаданно встрѣтилъ его—оборваннаго, голоднаго, въ дырявыхъ сапогахъ, съ кучей книгъ подъ мышкой. Мы оба долго душили другъ друга въ объятiяхъ и чуть не расплакались отъ волненiя, какъ дѣти. Опытъ, все вынесенное въ долгой, упорной борьбѣ за „право на жизнь“ наложили на него печать какой-то силы, твердости, закаленности, такъ что я, несмотря на свой IV курсъ, выглядѣлъ въ сравненiи съ нимъ если не „маменькинымъ сыночкомъ“, то, во всякомъ случаѣ, „зеленымъ юношей“. Все въ немъ было твердо, ясно, опредѣленно; когда онъ говорилъ „да“ или „нѣтъ“, за нимъ слышалось непоколебимое рѣшенiе, не идущее ни на какой компромиссъ. Какъ остались при немъ его высокiй лобъ, его громадные полные любви сѣрые глаза, его мягкая, нѣжная улыбка,—такъ остались при немъ его сердце, типическiя черты его характера, дѣлавшiя его нѣкогда нашимъ кумиромъ.

Только теперь изъ смутныхъ, неясныхъ инстинктовъ они развились въ твердые, сознательные принципы, изъ зачатковъ выросли въ цѣльный, непосредственный нравственный обликъ.

Безгласный поступилъ въ университетъ буквально, что называется, безъ гроша, вѣря въ одно, что студенты — товарищи и что бѣднякъ — не онъ одинъ. Съ помощью друзей ему удалось раздобыть уроки, дававшіе возможность не голодать, по крайней мѣрѣ, и онъ съ жаромъ принялся за науку... Онъ отдался ей весь безусловно и страстно, какъ только и можно отдаваться тому, чего добился путемъ долгихъ, неимоверныхъ усилій... Его скоро замѣтили профессора и ему была обѣщана стипендія.

На его бѣду, въ университетѣ произошла „исторія“, одна изъ тѣхъ вѣчныхъ „исторій“, переживать которыя приходится почти каждому студенту... Съ одной стороны — форма, традиціи, авторитетъ, со всѣми его атрибутами и требованіями; съ другой — юношеская пылкость, горячее, чуткое сердце... Кто этого не испыталъ?

Какимъ-то образомъ Безгласный попалъ въ списокъ обвиняемыхъ. Онъ попалъ какъ-то нечаянно, чуть ли не по ошибкѣ. Уликъ противъ него особенныхъ не было, за него были многіе члены „Совѣта“ и было несомнѣнно, что „исторія“ не будетъ имѣть для него никакихъ несприятныхъ послѣдствій.

Наступилъ день университетскаго суда.

Обвиняемые почему-то нашли для себя неудобнымъ отвѣчать суду поодиночкѣ. Судъ, въ свою очередь, напелъ почему-то только это удобнымъ для себя и сталъ

призывать обвиняемых по одному. Пылкая юность вскипѣла и рѣшила: „не отвѣчать“.

Первымъ вызвали Безгласнаго.

— Вы будете отвѣчать суду?—спросилъ его председатель.

— Нѣтъ!—отвѣтилъ тотъ.

— Послушайте,—обратился къ нему одинъ изъ судей,—мы убѣждены въ вашей невинности и увѣрены, что вы замѣшаны по ошибкѣ или недоразумѣнію... За чѣмъ же вы себя губите?

Безгласный молчалъ.

— Мы считаемъ васъ однимъ изъ лучшихъ студентовъ!... Вы получите стипендію!...

Безгласный молчалъ.

— Скажите только, принимали ли вы участіе... Одно слово,—только одно слово,—понимаете: только „да“ или „нѣтъ“!—обратились къ нему судьи съ непритворнымъ участіемъ.

Безгласный не сказалъ этого „одного слова“.

Въ тотъ же день въ канцеляріи университета, крутя двумя пальцами лѣвой руки пуговицу, онъ „получалъ обратно“ свои бумаги. Съ тѣхъ поръ я надолго потерялъ его изъ вида.

Армія генерала Чернаева отступала на всѣхъ пунктахъ. Пользуясь громаднымъ превосходствомъ силъ, турки тѣснили ее съ юга, востока, запада, даже пытались зайти въ тылъ, отрѣзать отступление, но всѣ ихъ попытки въ этомъ направленіи терпѣли полнѣйшее fiasco.

За то съ фронта непріятель напиралъ все сильнѣе съ каждымъ часомъ. Гранаты лопались во всѣхъ направленіяхъ, справа, слѣва, спереди, сзади, вспыхивая блѣдными, красноватыми языками пламени въ тучахъ дыму, песку и пыли и наполняя воздухъ особеннымъ, сухимъ трескомъ, слышнымъ сквозъ пушечный гулъ и ружейную трескотню... Пули жужжали, какъ пчелы,—сквозъ пыль и дыхъ нельзя было разглядѣть ничего. Цѣлыя колонны ныряли въ сѣрыхъ облакахъ, обволакивавшихъ пространство, показывались на мигъ и снова исчезали, точно небольшое, легкое судно въ свирѣпую морскую бурю. Кругомъ отъ смѣшанныхъ криковъ, выстрѣловъ, грохота несущихся орудій, топота лошадей и человѣческихъ ногъ стоялъ какой-то невообразимый гулъ, сквозъ который, какъ бы прорываясь, изрѣдка выдѣлялись болѣе или менѣе явственно слова команды или близкій выстрѣлъ орудій.

Это былъ настоящій „хаосъ брани“.

Тѣмъ не менѣе, отступленіе не походило еще на бѣгство. Въ общемъ отступали твердо, сдержанно, шагъ за шагомъ. Каждый шагъ турки брали съ боя. Какъ и всегда, впереди, въ огнѣ, шли добровольцы, падавшіе сегодня массами, удивляя старыхъ ветерановъ выдержкой, мужествомъ и самоотверженіемъ.

Перевязочный пунктъ, на которомъ я былъ докторомъ въ числѣ другихъ, нѣсколько разъ уже мѣнялъ свое мѣсто. Ретируясь подъ пулями въ послѣдній разъ, мы потеряли двухъ фельдшеровъ и четырехъ служителей,—одинъ фельдшеръ и одинъ служитель были убиты напо-

валъ, остальные тяжело ранены. Но и на нашемъ новомъ мѣстѣ, гдѣ работы было больше даже чѣмъ по горло, оставаться приходилось недолго. Сначала стали залетать одинокія гранаты, потомъ засвистали и пули, все чаще и чаще, такъ что волей-неволей пришлось подумать о новомъ отступленіи. Уже было отдано приказаніе укладываться, какъ вдругъ вблизи, какъ-то внезапно, до того неожиданно, что всѣ мы остолбенѣли, раздался рѣзкій ружейный залпъ, за нимъ другой, третій,—цѣлый градъ залповъ. Загудѣлъ протяжный, долгій гулъ: „алла, алла“,—какой-то грохотъ, визгъ, стонъ,—и прямо противъ насъ на всѣхъ холмахъ, въ клубахъ сѣраго дыма, уносимаго вѣтромъ, замелькали красныя фески „низама“.

— Спасайтесь, спасайтесь!

Этотъ крикъ, этотъ „приказъ“, неизвѣстно кѣмъ отданный, быстро привелъ меня въ себя. У меня была старая, но довольно выносливая лошадь, на которую я вскочилъ быстрѣе молніи, ни на кого не глядя, ни о чемъ не думая, кромѣ собственнаго спасенія. Съ каждою секундой, съ каждымъ ударомъ пульса охватившій меня ужасъ увеличивался. Сначала мнѣ то и дѣло казалось, что вотъ-вотъ шальная пуля угодитъ мнѣ почему-то непременно въ затылокъ и именно въ одну точку, которую я и до сихъ поръ помню; но потомъ я пересталъ сознавать, чувствовать, и только инстинктивно толкалъ коня шпорами. Вѣроятно, ему передался мой ужасъ, потому что, обыкновенно плохо слушавшійся даже плети, теперь онъ летѣлъ, какъ стрѣла. Не зная куда, гдѣ „наши“, я

скакалъ сломя голову, топталъ трупы, топталъ раненныхъ, стоны и проклятiя которыхъ только смутно отдавались въ моемъ мозгу.

Наконецъ, я опомнился и сдержалъ коня въ узкой, глубокой долинѣ. Пули жужжали часто, гдѣ-то стоялъ цѣлый адъ залповъ, криковъ, грохота, но гдѣ именно, въ какой сторонѣ—разобрать было невозможно. Вся долина сплошь была усыяна тѣлами турокъ и нашихъ, безформенными кусками человѣческаго тѣла, оторванными членами, оружіемъ, обломками, подбитыми орудіями, изорванными, искалѣченными лошадьми, изъ которыхъ одна прямо предо мной еще судорожно подергивалась, шевелила ногами и раскрывала ротъ.

Вдругъ впереди мелькнула высокая фигура „добровольца“, бережно несшаго на плечахъ раненаго, а можетъ быть и мертваго товарища. Въ одинъ мигъ я былъ уже возлѣ него.

— Куда ѣхать? Гдѣ наши?!

Доброволецъ обернулся въ мою сторону. Онъ видимо страшно усталъ и задыхался подъ своею тяжелою, мертвенно неподвижною, окровавленную ношей, полузакрывавшей его лицо. Медленно поднявъ руку, чтобы показать направленіе, онъ вдругъ зашатался, опустил быстро руку, какъ-то неловко потоптался, точно желая удержаться на ногахъ, и сразу, быстро, грохнулся навзничъ на землю.

— Безгласный!

Да, это былъ онъ, Безгласный, съ его доброю, мягкою улыбкой, съ его сѣрыми глазами, свѣтившимися такою

любовью и нѣжностью. Да, это онъ лежалъ теперь въ этой долинѣ смерти, распростертый, блѣдный, тяжело дыша, бережно, любовно обнимая рукою упавшую съ нимъ его неподвижную ношу.

Онъ узналъ меня. По блѣднымъ губамъ пробѣжала улыбка, глаза ласково засвѣтились.

— Ты раненъ?!

— Да.

Моментально я забылъ и летавшія пули, и все прочее, и бросился въ Безгласному. Дрожащими руками разорвалъ я его грязную, затасканную въ крови блузу, изслѣдовалъ наскоро рану, перевязалъ, какъ могъ.

— Вставай, я доведу тебя! — лихорадочно сказалъ я, когда перевязка была окончена.

Безгласный молчалъ, точно что-то обдумывая.

— Ну же,—торопилъ я,—скорѣй!

— Двоимъ нельзя?

Онъ указалъ глазами на неподвижно лежавшаго рядомъ товарища и его губы перекосило при этомъ вопросъ, вѣроятно, отъ боли.

— Конечно, нельзя... невозможно... Мнѣ и такъ придется держать тебя... да, въ тому же, онъ и умеръ, вѣроятно.

— Нѣтъ, онъ въ обморокъ,—рана изъ легкихъ...

— Все равно... скорѣй!

— Я останусь!

— Что? Скорѣй, Безгласный, скорѣй, дружище! — говорилъ я, не вѣря своимъ ушамъ.

— Бери его... возьми... непременно! — шептали его все болѣе и болѣе бѣлѣвшія губы.

Я зналъ Безгласнаго, я понималъ его... Я обнималъ его, цѣловалъ, молилъ, тащилъ насильно, молоть всякій вздоръ о томъ, какъ нужна его жизнь, но все было напрасно. Разъ только, когда я рисовалъ ему ужасы турецкаго плѣна, въ глазахъ его промелькнуло на мгновенье что-то, что наполнило мое сердце надеждой, но только на мгновенье.

Пули жужжали все чаще и чаще, адскій концертъ все приближался, — медлить было нельзя, и, не помня себя отъ волненія и боли, я схватилъ неподвижно лежавшее тѣло юноши, слабо застонавшаго, перевалилъ черезъ сѣдло и усакавалъ.

Когда я, побуждаемый какимъ-то особенно острымъ чувствомъ любопытства, обернулся назадъ, Безгласный глядѣлъ намъ вслѣдъ и крутилъ пуговицу.

.
Спасенный юноша, почти дитя, скоро совсѣмъ поправился отъ своей легкой раны. Онъ разсказалъ мнѣ, что познакомился съ Безгласнымъ только въ отрядѣ и сразу какъ-то особенно привязался къ нему. Въ послѣдней схваткѣ турки истребили почти весь ихъ отрядъ... Онъ шелъ рядомъ съ Безгласнымъ, когда былъ отданъ приказъ отступать, въ отступленіи получилъ рану, потерялъ сознание и очнулся только въ лазаретной фургѣ.

Только въ Бѣлградѣ уже, по заключеніи мира, узналъ я, что Безгласный не погибъ въ полѣ и не былъ замученъ турками. По какой-то счастливой случайности, онъ

не попалъ въ руки баши-бузуковъ; его подняли турецкій санитарный отрядъ и помѣстили въ лазаретъ. Говорили, что какой-то ихній врачъ привязался къ нему до смѣшного.

Служба забросила меня въ далекую, глухую окраину. Стояла жестокая, суровая зима, когда я на перевалдныхъ дотащился вмѣстѣ съ засѣдателемъ N—скаго округа въ деревню Z для вскрытія „найденнаго повидимому замерзшаго неизвѣстнаго званія человѣка“, какъ значилось въ полученной мною по этому поводу бумагѣ. Хлебнувъ чайку, мы вошли въ избу, гдѣ лежалъ трупъ; тамъ уже копошился фельдшеръ, приготавливая инструменты, и понуро стояло нѣсколько человѣкъ понятыхъ, стараясь, по обыкновенію, не глядѣть на „у покойника“ и часто вздыхая.

— Какъ нашли?—для формы обратился къ мужикамъ засѣдатель.

— Да такъ то-ись... у деревни... Верстовъ почитай шесть отсюда — недалече... Глядимъ, лежитъ себѣ, сердешный, какъ перстъ, и котомка при ѣмѣ на сибгу... Царство ему небесное!

Мужики перекрестились.

— Замерзъ, что ли? — тоже для формы, позѣвывая, спросилъ засѣдатель.

— Надо быть такъ... замерзъ... Шибко холодно было...

— Изъ какихъ?... Не признаете?

— Нѣ...ѣ...тъ, твое благородіе,—не знаемъ... Не здѣшній надоть бы, ежели по облику... Должно полагать—бѣглый какой... Много ихъ нонече-то бѣгаетъ!..

Засѣдатель медленно и четко написалъ „протоколъ“. вытеръ перо, зѣвнулъ, снова обмакнулъ перо въ чернила, сказалъ: „конечно, бѣглый!“ и приготовился писать.

Дѣло было за мной.

Я подошелъ къ столу, на которомъ лежалъ трупъ, взялъ въ руку ножъ, приподнялъ холщевый покровъ— и весь похолодѣлъ... Предо мной на столѣ, вытянувшись, не дыша, съ открытыми добрыми сѣрыми глазами, какъ живой, лежалъ Безгласный.

Что-то стукнуло мнѣ въ голову, въ ушахъ зашумѣло. Яркій лучъ южнаго солнца блеснулъ въ глаза... Долина... трупы... все трупы, о сколько труповъ!... два... три!... тысячи... Кровь... Боже мой, сколько крови... цѣлое море... „Не меня, не меня, — возьми его!“—шепчетъ мнѣ Безгласный своими бѣлыми, бѣлыми губами...

Ножъ выпалъ у меня изъ рукъ, я зашатался и только какъ сквозь сонъ услышалъ:

— Докторъ обомлѣлъ! Роба... помоги!...

Я долго проболѣлъ.



ИМЕНЕМЪ ЗАКОНА!

(ИЗЪ ЗАБЫТАГО ПРОШЛАГО).

РАЗСКАЗЪ.

ИМЕНЕМЪ ЗАКОНА!

(Изъ забытаго прошлаго).

РАЗСКАЗЪ.

I.

... Все это было давно, очень давно, но нѣтъ не станетъ спорить противъ истины, что подъ луною собственно ничто не ново, что жизнь любить повторять зады, что она, какъ пресловутый заклятый мужикъ въ малороссійской баснѣ, попеременно толчетъ то „просо“, то „жито“; сегодня—„просо“, завтра—жито, тамъ опять просо, а затѣмъ снова „жито“... и т. д., и т. д., до безконечности. А если это такъ, то вспоминать свое прошлое, помнить его—далеко не лишнее дѣло,—не лишнее уже по тому одному, что въ моменты унынія это даетъ бодрость пережить уныніе, дожидаться „жита“ съ вѣрой въ жизнь, въ будущее и работать, работать, не покладая разочарованно рукъ.

Очень можетъ быть, что все это вступленіе и совершенно лишнее для читателя, но для меня оно необходимо какъ оправданіе, почему именно я не избираю въ

данномъ случаѣ болѣе современной темы. Въ этомъ прошломъ я помню одну чудесную сцену, которая до сихъ поръ согрѣваетъ мое испепелившееся въ поперемѣнной толчеѣ жизни сердце такимъ благодатнымъ, хорошимъ тепломъ, что читатель, навѣрное, не посѣтуетъ на меня за нее, а, можетъ быть, чего добраго, скажетъ еще и спасибо. Эта сценка, повторяю, случилась давно, очень давно, еще въ самомъ началѣ введенія судебной реформы, которой ждали тогда одни — какъ манны небесной, способной исцѣлить, заживить наши наболѣвшія раны, другіе — съ нескрываемою злобой и страхомъ за свои насиженные мѣста, за прошлые грѣхи, благополучно таившіеся до сихъ поръ подъ спудомъ въ тысячахъ пудовъ исписанной въ канцеляріяхъ бумаги, — за все то, чему такъ или иначе угрожалъ новый кодексъ, угрожала эта новая, эта „ужасная“ гласность.

Интересно было это время, но говорить о немъ я не буду... Мало сказать о немъ нельзя, много — не пришелъ еще часъ. Все это еще слишкомъ близко, слишкомъ ярко стоитъ въ личныхъ воспоминаніяхъ. Да, слишкомъ ярко! Ясно увидѣть абрисъ солнца можно только сквозь очень тусклое, очень закопченное стекло... Конечно, современъ, когда цѣлый рядъ лѣтъ, какъ тусклое стекло, протянется между художникомъ и тою этохой, — она явится въ рельефныхъ картинахъ и образахъ. Тогда станетъ понятнымъ, откуда взялись этотъ характеризующій ее подъемъ духа, эта святая вѣра, этотъ идеализмъ, широкою волной хлестнувшій отъ края до края, откуда, наконецъ, взялись какъ-то разомъ, вдругъ, эти небывалые ха-

рактеры, умы, типы... Теперь же... теперь я лучше вернусь къ тому, что хотѣлъ разсказать.

Реформа была уже введена, но насъ, нашего глухаго захолюстья она еще не коснулась. У насъ ее только ждали, ждали навѣрняка, несмотря на исключительное положеніе края, но ожиданіе это тянулось довольно долго. Понятно, захолюстье кипятилось, волновалось, спорило, предугадывая то тѣ, то другія послѣдствія „новшествъ“, каждый на свой ладъ, позабывъ на время карты, сплетни,—все то, что до сихъ поръ только и водновало мутною рябью тихій омутъ сонной жизни. Исправникъ, напрімѣръ, окончившій впослѣдствіи свои дни въ отставкѣ подъ судомъ, увѣрялъ всѣхъ, что „честнымъ“ людямъ скоро совсѣмъ не будетъ мѣста; его зять, производившій линію желѣзной дороги, инженеръ Жонголовичъ, вздыхалъ, что съ рабочими теперь не будетъ—де сладу; уѣздный судья, оставшійся за штатомъ, сулилъ грабежи и убійства, потому что „мерзавцы“ непременно де будутъ бродить на просторѣ... Ихъ дамы о реформѣ собственно ничего не думали, интересуясь всецѣло лишь будущими дѣятелями ея, въ ожиданіи которыхъ шили новыя платья... Масса, народъ, какъ всегда, молчалъ про себя, не то тупо, не то безучастно, не то выжидая, прислушиваясь. Мы, нашъ небольшой, очень юный еще кружокъ идеалистовъ, жившій молодыми, свѣтлыми порывами къ правдѣ,—мы, мѣстные „либералы“,—ликуя, сгорали отъ нетерпѣнія.

И вотъ, послѣ долгаго, томительнаго ожиданія, въ одинъ свѣтлый весенній день въ городкѣ пронеслась

тревожная и жгучая вѣсть: пріѣхали! На почтовой тройкѣ, окутанные тучей сѣрой пыли, пріѣхали къ намъ назначенные изъ столицы мировой судья и товарищ прокурора, еще совсѣмъ, совсѣмъ молодые люди. У исправника немедленно открылся мучительный геморрой, судья потерялъ аппетитъ, инженеръ зачѣмъ-то полетѣлъ на линію; дамы бо-монда заслонили собою узкіе деревянные мостки, замѣнявшіе тротуары. Кажется, всѣ ждали какихъ-то особенныхъ явленій, знаменій, но ничего такого, понятно, не являлось. Проходилъ день за днемъ, все оставалось попрежнему и тревога мало-по-малу стала улегаться. Пріѣхавшіе, вмѣсто какихъ-нибудь небывалыхъ дѣйствій, всецѣло погрузились въ пріемъ и разборъ старыхъ „дѣлъ“, нигдѣ не показываясь, не дѣлая визитовъ, и только по вечерамъ въ кургузыхъ столичныхъ пиджакахъ выходили подышать пыльнымъ воздухомъ уѣзднаго городишка.

„Интересность“ исчезла и кругомъ наступило разочарованіе, для однихъ — можетъ быть, очень пріятное, для другихъ — болезненное... Исправникъ справился съ геморроемъ и сталъ, кажется, допускать, что, чего добраго, и теперь еще „честнымъ“ людямъ можетъ найтись мѣсто. Бо-мондъ негодовалъ, возмущался, убійственно иронизировалъ, такъ какъ новыя платья оказались спитыми напропало, ожиданія не сбывались, „кавалеры“ не визитировали, а все только возились съ своими „противными“ дѣлами, не обращая, повидимому, ни малѣйшаго вниманія на всѣ амуры... Однѣ кричали, что это „гордецы“, на которыхъ „вовсе не стоитъ обращать вниманія“; другія успокаивали кричавшихъ увѣреніями: „ахъ, *ma chère*, они

совсѣмъ не похожи на столичныхъ, — это совсѣмъ не кавалеры, а какіе-то, вѣроятно, фи!“ Мы, разочарованные, невеселые, — мы возмущались и негодовали тоже... Мы ждали не того и не такихъ!

Во-первыхъ: „товарищъ прокурора“! Обвинитель и только!... Никакихъ другихъ функцій прокуратуры знать мы не желали, не признавали, не хотѣли видѣть... Въ общемъ онъ показался намъ тѣмъ же стариннымъ, пріѣзжимся стряпчимъ, обязаннымъ лишь гласно обвинять каждаго, кто такъ или иначе будетъ заподозрѣнъ въ томъ или другомъ „нарушеніи“, а эти „нарушенія“ и обвиненія въ нихъ давно уже истомили, измозолили наши души. Словомъ, ничего, казалось, новаго, отраднаго, исцѣляющаго „товарищъ прокурора“ внести намъ не могъ и являлся лишь прежнею, только въ новой формѣ, угрозою всѣмъ нашимъ дѣяніямъ, хотѣніямъ и т. д., которыя такъ легко всегда подвести формально подъ ту или другую статью. О прокурорѣ, какъ блюстителѣ закона и общественнаго права, мы ничего, конечно, не знали, ибо самый законъ мы видѣли лишь въ шкафахъ канцелярій, подъ замкомъ, а слово „право“ въ умахъ многихъ и многихъ до сихъ поръ имѣло самое превратное значеніе.

— Пра-во?! Ишь ты,—правъ захотѣлъ!... Да я тебѣ, саякой-такой сынъ, *такое право* покажу, что ты и своихъ-то не узнаешь!..

Вотъ и все, что мы знали до сихъ поръ о правѣ.

Во-вторыхъ: внѣшность!... Мы ждали чего-то степеннаго, чуть ли не грандіознаго, но, во всякомъ случаѣ,

внушительнаго, важнаго, чего-то импонирующаго... и вдругъ: эти бургузые пиджачки, тросточки, лорнетки, эти изможденные, блѣдныя столичныя лица, почти еще безъусыя,—эти столичныя манеры, напоминавшія намъ юркихъ губернскихъ чиновниковъ особыхъ порученій, носящихъ букеты и шали за своими начальницами! Что могли, казалось, внести новаго люди съ такими лицами и манерами,—эмблемами какихъ идей могли служить эти гибкія, красивыя тросточки, перчатки и монокли?! Конечно, ничего и нивакихъ, и лучшимъ подтвержденіемъ этого служило, казалось, то, что кругомъ ничто не измѣнилось, что пріѣзжіе рылись только въ „дѣлахъ“, ничѣмъ точно не интересуясь, а исправникъ и его присные, попрежнему, продолжали побѣдоносно летать на „парахъ съ отлетомъ“.

— Я вамъ, меррр-завцы!!...

Все это звучало по-старому.

II.

Инженеръ Жонголовичъ вернулся съ линіи блѣдный, растерянный, растревоженный и прямо, конечно, бросился къ тестю. Его опередили слухи, что на „линии“ неспокойно, что рабочіе, до сихъ поръ только глухо ворчавшіе на надувательства при расчетахъ и гнилую пищу, вдругъ заговорили громче, выведенные положительно изъ терпѣнія. Жонголовичу, правда, не разъ уже доставалось на линіи, но при содѣйствіи всемогущаго

тестя все улаживалось благополучно, — „мерзавцамъ“, толковавшимъ о „правахъ“, эти права прописывались въ соответствовавшей формѣ, и непріятныя дѣла, такимъ образомъ, всегда оканчивались къ выгодѣ инженера, бумажникъ котораго все надувался, какъ всосавшійся клещъ. Всѣ это знали, видѣли, давно съ этимъ почти примирились, но теперь, съ пріѣздомъ „новыхъ“, чего добраго, дѣло могло принять иной оборотъ и повести къ нежелательнымъ разоблаченіямъ. Понятно, было отъ чего встревожиться, поблѣднѣть и растеряться, тѣмъ болѣе, что слухи гласили о цѣлыхъ тысячахъ рублей, преспокойно остававшихся въ бумажникѣ инженера, вмѣсто того, чтобы перейти, по принадлежности, къ рабочимъ на линіи. Нужно было все предупредить, пресѣчь, такъ или иначе придать дѣлу такой оборотъ, чтобы виновные получили свою обычную мзду, а Жюнголовичъ — свои тысячи.

Городокъ опять всполошился, — пошли всякіе толки, слухи, сплетни, передававшіеся то громко, то шепотомъ, съ подмигиваніемъ, съ намеками всѣмъ понятными, подчасъ остроумными и злыми. Говорили за вѣрное: такъ какъ претензіи неоспоримы, то все дѣло направлено будетъ къ тому, чтобы вызвать толпу, несдержанную, выведенную изъ терпѣнія, голодную, на шумъ, крикъ, буйство, — дать ей „расходиться“, а затѣмъ, затѣмъ... нагррррнуть... и... Всѣмъ становилось попятнымъ, что слѣдовало за этимъ и, — прецедентовъ въ прошломъ было не мало, — и всѣ склонялись къ тому, что дѣло такъ именно и кончится. Пріѣзжіе, которыхъ такъ опасались, все

продолжали рыться въ бумагахъ, ни къ чему, повидимому, не прислушиваясь, ни на что не обращая вниманія.

Мы уже не кипятились, не волновались, — мы просто негодовали. Это непозволительное безучастіе, бросавшееся въ глаза, какъ бы подчеркиваемое даже нежеланіе видѣть и слышать,—возмущали насъ до глубины души. Вотъ тебѣ и реформа, вотъ тебѣ и дѣятели! Мы кричали, шумѣли, нарочно собираясь въ ресторанъ, гдѣ пріѣзжіе упражнялись по вечерамъ на билліардѣ, но тѣ и ухомъ не вели... Насъ, очевидно, они смѣшивали со всѣми и даже не прислушивались, казалось, къ нашимъ рѣчамъ, стуча своими шарами. Это, естественно, обижало насъ, сердило, и разъ мы не выдержали.

— Вы, кажется, прокуроръ?!—обратился къ пріѣзжему, послѣ долгихъ и напрасныхъ усилій обратить на свои рѣчи вниманіе, самый пылкій изъ насъ; ему было всего восемнадцать лѣтъ. — Если не ошибаюсь, прокуроръ, да?!

Тотъ опустилъ вѣи.

— Товарищъ прокурора,—вѣжливо поправилъ онъ съ сдержаннымъ полупоклономъ.

— Это все равно... Такъ позвольте, если это не несеромно... если позволите...

— Къ вашимъ услугамъ, — перебилъ тотъ такъ же сдержанно,—что вамъ угодно?...

— Видите ли... Мы всѣ,—вотъ, мои товарищи и я,—мы всѣ, словомъ, если позволите...

Онъ смѣшался, но мы всѣ бросились къ нему на помощь.

— Мы считали бы своимъ долгомъ обратить ваше вниманіе,—кричали мы въ перебой,—на то, что дѣлается на линіи... Неужели вы ничего не слышали?... Неужели вы не знаете слуховъ?... Слухи гласятъ, что...

Тотъ пожалъ плечами.

— Господа, — перебилъ онъ насъ уклончиво, — вѣдь, слухи—только слухи... Можно ли руководствоваться слухами?... Нужны факты, а гдѣ же они?...

— Но развѣ вы не знаете, что говорятъ въ городѣ про инженера и исправника?

— Господа, у васъ ни про кого не говорятъ хорошо въ городѣ... Всѣ обвиняютъ и ругаютъ другъ друга...

Это, положимъ, была чистая правда, но для насъ мало убѣдительная.

— А домъ, что нажилъ инженеръ, а рысаки, а пиры?!—кричали мы, стараясь поскорѣй выложить все навипѣвшее, —вѣдь, это все грабежъ!...

Прокуроръ нахмурился и поднялъ глаза въ упоръ.

— Вы можете подтвердить это официально? — спросилъ онъ сухо и строго.

— Конечно, нѣтъ!...

— То-то!

— Но *vox populi!*...

— *Vox populi!*... господа, *vox populi!*... обвинялъ христіанъ въ пожарѣ Рима, если помните!—не то съ проиніей, не то наставительно продолжалъ прокуроръ.

— Значить,—растерянно бормотали мы, не зная, что сказать,—значить...

— Значить,—подхватилъ прокуроръ,—нужны факты...

Я цѣню ваше рвеніе... Вы честно, какъ и должна молодёжь, возмущаетесь нехорошимъ, но, вѣдь, все это только слухи...

Онъ взялъ кій и повернулся къ билиарду, за которымъ стоялъ его товарищъ, мировой судья, оглядывавшій насъ все время изъ-подъ очковъ любопытнымъ взглядомъ, а мы, сконфуженные, растерянные, сбитые съ позиціи, разошлись, порѣшивъ разъ навсегда ни за чѣмъ и ни съ чѣмъ къ нимъ не обращаться. Мы были убѣждены, что реформы не будетъ, что все пропало, и махнули рукой на всѣ свои золотые сны и надежды.

— Эхъ, эти столичные гуси!...

Будь у насъ еще хоть малѣйшая доля колебанія въ такомъ рѣшеніи, она разсѣялась бы какъ дымъ отъ однихъ любезныхъ раскланиваній „столичныхъ гусей“ (иначе мы уже не звали пріѣзжихъ) съ инженеромъ и исправникомъ, свидѣтелями которыхъ мы не разъ бывали на улицѣ. Послѣдніе мило улыбались, дѣлали всякіе подходы, проявляли необычайное заискиваніе, на что первые отвѣчали хотя сдержанно, но всегда крайне вѣжливо, точно вполнѣ порядочнымъ людямъ. Это приводило насъ въ злобную радость, мы зло хохотали и иронизировали, подмигивая другъ другу... „Уже спѣлись!“ — говорили наши взоры, и мы ждали только самыхъ ничтожныхъ фактовъ, чтобы выступить съ горячею обличительною корреспонденціей, полной самыхъ ядовитыхъ намековъ на тему „рука руку моетъ“. Факты эти, казалось, были не за горами... Слухи о ропотѣ на линіи все росли и росли, а вмѣстѣ съ тѣмъ росли улыбочки

исправника, какія-то темныя угощенія кого-то на заднемъ дворѣ исправницей, — росла подозрительная суета разныхъ десятскихъ на линіи... Разъ мы даже слышали, какъ исправникъ увѣрялъ въ ресторанѣ „столичныхъ гусей“, что „съ рабочими совсѣмъ нѣтъ сладу“, что не будь его зять-инженеръ такъ уступчиво-добродушенъ, такъ мягокъ и безумно щедръ, — давно не миновать бы безпорядка. Тѣ слухали невозмутимо, точно соглашаясь, и продолжали тянуть вино изъ своихъ стакановъ, какъ ни въ чемъ не бывало... Мы, понятно, вознегодовали еще больше и разъ, когда прокуроръ вздумалъ намъ поклониться какъ старымъ знакомымъ, мы отвернулись, сдѣлавъ видъ, что не замѣчаемъ поклона.

— Еще кланяться вздумалъ!.. Ишь ты!..

А тревожные слухи, распространявшіеся все больше и больше, перешли, наконецъ, въ дѣйствительность. Въ одно прелестное утро съ быстротой молніи облетѣла городокъ жгучая вѣсть, что подъ самымъ городомъ нѣсколько тысячъ человѣкъ бросили работу и „бунтуютъ“, т.-е. требуютъ къ себѣ инженера, выдачи заработной платы и вѣрнаго расчета. Весь городокъ моментально поднялся на ноги, засуетился, задвигался, зашумѣлъ. Исправникъ созвалъ команду, что-то крича о бунтахъ и стачкахъ; инженеръ увѣрялъ встрѣчныхъ и поперечныхъ, что онъ тутъ не причемъ, что рабочіе врутъ, и т. д. Одни вѣрили ему, другіе не вѣрили; одни ругали его, другіе — толпу, но всѣ почти бросились за городъ къ мѣсту дѣйствія. Цѣлый рядъ экипажей, поднимая тучи пыли, поднялъ всѣхъ скучавшихъ, всѣхъ обрадованныхъ

новымъ „случаемъ“, на интересное зрѣлище, съ моноклями, биноклями, даже съ виномъ и закусками. За городомъ, можно было подумать, шелъ какой-то веселый праздникъ, живой, веселый пикникъ.

А тамъ, на солнцепекѣ, густо усыпавъ земляную насыпь, воздвигнутую своимъ же трудомъ, собралась громадная, что-то глухо галдѣвшая толпа, одѣтая въ невообразимые лохмотья. Даже яркое солнце, даже блескъ чуднаго весенняго утра не скрашивали ея угрюмаго, тяжелаго вида. Она все кричала, шумѣла, но что—разобрать было пока трудно, — до насъ долетали только обрывки, какіе-то неопредѣленные выкрики: „по правдѣ“, „разсчитать“, „отдай!“... Все это дополнялось жестами, лихорадочными, возбужденными движеніями рукъ, какою-то общою суетой, характеризующею всегда большое, возбужденное сборище людей. Чуялась гроза, — вдали ужь виднѣлась команда, — и жутко, какъ-то до слезъ больно становилось за этотъ людъ, — за его обиду, которую онъ не сумѣетъ ни выяснить, ни отстоять. Жутко становилось, потому что мы знали, какъ и къ чему будетъ направлено дѣло; жутко было и за себя, за свое безсиліе помочь, не допустить торжества зла и неправды... Мы знали все и, предвидя поруганіе закона и права, дрожали отъ безсильной злобы, отъ обиднаго до боли сознанія своего безсилія...

III.

А гроза приближалась, — толпа, казалось, выходила из себя...

Эти крики и угрозы, этот видъ команды, выведенной противъ нея, пришедшей искать себѣ, просить только своего права и защиты закона, — усиливали ея раздраженіе. Было очевидно, что вся она, какъ одинъ человѣкъ, собралась сразу, двинутая одними общими побужденіями, желаніями, потребностями, — собралась стихійно, какъ собираются въ кучу песчинки, поднятыя вихремъ, — а отъ нея требовали, вдругъ, указанія зачинщиковъ, которыхъ она не знала, не видала, потому что таковыхъ, конечно, и не было вовсе. Не имѣя ни малѣйшаго понятія о легальныхъ и нелегальныхъ формахъ, чувствуя себя на почвѣ своего права и закона, не понимая, не зная, что сборище ея само по себѣ можетъ быть уже нарушеніемъ извѣстныхъ постановленій, она просила справедливости, суда, просила разобратъ ея нужды, но ее не слушали, ей кричали: „расходись!“ Она считала себя представительницей правды и законности, нарушенныхъ другими, она вся была проникнута вѣрой въ возможность найти и правый судъ, и справедливость, была строго лойяльна, — ей кричали: „бунтовщики!“ И все это, конечно, только увеличивало ея раздраженіе, усиливало недоразумѣніе, приводило къ тому, что сама она, строго лойяльная въ душѣ и понятіяхъ, безусловно преданная отвлеченной идеѣ строго-справедливой власти, — считала бунтовщиками,

нарушителями закона тѣхъ, кто разгонялъ ее и не слушалъ...

— Рррас-хо-дись!...

— Мы найдемъ судъ!... Мы и дальше пойдемъ!... Къ министрамъ пойдемъ!...—кричала толпа.

— Куда угодно!... Рррас-хо-дись!

Этотъ насмѣшливый, холодный отвѣтъ зажегъ негодованіемъ и насъ, и толпу, но она еще сдержалась... Инстинктивно ли чуя, или понимая, что ее хотять вывести изъ себя, она сама успокаивала болѣе строптивыхъ...

— Шш... шш!...— унимала толпа отдѣльные крики и взрывы,—шш, тише!—Солдаты, выходи... говори!

Старый, николаевскій солдатъ вынырнулъ изъ передней кучи.

— Ты кто?

— Богу, государю двадцать пять лѣтъ служилъ!.. Подъ Севаст...

— Бунтовщикъ!...

— Я-то?! Двадцать пять лѣтъ Богу, государю... Подъ Сев...

— Вонъ!

— По закону мы хотимъ, — не унимался солдатъ,— по закону!... Какъ законъ говорить... деньги отдайте!..

— Взять его, зачинщика!—раздался приказъ, но солдатъ юркнулъ въ ряды.

— Деньги отдайте! Ъсть нечего! — заголосила вдругъ толпа, какъ одинъ человѣкъ.

Жонголовичъ выглянулъ изъ-за теста.

— Нѣтъ денегъ!... Въ лавочкахъ берите,—я кредитъ приказалъ открыть...

— Ишь ты... въ лавочкахъ! Тамъ съ насъ рубахи сдираютъ, въ твоихъ лавочкахъ!—вспыхнула толпа.—Деньги отдай!...

— Нѣтъ денегъ... Вы и такъ перебрали!...

Онъ совралъ, можетъ быть, необдуманно, не рассчитавъ послѣдствій, а, можетъ быть, и съ тѣмъ, чтобы поднести, такъ сказать, фитиль къ готовой минѣ... Толпа дрогнула... До сихъ поръ не разочарованная въ возможности получить, можетъ быть, хоть что-нибудь и поэтому, все-таки, кое-какъ сдержанная, она увидѣла теперь, что надежды нѣтъ, что она не получитъ ничего, что она обманута, и, точно пораженная этимъ, на моментъ вдругъ замолкла... Наступила страшная, напряженная тишина, въ которой все, казалось, застыло мертво и неподвижно... Но это была та роковая тишина передъ бурей, роковымъ ударомъ, передъ страшнымъ стихійнымъ взрывомъ,—тишина, что страшнѣе самой катастрофы, болѣзненнѣе, жутче... Секунды такой тишины сходятъ подчасъ за годы... У меня захватило дыханіе, ноги задрожали,—я забылъ, казалось, и свое негодованіе, и злобу,—я весь былъ охваченъ однимъ страшнымъ и острымъ, какъ отточенная сталь, ожиданіемъ... Всѣ зрители, всѣ сбѣжавшіеся и съѣхавшіеся горожане вытянулись, блѣдные, затаивъ дыханіе, вперивъ въ толпу неподвижные, испуганные взгляды...

А страшно молчавшая толпа дрогнула еще разъ, дрогнула какъ-то конвульсивно, и по ней, по ея густымъ

плотно стиснутымъ рядамъ пробѣжалъ какой-то неясный шепоть, не то шелестъ, точно легкій вѣтеръ поднялъ гдѣ-то слежавшуюся кучу сухихъ осеннихъ листьевъ... Моментально этотъ шелестъ выросъ въ глухой звукъ точно близкаго морскаго прибоя, — нераздѣльный, неясный, смутный... Еще моментъ—и все кругомъ разлилось цѣлымъ ревомъ, неудержимымъ, бѣшенымъ ревомъ, въ которомъ тонули, какъ тонуть въ морѣ дождевыя капли, — и слова, и возгласы, и отдѣльные крики...

Исправникъ отскочилъ.

— Бей, гони!...

Мною овладѣлъ ужасъ, который мѣшалъ мнѣ видѣть, понимать, отъ котораго я дрожалъ, какъ листъ. Все спуталось, слилось у меня въ глазахъ; я слышалъ только этотъ отчаянный ревъ... я видѣлъ какую-то суету и смятеніе... Еще только моментъ, казалось, одинъ только моментъ... но вдругъ все смолкло, остановилось, замерло, — какое-то неясное движеніе, какъ судорога, какъ легкая струйка на зеркальной водяной глади отъ всплеснувшей рыбы, и въ ясномъ воздухѣ застыли и люди, и поднятыя руки, и сжатые кулаки... Кто-то пробрался въ толпу, на которую, казалось, слетѣлъ вдругъ голубь мира съ масляною вѣтвью, но кто и съ чѣмъ—различить сразу было нельзя...

— Именемъ закона!...

Да, только два этихъ слова, всего два слова раздались въ наступившемъ, точно мертвомъ безмолвіи, и все продолжало оставаться такъ же неподвижно, точно пораженное магическимъ жезломъ, точно очарованное или

изумленное... Кто, какой волшебникъ унялъ вдругъ, внезапно вспыхнувшую, разъяренную стихію, какая нечеловѣческая сила моментально остановила готовую разразиться бурю?!... Я увидѣлъ, какъ съѣжился Жонголовичъ, какъ поблѣднѣлъ исправникъ, какъ, вздрогнувъ, отхлынула толпа, какъ странно блеснули ея глаза,—но я еще не понималъ ничего, не могъ разглядѣть, почти не вѣрилъ себѣ, весь охваченный очарованіемъ этой дивной, непередаваемой картины.

— Именемъ закона!

Теперь я все понялъ, разглядѣлъ, увидѣлъ... Туда, гдѣ кипѣли и бушевали страсти, вошелъ представитель закона и права,—вошелъ неожиданно прокуроръ съ своимъ товарищемъ судьей, и это онъ произнесъ эти два волшебныя слова... Да, полно, онъ ли это,—этотъ чловѣкъ, отъ котораго повѣяло вдругъ на всѣхъ такою силой и мощью, такою особенною, человѣческою красотой?! Мы колебались,—мы не вѣрили себѣ... Мнѣ, намъ всѣмъ онъ показался теперь и выше, и стройнѣе, — его глаза сверкали, лицо было блѣдно, губы, казалось, дрожали отъ водненія или негодованія,—не знаю,—но онъ стоялъ ровно, смѣло и гордо...

— Именемъ закона!

Всякое волненіе исчезло, поднятыя руки опустились, заступы и ломы исчезли... Толпа дрогнула вновь, по ней вновь пробѣжалъ какой-то неясный шепотъ, точно шелестъ, но уже не предвѣстникъ бури, а яснаго вѣдра, мира, покоя... Не знаю, что чувствовалось тамъ, въ толпѣ, но у меня что-то свалилось, я вздохнулъ вдругъ

глубоко и вольно, въ глазахъ у меня блеснули какія-то теплыя, благодатныя слезы... Какая-то странная волна тепла нахлынула вдругъ на душу, точно изъ оковъ вырвавшуюся отъ давившихъ ее злобы и негодованія, и хотѣлось улыбнуться, — хорошо, счастливо улыбнуться и подѣтски, счастливо заплакать... Исчезли, провалились куда-то безслѣдно и злоба, и негодованіе, и боль, — все, все исчезло, кромѣ одного безграничнаго, человѣческаго счастья отъ сознанія торжества права. Я вытянулся, — мнѣ показалось, что я вдругъ выросъ, что я не нуль, не ничто, не безсильное, ничтожное существо, ни съ чѣмъ не связанное, никому не нужное, съ одною больною обидой въ душѣ, — я почувствовалъ себя гражданиномъ, чело-вѣкомъ, у котораго есть и родина, и законъ, и право...

— По предоставленному мнѣ закономъ праву я открываю здѣсь засѣданіе!...

Это произнесъ уже судья, и сквозь туманъ, застилав-
шій мнѣ глаза, я увидѣлъ, какъ ярко сверкнула на сол-
нцѣ его золотая судейская цѣпь... Кругомъ царило без-
молвіе, какъ въ храмѣ, и то же благоговѣніе, мирное,
торжественное, покойное, — благоговѣніе, которое охва-
тываетъ какъ-то невольно, неудержимо, всецѣло, — охва-
тило всѣхъ. Только жаворонки, кружась гдѣ-то высоко-
высоко въ безмятежной, ясной лазури, разливались тамъ
звонкою трелью, точно радуясь и людямъ, и солнцу, и
царившему миру, да зеленые листья вѣчно непокой-
ныхъ придорожныхъ осинъ что-то тихо, почти безшумно
шептали...

IV.

Судья что-то говорилъ, что-то спрашивалъ, но что и какъ—теперь я не помню. Да и врядъ ли я слышалъ что-нибудь тогда, переживая такъ много и такъ глубоко въ короткія, быстролетныя минуты, охваченный такимъ сильнымъ, такимъ острымъ ощущеніемъ счастья. Я, кажется, больше чувствовалъ, чѣмъ понималъ и видѣлъ, угадывалъ, чѣмъ ловилъ слова и выраженія. Помню, что по толпѣ пронесся точно вздохъ облегченія, вырвавшійся изъ тысячныхъ человѣческихъ грудей; помню, что блѣдный, дрожавшій, перепуганный Жонголовичъ громко увѣрялъ судью, что непременно удовлетворить всѣ претензіи и немедленно приступить къ расчету. Онъ вынулъ туго набитый бумажникъ и положилъ его на грубый, досчатый столъ, явившійся, вѣроятно, изъ рабочихъ бараконъ, за которыми судья что-то писалъ. Сконфуженный, блѣдный исправникъ дѣлалъ усилія мило улыбаться прокурору; но тотъ стоялъ невозмутимо, гордо, сдвинувъ сердито брови, точно не видя этихъ подходовъ...

Вдругъ судья поднялся.

— По указу...—началъ онъ, и толпа, какъ одинъ человѣкъ, грохнулась на колѣни, слушая, затаявъ дыханіе.

Чтеніе кончилось, и наступилъ моментъ напряженнаго безмолвія... Но вотъ что-то дрогнуло, поднялось, что-то шевельнулось, что-то большое, тысячегрудое вздохнуло или зашептало... Молитву или что-то другое зашептала

толпа, не знаю, но она крестилась,—я это видѣлъ... И вдругъ страстное, громкое „ура“ потрясло воздухъ, и вдругъ эта толпа, еще незадолго передъ тѣмъ разъяренная, буйная, жестокая,—толпа, которой не минуемо угрожалъ, казалось, впереди острогъ, ликуя, въ страстномъ волненіи, проливая счастливыя слезы, вся охваченная восторгомъ, подняла на руки высоко-высоко представителей закона и права...

Мы тоже бросились къ нимъ и схватили ихъ руки... Наши уста хотѣли сказать имъ много, но какая-то судорога мѣшала намъ говорить и мы только безмолвно жали ихъ руки... Впрочемъ, и они тоже жали наши руки безмолвно, только хорошо улыбаясь... Имъ тоже что-то мѣшало говорить, — они оба задыхались и по блѣднымъ щекамъ ихъ тоже текли слезы...



ЧЕЛОВѢКЪ СЪ ПЛАНОМЪ.

(ПОВѢСТЬ).

ЧЕЛОВѢКЪ СЪ ПЛАНОМЪ.

(Изъ житейской поэмы „Лгуны“).

П О В Ъ С Т Ъ .

(Посвящается Натальѣ Алексѣевнѣ Гольцевой).

Отъ ликующихъ, праздно болтающихъ,
Обагрившихъ руки въ крови
Уведи меня

Некрасовъ.

Часть первая.

I.

Я зналъ его давно, давно, еще въ шестидесятые годы, въ самый разгаръ великихъ надеждъ, великихъ упованій и самыхъ розовыхъ, самыхъ свѣтлыхъ иллюзій. Онъ только выступалъ еще тогда „на арену“, не имѣя за собой пока ничего, кромѣ великолѣпнаго торса, длинныхъ ногъ, красивыхъ усовъ и какого-то страннаго, не то холоднаго, не то загадочнаго взгляда узкихъ, черныхъ, блестящихъ глазъ. Но этотъ взглядъ, этотъ холодный, загадочный взглядъ—Боже мой!—онъ какъ-то сражалъ, уничтожалъ всякаго, на кого устремлялся. Легковѣрные находили его таинственнымъ, полнымъ какой-то внут-

ренней, скрытой силы, необычайной, можетъ быть даже титанической; дамы... „скупавшія“ дамы добавляли, что онъ „неотразимъ“.

Но у него было еще нѣчто, чего не было у другихъ, что выдвигало его изъ рядовъ, дѣлало замѣтнымъ, такъ или иначе обращало на него общее вниманіе, заставляло говорить о немъ: онъ умѣлъ молчать. Да, онъ умѣлъ молчать, и какъ-то загадочно молчать, когда говорили всѣ, всѣ отъ мала до велика,—всѣ, у кого былъ только языкъ, потому что охота была у всѣхъ. Говорили и юноши и дѣвы, и мужья и жены, и старцы,—говорили, потому что говорилось, потому что у каждаго было что сказать, каждый что-нибудь думалъ, дѣлалъ, переживалъ, на что-нибудь надѣялся,—не говорилъ онъ одинъ. Онъ молчалъ и только водилъ своимъ загадочнымъ взглядомъ, то хмура многозначительно брови, то сражая ироническою, тонкою улыбкой.

Въ этомъ была его несомнѣнная сила, это дѣлало его интереснымъ. Въ самомъ дѣлѣ, не интересенъ ли человѣкъ, который упорно, загадочно, глубокомысленно молчитъ, когда говорятъ всѣ, всѣ высказываются, всѣ такъ искренно выкладываютъ свою душу? Онъ или идиотъ, или... гений, глубокий мыслитель, сила сосредоточенная, замкнутая въ самой себѣ и потому не высказывающаяся. Онъ хмуритъ брови, — значитъ, думаетъ, соображаетъ, анализируетъ. Онъ ядовито улыбается, когда улыбаются авторитеты, всѣ выдающіеся слушатели, — значитъ, онъ съ ними заодно, онъ полонъ яда тонкой ироніи. Онъ молчитъ,—значитъ, онъ имѣетъ нѣчто „свое“ собственное

чего никто не знаетъ,—имѣть, ибо не можетъ же человекъ ничего не имѣть за душой.

Словомъ, онъ—несомнѣнная сила!

Это было рѣшено какъ-то быстро, безповоротно и безъ-апелляціонно. Скептика оглядѣли бы съ ногъ до головы и осмѣяли бы, какъ профана, не умѣющаго различать характеровъ, причеъ у дамъ онъ, навѣрное, потерялъ бы всякій кредитъ и сошелъ бы за неуклюжаго ротозѣя. Генія, талантъ, силу долженъ неминуемо различать каждый, у кого только есть на то глаза, кто способенъ вдумываться, наблюдать, быстро оцѣнивать вещи, кто знаетъ жизнь и людей, — словомъ, кто хоть немного образованъ, не неучъ, не простофиля, ничего не думающій человекъ. А не различать, не замѣтить, не оцѣнить Анчарова могъ бы только, понятно, какой-нибудь самый... самый...

Ну, и его, конечно, замѣчали.

Какъ извѣстно, дамы крайне любятъ все сильное, все выдающееся, все загадочное, въ которомъ всегда предполагаютъ скрытыя силы, все „демоническое“, какъ говорили раньше, или титаническое, какъ говорили тогда, причеъ, однако, склонны иногда смѣшивать титановъ съ нахалами и мѣдными лбами. Последнее, конечно, я говорю только въ скобкахъ; но фактъ оставался фактомъ, что Анчарова вывели на свѣтъ наши дамы. Онъ баловали его, какъ свое дѣтище; онъ возносили его, создавали ему культъ, дѣлали его популярнымъ. Почему и за что, этого никто не зналъ навѣрное, никто объ этомъ не спрашивалъ, никто не разбирался въ этихъ во-

просахъ. Стоить повѣрить и прокричать про свою вѣру одному, чтобы, какъ извѣстно, повѣрили всѣ.

Какъ бы тамъ ни было, но онъ былъ своимъ вездѣ и всегда, на всѣхъ нашихъ раутахъ, собраніямъ, словопреніямъ, популярныхъ лекціяхъ, воскресныхъ школахъ и такъ далѣе, и такъ далѣе,—вездѣ, куда только ни носили однихъ изъ насъ избытокъ молодой энергіи, жажда правды и свѣта, вѣчно живое стремленіе обрѣсти, накопещь-таки, свою „истину“, другихъ—мода, желаніе быть на виду... Онъ былъ вездѣ съ своимъ молчаніемъ, съ своими—то хмурымъ видомъ, то ядовитою улыбкой, которые дѣлали его такимъ загадочно-интереснымъ, — о, онъ, несомнѣнно, не ищетъ, а нашелъ уже свою „истину“!—и отсутствіе его всегда бросилось бы въ глаза, вызвало бы толки. Я увѣренъ, я безконечно увѣренъ, что сама даже Марья Львовна,—та самая Марья Львовна, у которой были „такъ чудны рѣчи, такъ круглы плечи“,—глава и звѣзда своего „салона“,—она сама послала бы добрую половину своего безконечнаго „хвоста“ разыскивать отсутствующаго Анчарова, узнать, что съ нимъ, „не случилось ли съ нимъ... гм... гм... вы знаете, конечно, вы понимаете“ и т. д., а добрый десятокъ другихъ самъ добровольно ринулся бы за разъясненіемъ этого „непонятнаго“ отсутствія. Это стало бы интересомъ дня, объ этомъ говорили бы, шептались бы съ таинственнымъ видомъ, съ пожиманіемъ плечъ, „потому что... онъ, видите ли... онъ... какъ бы это вамъ сказать?..“

Словомъ, это дѣлалось понятнымъ.

Допрашивать его, просить его высказаться, сказать

свое мнѣніе, объяснить свою загадочность никому никогда не приходило даже въ голову. Зачѣмъ? Развѣ въ то святое, чистое время перваго пробужденія и разцвѣта молодыхъ общественныхъ силъ, когда всѣмъ жилось такъ страстно, всѣмъ такъ вѣрилось, всѣ сердца, казалось, бились въ унисонъ, всѣ груди дышали въ тактъ, все перемѣшалось и каялось въ прошломъ,—когда даже откупщики, поддаваясь общему настроенію, стали бить себя въ перси и вздыхать о „меньшемъ братѣ“,—развѣ въ такое время могло быть мѣсто сомнѣнію въ чьей бы то ни было искренности, подозрѣнію въ лицемеріи, въ томъ, что кто-нибудь „не нашъ“, разъ онъ съ нами, что уста его говорятъ не отъ избытка сердца? И развѣ *такіе*, какъ *онъ*, люди высказываются, выкладываютъ свою душу? Развѣ *они* могутъ посвящать *всякаго* „въ свое... какъ бы это сказать?—ну, словомъ, *въ свое?*!“ Допрашивать, при-
ставлять, „не давая покоя“ *такому* человѣку, могъ бы только невѣжа, неучъ. Иногда, впрочемъ, случалось, что „эти... не признающіе авторитетовъ“, случайно какъ-нибудь, по недоразумѣнію попавшіе въ „салонъ“ Марьи Львовны, рѣшались спросить „его“ мнѣніе по какому-нибудь частному факту, припирали, такъ сказать, къ стѣнѣ, но, понятно, сейчасъ же и несли свое наказаніе. Они видѣли, какъ полупрезрительно опускались его вѣки, какъ обидно, до боли обидно, раздвигались его губы въ снисходительную улыбку и медленно, съ разстановкой, тихо, но внушительно шептали что-нибудь чертовски загадочное и умное, вродѣ, напримѣръ, того, что „истиной-де“ обладаетъ только тотъ, кто ея не ищетъ,

что „истина между двухъ крайностей“, или что-нибудь въ этомъ родѣ,—поди, разбирайся въ такомъ отвѣтѣ!—или отсылали спрашивающаго къ какому-нибудь моднѣйшему,—о, непременно самому модному автору, о сочиненіи котораго только что начинали говорить! А улыбки окружающихъ?!... А общій краснорѣчивый взглядъ, ясно говорившій сконфуженному допрашивателю, что не всякимъ - де рыломъ... и т. д.?!... О, для вопросовъ, для „приставаній“ нужно было имѣть много нахальства!

II.

Конечно, какъ у всѣхъ „великихъ людей“, и у него были свои завистники, а зависть, какъ извѣстно, не способна останавливаться ни передъ чѣмъ. „Завистники“, всѣ тѣ, что угрюмо считали салонъ Марьи Львовны „праздноболтающимъ“,—шипѣли, клеветали, старались ясно унизить, инсинуировали, какъ она утверждала, —но изъ этого, конечно, ничего не выходило. „Правда“ всплывала наверхъ, какъ масло; алмазъ чистой воды продолжалъ сверкать всѣми цвѣтами и переливами блестящаго павлиньего хвоста. Они, „не признающіе авторитетовъ“, увѣряли, будто онъ и глупъ, и хитеръ, и мѣдный лобъ, и нахаль, и лицемеръ, и рисуется-де онъ, и выслуживается, и чего-чего только ни говорили... Но развѣ могъ кто-нибудь этому вѣрить изъ гостей „салона“? Развѣ не твердила сама Марья Львовна всѣмъ и каждому, что эти инсинуаціи—„одна подлость самой низкой пробы“?

Развѣ не разрушалъ онъ ихъ однимъ своимъ загадочнымъ взглядомъ, своимъ краснорѣчивымъ, полнымъ ума и яда, молчаньемъ?

О, онъ сразу „заткнулъ всѣ шипѣвшія глотки, связалъ всѣ злые языки“, — сразу, лишь только ихъ шипѣнье стало принимать угрожающій тембръ! Онъ сказалъ только четыре слова, — только четыре слова, — и всѣ козни пали, разсѣялись, какъ дымъ, какъ прахъ, а самъ онъ сталъ еще ярче въ глазахъ своихъ адептовъ, поднялся до зенита.

Разъ на одномъ изъ собраній, гдѣ были почти всѣ его адепты, — развѣ можно было сосчитать всѣхъ? — зависть устроила на него атаку. Чьи-то „завистливыя“ глотки стали шипѣть что-то о карьеристахъ-нахалахъ вообще, а затѣмъ мало-по-малу перешли и къ нему въ частности. Было видно, было ясно видно, что это — послѣдняя, отчаянная ставка, что зависть рискуетъ или лопнуть съ досады, или сбить его съ пьедестала. „Зависть“ была красна, какъ ракъ, адепты блѣдны, какъ стѣны, Марья Львовна даже раскрыла свой пунцовый ротикъ.... Анчаровъ одинъ былъ спокоенъ, невозмутимъ, какъ-то загадочно невозмутимъ.

Наконецъ, раздалось „послѣднее слово“, было поставлено прямо въ упоръ и вынуждало къ отвѣту. Его спросили, — громко спросили, — правда ли, что, какъ гласили слухи, онъ лебезитъ передъ самымъ непопулярнымъ тогда человекомъ, ради какого-то куда-то „назначенія“?

Въ залѣ все смолкло; было слышно, какъ мухи бились въ окошкѣ. Всѣ взоры устремились къ нему, всѣ блѣдныя, взволнованныя лица не дышали. Всѣ ждали,

что онъ сейчасъ же отрицательно мотнетъ головой, подниметъ въ изумленіи плечи, всею своею фигурой выразитъ обидное недоумѣніе. Но... не тутъ-то было. Онъ не качалъ головой, онъ не поднималъ плечъ, не выражалъ ни изумленія, ни обиды, ни гнѣва,—онъ только чуть-чуть приподнялъ полуопущенныя вѣки и тихимъ, спокойнымъ, полупрезрительнымъ тономъ сказалъ свои четыре слова:

— У меня свой планъ!

Этимъ было сдѣлано все, даже больше, чѣмъ все. Зависть почувствовала себя сбитой, уничтоженной, адепты возликовали, глаза ихъ загорѣлись, блѣдныя щеки покрылись жгучимъ румянцемъ торжества. У него свой планъ?—ну, понятно, этимъ объясняется все! Свой планъ... когда кругомъ ни у кого нѣтъ ничего, кромѣ однихъ надеждъ, иллюзій, идеаловъ, какихъ-то смутныхъ порывовъ и самой честной, самой экспансивной откровенности. Этого даже не ждали,—это было выше всякихъ ожиданій! Свой планъ... Да это непременно что-нибудь великое, грандіозное, необъятное, что-нибудь такое... такое, чего не постыдились бы даже герои древности, всѣ Цезари, всѣ Бруты, всѣ Гракхи вмѣстѣ!... И въ немъ еще могли сомнѣваться? Еще смѣли клеветать, инсинуировать, забрасывать подозрѣніями? Боже!

Въ этотъ „планъ“ повѣрили сразу, безповоротно, какъ и во все, что произносилось съ апломбомъ; изъ-за него, изъ-за этого „плана“, ему прощалось все: и быстрая карьера, и выслуживанье, и плохое отношеніе товарищей-сослуживцевъ,—помилуйте, какъ имъ не завидо-

вать!—и эффектное пощелкивание шпорами, и хорошее мнѣніе нелюбимаго сановника, и многое, многое другое,— прощалось все, что каждаго другаго, каждаго обыкновеннаго смертнаго безъ всякаго плана свело бы къ нулю, облило бы общимъ презрѣніемъ, совсѣмъ выкинуло бы изъ нашего общества. И не только прощалось, а, напротивъ, служило къ вящей его славѣ, къ большему возвеличенію, дѣлало его еще интереснѣе, загадочнѣе, окружало ореоломъ. „Помилуйте, вѣдь, все это ему нужно!... Развѣ вы не понимаете, не знаете?“ Тутъ чуались и видѣлись: „великая жертва“ (бѣдный, какъ онъ долженъ страдать въ душѣ!), полное пренебреженіе къ личнымъ ощущеніямъ (что за выдержка, что за тактъ! Вотъ кому бы быть дипломатомъ! Что бы тогда зацѣпи всѣ эти Руэры и Бейсты?!). И все только во имя плана, во имя одного плана!

Конечно, этого плана не зналъ никто. Да и зачѣмъ, почему, какъ могъ бы его знать кто-нибудь? Развѣ человѣкъ, у котораго есть свой планъ, станетъ дѣлиться имъ съ первымъ встрѣчнымъ, будетъ посвящать въ него *всякаго*? Помилуйте, нужно быть сумасшедшимъ! Достаточно, что планъ у него есть, что для плана онъ *при- нуженъ*,—о, всѣ видятъ и знаютъ, чего это ему стоить, бѣдному!—и выслуживаться, и заискивать у этого ужаснаго... словомъ, терпѣть, мучиться, страдать, ничѣмъ не выдавая своей муки! Какой нужно имѣть характеръ для этого, какой тактъ, какую волю, какую титаническую волю!

Я, конечно, не скажу, чтобы никому совсѣмъ-таки и

не хотѣлось знать этотъ планъ, но всѣ охотно мирились съ своимъ незнаніемъ, ибо, во-первыхъ, имѣли полнѣйшую свободу догадываться, каждый по-своему, строить предположенія; во-вторыхъ, имѣли полнѣйшую возможность каждый дразнить другъ друга; въ особенности дамы,—а это такъ пріятно!—намекать на то, что „я именно догадалась или знаю, только не хочу говорить“; въ-третьихъ, такъ какъ не зналъ никто, то и никто не могъ считать себя обиженнымъ своимъ незнаніемъ. Правда, Марья Львовна, наша звѣзда, наше солнце,—Марья Львовна, которая чувствовала себя „своей“ въ средѣ самыхъ высокихъ авторитетовъ, которая знала „все“, все видѣла, все понимала,—Марья Львовна часто говаривала объ этомъ планѣ такимъ тономъ, такъ водила при этомъ своими очень выразительными глазами, что можно было легко заподозрить, будто кое-что ей и извѣстно. Но при первыхъ же возгласахъ со стороны прочихъ, при первой же мольбѣ: „Ахъ, скажите, милка, голубушка, та chère, скажите... вы знаете, вы непременно знаете!“—она скромно, хотя и немного загадочно, опускала глазки и влялась... „ну, всѣмъ, ну, ей-Богу, всѣмъ!“—что она „ничего... ни вотъ столько не знаетъ! Ни вотъ столько!“

А это равняло всѣхъ.

Такимъ образомъ, хотя онъ ничего никогда не говорилъ, хотя онъ упорно молчалъ и уклонялся отъ слова во время самыхъ жаркихъ дебатовъ, никто никогда не слышалъ, не зналъ его частныхъ мнѣній, взглядовъ, симпатій, хотя завистливые враги распускали про него не-

былицы, товарищи звали „пройдохой“,—его роль была блестяща, репутація завидна, вліяніе громадно. Всѣ „передовые“ изъ „салона“ Марьи Львовны считали его „своимъ“, „средніе“ находили „небезопаснымъ“, а „консерваторы“... тѣ прямо увѣряли, что онъ—„дымящійся Везувій“.

А что онъ былъ на самомъ дѣлѣ, про то, конечно, лучше всего знали онъ самъ и его денщикъ Иванъ, щеголявшій почему-то подбитыми глазами и раздутыми, точно флюсомъ, щеками. Но самъ онъ находилъ удобнѣе молчать, а денщикъ Иванъ еслибъ и пустился въ рассказы, то, навѣрное, началъ бы съ общаго всѣмъ денщикамъ Иванамъ вранья о многочисленныхъ „арденахъ“ и „енаральскихъ“ дочкахъ, которыя-де сами вѣшаютъ его барину на шею.

III.

Я пріѣхалъ въ столицу учиться еще совсѣмъ „желторотымъ цыпленкомъ“, только что вылущеннымъ изъ яйца усердіемъ и усилиями всѣхъ добродѣтельныхъ педагоговъ Х—ской гимназіи, гдѣ, признаться, добрую часть времени проводилъ въ карцерѣ, а не въ классѣ, и сейчасъ же, естественно, вступилъ въ штатъ или „хвостъ“ Марьи Львовны. Съ одной стороны, я приходился ей-какимъ-то далеко-короднымъ кузеномъ, съ другой... я не умѣлъ еще тогда отличать людей отъ ихъ красивыхъ словъ, да и нужно же было кому-нибудь взять

на себя трудъ отшлифовать, умытъ, причесать,—словомъ, „развить“ молодого провинціала-дикаря, еще недавно чуть не исключеннаго изъ заведенія за то, что среди бѣла дня проскакалъ по губернскому бульвару верхомъ на коровѣ, — а лучше Марьи Львовны кто же бы это могъ сдѣлать? Расходовать свою молодую энергію на подобные „променады“, конечно, глупо всегда и вообще, но „въ такое время, когда и т. д.“, даже ужасно, даже преступно, какъ справедливо возмущалась Марья Львовна. Она принялась за меня съ обычнымъ ей рвеніемъ и съ утра до вечера безкорыстно то „посвящала“, то „развивала“, забрасывала именами, авторами, заглавіями, которыхъ она знала такъ много, такъ много, что сначала я оробѣлъ, а затѣмъ совсѣмъ потерялъ голову, точно отъ утара. Она задалась благородною цѣлью „насадить во мнѣ сѣмена“, „пріобщить культурѣ“, показать мнѣ, почти саженному оболтусу-сорвиголовѣ, „задачи вѣка“. И я не только проникался, благоговѣлъ и воспринималъ безпрекословно,—я, каюсь, млѣлъ сердечно, страстно млѣлъ, почти таялъ. Я вмѣстѣ съ ней поклонялся Молешоту, вѣрилъ Бюхнеру, цитировалъ Фогта, штудировалъ Фейербаха, — Боже мой, чего и кого мы только ни штудировали!—но, поклоняясь, вѣруя, цитируя и штудируя, я не сводилъ съ нея глазъ, я видѣлъ только ее, одну ее, нашъ авторитетъ, нашу звѣзду. Такимъ образомъ, я невольно дѣлалъ быстрые успѣхи, чаяруя мою прелестную *ma tante*, — она сама велѣла мнѣ такъ звать себя, съ чѣмъ я охотно примирился, — и, несомнѣнно, пошелъ бы „далеко впередъ“, какъ она

увѣряла, не явись у меня эта проклятая антипатія, „необъяснимая, безразсудная, дикая“,—это все ея эпитеты,— въ этому загадочному титану Анчарову. Всѣ задатки были у меня, чтобы стать на ея взглядъ „истиннымъ прогрессистомъ“, человекомъ „нашего времени“, — та tante находила и нужный для его „charme“ въ моихъ глазахъ, и что-то такое „très distingué“ въ лицѣ,—но эта антипатія, эта ужасная антипатія „парализовала всѣ ея усилія“. Она отодвигала меня и къ „людямъ толпы“, всегда способной „побивать свои авторитеты“, и къ „дикимъ людоедамъ“, въ этимъ „готентотамъ-островитянамъ“,—та tante всегда была убѣждена почему-то, что готентоты непременно островитяне,—пожирающимъ своихъ миссіонеровъ“. И что было „всего печальнѣе, всего ужаснѣе“, я никакъ не могъ справиться съ этою своею антипатіей, съ своими „дикими подозрѣніями, ни на чемъ не основанными“, такъ какъ все продолжалъ подозрѣвать и искренность, и умъ, и даже самый планъ,—„о, ужасъ, кузенъ, до чего вы дойдете, наконецъ!“—этого загадочнаго титана.

— Это онъ... это онъ... это непременно онъ васъ такъ настроилъ!—съ презрѣніемъ говорила прелестная Марья Львовна, быстро семеня ручками.

Онъ былъ ея вѣчно невидимый супругъ, вѣчно хилый, съ вѣчною возней въ своемъ кабинетѣ за какими-то дѣлами, которые аккуратно носили ему курьеры изъ его департамента. Никто его не зналъ, не справлялся, точно его и не было на свѣтѣ, никто не могъ и вспомнить о немъ иначе, какъ съ легкою улыбкой, никто и не звалъ

его иначе, какъ „онъ“, никому ma tante не отзывалась о немъ иначе, какъ объ „отравителѣ“ ея „жизни“, погубившемъ ея силы, „холодномъ“, безчувственномъ, ни на что не годномъ „истуканѣ“. Понятно, что одно это презрительное предположеніе могло легко свести съ ума.

Заговоривъ объ этой антипатіи, я пеминуемо долженъ теперь перейти къ моимъ друзьямъ, глубоко дѣлившимся ее со мною, — долженъ тѣмъ болѣе, что имъ придется играть довольно видную роль въ моемъ разсказѣ. Оба славные, хорошіе, теплые ребята, даже для того, богатаго хорошими типами, времени; оба непохожіе другъ на друга, какъ лошадь на гуся, они стали мнѣ близкими друзьями еще съ гимназической скамейки. Эта дѣтская дружба, сложившаяся, какъ всегда у дѣтей, безотчетно и случайно, росла и крѣпла съ годами, согрѣвалась и связывалась общими школьными проказами и терніями, жила однѣми и тѣми же симпатіями, шагъ за шагомъ прокрадывавшимися въ наши души вмѣстѣ съ развивавшимся сознаниемъ, такъ что въ университетъ мы вступили уже тѣми завадичными товарищами-братьями, связь между которыми, какъ извѣстно, сильнѣе всякихъ узъ крови. Мы и въ университетъ поѣхали вмѣстѣ и поселились вмѣстѣ: я, Семеновъ и Кутыревъ. Я уже сказалъ, что оба они были совсѣмъ несхожи, и это несходство ихъ сказывалось во всемъ, до самыхъ крайнихъ мелочей, до того, что рѣзко бросалось въ глаза всякому. Начать съ того, что Семеновъ и по воспитанію, и по средствамъ своимъ былъ баричъ, Кутыревъ былъ безродный бурсакъ, все представленіе котораго о роскоши не шло дальше

молочной каши и слоеныхъ пироговъ. Семеновъ любилъ строгій порядокъ, былъ аккуратенъ, какъ нѣмецъ,—Кутыревъ отрицалъ всякій порядокъ однимъ своимъ вѣшнымъ видомъ, каждымъ движеніемъ. Первый былъ сильно нервенъ и впечатлителенъ, вѣчно крутилъ нервно свою тощую бородку, но, въ то же время, былъ сдержанъ, молчаливъ, почти скрытенъ,—второй, напротивъ, былъ флегматиченъ, на видъ даже вялъ, но эспансивенъ и откровененъ, какъ ребенокъ. Одинъ обладалъ и сильною волей, и недюжиннымъ характеромъ, и на первый взглядъ неминуемо казался жесткимъ,—другой, казалось, не имѣлъ никакого характера, никакой воли, жилъ однимъ инстинктомъ и добродушіемъ. Наконецъ, Семеновъ былъ малъ, худъ и тщедушенъ на видъ, Кутыревъ же былъ цѣлая гора мяса и мускуловъ, съ бычачьею шеей, съ громадными глазищами, со львиною растительностью, со львиною силой и съ такимъ басомъ, что еще въ бурсѣ слытъ за „трубу Іерихона“. Но у обоихъ было одно общее: это—мягкое, любящее, честное и смѣлое сердце.

IV.

Съ Семеновымъ я сошелся съ первыхъ же дней гимназической жизни, когда мы еще горько укусили потихоньку отъ другихъ о родныхъ семьяхъ и теплыхъ материнскихъ ласкахъ; съ Кутыревымъ мы сошлись гораздо позже, когда оба были въ старшихъ классахъ и, начитавшись Эмара, Купера и Майнъ-Рида, собирались бѣ-

жать въ Америку. Кому изъ насъ первому пришла эта блажная мысль, не помню,—кажется, мы какъ-то вмѣстѣ и сразу остановились на ней, увлекшись образами: я— „Кровавой Руки“, Семеновъ— „Краснаго Кедр“,—но она охватила насъ такъ сильно и всецѣло, что мы забросили и учебники, и тетради, сразу оба попали изъ лучшихъ по успѣхамъ учениковъ на „ослиную скамейку“, но, вѣчно занятые засѣвшею гвоздемъ въ голову мыслью и сборами въ дорогу, къ удивленію всѣхъ, вели себя при- мѣрно, оставили „продѣлки и пакости“ и даже совсѣмъ перестали попадать въ карцеръ. Все это, а въ особен- ности послѣднее, удивляло наше начальство, разводив- шее только руками, смущало товарищей, подозрѣвавшихъ, что у насъ есть что-то свое, что мы тщательно скры- ваемъ, а насъ, въ то же время, сильно мучила и тяго- тила наша тайна, намъ сильно хотѣлось подѣлиться ею съ другими, убѣдить другихъ, найти себѣ третьяго то- варища, непременно героя пустынь „Курумиллу“ *), безъ котораго наше бѣгство теряло, конечно, всю свою ро- мантическую прелесть. Что мы будемъ дѣлать безъ вѣр- наго, безстрашнаго, на все готоваго для друзей „Куру- миллы“? Мы ломали головы, перебирали всѣхъ товари- щей, даже знакомыхъ кадетовъ, но ни одинъ не подхо- дилъ къ этому рѣдкому типу. Мы были близки къ от- чаянію, когда самъ рокъ явился намъ на помощь.

Разъ вечеромъ, забравшись въ кусты пригородней ро- щи, гдѣ мы обыкновенно обсуждали всѣ подробности за-

*) Кровавая Рука, Красный Кедръ, Курумилла — герои извѣстныхъ романовъ Эмара.

думаннаго бѣгства, мы услышали вблизи громкіе, роко-
чущіе звуки, странныя, не похожіе ни на одинъ извѣст-
ный намъ человѣческій языкъ, хотя, несомнѣнно, они вы-
ходили изъ человѣческой гортани, однообразно повто-
рявшіеся какъ барабанная трель, какъ зубренье заткнув-
шаго уши шкельника. Недоумѣвая, мы стали прислу-
шиваться и мало-по-малу кое-какъ разобрали, наконецъ,
знакомую французскую фразу. Чей-то дюжій бастъ на
невообразимомъ жаргонѣ упорно зубрилъ одно и то же:
„ма меръ е монъ перъ сонъ та ля мезонъ“. Подстрека-
емые любопытствомъ, мы двинулись на эти звуки и вдругъ
остановились, громко расхохотавшись: прямо противъ
насъ, поджавъ ноги, сидѣлъ громадный семинаристъ въ
казенномъ „балахонѣ“ и, заткнувъ уши, ни на что не
глядя, качаясь, зубрилъ вокабулы. Картина была, дѣй-
ствительно, изъ веселыхъ, что несомнѣнно сознавалъ и
зубрившій, — это былъ Кутыревъ, — потому что нашъ
громкій хохотъ онъ встрѣтилъ крайне добродушною
улыбкой.

— Ну, что, господа гимназисты, хорошо у меня вы-
ходить?

— Нѣтъ, очень скверно, — отвѣтили мы, смѣясь, въ
одинъ голосъ.

— Ну, такъ поучите! — и онъ такъ же добродушно
улыбнулся.

Эта добродушная улыбка, простота, сквозившая въ его
словахъ, вся фигура его какъ-то сразу расположили
насъ къ нему. Мы стали учить и, понятно, хохотать,
такъ какъ и представить себѣ нельзя тѣхъ гримасъ и

жестовъ, съ какими бѣднякъ усиливался произнести „mon“ и „maison“. Онъ и затыкалъ носъ, и поднималъ голову, и вытягивалъ губы, но невозможное оказывалось невозможнымъ. Въ концѣ-концовъ, это надоѣло и ему, и намъ.

— Давайте лучше говорить!—сказалъ онъ, наконецъ, бросая книгу.—Вы мнѣ про свое расскажите, а я вамъ про нашу бурсу.

И онъ сталъ намъ выкладывать все свое бурсацкое житье, свои „распорядки“ и свою душу. Его поролѣ, какъ „сидорову козу“, о. ректоръ считалъ его „оглашеннымъ“ и „неистовымъ возлищемъ“; нѣсколько разъ уже онъ былъ „въ бѣгахъ“, платясь за это инспекторскими „сюрсіонами“, и бурса казалась ему хуже „горькой рѣдьки“. Мы узнали, что по-французски онъ сталъ учиться „самъ, своею охотой“, потому что инспекторъ ненавидѣлъ этотъ языкъ, считая его почему-то „вавилонскимъ возлогласіемъ“, а самому ему полюбились французы, когда онъ прочелъ украдкой нѣсколько переводныхъ романовъ.

— Ужъ очень хорошій тамъ народъ, братцы!

Въ какой-нибудь часъ мы стали друзьями и сблизились, какъ только и могутъ сближаться юноши. Сами не зная, какъ и почему, мы открыли ему задуманное бѣгство и стали звать съ собой. Онъ жадно слушалъ наши рассказы, вытаращивъ глаза, весь багровѣя отъ волненія, и, наконецъ, сталъ чесать затылокъ.

— Дорога дальняя... попадемъ ли? — нерѣшительно, колеблясь немного, проговорилъ онъ.

— А карты зачѣмъ?—возразилъ Семеновъ.—Мы по картѣ... Изъ Гамбурга на пароходѣ!

— А деньги? На дорогу деньги нужны!

— У насъ есть двѣсти рублей. Мы уже собрали.

— Двѣсти рублей?!—Кутыревъ вытаращилъ глаза и чмокнулъ губами. Такой суммы онъ еще и во снѣ не видѣлъ.—Дв-ѣ-ѣ-сти рублей?...

Съ того вечера нашимъ волненіямъ пришелъ конецъ. „Курумилла“ былъ найденъ.

Срокъ бѣгства былъ, наконецъ, опредѣленъ безусловно. Мы запаслись только пистолетами, булками и колбасой, которые хранились въ нашемъ „складѣ“ у какой-то знакомой Кутыреву мѣщанки, такъ какъ, понятно, хранить все это у себя въ казенномъ пансіонѣ было не совсѣмъ удобно. Въ назначенный часъ, ровно въ полночь, вѣрный „Курумилла“ долженъ былъ явиться съ этимъ „запасомъ“ подъ окна нашей спальни и просвистать условленный сигналъ, на который мы немедленно должны были спуститься изъ окна втораго этажа съ помощью казенныхъ простынь. Правда, мы могли преспокойно пройти корридорами, но тогда наше бѣгство потеряло бы значительную долю своей прелести и мало походило бы на подвиги „героевъ пустыни“. Каждое „содержаніе“ опредѣляетъ и свою „форму“.

Я и теперь еще помню тотъ захватывающій дыханіе трепетъ, съ какимъ, свернувшись на своей казенной койкѣ, я жадно, страстно ждалъ условленнаго свиста. Семеновъ, лежавшій рядомъ со мной, былъ блѣденъ, какъ его подушка, и вздрагивалъ всѣмъ тѣломъ при

малѣйшемъ шорохѣ. Мы оба чутко прислушивались къ спокойному, равномерному дыханію спящихъ, подозрительно вглядываясь въ каждый сонный жестъ ихъ, въ каждое движеніе, вездѣ подозрѣвая измѣну, засаду или что-нибудь въ этомъ родѣ. Намъ обоимъ казалось подчасъ, что задуманное нами всѣмъ извѣстно, что всѣ притворяются только спящими, чтобы съ хохотомъ накрыть насъ въ самый моментъ бѣгства, и насъ обхватывалъ какой-то внутренній холодъ, какая-то жгучая тревога, отъ которой у Семенова барабанили зубы. Часы летѣли, а наша тревога все росла и росла, переходила въ какую-то тупую боль, которая гнала насъ съ постелей, и, не выдержавъ, мы, въ конпѣ-концовъ, вышли бы на дворъ сами, не ожидая сигнала. Но вотъ вдали загудѣли соборные часы, кто-то шевельнулся, пробормотавъ сквозь сонъ что-то изъ урока, мой сосѣдъ повернулся на бокъ, бессмысленно взглянувъ на меня спящими глазами, Семеновъ приподнялся на локоть и въ тотъ же моментъ подъ среднимъ окномъ раздался легкій, протяжный условленный свистъ. Быстрѣе кошки схватился я съ постели, набросилъ платье, привязалъ къ гвоздю простыню и спустился на землю, а вслѣдъ за мной показался въ окнѣ и Семеновъ.

— Все въ порядкѣ, Курумила?

— Все!

Но не успѣлъ онъ закрыть рта, какъ сзади насъ изъ угла послышались чьи-то быстрые шаги и цѣлый снопъ лучей ручнаго фонарика облилъ насъ съ головы до ногъ. Бѣдный Семеновъ еще висѣлъ въ воздухѣ.

— Что это?

Предъ нами стоялъ молодой учитель словесности, только надняхъ прибывшій въ нашу гимназію на смѣну старому, нелюбимому, котораго всѣ мы звали „текатомбой“. Новаго мы не видали еще у себя въ классѣ.

— Что это, господа, что вы дѣлаете?

Мы, понятно, молчали. Вѣрный Курумилла, казалось, только ждалъ сигнала, чтобы раздавить, какъ дикаго „команча“, непрошеннаго гостя.

— Что же это такое? Отчего вы молчите?

Учитель съ удивленіемъ оглядывалъ насъ съ головы до ногъ; онъ видѣлъ наши блѣдныя, встревоженныя лица, угрюмо сдвинутыя брови Кутырева, слышалъ наше неровное, тяжелое дыханіе.

— Я васъ спрашиваю не какъ начальникъ, а какъ старшій братъ вашъ, понимаете? Я не сдѣлаю вамъ зла,—вамъ ничто не угрожаетъ,—я вамъ дамъ хорошій советъ, и только. Говорите!

Мы не привыкли къ такимъ рѣчамъ и молчали. Какъ?! Не начальникъ,—старшій братъ?! Нѣтъ! эти слова были совсѣмъ чужды нашему слуху. Мы не понимали, мы не вѣрили... Курумилла сопѣлъ и угрюмо ждалъ. Тогда учитель обратился къ нему.

— Судя по костюму, вы не гимназистъ,—сказалъ онъ,—вамъ нечего, значитъ, бояться меня, какъ своего учителя. Скажите же вы мнѣ, что все это значитъ?... Кто вы?

Растерялся ли Кутыревъ, или онъ считалъ своимъ долгомъ непремѣнно додержать роль до конца, или хо-

тѣлъ скрыть свое имя, только онъ вдругъ выпалилъ густымъ басомъ:

— „Курумила“!

— Какъ?—переспросилъ тотъ, замѣтя нашу улыбку.

— „Курумила“!

Басъ Кутырева гудѣлъ, какъ набатъ, а самъ онъ побавровѣлъ, какъ сваренный ракъ.

— Ну-съ, господинъ Курумиловъ,—началъ тотъ, принявъ „Курумила“ за Курумилова,—что все это значить?

Но Курумиловъ только сопѣлъ въ отвѣтъ.

Въ этотъ моментъ учитель замѣтилъ въ его рукахъ кулекъ и торчавшіе изъ него пистолеты. Лицо его вытянулось, глаза въ изумленіи пристально уставились на насъ, брови нахмурились. Мы стояли ни живы, ни мертвы.

— Пойдемъ! Идите за мной!—вдругъ рѣзко и повелительно прервалъ онъ молчаніе.—Пойдемъ!

Всѣ трое, послушно, какъ овцы, мы двинулись за нимъ. Но, странное дѣло, вся робость наша прошла.

Онъ повелъ насъ къ себѣ, зажегъ свѣчу и сталъ разбирать молча нашъ кулекъ, изъ котораго посыпались карта, булки, кодбасы и пистолеты. Въ нѣсколько минутъ все объяснилось,—мы рассказали все.

— Вотъ до чего доводятъ глупыя книги!—сказалъ онъ, качая головой.—Ну, какіе вы охотники? Взгляните только на себя: вѣдь, вы и стрѣлять-то не умѣете! Не будь у васъ родителей, вы бы съ голоду умерли, прокормить бы себя не сѣумѣли... Дровъ накалотъ не сѣумѣли бы, гривенника бы не заработали въ день, а въ ди-

кой преріи, среди дикарей и звѣрей, жить собрались... Эхъ вы!

Мы улынулись какъ-то вдругъ: наша затѣя показалась намъ самымъ смѣшною.

— Да развѣ дома, на родинѣ, не найдется дѣла? Развѣ нѣтъ у насъ своихъ обязанностей, — продолжалъ онъ, зашагавъ по комнатѣ, — обязанностей къ своему обществу, къ своему народу, который и необразованъ, и теменъ, и бѣденъ? Развѣ вы объ этомъ никогда не слышали, никогда не думали?

Нѣтъ, мы никогда не слыхали ничего подобнаго. Это были новыя, почти непонятныя слова для насъ, и, слушая ихъ, мы стояли, блѣдные, взволнованные, съ сердцами, бившимися какимъ-то особеннымъ трепетомъ.

— Отчего вы не читаете хорошихъ книгъ?

Хорошія книги?! Мы знали только интересныя и скучныя, — только учебники и захватывавшіе духъ романы Купера и Майнъ-Рида. Мы стояли, какъ истуканы, не ворочая языками.

— Какія же это книги?—дрожащимъ голосомъ спросилъ, наконецъ, Кутыревъ.

Учитель подвелъ насъ къ шкафу и провелъ рукой по книгамъ. Мы прочли имена Гоголя, Пушкина, Лермонтова, Бѣлинскаго, Добролюбова и много другихъ именъ.

— Вотъ чтò читайте, — говорилъ онъ, — вотъ имена, которыми должны гордиться каждое русское сердце, каждый русскій умъ!...

.

Стояла чудная лѣтняя ночь. Звѣзды горѣли такъ ярко, что мы ясно различали ихъ сквозъ туманъ какихъ-то **блаженныхъ**, **святыхъ** слезъ, застилавшихъ наши глаза. Бѣлесоватая полоса близкаго разсвѣта пестрили востокъ, а мы трое, блѣдные, взволнованные, но счастливые, съ лихорадочно блестящими глазами, все еще бродили по тихимъ, соннымъ улицамъ спящаго города, слушая, жадно слушая чудныя рѣчи нашего учителя. Это была первая человѣческая рѣчь, которую слышали наши уши, и она грѣла насъ, какъ первый поцѣлуй, наполняла насъ блаженствомъ, какъ первый любовный шепотъ. Живое слово проникало въ наши пустыя юныя души, какъ воздухъ въ пустой сжатый гуттаперчевый шаръ, раздвигая его стѣнки, и что-то новое, невѣдомое доселѣ вставало въ насъ, будя и спящій умъ, и спавшее доселѣ человеческое сердце. Мы лихорадочно горѣли; Семеновъ дрожалъ, Кутыревъ, казалось, готовъ былъ разрыдаться.

Съ тѣхъ поръ мы стали учиться, чтобы попасть въ университетъ, потому что мы знали, зачѣмъ онъ былъ намъ нуженъ, и нашу дружбу связало нѣчто болѣе прочное и сильное, чѣмъ однѣ школьныя проказы.

V.

Я уже сказалъ, что, прибывъ въ столицу и поступивъ въ университетъ, мы поселились всѣ вмѣстѣ. Семеновъ снялъ небольшую квартиру въ три жилыя комнаты съ

кухней, а мы—я и Кутыревъ—перешли къ нему жильцами.

Всѣ мы были тогда одинаково зелены, одинаково доврчивы, одинаково увлекались словами, не разбирая, откуда идутъ они, и естественно, были постоянными гостями журфиксовъ Марьи Львовны, въ посѣщеніи которыхъ видѣли чуть ли не гражданскій долгъ... О, мы не умѣли еще различать „чужихъ“ отъ дѣйствительно „своихъ“, мы не знали тогда, что есть, кромѣ „великаго дѣла любви“, и „праздноболтанье“, что есть лгуны, говорящіе только сухими устами, а не сердцемъ,—не знали, ибо мы сами не умѣли лгать, а приглядѣться ко всему еще не успѣли. Современемъ мы поплатились за это незнаніе,—поплатились крѣпко,—но тогда... тогда, живя вмѣстѣ, мы и увлекались вмѣстѣ. Впрочемъ, прожить вмѣстѣ намъ пришлось не долго: случилось нѣчто, что принудило насъ разойтись по разнымъ угламъ, хотя большую часть времени мы, все-таки, продолжали проводить въ „старой“ квартирѣ, три комнаты которой стали намъ и милѣе, и дороже, и уютнѣе, если хотите.

Это „нѣчто“ былъ внезапный пріѣздъ Лели, двоюродной сестры Семенова, нагрянувшей къ намъ какъ снѣгъ на голову.

Большую роль сыгралъ этотъ пріѣздъ въ нашей жизни; много онъ вызвалъ впослѣдствіи и тяжелаго, и болезненнаго, но, прежде всего, онъ внесъ въ нашу среду ту мягкость и деликатность, тотъ лучъ теплаго свѣта и задушевности, ту чистоту и порядочность, отсутствіе которыхъ часто весьма вредно отзывается на внутреннемъ

складѣ человѣка и вносить которыя можетъ только женщина, въ особенности же такая женщина, какою была Леля. Ихъ намъ недоставало и она внесла все это какъ-то непосредственно, сама собой, безъ всякихъ усилій или стараній, однимъ своимъ появленіемъ. И теперь, когда я вспоминаю и ее, и ея первый пріѣздъ, я чувствую, какъ мягкая теплота наполняетъ мою грудь, какъ яснѣютъ мысли и воспоминанія, какъ вольнѣе и легче дышется груди, какъ все точно чище и лучше становится вокругъ, даже сама жизнь становится точно лучше и вѣра въ нее какъ-то крѣпнѣтъ, потому что уже одна возможность появленія на жизненной аренѣ такихъ типовъ, къ какимъ принадлежала наша Леля, способна и примирить съ жизнью, и дать въ нее вѣру. Леля и знала меньше насъ, и читала меньше; но тамъ, гдѣ мы пускали въ ходъ и логику, и разсужденіе, она всегда скорѣе насъ брала какимъ-то чутьемъ, прирожденнымъ инстинктомъ, а сама она вся была одна чистота, одна искренность, одна правда. Лжи въ ней не было ни на волосъ, сдѣлокъ съ совѣстью, съ внутреннимъ чутьемъ она не допускала, не понимала даже; всякую уступку совѣсти или чувства чему бы то ни было, всякій шагъ противъ голоса сердца, противъ того, что считалось ею честнымъ и хорошимъ, она звала „честно-подлостью“ или „подло-честностью“, и мы даже переняли отъ нея эти термины. Въ этой-то цѣльности, въ этой прирожденной чистотѣ и искренности, въ этой правдѣ, которая проникала ее всю, и была ея сила, благодаря которой мы всегда пасовали передъ нею, какъ школьники передъ

старшимъ. Я не говорю уже о Кутыревѣ, который, полюбивъ ее первую пламенною любовью, говорилъ съ нею не иначе, какъ вспыхнувъ печеною свеклой, заикаясь, причемъ вѣчно, но тщетно, старался повернуть истрепанный галстукъ бантомъ, а другою рукою пригладить непокорные вихры, но даже мы, — я, относившійся къ ней, какъ другъ, и Семеновъ, ея братъ, — даже мы, признаться, всегда чувствовали себя передъ ней такъ, какъ въ тотъ торжественный моментъ, когда впервые коснулись порога университетской аудиторіи, или, по крайней мѣрѣ, почти такъ.

Я и теперь еще ясно и живо помню тотъ вечеръ, когда она въ первый разъ явилась среди насъ, ясная, какъ лучъ солнца, свѣжая, какъ чистая капля росы, живая, какъ только что вспорхнувшая изъ гнѣзда птичка. Мы начинали, кажется, уже вторую дюжину пива; въ комнатѣ было накурено, какъ въ копильнѣ, скрутки были сняты, Кутыревъ „пробовалъ свою октаву“ и мы тщетно просили его пощадить наши „барабанные перепонки“, какъ вдругъ хлопнула всегда незапертая входная дверь, послышались чьи-то легкіе, быстрые шаги и въ нашемъ хаосѣ, въ цѣлыхъ волнахъ табачнаго дыма появилась, какъ видѣніе, невысокаго роста, смуглая брюнетка съ такими чудными карими глазами, съ такою открытою, ясною улыбкой, что отъ нихъ, казалось, просвѣтлѣло все — и накуренный воздухъ, и пивной угаръ, и весь нашъ хаосъ.

— Здѣсь Семеновъ? — спросила она немного нерѣшительно, несомнѣнно оробѣвъ при видѣ открывшейся, не-

обычной ей сцены,—здѣсь?—и, разглядѣвъ, наконецъ, въ дыму, не ожидая отвѣта нашихъ окаменѣвшихъ губъ, бросилась къ нему на шею.

Въ тотъ же моментъ, боявшійся „барынь“ еще съ бурсы, Кутыревъ юркнулъ подъ столъ, едва не опрокинувъ всѣхъ допитыхъ и недопитыхъ бутылокъ, а я наплевательничалъ чей-то сюртукъ.

— Леля?! Какими судьбами, какъ?—бормоталъ, между тѣмъ, Семеновъ, вскочивъ и сжимая дѣвушку такъ, что она хохоча стала кричать:

— Осторожнѣй, медвѣдь мой!... Какъ?... Очень просто: надоѣдала тетѣ до тѣхъ поръ, пока она не пустила къ тебѣ... Не все же только вашему брату въ столицахъ учиться. Правда? Ахъ, да, вотъ и вещи... Саша, возьми!

Я принялъ отъ извозчика чемоданы, а Леля уже протягивала мнѣ руку.

— Это друзья твои, Саша, да?—о которыхъ ты писалъ? Здравствуйте, я васъ давно знаю по письмамъ!... Здравствуйте!... А гдѣ же еще... еще... третій?... Гдѣ Кутыревъ?... Видите, — хохотала она, — я васъ всѣхъ знаю... гдѣ же онъ?

Кутыревъ, навѣрное, проклялъ себя подъ столомъ, потому что тотъ запнулся.

— Э!—протянулъ весело Семеновъ,—вишь гдѣ онъ, въ бѣгахъ! Вылазь-ка, братъ, полно прятаться отъ бабы. Вылазь!

— Не могу!—раздалась изъ-подъ стола невозмутимая октава, и мы невольно расхохотались всѣ трое: до того комичнымъ показалось намъ это „не могу“,—расхохота-

лись такъ, что Леля, не устоявъ, бросилась въ кресло, да и самъ Кутыревъ не удержался и сталъ хохотать подъ столомъ.

— „Не могу!“ Не можете, почему?—визжала Леля, а на глазахъ отъ смѣха у нея показались слезинки,—почему? Неужели меня испугались, неужели я страшна? „Не могу!...“ Ха-ха-ха!...

— Сюртука нѣтъ!—отвѣтилъ, смѣясь, тотъ.

— Боже, что за голосъ, да вы оглушить можете!

— Могу! Меня въ протодьяконы прочили! — наивно отвѣтилъ Кутыревъ изъ-подъ стола, тщетно стараясь говорить мягко.

Тутъ нашъ хохоть принялъ почти гомерическіе размеры. Леля просто каталась отъ смѣха въ креслѣ.

— Нѣтъ, будетъ... охъ! Что же это такое, наконецъ? Будетъ! Вылѣзайте... Саша вотъ уже безъ сюртука, а вы все равно, что братъ ему. На первый разъ прощаю... Можно!—говорила она, судорожно смѣясь и сдерживаясь, въ то же время.—Прощаю, извиняю!—и она протянула ему руку.

Зазвенѣли бутылки, задрожала свѣча и Кутыревъ выползъ при общемъ смѣхѣ. Онъ былъ прелестенъ всею своею дюжею фигурой, своими густыми, черными, какъ смоль, вудрями, своимъ дѣтски-сконфуженнымъ лицомъ, съ опущенными долу глазами,—прелестенъ, какъ гоголевскій Андрій, когда красавица-панна, смѣясь, нацѣпляла на него свои ожерелья, свои серьги и кольца. Онъ, понятно, былъ красенъ, какъ свѣже-распустившійся піонъ, но и Леля казалась немного смущенною.

— Боже мой, но что это у васъ такое? Вѣдь, это конюшня, сарай! Чья это комната?—почти крикнула она, взглядывши, наконецъ, въ обстановку.—Вѣдь, это ужасъ, что такое! Чье это логовище?

На несчастье Кутырева, мы пили сегодня въ его логовищѣ, въ которое онъ натаскалъ костей и череповъ, которое всегда было грязно, не метено, полно окурковъ и пустыхъ бутылокъ, гдѣ все—и табакъ, и сахаръ, и чай, и книги, и постель, и платье—представляло собой какой-то невозможный винегретъ. Онъ окаменѣлъ отъ стыда.

— Неужели твоя, Саша? Нѣтъ, невозможно!... Ваша?—обратилась она ко мнѣ,—нѣтъ? Значить...

— Моя!—прогудѣлъ, наконецъ, ужасный басъ и поперхнулся.

— Ну, и не стыдно вамъ?—всплеснула она руками,—не стыдно?—и, быстро вскочивъ, стала разбираться въ невозможномъ хламѣ, приводя все въ порядокъ и неустанно говоря про себя: „Нѣтъ, это невозможно, это изъ рукъ вонъ что такое, это ужасъ“, быстро швыряя книги, кости, платье и прочее.

— Позвольте... позвольте!... Я самъ!—бѣгалъ за нею растерянно Кутыревъ, но она не слушала.

— Нѣтъ, оставьте; я сама теперъ, сама... Вы мнѣ только мѣшаете!

— Да оставь ты эту авгіеву конюшню; вѣдь, тутъ Геракулесъ съ цѣлымъ водопроводомъ нуженъ!—убѣждалъ ее Семеновъ, стараясь усадить въ кресла.—Давай поговоримъ лучше!

— Постой, стой!... Не могу я, не могу этого видѣть, нѣтъ! — отвѣчала она, суетясь и бѣгая юлой. — Постой! О, васъ всѣхъ прибрать къ рукамъ нужно! Пойдите, я васъ вымуштрую!... — И въ нѣсколько минутъ ея ловкія, быстрыя руки преобразили комнату до неузнаваемости.

— Ну, что, теперь лучше? — спросила она, усаживаясь, наконецъ, около совсѣмъ застыдившагося Кутырева.

— Лучше!

— А вамъ не стыдно?

— Очень стыдно!

— То-то же, „протодьяконъ“!

Мы всѣ весело и хорошо засмѣялись на эту кличку, съ тѣхъ поръ такъ и приставшую къ нему.

Я легъ съ нимъ вмѣстѣ, въ той же комнатѣ, уступивъ свою Лелѣ. Противъ обыкновенія, онъ не заснулъ сразу, а долго ворочался.

— Слушай, а, вѣдь, барынька-то подумаетъ про насъ чортъ знаетъ что такое! — окликнулъ онъ меня.

— Что же такое именно?

— Да какъ тебѣ сказать?... Пиво это... ну, и все прочее, точно гвардейцы какіе!

— Ну, положимъ, это вздоръ! Гвардейцы, братъ, не пиво дуютъ... А вотъ что ты бурсакъ неотесанный, это она, навѣрное, подумаетъ, — отвѣтилъ я шутя.

Къ моему удивленію, Кутыревъ не расхохотался, какъ обыкновенно, на эту шутку, а мрачно проговорилъ:

— Что же подѣлаешь, братъ? Такіе ужъ мы всѣ бурсаки.

На другой же день мы разбрелись: я въ меблированныя комнаты, Кутыревъ—на какой-то невообразимый чердакъ, уступленный ему за урокъ, гдѣ онъ чувствовалъ себя отлично, такъ какъ ничего и никого стѣсняться не приходилось, ибо на всемъ своемъ чердакѣ онъ былъ „самъ себѣ владыкой“. Комнату Кутырева взяла себѣ Леля, а мою она объявила „нейтральною“, чѣмъ-то вродѣ общей ея и брата гостиной, въ которой мы толклись теперь ежедневно, почти все послѣобѣденное время. Славные дни потянулись у насъ, весело намъ было вмѣстѣ, хорошо смотрѣлъ и влюбленный Кутыревъ, и Леля, относившаяся къ нему какъ-то особенно мягко и просто, точно къ родному брату, и чуть ли даже не мягче еще, и я, и вѣчно задумчивый Семеновъ,— всѣ мы были непринужденны и беззаботно-счастливы. Леля насъ дѣйствительно „муштровала“: мы и бражничать перестали, и лекціями лучше занялись, и читать больше стали, а ужъ чище одѣвались—это само собой. Бѣгали мы по галлереймъ, осматривали музеи, посѣщали театры, собирались на сходки, на рауты, на публичныя чтенія, а билліарды и пиво почти предали забвенію.

VI.

Но все это, къ сожалѣнію, и большому сожалѣнію, продолжалось очень не долго. Лелю, понятно, мы ввели въ нашъ общій кругъ знакомыхъ и, естественно, я познакомилъ ее и съ Марьей Львовной, которая нашла ее

и „charmante“, и „une tête“, и сразу предложила ей свое покровительство. Бѣда была, конечно, не въ Марьѣ Львовнѣ, которую, признаться, Леля считала „болтушкой“, а подчасъ, не обинуясь, называла ее даже и „дурой съ начинкой“, — и язычекъ же былъ у Лели! — а была она въ томъ, что у Марьи Львовны Леля встрѣтилась съ Анчаровымъ, — встрѣтилась и спасовала. Да, спасовала, какъ пасовали всѣ мы передъ нею. И все это случилось, несмотря на всѣ наши протесты, на нашу открытую къ нему антипатію, на вопли и рычаніе Кутырева, на то, что всѣ мы то и дѣло „открывали ей глаза“ и обличали его, чѣмъ, какъ теперь мнѣ кажется, только подзадоривали нашу Лелю.

Тогда я ничего не понималъ, я только, какъ и всѣ мы, возмущался, кипятился, негодовалъ, удивлялся этой странной близорукости и выходилъ изъ себя, когда на всѣ мои доводы Леля спокойно возражала: „вы не понимаете его“, „вы пристрастны“, или просила оставить ее въ покоѣ, прямо заявляя, что мы расходимся съ нею „во взглядахъ на человѣка“. Но теперь, когда я спокойнѣе и безпристрастнѣе могу взвѣсить все, когда прошедшее стало ясно по своимъ результатамъ, я понимаю, вполне понимаю это странное увлеченіе, эту болезную, острую вспышку, понимаю Лелю, понимаю, почему она, такая чистая, такая искренняя, такая довѣрчивая, — она, сама правда и потому вѣрающая всѣмъ и каждому, — могла увлечься такимъ роковымъ образомъ. Я понимаю, что она, чувствовавшая себя въ нашей средѣ равною среди равныхъ и, можетъ быть, даже больше чѣмъ рав-

ною, потому что не могла же не замѣчать она, какъ мы пасовали передъ нею, она даже звала насъ „моя мальчижи“,—я понимаю, говорю, что она неминуемо должна была остановиться передъ таинственною, загадочною фигурой Анчарова, которому кругомъ кадились еиміамы и который принималъ ихъ какъ должное,—остановиться и потому еще, что онъ одинъ смотрѣлъ на всѣхъ сверху внизъ, а въ томъ числѣ, конечно, и на нее. И почему бы она должна была не вѣрить ему и въ него, когда она совсѣмъ не знала неправды?

Первая же встрѣча ихъ была роковою: съ первой встрѣчи онъ поразилъ ее, отуманилъ, опуталъ паутиной своей таинственной загадочности и титанической силы. Я и теперь помню еще этотъ вечеръ у Марьи Львовны, сначала такой непринужденный и веселый. Помню этотъ странный взглядъ Лели, удивленный, полный благоговѣнія; помню ея лихорадочную дрожь, ея окаменѣлое лицо, когда Анчаровъ такъ удачно сыгралъ свою роль. Тогда уже все было сдѣлано, все предрѣшено, съ этого роковаго вечера и теперь я все это понимаю,—все, до мелочей, до того, что Леля еще чище, еще прелестнѣе встаетъ въ моемъ представленіи.

Марья Львовна выбивалась изъ силъ, какъ хозяйка, всѣмъ было весело, всѣ весело смѣялись и Леля мягко шутила съ Кутыревымъ, который таялъ въ теплѣ сѣдмаго неба,—съ Семеновымъ мы уже звали ихъ „парочкой“. Общее веселье еще увеличилось, когда Марья Львовна предложила „сыграть въ стихи“, т.-е. заставить cadaго продекламировать врасплохъ какое-нибудь чет-

веростише, ясно и цѣльно само по себѣ выражавшее какую-нибудь опредѣленную мысль поэта. Кутыревъ декламировалъ „гречаники“, чѣмъ, конечно, поднялъ хохотъ, Леда—первые четыре стиха пушкинской „Птички“, затѣмъ декламировали среди смѣха и шутокъ Тредьяковскаго,—вообще всѣ придавали этому шутиливый тонъ, выбирая все больше комичные куплеты, какъ вдругъ очередь дошла до Анчарова. Онъ только что пришелъ и стоялъ, облокотившись у камина, въ самой мрачной, самой таинственной позѣ.

— Ваша очередь!—обратилась къ нему подобострастно Марья Львовна, и въ залѣ сразу все смолкло.

Онъ натянуто улыбнулся и повелъ плечами.

— Нѣтъ, нѣтъ!... Ради Бога, не отказывайтесь... Мы всѣ условились не отказываться!—умоляюще закатывала свои чудные глазки Марья Львовна.

Всѣ лица повернулись къ нему. Онъ провелъ рукой по лбу и, мрачно насупившись и точно покоряясь одной необходимости, величественно протянулъ руку. Медленно обведя всѣхъ какимъ-то укоризненнымъ взглядомъ, съ величественно протянутою рукой, медленно, съ разстановкой онъ продекламировалъ горячимъ тономъ:

И межъ тѣмъ, какъ роскошные грезы
Стерегутъ твое ложе, богатъ!

Онъ сильно ткнулъ рукой къ стѣнѣ:

За стѣной твоей: голода слезы,
Скорбь паденья, насилья и плачъ!

Смѣхъ, веселье застыли, исчезли. Мы были слишкомъ

молоды, слишкомъ честны, чтобы стихи эти, ворвавшись такимъ диссонансомъ, не прозвучали въ насъ точно укоромъ, чтобы сердца наши не забились святымъ трепетомъ. Эффектъ былъ чрезвычайный; о немъ говорили наступившее напряженное молчаніе, мертвая, неподвижная тишина. Мы поблѣднѣли, намъ всѣмъ стало неловко, а онъ, невозмутимый, холодный, загадочный, стоялъ все такъ же у камина, все такъ же смотрѣлъ на насъ, казалось, взглядомъ укора.

Я взглянулъ на Лелю: она забыла о Кутыревѣ, со всѣмъ забыла. Она видѣла, казалось, только эту величественно протянутую руку, слышала только эти страстные стихи и лихорадочно блестящими глазами, полными удивленія и благоговѣнія, на блѣдномъ, вытянутомъ лицѣ, смотрѣла на Анчарова, дрожа, какъ испуганная птичка. Но вотъ какъ-то сразу все захлопало, застучало, задвигалось, закричало „браво“ и, точно пробудившись отъ сна, точно освободившись изъ оковъ, Леля, вспорхнувъ, подбѣжала къ нему и протянула ему обѣ руки. Какъ-то снисходительно улыбаясь, онъ взялъ ея руки, а она, взволнованная, дрожавшая, вся сіявшая страстью, что-то шептала ему, путаясь и съ трудомъ переводя дыханіе.

Этотъ вечеръ я помню живо и ясно потому, повторяю, что съ него-то все и пошло,—съ него Леля какъ-то забыла и Кутырева, и насъ; мы ступевались, отошли на задній планъ, и какъ бы тамъ ни было, но Анчаровъ сталъ нашимъ частымъ гостемъ, то-есть не нашимъ собственно, потому что Леля, зная общее къ нему отношеніе, уводила его всегда къ себѣ, а нашей „штабъ-

квартиры". Она уходила съ нимъ на прогулки, пропадала по цѣлымъ днямъ, и нашъ кружокъ, нашъ „семейный очагъ“, какъ звали мы его, сталъ самъ собою распадаться. Сначала пошла, какъ водится, какая-то общая натаянutosть: Семеновъ хандрить и раздражался, Кутыревъ все пробовалъ октаву и выдѣлывалъ какіе-то странные, угрожающіе жесты, точно собиpался душить гидру, я чувствовалъ себѣ неловко среди этой молчаливой, но понятной мнѣ натаянutosти, въ этой тоскливой теперь, не оживленной чистымъ образомъ Лели комнатѣ, а затѣмъ мало-по-малу мы стали избѣгать даже сходиться. Леля, конечно, все это видѣла, но ей было не до насъ; да, къ тому же, она считала всѣхъ насъ неправыми. Доходило даже дѣло до того, что она запиpалась у себя и мы не видали ея и тогда, когда Анчарова у нея не было,—до того все было напряжено, полно недоразумѣній и невыясненныхъ личныхъ счетовъ. Мы и говорить уже могли только волнуясь и раздражаясь, — словомъ, намъ тяжело становилось въ присутствіи другъ друга, тяжело такъ, какъ только можетъ быть въ средѣ теплой, любящей семьи, когда какая-нибудь черная кошка собьетъ всѣхъ съ толку.

Разъ я возвращался отъ Марьи Львовны позднимъ вечеромъ въ счастливомъ, почти блаженномъ состояніи; я ликовалъ даже, узнавъ отъ нея, что надняхъ Анчарову предстоитъ отправиться въ какую-то долгую и далекую командировку. Я былъ увѣренъ, что съ его отъѣздомъ вся натаянutosть исчезнетъ, все изгладится, все пойдетъ попрежнему,—хорошо, счастливо и мирно. Меня сильно

тянуло подѣлиться своею радостью съ Семеновымъ, и я завернулъ по дорогѣ въ садъ, гдѣ онъ проводилъ обыкновенно свои вечера, и пошелъ по аллеямъ. На поворотѣ въ пустынную, глухую дорожку я остановился, разслушавъ чей-то знакомый голосъ, и сталъ вслушиваться. Голосъ былъ очень знакомъ, но чей, я никакъ не могъ опредѣлить сразу.

— Можно подумать, что вы способны не обращать вниманія на мнѣніе толпы! — не то иронически, не то полупрезрительно говорилъ мужской голосъ.

— Въ своихъ личныхъ ощущеніяхъ я ни у кого не спрашиваю, никому не отдаю отчета! — твердо отвѣчалъ молодой женскій голосъ.

„Неужели это Леля?“ — промелькнуло молніей у меня въ умѣ, и, весь задрожавъ, я окаменѣлъ на мѣстѣ.

— И вы бы пошли за человѣкомъ, пошли бы... гм... во имя его плановъ, несмотря ни на что, не страшись... не боясь?...

О, я узналъ, — это спрашивалъ Анчаровъ!

— Да, если бы вѣрила ему!

Я не могъ двинуться съ мѣста, — я слушалъ, каюсь, чужую рѣчь... Меня бросало въ жаръ, я стыдился самого себя, но я не могъ сойти. Что-то удерживало меня, что-то чище и лучше простаго любопытства.

— Нѣтъ! — точно борясь съ собой и колеблясь, какъ-то грустно продолжалъ Анчаровъ, — нѣтъ! Намъ, все-таки нужно разстаться... Мы не можемъ идти вмѣстѣ къ нашей цѣли! Вмѣстѣ не можемъ!...

— Но почему же?! — удивилась Леля, и въ тонѣ ея во-

проса зазвучала и боль, и мольба.— Почему, разъ мы оба вѣрѣмъ въ одно и то же?!

— Вы—женщина, и красивая женщина!—мягко и вкрадчиво почти зашепталъ въ отвѣтъ Анчаровъ.—Ваша красота не можетъ не... не... не дѣйствовать на меня. Мнѣ приходится много бороться съ... съ... ея вліяніемъ... Это парализуетъ... это отвлекаетъ... Энергія тратится... Вы понимаете?...

— Нѣтъ, ничего не понимаю!—наивно-удивленно возразила Леля.

— Мы можемъ идти вмѣстѣ только при одномъ условіи!... Вы должны... Вы... Только при одномъ условіи!...

— Какое?!—почти крикнула та нетерпѣливо.

— Вы должны стать моей...

Прошло, кажется, цѣлое столѣтіе, въ которое я все ждалъ отвѣта. Меня била лихорадка,—я предчувствовалъ что-то роковое. Я зналъ, что чистое, вѣрующее дитя ни передъ чѣмъ не остановится.

— Ну, что-жь! Возьмите меня!...

Въ воздухѣ еще звучали послѣднія слова отвѣта, а я уже былъ далеко. Я летѣлъ, не чувствуя подъ собою ногъ, не чувствуя земли, не сознавая, гдѣ я, только жадно глотая воздухъ. И стыдъ, и какой-то страхъ, и бѣшеная злоба гнали меня, какъ „вѣчнаго жида“, и я бѣжалъ и бѣжалъ, но встрѣтъ Анчарова, я остановился бы и размозжилъ бы ему голову.

— Стой, куда?

Съ разбѣга я наткнулся на Семенова.

— Куда? Что съ тобой?

— Пусти! — рванулся я отъ него, но онъ схватилъ меня за рукавъ.

— Нѣтъ, братъ, шутки! Ты на себя не похожъ!... Что съ тобой? Говори, откуда?

— Отъ Марьи Львовны...

— Э... ну, такъ вздоръ!... Изъ-за „прогресса“ поспорили... Пойдемъ, братъ, выпьемъ!

Мы пошли и стали пить. Я пилъ безобразно, съ трудомъ держался на ногахъ, но голова, какъ на зло, оставалась свѣжа.

Семенову я, конечно, не сказалъ ни слова.

Онъ повелъ меня ночевать въ себѣ, находя, что я слишкомъ пьянъ, чтобы пустить домой. Я охотно согласился, горя нетерпѣніемъ увидѣть Лелю. Мы пришли поздно, но ея все еще не было дома. Она пришла добрымъ часомъ позже, и мы слышали, какъ она долго возилась и стучала въ своей комнатѣ.

Мы встали около полудня и только что принялись было пить чай, какъ въ намъ неожиданно постучала Леля.

Она вошла сильно блѣдная, взволнованная, съ хмуро-сдвинутыми бровями.

— Прощай, Саша, — сказала она брату, — я пришла проститься... А, и вы здѣсь?—обернулась она ко мнѣ.— Тѣмъ лучше: я съ вами прощаюсь!...

— Куда ты?—почти крикнулъ Семеновъ, а я покраснѣлъ до ушей.

— Это мое дѣло! — совсѣмъ сурово отвѣтила она и стала рыться въ дорожники, чтобы скрыть свое смущеніе.

— Леля!—умоляюще протянул Семеновъ.

— Что, Саша?... Все равно, другъ мой, у насъ не житье теперь, а какая-то каторга...

— Когда же ты ѣдешь, наконецъ?

— Сейчасъ. У меня все готово... Поѣздъ уходитъ черезъ часъ.

Семеновъ сталъ насвистывать „тройку“, — это случилось съ нимъ рѣдко. Леля, насупившись, рылась въ своемъ дорожникѣ и дѣлала невѣроятныя усилія казаться спокойной. Я сидѣлъ, какъ столбъ, не смѣя поднять глазъ.

Наконецъ, она встала и бросилась брату на шею; оба заплакали.

— Пиши, Леля, гдѣ будешь...

— Ладно, посмотримъ... Ну, прощайте и вы!—обняла она меня и затѣмъ остановилась въ раздумьи.

— А это Кутыреву передайте, — сказала она, наконецъ, вынимая изъ волосъ цвѣтокъ, — да поцѣлуйте его!

VII.

Потянулись скверные, тяжелые дни. Я одинъ зналъ истину, — зналъ, куда поѣхала Леля; другіе, можетъ быть, и подозревали, но никто, конечно, не проронилъ и слова. Точно сговорившись заранѣе, всѣ мы, встрѣчаясь, избѣгали всякихъ рѣчей о Лелѣ и Анчаровѣ, даже намековъ избѣгали; чуя каждый рану другаго, мы боялись бередить ее и полусловомъ. Но всѣ мы ходили хмурые,

невеселые,—всѣ мы не знали, какъ и куда дѣвать время, и убивали его чортъ знаетъ какъ.

Я опять переѣхалъ къ Семенову. Звали мы и Кутырева, но онъ ни за что не хотѣлъ разстаться съ своимъ чердакомъ; его бы давили, замучили эти три комнаты, въ которыхъ онъ всецѣло и навсегда потерялъ свое любящее, мягкое сердце. Пилъ онъ теперь, какъ сапожники, и все гудѣлъ своею октавой жалобныя пѣсни, въ особенности когда навѣщалъ насъ, что случалось если не ежедневно, то, во всякомъ случаѣ, очень часто. Такъ тянулись недѣли, а за недѣлями мѣсяцы.

Приходилъ къ концу и третій мѣсяцъ. Началась холодная, тоскливая осень. Мы опять сидѣли всѣ вмѣстѣ, пили, неистово дымили папиросами, тщетно умоляли Кутырева перестать тянуть свое жалобное „Перекачиполе“, которое онъ вылъ самыми невозможными переливами и тонами, какъ хлопнула дверь и на порогѣ, вся опорошенная инеемъ, появилась блѣдная, сильно похуѣвшая Леля. Мы только успѣли вскочить, Кутыревъ не успѣлъ дотянуть свою ноту, какъ она бросилась къ брату, а затѣмъ и каждому изъ насъ.

— Не узнаете, что ли?... Точно окаменѣли всѣ! — говорила она, смѣясь.

— Да ты ли?... Вы ли, Леля? — сыпались наши вопросы.

— Я... я, мои мальчики! Рады, что ли? А ты опять примешь?...

— Что за вопросъ, Леля!—дрожалъ, все еще точно

не вѣрившій своимъ глазамъ, Семеновъ.—Да ты дай обнять себя... Сядь! Нѣтъ, долой пальто, скорѣй!... Чаю

Кутыревъ уже дулъ въ самоваръ, дулъ сильнѣе кузнечнаго мѣха.

— Протодьяконъ, да вы лопнете!

Тотъ не отвѣтилъ; онъ только взглянулъ на нее своими добрыми глазами, полными блаженства, и продолжалъ свое дѣло. Развѣ онъ побоялся бы лопнуть, чтобы согрѣть ее поскорѣе?

Это былъ счастливѣйшій вечеръ, какой я только и помню. О прошломъ не было и рѣчи; оно было забыто, точно его и не было вовсе. Мы жили настоящимъ, которое было такъ полно, такъ счастливо, такъ хорошо, какъ никогда, казалось. Мы и смѣялись, и пѣли, и говорили о будущемъ.

Только когда мы стали прощаться, она остановила насъ, немного нахмурившись.

— Вотъ что, мальчики... У меня къ вамъ большая просьба!

— Какая?—спросили мы въ одинъ голосъ.

— Ни словомъ, ни намекомъ,—говорила она немного дрожащимъ голосомъ,—никогда не поминайте при мнѣ Анчарова... Онъ лгунъ! Ладно?

— Ладно.

— Ну, и ладно, значить... А еслибъ онъ пришелъ сюда, такъ ты, Саша, не прими... Ладно?

— Я... я...—началъ дрожащимъ голосомъ Семеновъ,—я попрошу тогда переговорить съ нимъ его,—тѣнулъ онъ въ Кутырева,—онъ съумѣетъ!

Я взглянулъ на Кутырева, на его плечи, на его дрожавшія руки и понялъ, что бы случилось съ Анчаровымъ при такихъ переговорахъ.

— Нѣтъ, ради Бога, нѣтъ! Никакихъ сценъ,—вско-чила Леля,—никакихъ столкновеній!... Вы должны мнѣ обѣщать это — слышите? — должны! Вы будете съ нимъ вѣжливы!...

— Пока онъ не коснется тебя...

— Такъ обѣщаете?—перебила Леля.

— Да,—отвѣтилъ Семёновъ,—пока...

— А вы?...

— И я!

— А вы, протодьяконъ?

Тотъ поблѣднѣлъ и сжалъ пальцы такъ, что они захрустѣли. Его могучія плечи вздрагивали, грудь тяжело дышала.

— И я!—выговорилъ онъ, наконецъ, дрожащимъ басомъ.

— Обѣщаете?

— Обѣщаю, пока.

— Ну, ладно, ладно! Идите теперь!... Спокойной ночи, мальчики!—смѣялась опять Леля.

Къ намъ вернулось наше старое счастье; оно стало даже какъ-то лучше, мы какъ-то сблизились больше. Послѣ пережитой метели наступившее вѣдро казалось яснѣе, точно обезпеченнѣе, и впередъ мы глядѣли безъ боязни, безъ страха за него, безъ колебаній. Нашъ „семейный очагъ“ сталъ еще уютнѣе, еще теплѣе, а всѣ мы точно выросли, поумнѣли, набравшись опыта. Да, мы

действительно выросли и поумнѣли. Жизнь дала намъ уже много опыта, показала „чужихъ“, которыхъ мы не знали раньше, но показала и „своихъ“, показала цѣли и задачи, какихъ мы тоже не знали раньше... Мы не бѣгали по раутамъ, за то занимались больше, больше читали, больше вдумывались въ жизнь, искали своихъ „цѣлей и назначеній“, гадали о далекихъ, грядущихъ дняхъ: Семеновъ мечталъ рѣшить всѣ міровыя задачи своею излюбленною математикой, „въ которой все ясно, строго-опредѣленно и безусловно-логично“; я, въ качествѣ юриста, рассчитывалъ защитить всѣхъ „угнетенныхъ“ рѣчами въ залахъ новыхъ судебныхъ учреждений; Кутыревъ, будущій земскій врачъ, собирался вырѣзать всѣ раки, истребить всѣ болѣзни „раціональною гигиеной“, а Леля (она поступила на акушерскіе курсы)... о, ни одна деревенская баба не родитъ безъ нея, ни одна не уйдетъ отъ ея ухода!—это казалось несомнѣннымъ. Насъ—меня и Семенова—„тянуло“ городъ, ихъ—Кутырева и Лелю—деревня. Это послѣднее, а также и одинаковость профессій, сближало ихъ все больше и больше, а серьезныя занятія и большее знаніе поднимали все выше его авторитетъ въ глазахъ возлюбленной. Онъ занимался съ ней, давалъ ей свои книги и атласы, водилъ съ собой въ „резекціонную“,—вообще, всѣми силами старался помочь ей явиться подготовленною вмѣстѣ съ нимъ на помощь народу; ихъ отношенія становились все мягче и проще, отъ нихъ вѣяло тихимъ миромъ человѣческой, сознательной любви, спокойной и глубокой.

Такъ тянулись цѣлые мѣсяцы и, наконецъ, дотянулись до той ночи, когда Семеновъ вбѣжалъ къ намъ,—Кутыревъ какъ разъ ночевалъ тогда у меня,—весь взъерошенный, взволнованный донельзя, почти совсѣмъ перепуганный, и крикомъ и стукомъ заставилъ насъ вско-чить, буквально вскочить съ постелей.

— Бѣгите за докторомъ, скорѣе за докторомъ... ахъ, чортъ возьми!... Поворачивайтесь!

— Да что такое, говори толкомъ?—еле пробормотали мы оба, не попадая зубъ на зубъ.

— За докторомъ, говорю!... Акушерку надо!... Леля родить, кажется!

Мы поняли одно, что Леля въ опасности, и бѣжали, сломя голову. Кутыревъ, кажется, такъ-таки прямо руками поднималъ съ постели какую-то акушерку и привезъ ее раньше, чѣмъ я успѣлъ достучаться въ квартирѣ врача. Когда я пріѣхалъ съ докторомъ, Кутыревъ сидѣлъ на лѣстницѣ, свѣсивъ голову и тяжело дыша, прислушивался къ тихо, но, все-таки, явственно долетавшимъ на лѣстницу стонамъ.

— Бѣдная,—пробормоталъ онъ мнѣ,—бѣдная... Ахъ!...

Онъ былъ въ полномъ отчаяніи, дрожалъ, какъ ребенокъ, и готовъ былъ расплакаться.

— Да что ты раскисъ такъ?... Экая бѣда—рѣды! Каждая женщина родить!

Но мои слова отскакивали отъ него, какъ горохъ отъ стѣны.

Время тянулось убійственно медленно, а мы все сидѣли да сидѣли на лѣстницѣ, не обращая вниманія на

холодъ и чутко прислушиваясь. Наконецъ, все, казалось, смолкло, и намъ стало еще страшнѣй въ этой мертвой тишинѣ, хранившей какую-то тайну, можетъ быть, роковую и ужасную. Кутыревъ не выдержалъ, поднялся и подошелъ къ двери; почти въ тотъ же моментъ она отворилась и на порогѣ показались докторъ и Семеновъ со свѣчей въ рукахъ.

— Все, кажется, хорошо, все! — сказалъ докторъ на вопросительный, встревоженный взглядъ Кутырева. — Больной нуженъ покой, никакой опасности нѣтъ!

Кутыревъ бросился къ Семенову и сталъ душить его поцѣлуями въ бѣшенномъ экстазѣ. Цѣловались, жали руки улыбались другъ другу мы всѣ трое, точно дѣти или безумные.

Семеновъ кивнулъ намъ головой, и мы на цыпочкахъ, осторожно, почти не дыша, вошли въ прихожую. Онъ поставилъ свѣчу на стулъ, юркнулъ къ себѣ въ комнату и черезъ минуту появился на порогѣ съ какимъ-то длиннымъ, особенной формы, узелкомъ въ дрожавшихъ рукахъ. Узелокъ пицалъ, такъ мило пицалъ, что мы бы и вѣѣ, казалось, слушали только, да слушали.

— Покажи! — сказалъ Кутыревъ и, взявъ узелокъ съ рукъ Семенова и неуклюже качая, разглядывалъ сморщенный, какъ у всѣхъ новорожденныхъ, старушечьи черты ребенка. Онъ держалъ на своихъ рукахъ сына Лели, только нашей чистой, хорошей Лели и никого, никого больше; онъ чувствовалъ какъ бы часть ея самой, и потому его дюжія руки, — руки, способныя ломать ни-

по-чемъ подковы, дрожали подъ малымъ узелкомъ, точно подъ стопудовою гирей.

.....

Много дней прошло, прежде чѣмъ мы совсѣмъ успокоились, пришли опять „въ норму“, потому что много дней провела Леля въ постели, между жизнью и смертью, тѣмъ самымъ лишая насъ сна и покоя. Мы забросили и лекціи, и книги, бѣгали, какъ угорѣлые, то къ Семёнову, то въ аптеку, то къ доктору, дежурили по очереди по цѣлымъ ночамъ въ прихожей, чтобы немедленно летѣть, куда понадобится, и совсѣмъ сбились съ ногъ. Кутыревъ осунулся, похудѣлъ, поблѣднѣлъ, глаза у него впади, и даже басъ потерялъ и свой тембръ, и свою густоту. Наконецъ-таки молодой организмъ взялъ свое, Леля стала поправляться, сначала медленно, потомъ все быстрѣе и быстрѣе.

Въ первый разъ мы были допущены къ ней и вошли почти крадучись, какъ тѣни. Она, вся въ бѣломъ, съ лицомъ бѣлымъ, какъ полотно ея пеньюара, полулежала въ креслѣ, держа на рукахъ свое „сокровище“ и улыбаясь намъ счастливою, свѣтлою улыбкой. Вся она была прелестна, какъ никогда, глядѣла на насъ чарующе-мягкимъ, любовнымъ взглядомъ и протягивала намъ руку. Какъ безсильный, точно подкошенный, наклонился надъ ней Кутыревъ и прикоснулся губами, а за нимъ и я. Она не отняла руки, только слегка покраснѣла.

— Здравствуйте, мальчики! Наконецъ-то я встала... Видѣли?—указала она глазами на спавшаго ребенка.

Мы кивнули въ отвѣтъ головами. Кутыревъ, затаивъ

дыханіе, придвинулся и, улыбаясь, разглядывалъ спавшаго.

— Нравится? Хорошо?

Тотъ, вмѣсто отвѣта, кивнулъ глазами и посмотрѣлъ такимъ счастливымъ взглядомъ, что Леля улыбнулась.

— Пай, совсѣмъ пай! Скоро крестить будемъ...

— А имя какое?—спросилъ я.

— Я хочу—Борисъ!

— Да, да, Борисъ, въ повелительномъ наклоненіи!—загудѣлъ вдругъ, точно прорвавшись, неистовый басъ и моментально смолкъ, испугавшись и самого себя, и тихаго „тсс...“ Лели, которое она протянула, приложивъ палецъ къ губамъ и чуть сама удержавшись отъ хохота.

VIII.

Наконецъ, наступилъ и день крестинъ. Я принялъ на себя торжественный видъ, плохо вязавшійся, впрочемъ, съ сильнымъ волненіемъ, такъ какъ на меня была возложена чрезвычайная миссія Кутыревымъ: убѣдить Лелю обѣднаться съ нимъ въ интересахъ будущности ребенка. Самъ онъ, конечно, не рѣшался и заикнуться ей объ этомъ и все только налегалъ на меня, то и дѣло шепча укоризненно на мою робость: „эхъ, ты баба, — а еще и юристъ!“ Я зналъ, насколько это щекотливый вопросъ, какъ опасно было подходить съ нимъ къ Лелѣ, и потому естественно медлилъ, откладывая со дня на день, пока не дотянулъ до послѣдняго дня. Теперь, волей-не-

волей, пришлось начинать, нужно было познакомить Лелю съ „правомъ“, прочесть ей цѣлую лекцію, выяснить, что Кутыревъ ей другъ и предлагаетъ все это какъ таковой, не требуя себѣ ничего, никакихъ измѣненій въ ихъ отношеніяхъ, разъ она ихъ не желаетъ. Все это было, конечно, очень трудно, въ особенности съ пылкой Лелей, не выносившею вообще никакихъ ложныхъ положеній, и, какъ я ни храбрился, движенія мои были робки, видъ крайне сконфуженный. Кутыревъ прель за мною, какъ высѣченный школьникъ.

— А, наконецъ-то вы появились... Я давно васъ ждала!—начала какъ ни въ чемъ не бывало Леля, сидя въ креслахъ съ Борей на рукахъ.—Мы, вѣдь, крестимъ сегодня... Да что это съ вами?

Она удивленно оглядывала наши сконфуженныя лица.

— Ничего!—началъ я, краснѣя и еле переводя духъ, какъ попавшійся школьникъ.

— Ни-че-го!—сконфуженно загудѣла, какъ эхо, октава сзади.

— Какъ, ничего?! Да вы только взгляните на себя... Васъ обоихъ точно сейчасъ въ чужомъ огородѣ поймали!

Я растерянно заломилъ пальцы.

— У насъ дѣло...

— Дѣ-ло!—загудѣла еще ниже октава.

— Тссс... Гудите тише, протодьяконъ!—встревожилась не на шутку Леля.—Что такое?! Какое дѣло?

— Вамъ, Леля, придется сегодня объявить имя отца...

— Какого отца?!—она вспыхнула.

— Бори... Иначе его запишутъ отъ неизвѣстнаго отца...

— Ну, и пусть такъ запишутъ! Онъ—*мой сынъ, мой!*— ея брови сдвинулись сердито. — Любая ворона можетъ имѣть *своею* вороненка, отчего-жъ я, женщина, не могу имѣть *своею* сына?!

— Но, вѣдь, законы, Леля... по законамъ... въ виду законовъ! — старался я попасть на ладъ. — Кутыревъ, какъ другъ, предлагаетъ усыновить... Онъ предлагаетъ обвѣнчаться для виду, если... если...

У Лели на мои слова блеснули глаза, какъ у кошки; она чуть не вскочила.

— Фи, что за вздоръ!... Фи! Это—*мой сынъ, мой!*— понимаете? — и ничего больше! У него будетъ мое имя и никакихъ фиветивныхъ отцовъ ему не нужно!...

— Леля! вашъ сынъ — мой сынъ всегда! Развѣ вы этого не знаете?—сдержаннымъ, тихимъ шепотомъ перебилъ ее Кутыревъ.

— Я это знаю... За это, между прочимъ, и люблю васъ...

— Леля?! — и съ глухимъ рокотомъ, съ какимъ-то блаженнымъ бормотаньемъ, онъ опустилсѣ у ногъ ея на колѣни и спряталъ свою голову въ складкахъ ея платья. Она сидѣла неподвижно, боясь разбудить ребенка, и, вся вспыхнувъ горячимъ румянцемъ, положила руку на его курчавую, черную голову.

— Ну, вотъ и вѣнчайтесь!—сорвалось у меня какъ-то невольно отъ восторга. Вся картина дышала такимъ великимъ мирнымъ счастьемъ, что у меня даже духъ захватило.

— Ну, до вѣнца намъ далеко, очень еще далеко,—заговорила Леля, точно спохватившись.—Мы еще поучимся... Правда?... Получше узнаемъ другъ друга, тогда развѣ... если вы все такъ же будете любить меня...

— Нечего откладывать, Леля! — заговорилъ я вновь, искренно возмущившись, — лучше скорѣй! У него, — указалъ я на ребенка, — будетъ отецъ, имя... а это по закону...

— Онъ правъ, Леля, онъ правъ! — бормоталъ Кутыревъ, поднимая голову и глядя на нее восторженными глазами, — онъ правъ!

— Ни за что! Никакихъ фикцій! Это—мой сынъ! Такъ лучше, такъ правдивѣе!... Эхъ, вы, юристъ, юристъ! Ну, можно ли все только „законы“ да „законы“?—добавила она въ мою сторону.

И она уперлась на своемъ.

IX.

Познакомивъ васъ, такимъ образомъ, съ главными дѣйствующими лицами моего разсказа, я возвращаюсь теперь къ старымъ знакомымъ, съ которыхъ началъ: къ Марѣ Львовнѣ, ея „салону“, или, еще вѣрнѣе, ея поклонникамъ и ея главному герою — загадочному Анчарову. Трое моихъ друзей давно уже избѣгали и ея „раутовъ“, и ея „вечеровъ“, и даже встрѣчи съ ней: „Одна болтовня, да ломанье“, — говорили они вслѣдъ за Лелей, и Марья Львовна, понятно, дѣлала видъ, что ничуть не

замѣчаетъ ихъ отсутствiя, „потому... потому что... видите ли...“ она давно „подмѣчала въ нихъ что-то такое... немножко бѣте, и давно уже разочаровалась въ этой дѣвочкѣ“. Но я никогда не оставлялъ ее и не пробовалъ даже, всегда былъ вѣчнымъ гостемъ ея собранiй, потому что, съ одной стороны, мнѣ было весело, съ другой,—каюсь,—я все млѣлъ, млѣлъ, не уставая, млѣлъ глупо, робко, боясь всякихъ признанiй, даже намековъ на нихъ, млѣлъ, несмотря на вѣчныя шуточки друзей. Конечно, встрѣчаясь у ней съ Анчаровымъ, я держалъ себя съ нимъ вѣжливо, хотя и очень холодно, что, какъ я уже говорилъ раньше, сильно возмущало „ma tante“. „И чего вы отъ него хотите, людоѣды? Что онъ вамъ сдѣлалъ такое? Ужъ не ревнуете ли вы кого-нибудь къ нему?“ Но на эти вопросы, сопровождавшiеся всегда какою-то загадочною и подзадоривающею улыбкой, я только глупо улыбался, краснѣлъ,—не могъ же я выдавать ей тайны нашего „семейнаго очага“? — и, навѣрное, живо напоминалъ всею своею фигурой „неотесанный чурбанъ“. По крайней мѣрѣ, не добившись отвѣта, Марья Львовна какъ-то обидно махала рукой, сердито отворачивалась, говоря: „эхъ вы!“ или что-нибудь еще болѣе обидное, а я ругалъ и себя, и ее, и самую невозможность рассказать ей все, что несомнѣнно сразу открыло бы ей глаза и оттолкнуло бы отъ Анчарова. Но, повѣрно, я не терялъ надежды поймать какой-нибудь фактъ, который бы выставилъ ей его въ надлежащемъ свѣтѣ, сорвалъ бы его съ пьедестала, уничтожилъ бы, скомкалъ, какъ тряпку, и вырвалъ бы съ корнемъ изъ сердца прелестной Марьи

Львовны, гдѣ, какъ мнѣ казалось, на мое несчастье, на мое лютое горе, онъ свилъ себѣ прочное гнѣздышко. Одинъ чудный день, казалось, принесъ мнѣ такой „фаеъ“.

Но тутъ я долженъ сдѣлать маленькую экскурсію въ сторону и нарисовать вамъ нашу Гливерію Ивановну, нашу простенькую, добродушную, наивную, всѣмъ улыбающуюся, всѣмъ поклоняющуюся, предъ всѣми ступшеывавшуюся „Гликочку“, эту любящую, вротевую, вѣчно краснѣвшую, робкую дѣвушку, тѣнь отъ тѣни чьей-то, которую никто никогда не замѣчалъ, на которую никто никогда не обращалъ вниманія, въ которой никто изъ „хвоста“ не обращался, развѣ съ шуткой, подчасъ злою и обидною шуткой. Какъ она попала въ намъ, зачѣмъ, для чего, оставалось необъяснимымъ, непонятнымъ, да и не интересовало никого, правду сказать, но на нашихъ собраніяхъ, раутахъ etc., etc. она являлась всегда чѣмъ-то вродѣ приживалки въ обремененномъ видѣ, какимъ-то аксесуаромъ, на которомъ воили пробовали и точили свое остроуміе. Она была некрасива, почти безобразна съ своими жидкими, бѣлесоватыми волосами, бѣлесоватымъ лицомъ, покрытымъ прыщами, бѣлесоватыми глазами и маленькимъ краснымъ носикомъ, а во всему этому имѣла несчастье влюбиться, — безумно, глубоко влюбиться, — влюбиться такъ, какъ только и могутъ влюбляться такіа натуры, въ великолѣпнаго, неподобнаго, изъ-за котораго готовы были, кажется, подраться почти всѣ наши дамы, неотразимаго Анчарова. Да, она, несчастная, влюбилась по уши, и эта

безумная, глупая любовь служила вѣчнымъ источникомъ шутокъ и насмѣшекъ, которыми ее безнаказанно осыпали, которымъ всегда такъ громко смѣялись всѣ, даже Марья Львовна, постоянно, со вздохомъ и томно увѣрявшая насъ, что ей „ужасно... ну, просто у-ж-а-с-н-о жаль эту... эту бѣдную дурнушку!...“ Эта неразвитая, малообразованная „дурнушка“ имѣла за собой только одно: громадное приданое, какіе-то дома, какія-то гдѣ-то лавки, но въ то честное, безкорыстное время приданое, дома, лавки и все прочее въ томъ же родѣ не составляли „человѣка“.

Представьте же себѣ мое крайнее изумленіе, когда въ одно прекрасное утро я узналъ, что онъ, „титантъ“, человѣкъ „съ планомъ“, онъ, любимецъ дамъ, Анчаровъ, женится на Гликочкѣ, на этой „смѣшной дурнушкѣ“. Понятно, я сейчасъ же побѣждалъ къ Марьѣ Львовнѣ поразить ее, открыть ей глаза, доказать всю правду своихъ подозрѣній, но... потерпѣлъ жестокое fiasco. Марья Львовна знала уже все, знала раньше меня, и мою „новость“ встрѣтила съ самымъ покойнымъ равнодушіемъ.

— Чему вы удивляетесь? Чѣмъ вы такъ возмущаетесь? — недоумѣваяще спросила она меня, бросая одинъ изъ своихъ уничтожающихъ взглядовъ и точно подчеркивая мою „дивость“

— Но... но... — началъ я, пораженный и растерянный, — но, вѣдь, та tante, они... они, кажется, совсѣмъ не пара?

Я чувствовалъ, что говорю какую-то глупость, потому что Марья Львовна слегка фыркнула и прелестно выдвинула нижнюю губочку.

— Конечно, не пара! Ну, такъ что-жь?— вызывающе спросила она опять.

Я совсѣмъ теряю голову.

— Но, вѣдь, онъ ее не любитъ, онъ не можетъ любить...

Марья Львовна уничтожающе расхохоталась.

— Ха-ха-ха! Вы невозможны сегодня! Вы совсѣмъ невозможны!— смѣялась она какимъ-то надменно-холоднымъ смѣхомъ, который уничтожалъ меня въ прахъ.— Любить... Ха-ха-ха! Развѣ такой человѣкъ... человѣкъ, у котораго есть своя... своя *цѣль*,—вы понимаете?—свой планъ, можетъ, имѣть право на сантименты, на эти „браки по любви“?... Ха-ха-ха!

Боже, съ какимъ презрѣніемъ было сказано это „по любви“! Этотъ смѣхъ, эта оттопыренная губка, это презрѣніе меня взорвали. Я вспыхнулъ.

— Тогда это, значить, бракъ по расчету... на богатствѣ... на... на... магазинахъ... на... на... Но, вѣдь, это подлость!

Марья Львовна упала на диванъ такъ, что показала двѣ прелестныя ножки въ севозныхъ, ажурныхъ чулочкахъ. Она сложила на груди руки, подняла голову, въ изумленіи сдвинула свои плечи.

— Что, что?—точно въ испугѣ шептали ея пунцовыя губки,—что? Подлость?!... Человѣкъ и-д-е-и-и... подлость? Человѣкъ, у котораго свой планъ,—и подлость?... Нѣтъ, вы сегодня невозможны! Нѣтъ, это ужасно! Уходите! Вѣдь, это жертва! Вы понимаете, дикарь, готентотъ,—

вы понимаете? — ж-е-р-т-в-а! Жертва ради... ради цѣли!
Вы понимаете? Нѣтъ, уходите, уходите, уходите!...

Она замахала ручками и я, диварь, готентотъ, я принужденъ былъ уйти. По дорогѣ я машинально забрелъ въ „семейный очагъ“.

— Что съ тобой? Что съ вами? Откуда?—встрѣтили меня въ одинъ голосъ и Семеновъ, и Леля, тревожно всматриваясь въ мое разстроенное лицо.

— Отъ Марьи Львовны...

— Ха-ха-ха!—разсмѣялся Семеновъ.—Что это у васъ такое промежь себя дѣлается?... Все съ „прогрессомъ“ возитесь или договориться не можете?—подмигнувъ онъ глазомъ.—А мокрая курица ты, какъ я вижу...

— Тутъ, братъ, не прогрессъ, не что-нибудь!—разсердился я на эту вѣчную его шутку по поводу меня и Марьи Львовны.—Тутъ такая штука... такая новость...

— Такъ говорите же!—тревожно крикнула Леля.

— Глибочка за Анчарова выходитъ!...

— Глибочка?!—вскочила Леля, а Семеновъ открылъ ротъ.

— Да, Анчаровъ женится на миллионѣхъ. Ну, мы и заспорили... Я говорю—подлость, она говоритъ—жертва!

— Да кто она?—не поняла изумленная Леля.

— Да Марья же Львовна!

Леля махнула рукой.

— Ну ее! Эхъ, вы, юристъ, юристъ! У васъ только и на свѣтѣ, что Марья Львовна да законы! Но правда ли это?

— Фактъ.

— Подлецъ!—прошипѣлъ сквозь зубы Семеновъ. Леля только взглянула на него и снова задумалась.

— Нѣтъ, этого нельзя такъ оставить,—сказала она, наконецъ, качая головой.—Бѣдная Гликочка, онъ ее со-всѣмъ сгубить. Бѣдная!—и сжатые пальцы ея хрустнули.

— Что же тутъ дѣлать?

— Я пойду къ ней, Саша,—обернулась Леля къ брату,—пойду непременно! Я переговорю,—вѣдь, она вѣрить мнѣ и любить,—пойду вечеромъ.

— Вечеромъ раутъ у Марьи Львовны; она, навѣрное, будетъ съ нимъ,—сказалъ я.

— Ну, такъ завтра. А вы разузнайте, вѣрно ли это!

На раутѣ Анчаровъ присутствовалъ съ своею „невѣстой“. Онъ казался блѣднымъ, изможденнымъ, несчастнымъ и все вздыхалъ, все глубоко вздыхалъ, какъ истая „жертва“, что, видимо, весьма волновало и располагало къ нему дамъ. Онѣ окружали его, тоже томно вздыхали и взоры ихъ ясно произносили: „бѣдняжка“. Одна „дурнушка“ только сіяла счастьемъ; но, Боже мой, какіе взгляды, какія улыбки сыпались на нее за это со всѣхъ сторонъ, только она ихъ не видѣла, не понимала. Она сіяла счастьемъ и горѣла тревогой за непонятные ей тяжелые вздохи ненагляднаго „человѣка съ планомъ“.

— Вы видите, видите, дикій, несносный, ужасный лодѣдъ,—видите, чего это ему *стодитъ*? Видите, каковъ онъ, какъ легка ему эта жертва?—шепнула мнѣ въ углу тихонько Марья Львовна, стрѣлая глазами и слегка, нѣжно, наказующе-мягко впиваясь своими ноготками въ мой локоть.

Это сразило меня, привело меня въ глупо-счастливое состояніе и я по-людоѣдски, до ушей, раздвинулъ отъ необытнаго счастья свой ротъ. Эти ноготки точно впились въ мою кровь, вмѣстѣ съ нею прилили къ мозгу, наполняя голову туманомъ. Я все забылъ, все потерялъ; я вѣрилъ, что *онъ*—„жертва“, я понималъ это, я не спорилъ, я чувствовалъ эти ноготки.

— Ну, то-то, дикарь, готентотъ несносный! Не извольте же дуться!

X.

Леля, конечно, такъ и сдѣлала, какъ говорила. Она пошла къ Гликочѣ, пробыла у ней очень долго, вернулась съ красными, очевидно, отъ слезъ, глазами, но спокойная.

— Ну, я сдѣлала свое дѣло,—сказала она намъ.— Бѣдная Гликочка сильно поплакала, но очень благодарил меня.

— Вотъ взбѣсится Анчаровъ,—вырвалось у меня незначай,—то-то, поди, помнить будетъ!

— Я бы ему!—зарычалъ басъ, но моментально смолкъ, какъ только Леля взглянула въ его сторону.

— Бросимъ!—брезгливо сказала она.—Дѣло не въ немъ, а въ Гликочѣ!

Черезъ нѣсколько дней всюду пошелъ слухъ, что у Анчарова съ Гликочкой вышли какія-то недоразумѣнія, чуть ли не разрывъ, причемъ одни увѣряли, что недо-

разумѣнія благополучно покончились, другіе же, что они все еще тянутся. Я былъ въ большомъ недоумѣніи, тѣмъ болѣе, что мнѣ не удалось еще ни разу встрѣтиться послѣ раута съ Марьей Львовной, которая, навѣрное, знала лучше всѣхъ, какъ идутъ дѣла „жениха“, но скоро все и безъ нея разъяснилось, да такъ разъяснилось, повело за собой такія послѣдствія, что всѣмъ намъ, признаться, никогда они и во снѣ не приходили.

Я былъ еще въ постели, еще угаръ молодого, здорового сна туманилъ голову, когда ко мнѣ ввалился, весь блѣдный, взволнованный, Семеновъ.

— Все еще спишь?—точно съ укоромъ произнесъ онъ въ мою сторону, вмѣсто привѣта, и грузно опустился на стулъ. Его подергивало, руки дрожали такъ сильно, что онъ съ трудомъ зажегъ папиросу.

— Что случилось? Что съ тобой?—крикнулъ я, сбрасывая одѣяло и вскочивъ на ноги.

— Ладно! Одѣвайся-ка прежде!

Я сталъ быстро одѣваться, а онъ лихорадочно, нетерпѣливо барабанилъ пальцами по столу.

— Вотъ что,—началъ онъ, наконецъ, не выдержавъ, захлебываясь отъ волненія и точно ища словъ,—ты, вѣдь, знаешь, кто отецъ Лелинаго Борьки, знаешь?...

Я зналъ, но, все-таки, почему-то покраснѣлъ и сердце у меня точно застыло.

— Знаешь,—продолжалъ, между тѣмъ, тотъ,—что Леля ходила къ Гликочкѣ, рассказала ей про *нею*, про свою ошибку, и та ее благодарила? Ну, знаешь?...—онъ задыхался.

— Знаю!—отвѣтилъ я, заразившись его волненіемъ.—
Но успокойся, выпей воды. Вотъ, пей!

— На, читай!—сказалъ онъ, беря стаканъ и вынимая
скомканное письмо.

Письмо было отъ Глибочки къ Лелѣ. Но, Боже мой,
Глибочка ли наша, добренькая и простенькая „дур-
нушка“, писала эти ядовитыя, грязныя, злыя строчки!
Гдѣ взяла она столько грязи, столько злобы, ядовитой,
бѣшеной, столько пошлаго, мѣднаго апломба?!

„Я искренно раскаиваюсь, что наивно повѣрила ва-
шимъ инсинуаціямъ на моего благороднаго жениха, ко-
торыми вы, съ присущими вамъ добротой, благород-
ствомъ и деликатностью, предостерегали меня отъ *ошибки*
сдѣлаться его женой и такимъ образомъ, конечно, по-
мѣшать вашимъ личнымъ расчетамъ и цѣлямъ. Я глупо
повѣрила, что вы, такая дипломатично-дальновидная
особа, могли стать „жертвой“ наивности, легкомыслія и
довѣрчивости,—какъ вы меня увѣрили,—но горячія слезы
и искреннія признанія моего дорогаго жениха убѣдили
меня, что „жертвой“ былъ онъ, котораго преслѣдовали,
которому признавались, безъ всякаго вызова съ его сто-
роны, въ бѣшеной и острой, но не совсѣмъ, можетъ быть,
чистой страсти, въ которомъ видѣли „выгодную партію“,
а когда расчеты не оправдались, то“... и т. д., и т. д.

— Это не она!—задыхаясь, проговорилъ я.—Это она
подъ диктовку.

— Знаю. Но это не все. Вчера вечеромъ, въ присут-
ствіи пяти лицъ, кромѣ Глибочки... Нѣтъ, ты, вѣдь, зна-
ешь, что послѣ того, какъ она убѣждала отъ него, онъ

ее бомбардировалъ страстными письмами, которыя она сжигала,—знаешь?

— Да, знаю, знаю!—въ нетерпѣніи, дрожа, отвѣтилъ я.

— Такъ при Глибочкѣ своей и при другихъ онъ называлъ Лелю распутной! Онъ увѣрилъ, что... что... понимаешь? — онъ говорилъ, что добьется для нея этого... какъ... ну, желтаго, что ли, билета... и Глибочка,—понимаешь? — Глибочка умоляла его оставить это... простить! Ха-ха-ха!

Онъ истерично захохоталъ.

— Побьемъ!

— Что побьемъ!... Я стрѣляться съ нимъ буду; ты секундантомъ.

— Конечно. Я и Кутыревъ.

— Но такъ: я или онъ; иначе я не понимаю. Черезъ платокъ... На выборъ... Онъ или я...

— А въ случаѣ чего, братъ, онъ или я,—сказалъ я, кладя ему руку на плечи.

Онъ посмотрѣлъ на меня хорошимъ, братскимъ взглядомъ.

— Ну, иди же къ Кутыреву, возьми его и вмѣстѣ передайте вызовъ. Я не могу длить. Я задохнулся!—и онъ упалъ въ кресло.

— Все равно раньше трехъ мы не застанемъ его дома... Ты лучше скажи, какъ быть съ Кутыревымъ?... Вѣдь, тотъ можетъ не сдержатъ себя; онъ можетъ задуть его, какъ воробья.

Меня охватило какое-то особенное спокойствіе. Я дро-

жалъ, почти барабанилъ зубами, но думалъ и говорилъ спокойно.

— Сдержится... Въ такіе моменты сдержится. Вѣдь, тотъ все равно черезъ насъ троихъ не выскочить: ляжемъ мы, станетъ Кутыревъ.

— А Леля знаетъ?

— Нѣтъ, и ненужно. Мы оставимъ письма... Иди. Я посижу у тебя. Спѣши.

Я побѣжалъ къ Кутыреву и засталъ его еще на соломѣ,—другой постели у него не было на его невозможномъ чердакѣ. Я разбудилъ его и сказалъ, что по важному дѣлу. Онъ тревожно уставился на меня своими добрыми, громадными глазами.

— Бѣда какая, что ли? Говори, не мучь!

— Стрѣляться нужно будетъ съ Анчаровымъ.

— Только?... Съ этимъ гусемъ сколько угодно. Только я, братъ, стрѣлять не умѣю, развѣ поучишь?

— Да пока не тебѣ стрѣляться-то. Мы будемъ пока секундантами Семенова.

— Секундантами?... И не побьемъ даже?!

Я началъ торжественно передавать ему условія дуэлей, роль и обязанности секундантовъ. Онъ слушалъ, слушалъ и вдругъ перебилъ:

— Да что это я за дуракъ такой, слушаю вздоръ про секундантовъ разныхъ, а про главное не спрошу! Въ чемъ дѣло-то? Что случилось?—и въ голосѣ его послышалась тревога.

— Дай слово, что ты самъ не сдѣлаешь ничего, не посоветовавшись съ нами, что ты ничѣмъ не будешь

мѣшать, что ты будешь вести себя какъ требуется условіями дуэлей, что ты будешь...—торжественно говорилъ я, подчеркивая каждую фразу.

— Да ладно, даю, даю, юридическая мельница!... Довольно, говори!

— Что ты будешь слушаться меня во всемъ, во всемъ, что будетъ касаться...

— Да говорю же тебѣ, ладно! Вѣдь, ты душу вымощаешь, юристъ проклятый!

— Что будетъ касаться,—продолжалъ я,—твоей роли, какъ секунданта.

— Ахъ, чертъ возьми!—и онъ пустилъ въ стѣну пустою бутылкой.—Кончилъ, что ли?

— Кончилъ. Дашь слово?

— Даю, крючекъ, даю, адвокатъ, даю, приказный!

— Ну, слушай же!—и я передалъ ему все.

Онъ слушалъ молча, не двигаясь, не издавая ни одного звука, только блѣднѣлъ и блѣднѣлъ. Углы губъ у него дрожали. Глаза... но я не могу опредѣлить, что дѣлалось съ его глазами: они каменѣли какъ-то. Но вдругъ онъ разсмѣялся, громко, неудержимо, только это былъ не веселый смѣхъ. Нѣтъ, я не хотѣлъ бы слышать когда-нибудь еще разъ такой смѣхъ — холодный, дикій, безумный; въ немъ слышалось что-то такое непоколебимо-мертвое, какъ приговоръ; безстрастная смерть звучала въ немъ, а не веселье.

Вдругъ онъ пересталъ смѣяться, пересталъ такъ же внезапно, какъ и началъ, и посмотрѣлъ на меня прямо и спокойно.

— Я убью его! — тихо, совсѣмъ тихо и спокойно проговорилъ онъ, и меня покорило и отъ этого тона, и отъ невѣроятнаго спокойствія его. Я ждалъ совсѣмъ иного.

— Ты далъ слово. Ты не можешь... Первымъ Семеновъ: онъ братъ, это его право... Послѣ него — мы.

Кутыревъ повалился на свою постель и долго лежалъ неподвижно и молча. Я чертилъ что-то на бумагѣ и не сводилъ съ него глазъ; онъ все лежалъ и думалъ. Наконецъ, онъ вспрыгнулъ, какъ кошка.

— Идемъ. Ладно, буду секундантомъ.

— А условіе помнишь?

— Да. Я задушю его, если онъ убьетъ Сашу.

— Но это... — началъ я и не договорилъ.

Онъ, добродушный, мягкій протодьяконъ, посмотрѣлъ на меня такъ, что я не нашелъ словъ.

Я повелъ его къ себѣ и оставилъ вдвоемъ съ Семеновымъ, чтобы тотъ въ свою очередь убѣдилъ его не пускать въ ходъ свою львиную силу, а самъ, такъ какъ было еще рано, побѣждалъ къ Марѣ Львовнѣ. Конечно, говорить ей о дуэли я не думалъ, но разоблачить „титана“ считалъ своею обязанностью. Я былъ увѣренъ, что весь ореолъ его разлетится въ прахъ, а я перестану быть въ этихъ чудныхъ, прелестныхъ глазкахъ „людоѣдомъ-готентотомъ“. Эта увѣренность была такъ велика, что я вошелъ къ ней съ необычайнымъ апломбомъ, безъ обычной робости и съ небывалою, развязною самоувѣренностью сѣлъ съ нею рядомъ. Признаюсь, не малую долю, конечно, въ этой развязности играло и то, что я былъ секундантомъ.

Марья Львовна даже глаза вытаращила, но крайне мило.

— Что это съ вами сегодня? Вы точно хорошо экзаменъ выдержали!

Несмотря на всю колючесть этого ядовитаго замѣчанія, рѣзавшаго-таки меня по сердцу, я не перемѣнилъ своего тона и не вспыхнулъ даже.

— Мнѣ нужно серьезно поговорить съ вами!—совсѣмъ спокойно, сдержанно отвѣтилъ я, хмуря брови.

Все это ее, видимо, ошеломило. Она сначала посмотрѣла на меня большими глазами, потомъ заёрзала на мѣстѣ; вспыхнула, какъ ракъ, почему-то стыдливо опустила глазки и какъ-то робко, точно конфузясь, но, въ то же время, и подзадоривающе спросила:

— Ну, что вы хотите сказать мнѣ?

Волнуясь, съ жаромъ, я рассказалъ ей все, кромѣ дуэли, конечно, и не называя имени Лели. Она слушала молча, но лицо ея все больше и больше вытягивалось, на немъ сквозило что-то вродѣ досады и разочарованія, брови сердито сдвигались, грудь заходила ходенемъ.

— Такъ вотъ что важнаго имѣли вы сказать мнѣ!—презрительно, откинувъ назадъ головку, перебила она мою рѣчь. — Буржуазныя дразги, сплетни, чужія амурничанья!... Нечего сказать, merci!

— Марья Львовна! — крикнулъ я, точно опшаренный кипяткомъ, — Марья Львовна, что вы? Поймите, какая подлость!

— Ха-ха-ха!... Подлость? Дѣвчонка вѣшалась на шею...

— Ma tante!

— Что, что, что? — кричала она, вся вспыхнувъ. — Конечно! Развѣ я не знаю, кто это? Это ваша Леля. Сама вѣшалась, это было видно. Что же, онъ долженъ былъ разыгрывать изъ себя Іосифа, что ли, или въ законныя узы?... Ха-ха-ха! Онъ съ нею! Это мило. Ха-ха-ха!

— Марья Львовна!

Но она уже ничего не слушала. Она махала ручками, топала ножками и называла меня „островитяниномъ“. Я тоже не слушалъ; я выбѣжалъ въ такомъ гнѣвѣ, что попадись мнѣ Анчаровъ, я бы самъ разорвалъ его на части.

XI.

Въ три часа, какъ было условлено, мы пошли. Кутыревъ былъ мраченъ, ужасно сопѣлъ, что не предвѣщало, конечно, особенной сдержанности въ будущемъ, и по дорогѣ затащилъ меня въ погребокъ „хватить пивца“. Я согласился, потому что иначе онъ не ручался за свою сдержанность. Проглотивъ почти залпомъ по „парѣ“, мы двинулись, позвонили, передали вѣчно распухшему денщику Ивану карточку и были впущены въ кабинетъ. „Баринъ“, по слованъ Ивана, долженъ былъ явиться „сей мину-ту-съ“.

Кабинетъ былъ большой, просторный, съ видимою претензіей на изящество и комфортъ. Мягкая мебель, немного бронзы, много всякихъ бездѣлушекъ, безчисленное множество статуетокъ, бюстовъ и картинъ всевозможныхъ „Венеръ“ и „нимфъ“. Одинъ видъ всего этого привелъ моего спутника въ ярость, а когда среди всякой

обнаженности мы разглядѣли чистый ликъ Лели, мы точно сговорившись, протянули руки къ портрету и сорвали его съ гвоздя. Въ тотъ же моментъ раздался мягкій скрипъ сапогъ, мелодическій звонъ шпоръ, и въ комнату вошелъ титанъ.

— Чѣмъ могу служить?— началъ онъ, любезно кланяясь.—Къ вашимъ услугамъ, господа! Чѣмъ могу...

— Ничѣмъ!—выступилъ я.—Мы пришли къ вамъ съ вызовомъ, какъ секунданты.

— Съ вызовомъ? Отъ кого?— вытаращилъ онъ глаза.

— Отъ товарища нашего, Семенова, студента.

Тотъ поблѣднѣлъ, но, быстро овладѣвъ собой, сдѣлалъ недоумѣвающий жестъ.

— Семенова?... Студента Семенова? — поднималъ онъ плечи.— Ей-Богу, не помню, совсѣмъ не помню.

Кутыревъ сдѣлалъ краснорѣчивое движеніе, но я остановилъ его взглядомъ.

— Вы сейчасъ вспомните его, — все еще спокойно продолжалъ я, хотя это нахальство казалось даже невѣроятнымъ,—сейчасъ вспомните... Вотъ взгляните на этотъ портретъ. Мы сорвали его у васъ со стѣны, потому что ему здѣсь не мѣсто. Семеновъ, какъ вы, вѣроятно, уже вспомнили, братъ Лели.

Анчаровъ вспыхнулъ, поблѣднѣлъ, съѣжился весь. Въ глазахъ Кутырева, который не сводилъ съ него взгляда, онъ прочелъ, что путь ему отрѣзанъ, что тотъ схватитъ его, если онъ сдѣлаетъ малѣйшій шагъ назадъ. Онъ дрожалъ, какъ трусъ.

— Ну-съ?

— Господа, распоряжаться въ моей квартирѣ, это... это...

Онъ старался увильнуть отъ вопроса, но я перебилъ его:

— Это что вамъ угодно! Вы можете потребовать у насъ отчета, повончивъ съ Семеновымъ... Мы оба въ ваши услуги!

— Оба!—перебилъ меня густой, дрожащій басъ Кутырева,—оба, когда и гдѣ угодно!

— Чего же вы хотите, господа?

— Вы знаете. Мы принесли вамъ вызовъ!

— Но за что? — онъ все еще не овладѣлъ собой. — За что? Я, ей-Богу...

— За то, что вчера вечеромъ, въ присутствіи шести лицъ,—если помните,—вы оскорбляли Лелю, его сестру, и... и... письмо, писанное Глиkerіей Ивановной...

— Господа, я готовъ извиниться!

— Нѣтъ, — выступилъ Кутыревъ, — мы не примемъ извиненія! Вы, или онъ, или я, какъ угодно, черезъ платокъ!

— Господа, но, вѣдь, это насиліе! — обратился онъ ко мнѣ.

— Пусть и такъ, но извиненія мы не примемъ... Тутъ задѣта честь женщины! — говорилъ я, уже путаясь отъ бѣшенства.—Вами кровно оскорблена женщина!...

— Развѣ она васъ послала, говорила вамъ это?

Меня чуть не разсмѣшило это глупое нахальство.

— Конечно, нѣтъ. Насъ послалъ братъ ея!

Анчаровъ, кажется, нашелъ почву и приободрился.

— Удивляюсь, удивляюсь, — говорил онъ, принимая изумленный видъ. — Съ ея почтеннымъ братомъ, господиномъ Семеновымъ, у меня не было ничего... Съ нею — другое дѣло; но она васъ не посылала, вы сами говорите... Теперь такое время, что женщина равна мужчинѣ, полное равенство... Она сама могла бы вступить, если бы считала нужнымъ... — и онъ старался даже улыбнуться надменно.

Это было слишкомъ.

— Принимаете ли вы вызовъ, или нѣтъ? — спросилъ я, задыхаясь.

— Да или нѣтъ? — загудѣлъ басъ, и его страшная рука протянулась впередъ.

Анчаровъ почти отскочилъ ко мнѣ.

— Господа, — повелъ онъ послѣднюю ставку важно, хотя голосъ его дрожалъ, — господа, человѣкъ, у котораго есть опредѣленный планъ въ цѣляхъ общества...

— Къ чорту его! Да или нѣтъ? — наступалъ Кутыревъ, но я схватилъ его за руку.

— У котораго есть планъ, — продолжалъ тотъ, бросаясь ко мнѣ, — не можетъ подставлять свой лобъ подъ пальную пулю. У него есть свои обязанности... Какъ ни трудно, но приходится многимъ жертвовать, — вздохнулъ онъ, — но такого мое правило...

Я уже не владѣлъ собой.

— Это прекрасное правило, но изъ-за него бьютъ иногда морду!

Мои слова послужили какъ бы сигналомъ. Анчаровъ отскочилъ, но въ тотъ же моментъ страшная рука схва-

тила его за плечи. Онъ не успѣлъ крикнуть, какъ Кутыревъ уже сжималъ его горло.

— Ну, такъ я задушю тебя, задушю, какъ собаку, трусь!—рычалъ онъ, и задушилъ бы, навѣрное, не блесни мнѣ прекрасная мысль.

— Стой,—закричалъ я,—ты далъ слово!... Стой!

Кутыревъ отпустилъ немного, не отнимая рукъ.

— Далъ, но теперь мы секунданты... онъ отказывается!—гудѣлъ онъ.

— Нѣтъ, принимаю... принимаю!—хрипѣлъ Анчаровъ. Лицо его выражало одинъ безпредѣльный ужасъ, дикій, животный, бессмысленный ужасъ. Я понялъ увертку.

— Вы лжете, подло лжете! Вы принимаете вызовъ, чтобы черезъ часъ отказаться. Нѣтъ, если хотите жить, пишите, что мы продикуемъ!

— Диктуйте!—и онъ покорно сѣлъ за столъ.

— „Я, Анчаровъ,—диетовалъ я,—симъ заявляю, что я...“

— Подлецъ!—загудѣлъ Кутыревъ.

Тотъ написалъ.

— „Что я ловкій пройдоха, не имѣющій ничего за душой, что я всѣхъ надувалъ, пользуясь чужимъ легко-вѣріемъ“,—диетовалъ я.

Анчаровъ писалъ.

— „Что женюсь я, не любя своей невѣсты, имѣя въ виду только ея приданое...“

Онъ, казалось, поколебался съ секунду, но написалъ.

— „Что я клеветникъ и на сдѣланный за клевету вызовъ отвѣтилъ отказомъ, струсивъ“.

Онъ написалъ.

— „Въ чемъ и выдаю эту подписку“... Подпишитесь!—
сказалъ я.

Онъ подписалъ безпрекословно и покорно, какъ машина.

Мы ушли. Все еще парализованный ужасомъ, Анчаровъ глядѣлъ намъ вслѣдъ такимъ же бессмысленнымъ, оцѣпенѣлымъ взглядомъ, даже злоба не свѣтилась въ немъ, даже лицо оставалось такимъ же вытянутымъ отъ страха. Намъ было и гадко, и смѣшно, но давишняя злоба и раздраженіе исчезли совсѣмъ. Когда мы передали все Семенову, показали взятую подписку, онъ только плюнулъ. Прежде всего, дѣйствительно, охватывало какое-то чувство гадливости, которое исключало злобу. Въ душѣ я даже ликовать понемногу началъ: у меня въ рукахъ были всѣ средства убѣдить, наконецъ, Марью Львовну.

Но для этого не хватило времени: всѣхъ троихъ насъ позвали куда слѣдуетъ... Анчаровъ придалъ всему неподлѣйшую окраску, за нами, къ тому же, значились уже кое-какіе грѣшки и къ вечеру слѣдующаго дня мы всѣ трое упивались малиновымъ звономъ „даровъ Валдая“.

Часть II.

I.

Прошли года, перемѣнилось время, а съ нимъ и люди, а съ людьми и рѣчи. То, чѣмъ жилось раньше, было пережито, что волновало, увлекало, заставляло страстно биться сердца и горѣть умы, улеглось, потеряло свою пряность, свою острую, возбуждающую силу. Вѣчно бѣгущія волны жизни унесли старые культы и смыслы съ знаменъ ихъ выпцвѣтшія уже, полинявшія надписи: „идеаль“, „прогрессъ“, „человѣчество“ и т. д., а вѣчно юное время несло имъ на смѣну и новые культы, и новые, менѣ туманные, болѣ выразительные и опредѣленные термины: „купить“, „продать“, „взять куртаж“. Новыя понятія вошли въ міръ, новый масштабъ прилагался къ человѣку, новый кодексъ опредѣлялъ границы человѣческой совѣсти. Въ воздухѣ стоялъ гулъ отъ всевозможныхъ „концессій“, „акцій“, „облигацій“ и т. д., и т. д., и сквозь этотъ общій гулъ, какъ трескучій, ужасъ наводящій взрывъ гранаты, то тамъ, то самъ раздавалось зловѣщее „врахъ“, на минуту, только на минуту ошеломлявшее всѣхъ. Въ общемъ жилось такъ же шумно, такъ же страстно, но только иначе, какъ-то легче, какъ-то особенно легче. Ни во что не вѣрилось, надеждъ никакихъ не было,—слышалось одно: „не зѣвай!“

Правда, таковъ былъ только „общій фонъ“, такъ сказать, только поверхность необъятнаго житейскаго моря,

его накупъ, пѣна, кидавшіяся въ глаза и закрывавшія собою его тихую, бездонную глубину. Внизу глубоко-глубоко, все-таки, тлѣли, какъ искры въ сѣромъ, охлажденномъ пеплѣ, здоровыя человѣческія силы; туда ушла, запряталась встревоженная царившимъ хищеніемъ, его нахальнымъ лозунгомъ: „лови моментъ“,—человѣческая совѣсть; туда ушли, запрятались умъ, знаніе, подвигъ. Люди, у которыхъ не было общаго съ улицей и ея новымъ культомъ, у которыхъ совѣсть была не въ карманѣ и не на концѣ аршина, у которыхъ въ груди билось не портмоне, а настоящее человѣческое сердце,—эти люди ушли, изолировались, попрятались, кто куда и какъ могъ; но ихъ присутствіе, ихъ значеніе, ихъ тихая, почти незамѣтная, безшумная работа, все-таки, сказывались,—сказывались уже и тѣмъ, что жизнь не умирала, а, „все-таки, двигалась“. Одни ушли въ область безстрастной науки и тихимъ, кропотливымъ трудомъ выкапывали міру изъ бездонныхъ тайниковъ природы и мысли новые перлы знанія и свѣта; другіе, болѣе живые и страстные, ставили впереди себя свои идеалы и тонули съ ними въ сѣрой человѣческой массѣ, ища себѣ и отълика, и адептовъ; третьи... третьи, не приставшіе ни къ тѣмъ, ни къ другимъ, сѣвшіе, такъ сказать, посрединѣ, вѣчно неудовольствованные, измученные и жизнью, и своею безпочвенностью, грызли самихъ себя, являлись тѣми „рыцарями на часъ“, больными „мучениками рефлекса“, о которыхъ писалось уже такъ много. Нашъ старый кружокъ, нашъ знакомый уже читателю „семейный очагъ“, заключалъ въ себѣ всѣ эти три типа. Семеновъ ушелъ

въ свою математику, гдѣ не нужно было никакихъ сдѣлокъ, никакихъ компромиссовъ; Кутыревъ и Леля, какъ люди второго типа, ушли въ деревню, въ самую „кѣточку жизни“, какъ говорили они: онъ—врачомъ, она— акушеркой; я... я, признаюсь, сидѣлъ между двухъ стульевъ, я только вѣчно грызъ себя, я былъ „мученикомъ рефлекса“. Конечно, все это случилось, опредѣлилось у насъ не сразу,—много воды утекло, многое было пережито, перечувствовано, переплавано, такъ сказать, прежде. Оторванные отъ жизни, заброшенные въ далекую снѣжную глушь,—тяжелую, безпросвѣтную, какъ осенніе сумерки, — мы трое складывались, опредѣлялись постепенно. Молодые, здоровые, не поломанные, неопытные, какъ дѣти, очутившись въ этой глуши, одни, изолированные отъ всѣхъ и всего, предоставленные единственно своимъ, еще не сложившимся, силамъ, мы, естественно, каждый по-своему, соотвѣтственно характеру своего нравственнаго „я“, соотвѣтственно его инстинктамъ, стали отвоевывать себя отъ засасывавшей тины глухаго, безпросвѣтнаго мѣста, невольной бездѣятельности и мертвечины и, такимъ образомъ, складывались постепенно. Отвоевывать—да, потому что эта тина обладаетъ страшною засасывающею силой, трудно преоборимую и для сильныхъ, сложившихся натуръ. Соблазнъ тихой, животной жизни, бессмысленнаго животнаго покоя, довольства, сытости былъ раскинутъ предъ нами громадною сѣтью, и въ этой крѣпкой сѣти билось и трепетало изодня въ день, съ часу на часъ, наше молодое, духовное, человѣческое „я“. Насъ окружали скука, тоска, пьян-

ство, картежная игра, жизнь со дня на день, будничное, сѣрое прозябаніе—безъ мысли, безъ чувства, безъ живаго человѣческаго слова, безъ цѣли. И все это давило, мучило, подтачивало силы, все это лѣзло въ глаза, назойливо заявляло о своемъ правѣ на жизнь и громко, съ апломбомъ, требовало себѣ этого признанія. Изъ дня въ день, съ часу на часъ, съ минуты на минуту!

Мы изнывали...

Будь мы не такъ молоды, неопытны, не порази насъ сразу такъ сильно контрастъ новыхъ условій съ прежними,—мы бы несомнѣнно, оглядѣвшись въ глуши, нашли себѣ и тамъ какое-нибудь дѣло, что-нибудь такое, что связало бы насъ съ жизнью, придало бы ей смыслъ и заполнило бы собою давившую насъ пустоту. Вѣдь, и тамъ жили люди съ ихъ горемъ и радостями, съ нуждами и желаньями! Но сразу огорощенные, сразу напуганные видомъ тихаго, соннаго застоя, полные влеченія къ только что оставленному шуму столичной сутолоки, съ которой мы такъ уже сроднились,—мы невольно смотрѣли на наше пребываніе здѣсь, какъ на временную муку, и старались объ одномъ—изолироваться отъ всего. И это изолированье, это одиночество, оторванность отъ всѣхъ и всего,—отъ всякаго живаго дѣла,—губили насъ, подтачивая наши силы. Тина не отступала,—она всасывалась сквозь всѣ поры организма тихо, незамѣтно, безшумно. Она надвигалась, какъ кошмаръ, какъ медленно разстилающійся туманъ, какъ тихо идущая черная туча, грозя поглотить насъ, искалѣчить, задупить своею подавляющею и, въ то же время, невидимую

массой. Она притупляла ощущенія, ослабляла протестъ противъ себя, заставляла какъ-то невольно сживаться, свыкаться съ собою и постепенно, шагъ за шагомъ, становилась бокъ-о-бокъ съ нашимъ нравственнымъ міромъ, какъ нѣчто законное, естественное, нормальное, нѣчто такое, съ чѣмъ уже свыелись, сжились наши глаза, наши уши, нашъ умъ, наша совѣсть. Въ этой-то способности притуплять и ослаблять ощущенія и крылась ея страшная сила; а сила привычки, способность человеческой души сживаться, свыкаться, способность поддаваться силѣ этого ужаснаго „изъ дня въ день, съ часу на часъ, съ минуты на минуту“—обуславливали возможность ея побѣды и нашего пораженія. Съ каждымъ днемъ блѣднѣли краски, тупѣли нервы, тупѣло чувство,—все тупѣло: и острота, и интензивность нашего душевнаго протеста... Чтѣ еще недавно казалось ужаснымъ, противнымъ, отвратительнымъ, сегодня... сегодня уже не поражало, не ужасало, не отталкивало... Такъ у стараго солдата тупѣетъ чувство самосохраненія, такъ у стараго хирурга притупляется впечатлѣніе къ стонамъ, такъ у падшихъ, несчастныхъ нравственныхъ калѣвъ тухнетъ человѣческая искра, гложутъ стыдъ и совѣсть.

Мы изнывали и тина одолѣвала... Мы это чувствовали, понимали, сознавали и потому днемъ мы все больше и больше уходили каждый „въ свое“, а ночью, безсонною, тревожною ночью, въ этотъ ужасный часъ самоанализа, самобичеванья, расчетовъ съ совѣстью, когда голова горитъ, а сердце бьется, какъ сумасшедшее,—въ эти ужасныя, безсонныя ночи мы стонали,—да, стонали,

а порою... порою рыдали, какъ дѣти. Но наши стоны были не стонами физической, животной боли,—нѣтъ, такъ стонать можетъ только человѣческая душа, а рыдать такъ можетъ только молодая, безсилая злоба. Семеновъ все больше и больше уходилъ въ свою науку, я—въ свои сомнѣнія, рефлексы, вѣчное балансированіе между положеніями Шопенгауэра и Ланге, Дюринга и Гартмана; Кутыревъ, живой, страстный, впечатлительный Кутыревъ... ему приходилось хуже насъ. Ни во что такое онъ не могъ уйти по природѣ; онъ все заводилъ знакомства съ разными неудачниками и пилъ съ ними, какъ сапожникъ,—пилъ, а ночью... стоналъ.

О, эти ночи,—длинные, безпросвѣтныя, ночи безъ отдыха, безъ покоя,—благо тому, кто не зналъ васъ, но хорошо и тому, кто васъ извѣдалъ! Спасибо вамъ! Вы однѣ являлись намъ на помощь, вы однѣ спасали въ насъ человѣка, темныя, тревожныя ночи! Диво, монотонно, какъ жалкая пѣсня тунгуса, воетъ метель-бурянь, нанося горы снѣга, скрипятъ высокія ели, скрипятъ крыша и бревна. Ни зги, ни просвѣта... Тоскливо, мрачно, какъ въ темной могилѣ, какъ-то нравственно душно, какая-то одурь-дремота оковала и голову, и душу, спутала туманомъ мысли... Не то плакать хочется, не то злиться, не то застыть—совсѣмъ, всецѣло, застыть безъ просыпленія. А буря все злится, все воетъ и такъ и высасываетъ изъ души, кажется, послѣднія капли жизни... Ахъ, скорѣе бы только, скорѣе все, все высосала бы, выпила, вытянула!... Зачѣмъ мнѣ все это „мое“, зачѣмъ? Не нужно! Скорѣе только!.. И, уткнувшись ли-

цомъ въ горячее изголовье, лежишь безъ мысли и глушишь готовые вырваться изъ груди какіе-то дикіе, какъ эта буря, бессмысленные, отчаянные крики.

Тихо, медленно тянутся минуты и часы, не принося съ собой ни сна, ни покоя. На мигъ прорвутся тяжелыя тучи и на морозномъ, опорошенномъ снѣгомъ стеклѣ блеснутъ искрами далекія, безстрастныя звѣзды или разольется струйками зеленоватый, меланхолическій лучъ яркой сѣверной луны, и затѣмъ опять быстро потонетъ все во мракѣ. На мигъ что-то проснется въ душѣ, зашевелится, затеплится, блеснетъ въ ней, какъ звѣздочка, какъ струйка луннаго свѣта, и тоже быстро скроется, потонетъ во мракѣ какого-то бессмысленнаго, отчаяннаго душевнаго вопля—дикаго, но страшно больнаго. Затѣмъ, затѣмъ, затѣмъ?...

Семеновъ ворочается, — не спитъ!... Богъ его знаетъ, что стоитъ предъ нимъ: какое-нибудь невозможное уравненіе съ безконечными неизвѣстными или что-нибудь другое; онъ вообще рѣдко высказывается, рѣдко говорить, — вѣчно думаетъ, думаетъ и думаетъ, уткнувшись глазами въ пространство, нервно скатывая пальцами шарики изъ хлѣба.

Въ невозможной берлогѣ Кутырева—тишина; всѣ пьяные неудачники-друзья ушли давно, оставивъ его одного на соломѣ, среди пустыхъ полуштофовъ и невообразимаго безпорядка. Споры, пѣсни, громкіе рассказы о пержитомъ всѣхъ этихъ заштатныхъ дьячковъ, уволенныхъ писцовъ и т. д., и т. д.,—все это смѣнилось безмолвіемъ, тяжелымъ и неподвижнымъ. Слава Богу, хоть онъ-то

спить,—тамъ давно все тихо. Но вотъ и оттуда несется вздохъ, похожій на стонъ, и разсыпается тысячкою: „эхъ!“ Точно слезы закапали гдѣ-то, точно рыданія глушить кто-то.

— Слышишь?—овливаетъ меня Семеновъ.

— Да!—и въ мою душу закрадывается, какъ отзвукъ этого „эхъ!“, что-то больное, гнетущее и гонить изъ нея охватившую ее дремоту.

— Не спится?

— Нѣтъ.

— Пойдемъ къ нему!—вскакиваетъ Семеновъ.

Мы идемъ къ Кутыреву. Долго не хочетъ онъ насъ слушать и лежитъ неподвижно, утѣнувшись лицомъ въ моврыя ладони. Наконецъ, онъ поднимаетъ голову.

— Плюньте на меня, братцы,—говоритъ онъ,—право, плюньте! Нестоящій я человѣкъ, да и только! Пропьюсь въ конецъ и пропаду такъ!...

— Врешь, братъ,—отвѣчаетъ Семеновъ,—не пропьешься и не пропадешь такъ... Ты, вонъ, займись чѣмъ-нибудь!

— Не могу, выдержи нѣтъ,—тоска одна!... Эхъ, братцы, все тринь-трава, все опостылѣло!... Самъ себѣ противень!... Все, братцы, къ чорту!

— Какъ все?... Что ты, дружище? Опомнись!... Какъ все?...

— Да такъ-таки... все, все, все!

У Семенова сумрачно сдвигаются брови.

— А Леля?

Этотъ магическій звукъ превращаетъ моментально все;

вся картина мѣняется внезапно. Кутыревъ уже не лежитъ, а стоитъ во весь свой дюжій ростъ, дрожить, глубоко дышетъ и широко вытаращенными глазами смотритъ на насъ. Я самъ какъ-то встрепенулся.

— Не говори, не говори, — отвѣчаетъ онъ страстно, лихорадочно, задыхаясь отъ волненія, — не говори, Саша! Не произноси ея имени всуе, — не чета мы ей, — нѣтъ! Ей алтарь нуженъ, Саша... Она, что звѣзда, — вонъ, вонъ, гляди! — указываетъ онъ рукою на прорвавшуюся въ тучахъ яркую звѣздочку, — что эта звѣзда, вѣка свѣтитъ будетъ! Она не подастся... она скорѣй трупомъ ляжетъ! Нѣтъ на свѣтѣ ничего краше и чище русской женщины. Мы „пасть“ передъ нею, — куда намъ!...

И, пробужденные, растревоженные, мы говоримъ уже до утра, до того, какъ изможденные, ослабѣвшіе вѣки начинаютъ слипаться сами собою. Спасибо вамъ, бессонныя, тревожныя ночи!

II.

Спасла насъ Леля.

Въ нашихъ письмахъ мы, понятно, скрывали отъ нея, прятали свое состояніе; мы притворялись бодрыми и веселыми, мы шутили и увѣряли, что чувствуемъ себя какъ нельзя лучше, писали, что усиленно занимаемся и готовимся къ будущимъ экзаменамъ. Но развѣ можно было спрятать, скрыть душу отъ нашей чуткой Лели? Развѣ можно было замаскировать передъ нею горячія слезы хо-

лодною, дѣланною улыбкой? Она прочла все между строкъ, поняла изъ недомолвокъ, поняла своимъ сердцемъ, своимъ женскимъ чутьемъ, которое всегда и вездѣ почувствуетъ правду, почувствуетъ открытую боль, и неожиданно-негаданно, точно чудомъ, явилась къ намъ на помощь. Не испугали ее ни даль, ни холодъ, ни лишенія, какъ не пугало ее ничто и никогда, разъ дѣло шло о другихъ, разъ влекло ее къ чему-нибудь ея сердце. Выдержавъ свой экзаменъ акушерки, бодрая, сильная, цѣльная, вся дышавшая вѣрой въ жизнь и въ людей, совершенно просто, точно на прогулку, она покатила къ намъ.

На дворѣ стояла тихая, морозная, звѣздная ночь. Въ такія ночи сѣвера воздухъ бываетъ такъ чистъ и прозраченъ, звѣзды горятъ такъ ярко, что небо кажется голубымъ, млечный путь ярко выдѣляется на немъ полосой бѣлаго тумана, а отъ звѣзднаго блеска по снѣгу разсыпаются мелкія, какъ точки, но яркія, красныя и зеленныя, искры. Звѣзды горятъ, переливаясь всѣми тонами яркаго пламеннаго свѣта, вспыхивая, какъ ракеты, и непривычному человѣку какъ-то жутко и странно въ этомъ безмолвномъ, безшумномъ мерцаніи; непривычное ухо все ждетъ уловить хоть отзвукъ далекаго треска и взрывовъ. Но все тихо, безшумно, неподвижно, какъ-то торжественно тихо. Не качаются ни ели, ни ведръ; точно замороженный, разстилается черною лентой дремучій боръ, безмолвная даль раздвигается широко, утопая въ какомъ-то синемъ, звѣздномъ туманѣ, точно въ небѣ; все прекрасно, чисто, холодно и какъ-то особенно, какъ-то страшно безмолвно. Все застыло, замерло, точно

земля потеряла свое солнце, свое скрытое въ нѣдрахъ тепло. И хорошо въ такія ночи, и грустно, и нѣга какой-то безстрастной, холодной, мертвой дремы сковываетъ душу, и жить хочется, въ то же время, — жить страстно, шумно, кипуче, хочется движенія, суеты и людскаго шума.

Въ такія ночи Кутыревъ, напивался безъ друзей и горланить надрывающимъ голосомъ свои любимыя пѣсни, а Семеновъ ломалъ карандаши и проклиналъ свою разсѣянность, изъ-за которой не выходили его формулы. Я зналъ, что все это — вліяніе звѣздной ночи, но молчалъ, чтобы не копаться въ чужой душѣ, не бередить и безъ того больныхъ ощущеній, не трогать того, что всѣмъ намъ было извѣстно безмолвно. Такъ и въ эту ночь, Кутыревъ, уставъ горланить на морозѣ, валялся, охая, на своей соломѣ; Семеновъ нервно вскрикивалъ, бросалъ карандашъ, захлопывалъ по сту разъ книгу, ругалъ и себя, и свою науку. И вдругъ колокольчикъ!...

Колокольчикъ мы слышали часто, и всегда будилъ онъ въ насъ какое-то жуткое, тревожное чувство ожиданія; всегда отъ него какъ-то болѣзненно ныло наше сердце и какъ-то тоскливѣе становилось, когда онъ затихалъ вдали... Но теперь точно какое-то предчувствіе, необъяснимое, непонятное, удесатерило это чувство тревоги; мы съ Семеновымъ почему-то невольно прислушивались, ловили сначала далекіе звуки и переглядывались, сами не отдавая себѣ въ этомъ отчета. Можетъ быть, сильнѣе напряжены были нервы, сильнѣе возбуждены мы были... Но вотъ звуки все ближе и ближе, все

явственнѣе, все отчетливѣе и вдругъ... Леля! Впрочемъ, нѣтъ: мы услышали сначала какой-то топотъ, какіе-то голоса, разспросы, и стояли, неподвижные, изумленные, все еще не вѣря, не понимая даже, что это къ намъ, что это насъ спрашиваютъ; о Лелѣ мы, понятно, и не думали даже, — она выѣхала, не предупредивъ насъ. Вдругъ отворилась дверь и съ тучей холодного воздуха ворвалась она, вся свѣтлая и радостная, съ своею чудною улыбкой, съ своею мягкой лаской, а за нею бородастый, заиндевѣвшій ящикъ бережно несъ корзинку, всю окутанную мѣхомъ.

— Мои мальчики! Мои бѣдные мальчики!

Мы дрожали, захлебываясь отъ счастья, и дрожа, мѣшая другъ другу, торопясь, толкаясь, то душили ее, — буквально душили, на что она тщетно кричала: „дайте же мнѣ выпутаться, мальчики“, — то въ перебой срывали съ нея платки, шубу, пимы, чѣмъ только усложняли дѣло „выпутыванья“. Она охала, смѣялась, кричала: „ахъ, Боже мой, какіе медвѣди!“ — требовала, чтобы мы поворачивались, чтобъ она могла рассмотреть насъ, и, въ то же время, изъ глазъ ея, изъ ея чудныхъ глазъ капали слезинки.

— Боже мой! какъ вы похудѣли, обросли какъ!

Но мы еще не пришли въ себя, мы не могли говорить и только дрожали въ волненіи. „Леля.. Леля!“ — бессмысленно бормотали наши губы.

— А вы, протодьяконъ... что съ вами?

Онъ стоялъ блѣдный и дрожалъ; его губы тряслись. Онъ не сводилъ съ нея благоговѣйнаго взгляда.

— Самоваръ?! Конечно, чаю? — крикнулъ Семеновъ, убѣгая въ кухню.

— Дай, дай!... Но что съ вами, протодьяконъ?

— Я пьянъ!

— Что... о-о?

— Я пьянъ, Леля!

И съ глухимъ рыданіемъ, полнымъ и муки, и боли, и стыда, и невыразимаго счастья, онъ опустился къ ея ногамъ, бормоча какіе-то обрывки фразъ, страстныя сравненія и моля о прощеніи.

— Бѣдный, бѣдный, — говорила она, плача и наклоняясь къ нему, — бѣдный... Но этого больше не будетъ?

— Никогда, Леля!

— Никогда, протодьяконъ?... Никогда?

— Нѣтъ, никогда!... Я скорѣй задушу себя! — и всякое сомнѣніе должно было отлетѣть отъ его тона.

Изъ корзинки раздался крикъ, и Леля бросилась къ ней. Тамъ лежалъ закутанный Борька, который уже ходилъ и мямлилъ слова, понятныя только Лелиному слуху.

— Мы молодцы, — говорила Леля, выпутывая свое сокровище и какъ-то особенно мило, по-дѣтски, нарочно картавя и путая, — мы въ калъзиночѣхъ пріѣхали, какъ товарчики... Мы пай мальчики, не простудились... Мы пай, мы пай! Мы чай будемъ пить съ булочкиками!... Правда? — обернулась она къ намъ съ розовымъ, прелестнымъ Борькой, который протягивалъ намъ свои ручонки. — Правда, молодцы?... — Вмѣсто отвѣта, мы цѣловали его, мы послушно давали ему теребить наши виски.

Такъ и встаетъ предо мной эта картина... Такъ и вижу я нашу прелестную, улыбающуюся Лелю съ ея розовымъ, улыбающимся сокровищемъ на рукахъ, вижу дрожащаго отъ блаженства Кутырева, вижу эту потѣшную корзиночку, въ которую Леля „уложила“ своего Борьку, — и придумала же! — все, все вижу... И теперь еще, много лѣтъ уже спустя, когда жизнь и время давно принимали, придавали все то, что чувствовалось, чѣмъ жилось когда-то, — и теперь еще при воспоминаніи объ этой сценѣ я оживаю, молодѣю, я чувствую, какъ волна глубокаго человѣческаго счастья, полнаго необъятнаго мира, невыразимой, необъятной нѣжности, охватываетъ теплою мою истрепанную, застывающую душу...

За самоваромъ, когда мы пили чай, а Кутыревъ качалъ и забавлялъ Борьку, Леля уже знала всю нашу жизнь, поняла всю ея подноготную, — поняла все, хотя мы говорили въ-перебой, скачками, больше восклицаніями, какъ всегда при встрѣчахъ съ человѣкомъ давно не видѣннымъ, — поняла, и тихо, грустно качала головой. Глаза ея говорили за нее: съ грустнымъ выраженіемъ останавливались они на братѣ; съ милою, ласковою улыбкой, полною не то шутокъ, не то снисходительности, переходили они на меня; съ глубокою нѣжностью, въ которой сквозило что-то почти материнское, глядѣли они на Кутырева... А мы трое, мы всѣ вмѣстѣ нашими шестью глазами смотрѣли на нее съ восторгомъ, съ какимъ-то святымъ, непередаваемымъ благоговѣніемъ.

— Такъ вы такъ-таки ничего и не дѣлаете, прото-
дьяконъ?

— Ничего!—качнулъ онъ головой, опуская свои добрые глаза отъ стыда и багровѣя.

— Ни зубовъ не рвете, ни пьявокъ не ставите, ни перевязокъ, даже не фельдшерствуете?

— Даже,—прогудѣлъ онъ, опуская еще ниже голову.

— И вы, юристъ, ничего?

— И я ничего.

— Ну, этого будетъ!... Пойдите, проберу я васъ!... Такъ нельзя, фи,—это Богъ знаетъ на что похоже!

И она пробрала. На другой же день у нея завелись откуда-то разныя знакомки-бабы, которыя нуждались въ медицинской помощи, — наша хозяйка такъ-таки сразу выжила въ нее и стала ее „славить“, — роженицы, больныя, прикладывавшія къ ранамъ, по совѣту разныхъ знахарей, всевозможную мерзость, все, что только можетъ придумать измученный болью умъ. И Кутыревъ, съ утра до вечера, какъ самый рьяный, самый страстный фельдшеръ, мазалъ, мылъ, прижигалъ, щипалъ корпю и удивительно искусно вытаскивалъ зубы... И для брата нашла она живое дѣло... Богъ знаетъ какъ откопала она гдѣ-то разныхъ дьяконскихъ дочерей, молодыхъ писцовъ, молодыхъ купеческихъ дочекъ, о которыхъ мы и слыхомъ не слыхивали, которые жаждали и читать, и учиться, и сдала ихъ брату,—работы у него съ уроками явилось по горло. Но и меня она не забыла. Прийдя разъ утромъ съ базара, она привела съ собой нѣсколько чело-вѣкъ крестьянъ и сейчасъ же позвала меня.

— Ну-ка, юристъ, покажите намъ свою прыть... Начинайте-ка влязуть!... Вотъ послушайте, какое дѣло!...

Дѣло было возмутительное. Темные деревенскіе люди, обиженные ловкимъ проходимцемъ, не знали, гдѣ и какъ найти имъ судъ, правду, защиту. Я указалъ имъ, я написалъ имъ прошенія. Когда я, понятно, отказался отъ предложенныхъ мнѣ ими кровныхъ грошей, они обидѣлись и обратились къ Лелѣ:

— Что-жъ брезговать-то нами, Елена Васильевна? Вѣдь, мы чѣмъ можемъ... За работу-то, чай, слѣдуетъ!...

— Не брезгаетъ онъ, добрые люди,—успокоивала ихъ Леля,—а не нужно ему, вотъ и все!... Вы, вонъ, правду-то свою прежде слышите...

И сразу какъ-то поняли ее они, и сразу успокоились. За ними у меня пошло столько кліентовъ, что каждый базарный день я исписывалъ, по крайней мѣрѣ, дѣсть бумаги: того изъ тюрьмы освобождать, того отъ кулака спасать, того отъ произвола,—цѣлая уйма работы!

Словомъ, все измѣнилось у насъ, все перевернулось. Мы почувствовали себя живыми, нужными людьми, забыли тоску, ожили, встрепенулись. Леля была нашею душой, нашею звѣздой, которая грѣла и освѣщала все, что ее окружало. И не нашею только, — о, нѣтъ!... За десятки верстъ знали нашу Лелю, нашу „свѣтъ-голубушку“ Елену Васильевну, „солнышко красное“, „звѣздочку Божию“,—знали, любили, и какъ любили!... Такъ любить можетъ только простая деревенская душа, измученная, избитая, нашедшая, наконецъ, себѣ „своего человѣка“, „свою душу“, сердце, которому она можетъ довѣриться, которое пойметъ ее, забьется на ея невзгоды.

Не было избы, въ которой бы ее не поминали любовью; а сколько свѣчей „воску яраго“ сгорѣло за нее и ея Борьку передъ святыми иконами, про то знаетъ только церковный староста, да и тотъ ошибется въ счетѣ.

— И какъ тебя такую Господь Богъ на нашей землѣ родилъ! — только удивлялись ея знакомки-бабы, у которыхъ она или крестила, или „принимала“, которымъ шила что-нибудь или вообще помогала чѣмъ-нибудь. Но крѣпко сердили ее эти восхваленія, сильно хмурила она на нихъ свои чудныя брови.

— Что я-то?—хмуро возражала она.—Что зла никому не дѣлаю? Не велика это важность! Не такіе люди есть на свѣтѣ. Есть такіе, что молиться на нихъ можно!...

Но ей, понятно, не вѣрили. Гдѣ же такіе люди на свѣтѣ, что ихъ не слышно, не видно? Святые угодники Божіи, всѣ пророки, подвижники за міръ давно уже спятъ своимъ мирнымъ, вѣчнымъ сномъ. Гдѣ же они?

— Есть, есть,—говорить Леля и глаза ея загораются чуднымъ блескомъ. — Дѣти ваши узнаютъ про нихъ! Пусть только вырастутъ, пусть учатся въ школахъ!...

Но простые, темные люди готовы были молиться и на нее, какъ и мы молились. За десятки верстъ тащились они, чтобы „глазкомъ“ поглядѣть на нее, привести ей у груди теплыхъ яичекъ, приласкать, приголубить своимъ простымъ, искреннимъ словомъ.

— На-кось, покушай, милая,—говорили ей бабы, вынимая изъ-за пазухи яички. — Тепленькіе, грудью своей согрѣла для тебя, сердешная! На-кось, сыночку дай! Угодница ты наша!...

— Да ненужно мнѣ, голубушка.

— А хоть ненужно,—возьми!... Безъ корысти,—возьми по душѣ!... Мнѣ въ сладость будетъ, какъ сама-то ѣсть ихъ станешь, потому наша ты заступница!

И баба хныкала. Хныкала и Леля.

Вскорѣ мы обвинчали нашу „парочку“ въ церкви, — какъ-то само собой это вышло, такъ какъ Кутыревъ, казалось, и заненуться не смѣлъ объ этомъ, а Леля стѣснялась все. Кажется, Семеновъ крикнулъ имъ разъ: „Да ступайте же вы, наконецъ, повѣнчайтесь! Что тянете?...“ И они повѣнчались. А немного спустя мы всѣ вмѣстѣ снова прибыли въ столицу и сдали наши экзамены. Жизнь уже шла не та: улица жила наживой, прежнее было забыто, но мы сложились уже настолько, что каждый ушелъ отъ нея въ „свое“. Кутыревы уѣхали на земскую службу, Семеновъ сталъ готовиться къ магистерскому экзамену, а я... я уже сказалъ, что было такое я... Потянулись годы...

III.

Новая эпоха создала новые типы, перекроила, перешила изъ старыхъ. „Титаны“ превратились въ „дѣльцовъ“.

Въ провинціи, въ большомъ промышленномъ центрѣ, у меня былъ старый пріятель, старый другъ, — Марковичъ,—крупный землевладѣлецъ, рыцарски честный, не-

обычайно мягкій, довѣрчивый старикъ. Мнѣ часто приходилось вести его дѣла и, признаюсь, я всегда любовался имъ,—этимъ точно чудомъ уцѣлѣвшимъ осколкомъ совсѣмъ почти исчезнувшаго уже типа „рыцаря-барина“, какою-то странною, но прелестною смѣсью русскаго Рудина, англійскаго лорда и самаго великодушнаго, самаго сентиментальнаго и, конечно, непрактичнѣйшаго изъ героев Ламартина. Честный, правдивый, искренній до конца своихъ длинныхъ ногтей, а потому и довѣрчивый, какъ ребенокъ; неспособный ни подозрѣвать обмана, ни не вѣрить человѣку мало-мальски порядочному съ виду,—онъ, понятно, легко могъ бы стать вкусною добычей какой-нибудь современной акулы, не спасай его кровное, врожденное отвращеніе ко всякаго рода спекуляціямъ, биржевой игрѣ и „рыцарямъ кредита“. Новая эпоха была не по немъ,—она ошеломила его, заставила какъ-то стѣжиться, уйти со сцены, и онъ весь ушелъ, весь спрятался въ семью, состоявшую изъ вѣчно больной жены и пяти дочерей, плохо сводя концы своихъ доходовъ съ большихъ, но, благодаря общему упадку хозяйства, неурожаямъ и плохому, безобразному веденію дѣлъ, мало доходныхъ имѣній. Внезапно онъ вызвалъ меня телеграммой, прося пріѣхать какъ можно скорѣе по какимъ-то особенно-важнымъ дѣламъ. Я поѣхалъ, но, признаюсь, съ какою-то тревогой въ сердцѣ, потому что и эта спѣшность, и особенно-важныя дѣла, которыхъ у него раньше никогда не было, не предвѣщали, конечно, ничего хорошаго.

Тамъ, въ этомъ большомъ промышленномъ центрѣ, я

засталъ и Анчарова, и Марью Львовну, и многихъ другихъ изъ старыхъ знакомыхъ, которыхъ давнымъ-давно потерялъ совсѣмъ изъ вида. На Марковича,—на добраго, довѣрчиваго старика,—вѣрнѣе, на его положеніе и имѣнія,—шла самая откровенная охота, самая беззащитная травля, точно на матераго русака, сущность которой не понималъ, не видѣлъ, конечно, онъ одинъ.

Анчаровъ былъ теперь директоромъ какого-то замысловатаго банка или чего-то вродѣ банка и казихъ-то особенныхъ акціонерныхъ предпріятій. Его звѣзда, благодаря капиталамъ жены, которую онъ постоянно держалъ за границей, свѣтила такъ же ярко, его имя было столь же популярно, его роль,—о, его роль была болѣе чѣмъ завидна, болѣе чѣмъ блестяща! Онъ былъ всѣмъ—и оракуломъ, и заправителемъ, и направителемъ; имъ вдохновлялись, у него спрашивали совѣтовъ, что купить, что продать; передъ нимъ лебезили, ему поклонялись, какъ „геніальному дѣльцу“. Дамы собственноручно варили ему любимыя варенья,—ахъ, онъ такъ любитъ сливы въ сиропѣ! — мужчины брали у него манеру ходить, носить свою трость, кланяться и пожимать руки. Его имя въ предпріятіи поднимало цѣну бумагъ, одно его слово понижало ихъ по произволу; а брошенные къ кому-нибудь мимоходомъ слова: „я васъ буду имѣть въ виду!“ или что-нибудь въ этомъ родѣ—поднимали счастливца на высоту. Словомъ, какъ и прежде, онъ стоялъ на виду у всѣхъ, только прежде эти „всѣ“ была чистая, довѣрчивая юность, страстно искавшая идеаловъ и правды, въ которой онъ такъ или иначе старался примѣняться.—

юность, изъ-за своей вѣры въ „человѣка“, не сразу расчуявшая въ немъ лгуна и нахала,—а теперь все то, что никакихъ идеаловъ знать не хотѣло, кому ложь и нахальство только помогали рвать, рвать и рвать...

Конечно, неумолимая рука времени перекроила на свой ладъ и его внѣшность, согласно новымъ требованіямъ эпохи. Все „титаническое“, все „загадочное“, все такъ чаровавшее нѣкогда сердца, исчезло, какъ дымъ, слетѣло съ него, какъ слетаетъ съ гуся вода.

Теперь онъ весь, казалось, дышалъ сановитостью, капиталомъ и дѣломъ. Стройнаго торса, гибкой талии, этихъ точно выточенныхъ ногъ, сводившихъ нѣкогда съ ума,— всего этого какъ не бывало. Теперь выдавалось, бросалось въ глаза круглое, внушительное, серьезное брюшко, на которомъ болталась массивная золотая цѣпь съ кучей всякихъ брелочковъ, красивыя, тонкія черты лица обрюзгли, отекли, а голова сливалась съ шеей. Только взглядъ его черныхъ, узкихъ, блестящихъ глазъ оставался прежній; но этотъ холодный, безстрастный, металлическій взглядъ казался уже не загадочнымъ, — нѣтъ, онъ „поражалъ“ его адептовъ,—„Да, да,—всмотритесь только!“—онъ поражалъ своею „чертовскою геніальностью“.

Исчезла и его молчаливость. Тогда... раньше, когда краснорѣчіе могло, пожалуй, повести за собой несомнѣнныя желательныя послѣдствія, онъ лгалъ загадочнымъ молчаніемъ; теперь, когда молчаніе было ненужно, онъ лгалъ краснорѣчіемъ... О, теперь онъ былъ уже краснорѣчивъ,—и какъ краснорѣчивъ! — особенно когда рисовалъ и развивалъ свои „блестящія, дѣловые, способные

и оживить, и поднять „общее благосостояніе“ планы. Эти планы его кружили головы, увлекали всѣхъ блестящею перспективой легкаго и быстраго обогащенія, наполняли его кассы кредитными билетами въ обмѣнъ на всевозможные, безчисленные „паи“ и „акціи“, а самого его дѣлали какимъ-то магомъ, общимъ благодѣтелемъ, добрымъ чародѣемъ волшебныхъ дѣтскихъ сказокъ. „Помилуйте, Михайло Ивановичъ, да это геній! Нашъ городъ безъ него въ навозѣ тонуть!“ — „Михайло Ивановичъ! да какъ онъ нашу управу, управу-то въ рукамъ прибралъ! Ха-ха-ха, удивительно!“ — „Анчаровъ?! Да онъ, батенька, всю губернію безъ пороха взорвать можетъ! Всю губернію на воздухъ пустить можетъ, коли только захочетъ! Вся она у него промежъ пальцевъ сидитъ, — его добрая воля! Начальство—и то имъ только животы свои держитъ!“

Теперь онъ не скрывалъ ничего, „искренно“ выкладывалъ все, что раньше приходилось только таять про себя, ярко рисовалъ перспективы, „строго“ обсуждалъ каждый шагъ, взвѣшивалъ всѣ комбинаціи pro и contra и доказывалъ, „какъ дважды-два—четыре“, всѣ „выгоды“, всю „пользу“, все „благодѣяніе“ какого-нибудь плана задуманной новой „операци“. И лица слушателей-адептовъ вытягивались, блѣднѣли, глаза горѣли больнымъ, лихорадочнымъ огнемъ, руки и ноги дрожали какою-то нехорошею дрожью, воображеніе похотливо пылало. Но, понятно, великія классическія тѣни продолжали теперь спокойно почивать въ своихъ тѣсныхъ, холодныхъ могилахъ или въ темномъ омутѣ бездны подножія Тарпей-

ской скалы, а вмѣсто нихъ въ алчно настроенномъ воображеніи слушателей осушались болота, падали вѣковые лѣса, оживали мертвыя степи, прокладывались дороги, гремѣли фабрики и заводы, носились тучи зерна, пеньки, сала, щетины... и надъ всѣмъ этимъ царила цифра: миллионъ!

— Ахъ, ну и далъ же Господь талантъ человѣку! Однимъ словомъ, волшебникъ! Магъ... магъ, да и только,—куда плюнетъ, тамъ и владъ найдетъ. Чародѣй!— И въ нему текли „вклады“, тащили деньги, честь, имя, всю будущность семей; ему закладывали завѣтныя, родовыя имѣнія и заложили бы, какъ въ древности, „женъ и дочерей“, если бы то время, въ которое подобные залогіи были возможны, не кануло безвозвратно въ Лету, а новое не требовало бы для залоговъ недвижимости болѣе устойчивой.

IV.

Я встрѣтился съ нимъ на раутѣ у Марья Львовны, куда затащилъ меня Марковичъ, какъ только я пріѣхалъ. Онъ сказалъ мнѣ мимоходомъ, что съ Анчаровымъ у него будутъ какія-то дѣла, что вызвалъ онъ меня ради этихъ дѣлъ, что на раутѣ мы непременно встрѣтимся съ нимъ и съ другими нужными тузами биржи, что, наконецъ, Марья Львовна будетъ очень рада вновь меня увидать послѣ столькихъ лѣтъ. Я пошелъ тѣмъ болѣе охотно, что и самому мнѣ хотѣлось поглядѣть обновленную Марью Львовну. Что же касается встрѣчи съ

Анчаровымъ, то, разъ она была необходима, волей-неволей приходилось подавить то непріятное ощущеніе неловкости, съ какимъ обыкновенно встрѣчаются люди, имѣющіе скверные счеты въ прошломъ, хотя бы всеисцѣляющее время и окутало это прошлое глубокимъ туманомъ лѣтъ.

Прелестная Марья Львовна, никогда не отстававшая отъ вѣка, конечно, тоже вполне подчинилась духу времени и его законамъ. Она смѣшала прежній „прогрессъ“ съ „ажіотажемъ“,—вѣдь это, конечно, все равно! Помилуйте, развитіе промышленности, культура... ахъ, даже Спенсеръ сказалъ!“—„праздно болтала“ теперь на новый ладъ и вела при посредствѣ „этого замѣчательнаго“ Анчарова блестящія биржевыя сдѣлки, будучи „убѣждена“ и увѣряя всѣхъ, что быть „дѣльцомъ“, „практическимъ человекомъ“ значитъ быть „истиннымъ гражданиномъ“,—„потому что промышленность и культура... какъ бы это сказать?—ну, вы понимаете, конечно!“—а бѣдность приурочивая къ глупости и „ротовѣйству“. Естественно, ея рауты были не прежніе, хотя столь же шумные и страстные: вмѣсто молодыхъ, живыхъ, полныхъ страсти лицъ, видѣлись все жирныя, обвислыя, положительныя лица съ именами все больше на „зонъ“ или „каки“; вопросами дня служили биржевыя цѣны и маклерскія сдѣлки, а вмѣсто прежнихъ монологовъ раздавались кругомъ, хотя и громкіе, но отрывистые, точно отрубленные, періоды, живо напоминавшіе стукъ аукціоннаго молотка. Но хозяйка оставалась, при помощи разныхъ *secrets de toilette*, все прежнею прелестною Марь-

ей Львовной съ чудными ножками, съ живымъ, страстнымъ, воспаленнымъ взглядомъ, съ плечами,—ахъ! съ такими плечами, что всѣ гости, навѣрное, вспоминали о самой тонкой, самой первосортной крупчатѣ.

— Рада, рада!—закричала она мнѣ, какъ только увидѣла.—Сюрпризъ, настоящий сюрпризъ! У насъ сегодня весь день сюрпризы!

— Какъ?—спросилъ я, пожимая ея когда-то чудную ручку, на которой теперь ясно выдѣлялись слѣды времени въ видѣ синенькихъ жилокъ.

Она конфиденціально наклонилась къ моему уху.

— Только, чуръ, языкъ за зубами, слышите?—шептала она.—Получена телеграмма... Не проговоритесь только! Кажется, наше новое товарищество на паяхъ будетъ утверждено.

— Какое товарищество?

— Ахъ, да вы и не знаете ничего, правда! Это—новое предпріятіе Анчарова. Геніальная вещь!—и, замѣтивъ по моему лицу, что все это мало интересовало меня, она быстро перемѣнила разговоръ.

— Какъ давно, какъ давно не видались, а? И постраѣли оба и... А знаете, тутъ вашъ старый пріятель земскимъ врачомъ былъ!...

— Кутыревъ?

— Да! Знаете? Онъ, вѣдь, на вашей... помните?... Лелѣ женился... Знаете?

— Знаю!

— И судьбу ихъ знаете? Бѣдные! Сами виноваты, конечно, но, все-таки, жаль... Ахъ! она была акушеркой,

онъ—врачомъ... Я всегда имъ говорила: бросьте эти глупости! Ну, можно ли въ нашъ практический, дѣловой вѣкъ разными глупостями, этими сантиментальными идеалами заниматься? Точно мальчишки!—тараторила Марья Львовна,—но они и ухомъ не вели!... Ну, и доплясались! Сами сжали, что посѣяли!... Теперь, въ этомъ холодѣ, поди, одумались, да...

Все это я зналъ, но пустое, холодное, какое-то сухонное тараторенье Марьи Львовны навѣяло на меня такую грусть, такую тоску, такъ мучительно-больно разбередило все переболѣвшее, все, что я гналъ всегда отъ себя, какъ тяжелый, больной кошмаръ, тревожившій съ лѣтами засыпавшую молодую горячность,—совѣсть, что ли, право, не знаю, — что я воспользовался первымъ случаемъ и улизнулъ отъ нея въ уголь. Тамъ я, на свободѣ, занялся своимъ обычнымъ дѣломъ: грызъ, переворачивалъ, глодалъ собственную душу, какъ всѣ мы, больные люди рефлексъ. Такъ и стоялъ въ моихъ ушахъ болѣзненно вырвавшійся крикъ изъ души Семенова, когда, узнавъ, что Кутыревы „доплясались“, онъ схватилъ себя за голову руками и застоналъ: „О если бы мнѣ ихъ вѣра, эта страстная вѣра!“—и бросился въ постель, рыдая, кляня и себя, и свою математику, и свою черствость, и все, и вся... А я...

— Ба-ба-ба! Сколько лѣтъ! Сколько зимъ!

Передо мною стоялъ Анчаровъ, протягивая мнѣ свои короткія, жирныя руки, какъ другу, и улыбаясь самою непринужденною, самою привѣтливою улыбкой. Признаюсь, эта развязность, этотъ непринужденный, весе-

лый тонъ послѣ всего, что когда-то произошло между нами, смутили-таки меня. Какъ ни вѣрилъ я во всеисцѣляющую силу времени, въ силу нахальства, въ людскую забывчивость, наконецъ, но тутъ просто растерялся.

— Гора съ горой... Сколько воды-то уплыло!

Анчаровъ все такъ же улыбался, только глаза его какъ-то особенно бѣгали изъ стороны въ сторону.

— Многоюбо...— всего и нашелся я.

— А сколько перемѣнъ-то, а? Перемѣнъ сколько?! Помните, какъ мы тогда-то... ха-ха-ха,—жирно хохоталъ онъ,—идеалами, все разными идеалами пробавлялись, а?

— Я думалъ, вы все еще служите, карьеру дѣлаете!— попробовалъ было я замять свою неловкость.

— Служу? карьеру?... Ха-ха-ха! Да кто теперь служить... въ наше время-то? Бездарность одна! Теперь, батюшка, самостоятельность, промышленность, биржа—вотъ сила! Вотъ гдѣ карьера! Только бы умъ да голова—и карьера! Выслуживаться, заискивать, бѣгать на помочахъ?! Слуга покорный!— и онъ расшаркался при всеобщемъ одобрительномъ смѣхѣ. — А къ намъ вы какъ сюда: на время или совсѣмъ? — подозрительно спросилъ онъ, видимо довольный и собой, и всеобщимъ одобреніемъ.

— На время, по дѣламъ...

— Очень пріятно,—перебилъ Анчаровъ,—очень пріятно!... Дѣла... дѣла!... Значить, нашего полку прибыло! Ну-съ, а вы какъ, батюшка,—фамильярно хлопнулъ онъ старика Марковича, подходившаго къ намъ въ ту минуту,—а? Все еще не подаетесь? Все еще noblesse oblige,

а?—захохоталъ онъ,—все еще съ кровно-дворянской высоты смотрите на насъ, биржевиковъ, и наши „презр...р...р...ѣнныя“ спекуляціи, а?

— Да вотъ, видите,—такъ же шутливо отвѣтилъ тотъ,— въ дѣла вступать хочу!... Его,—указалъ онъ на меня,— на помощь позовалъ!

— А, такъ вы по его дѣламъ? Вотъ какъ!—не то недовольнымъ, не то удивленнымъ тономъ протянулъ Анчаровъ, причемъ лицо его чуть не скорчилось въ гримасу.—Что-жь, въ добрый часъ! Я увѣренъ, что вы убѣдите его, наконецъ, бросить это „благородное“ фанфаронство! Съ его имѣніями, при его положеніи въ свѣтѣ при его значеніи—лопатою деньги загребать можно, а онъ какими-то доходишками съ неурожаевъ пробавляется, а? Посудите сами!... Какъ другу, близкому другу, предлагаю ему вступить въ одну очень выгодную операцію, такъ нѣтъ! Куда! Noblesse, видите ли, oblige! Кровь, родъ! Унижаться до спекуляцій! Марковичъ—и спекуляціи!!! Это въ нынѣшнее-то время, а? Въ нынѣшнее время, когда рубль всему владыка? А? каково?—скороговоркой, почти крича отъ волненія, говорилъ онъ, поворачиваясь то въ мою сторону, то въ сторону старика.

— Не всѣмъ же спекулировать, Михайло Ивановичъ!—перебилъ я эту страстную тираду.

— Вѣрно-съ! Но ему обязательно,—съ удареніемъ подхватилъ Анчаровъ,—о-б-я-з-а-т-е-л-ь-но! Помилуйте, большая жена съ дѣтьми за границей, дѣтямъ приданое готовить нужно, а всего этого не сдѣлаешь на доходы съ неурожаевъ. Вѣдь, какъ другъ говорю! На рукахъ, вѣдь,

носилъ я его Женичку!—и, сладко захихикавъ, онъ опять хлопнулъ старика, у котораго при имени любимой красавицы-дочери, одной изъ всей семьи, оставшейся теперь съ нимъ, какъ-то особенно нѣжно и мягко блеснули глаза.

— Ну, убѣдите же его! — сладко и томно протянула прелестная Марья Львовна, хватая и меня, и Марковича за рукава,—убѣдите! Вѣдь, въ этомъ дѣлѣ миллионы заплатить можно!—и она сладостно зажмурила глазки.

Марковичъ улыбался и по этой улыбкѣ я понялъ, что убѣждать мнѣ его не придется.

V.

Да и не пришлось, конечно. Анчаровъ уже убѣдилъ его, опуталъ, обошелъ кругомъ, и старикъ съ тѣмъ же родовымъ упрямствомъ, съ какимъ отрицалъ до сихъ поръ и биржу, и спекуляцію, съ какимъ держался отъ нихъ въ сторонѣ, пробавляясь, какъ выразился Анчаровъ, „доходами съ неурожаяевъ“, теперь стоялъ за предложенную „по дружбѣ“ операцію. Слишкомъ любя семью, онъ далъ вговорить себѣ необходимость этой „жертвы“ съ его стороны ради ея благополучія и, разъ перейдя свой рубиконъ, разъ поборовъ, наконецъ, свое отвращеніе,—что, несомнѣнно, стоило ему многихъ усилій,—онъ, какъ и всѣ подобные ему характеры, уже страстно, горячо ухватился за то, что ненавидѣлъ прежде отъ всей души. Все это крайне походило на ренегатство со всѣми его

давно извѣстными, общими душевными перетасовками. Какъ только мы вышли отъ Марьи Львовны, онъ взялъ меня подъ руку и, наклонившись, тихимъ, взволнованнымъ голосомъ сказалъ, что рѣшилъ вступить въ предложенное Анчаровымъ предпріятіе.

— Для этого я и вызвалъ васъ, — закончилъ онъ. — Минѣ, видите ли, деньги нужны, чтобы купить это дѣло у Анчарова... Хочу просить васъ заложить имѣнія.

— Анатолій Осиповичъ! — перебилъ я его, изумленный, — вамъ ли вести спекуляціи? Подумайте только, — ну, какой вы спекуляторъ?

Онъ разсердился.

— Да вы думаете, мнѣ легко было придти къ этому рѣшенію, что ли? Да я ненавижу эти спекуляціи! Но что же подѣлаешь? Въ такое время живемъ... Противъ рожна, видно, не попрешь. Будь я одинъ, конечно...

— Что же вынуждаетъ васъ? Вѣдь, жили же вы до сихъ поръ вдали отъ всего этого?

— Жилъ, а теперь нельзя! Доходовъ мало, да и тѣ все падаютъ... Жена съ дѣтьми за границей, — одно лечение требуетъ уйму денегъ. А тутъ старшая дочь замужъ выходитъ! Да я давно уже концы съ концами не свожу, со дня на день перебиваюсь! — грустно, пришибленнымъ тономъ закончилъ онъ и махнулъ рукой.

— Ну, ладно, Анатолій Осиповичъ, ладно! Будь по-вашему! Но знаете ли вы, по крайней мѣрѣ, дѣло хорошо, въ которое вступаете?... Этотъ Анчаровъ...

— О, помилуйте, вѣдь, мы съ нимъ пріатели! — подхватилъ онъ, точно угадавъ мою мысль. — Вѣдь, онъ

правду говорить, что Женю на руках носилъ. Помните, вѣдь, онъ только по дружбѣ... Сколько разъ онъ выручалъ уже меня изъ неловкаго положенія своимъ кредитомъ!

Возражать было, очевидно, нечего. Но какое-то грустное предчувствіе, какая-то щемящая боль не давали мнѣ покоя. Мнѣ какъ-то стало невыразимо жалко этого наивнаго старика.

— Но что это за предпріятіе такое?

— Тамъ много всего вмѣстѣ... И осушеніе, и ломка камня... Заводъ есть... Анчаровъ—и директоръ, и учредитель.

— И подносить вамъ все это выгодное предпріятіе въ видѣ сюрприза, такъ?

Мой ироническій вопросъ разсердилъ его.

— Я Анчарову вѣрю, безусловно вѣрю! — категорически отрѣзалъ онъ.—Онъ—биржевикъ, спекулянтъ, но другъ и не мошенникъ. Отчасти и сюрпризъ здѣсь, если хотите, отчасти и его неугомонность... Вѣдь, онъ настоящій герой времени. Начнетъ что-нибудь, поставитъ дѣло на ноги и уже на новое готовится,—старое надоѣло!

— А я, все-таки, не вѣрю вашему Анчарову... Вѣдь, я давно его знаю! Вотъ послушайте, что я расскажу вамъ! — и я рассказалъ ему все происшедшее между нами.

Старикъ выслушалъ, не проронивъ и слова, и долго упорно молчалъ. Несомнѣнно, мой рассказъ произвелъ на него сильное впечатлѣніе. Я увѣренъ, что раньше, при другихъ условіяхъ, все рассказанное мною без-

условно повліяло бы на его отношенія къ Анчарову, но теперь онъ только покачалъ головой и сказалъ:

— Да, признаться, тутъ мало джентльменства... Ну, да особеннымъ джентльменомъ я его и не считаю... Во всякомъ случаѣ, онъ не мошенникъ. Знаете ли, кто не спотыкался... А въ то далекое время... Можетъ быть, онъ и въ самомъ дѣлѣ отрицалъ въ принципѣ дуэль, ну, а ваше нападеніе нахрапомъ сбило съ толку, смутило... Согласитесь...

— Вы окончательно рѣшили? — перебилъ я, начиная сердиться въ свою очередь.

— Совсѣмъ. Я попрошу васъ заложить имѣнія и какъ можно скорѣй. Анчаровъ ждать не можетъ! — отрѣзалъ онъ.

На другое утро, когда я былъ занятъ составленіемъ довѣренности на залогъ имѣній, ко мнѣ неожиданно вошла Женья. Она вся выглядѣла взволнованно и грустно.

— Скажите, папа дѣйствительно беретъ анчаровское дѣло? — спросила она, не спуская съ меня тревожнаго взгляда.

— Да, — отвѣтилъ я, — онъ и вызвалъ меня, чтобы помочь ему заложить для этого имѣнія.

Она грустно покачала головой.

— А что, вы тоже не вѣрите въ это дѣло?

— Нѣтъ, не въ дѣло! — отвѣтила она. — Но я не думаю, чтобы пана съ его характеромъ, — вы, вѣдь, знаете его, — чтобы онъ могъ вести какое-нибудь предпріятіе...

— И я это думаю!... Я отговаривалъ его... Отчего вы не попробуете отговорить?

— Ну, гдѣ мнѣ? Онъ только разсердится! Если вы не могли, то что же я?... Знаете, какъ вы ему близки и какъ онъ васъ уважаетъ!...

— А я и въ дѣло-то это не вѣрю, Женья! — сказала я, беря ее ручку.

— То-есть какъ это?

— То-есть такъ, дитя мое, что предполагаю здѣсь кое-что нечистое... Съ чего бы это вдругъ Анчаровъ сюрпризы дѣлалъ?... Я, вѣдь, знаю его и не вѣрю ему!

— Что вы, что вы? — почти крикнула Женья.

— Да-съ!... Не вѣрю! егоза черноглазая!...

— Вы думаете?

— Я думаю, что онъ способенъ надуть!

— Нѣтъ, это невозможно! — вскочила она. — Анчаровъ, нашъ старый пріятель, — надуть?! Нѣтъ, не говорите этого... нѣтъ!

Я уѣхалъ, заложилъ имѣнія и выслалъ старику деньги.

VI.

Прошло немного времени и я опять попалъ по дѣламъ въ N. О Марковичѣ и его дѣлахъ я не слыхалъ ничего съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ заложилъ его имѣнія, слава же Анчарова все росла и росла и далеко вышла за предѣлы того благополучнаго уголка, гдѣ онъ размахисто раскинулъ сѣти своихъ операций. Его имя встрѣчалось и въ биржевыхъ извѣстіяхъ столичныхъ газетъ, и въ спискахъ разныхъ концессионеровъ, и въ отче-

тахъ благотворительныхъ обществъ. „Нашъ извѣстный финансистъ“, „нашъ извѣстный предприниматель“, „извѣстный своею щедростью благотворитель“,—все это были синонимы Анчарова, становившагося все популярнѣе и популярнѣе.

Былъ теплый майскій вечеръ, когда я позвонилъ у подъѣзда дома Марковича. Старика дома не было. Меня встрѣтила Жена и обрадовалась, какъ старому другу.

— Ахъ, какъ я рада, какъ я рада, — говорила она, усаживая меня, — что вы въ намъ завернули!... Много у насъ перемѣнъ, много!... Всего вамъ и рассказать нельзя!

— Что же, хорошее или дурное?

— Хорошаго мало, — отвѣтила она грустно, — да и со всѣмъ-таки нѣтъ ничего хорошаго... Знаете, вы чуть ли не были правы...

— Въ чемъ?

— Когда предостерегали противъ Анчарова... Съ тѣхъ поръ, какъ отецъ взялъ это дѣло, его и узнать нельзя. Вѣчно въ тревогѣ, какой-то грустный, разсѣянный, осунулся, постарѣлъ весь... Знаете, — и въ голосѣ ея послышались слезы, — я увѣрена, что дѣла его плохи, очень плохи, хотя онъ и ничего не говоритъ мнѣ...

Екнуло у меня сердце въ тревогѣ... Плохи дѣла были, если старикъ, всегда ровный, спокойный, такимъ представлялся дочери, съ которой онъ всегда, бывало, шутилъ только, смѣялся, всегда стараясь объ одномъ — отгонять отъ нея все хмурое и невеселое.

— Что же Анчаровъ-то?

— О, папа давно съ нимъ въ натянутыхъ отноше-

ніяхъ. Мы давно не видимся. Почти сейчасъ, какъ папа купилъ это дѣло, у нихъ вышли споры...

Женя совсѣмъ готова была расплакаться и я, конечно, сталъ ее успокаивать, хотя самого меня скребли кошки. Скоро пріѣхалъ старикъ, но только на мгновение—захватить какіе-то документы. Онъ, дѣйствительно, былъ совсѣмъ неузнаваемъ, до того, что я чуть не ахнулъ. Увидѣвъ меня, онъ будто оробѣлъ чего, съѣжился, замялся, но, все-таки, дружески протянулъ мнѣ руку и обнялъ.

— Не ждалъ, не ждалъ!—говорилъ онъ,—но очень радъ, очень радъ... Вы какъ сюда?

Я сказалъ, по какимъ дѣламъ.

— Ну, а ваши дѣла какъ?

Я уставился на него и смотрѣлъ ему прямо въ лицо тревожнымъ взглядомъ.

— Дѣла, дѣла?—сконфузился онъ и замялся, стараясь не глядѣть на меня. — Да такъ, какъ всѣ дѣла теперь — и такъ, и этакъ. Знаете, застой теперь! Вы посидите, конечно, мнѣ недолго, — быстро обрѣзалъ онъ, видимо, тяжелый для него разговоръ,—вотъ только документы свезу...

— Нѣтъ, вы ужъ извините меня. Я сегодня же долженъ ѣхать въ деревню. Вернусь черезъ три дня и зайду.

— Непремѣнно, непременно! Я буду ждать васъ.

Мы вышли вмѣстѣ. Въ тотъ же вечеръ я выѣхалъ изъ города, но дѣла покончилъ скорѣе, чѣмъ ожидалъ, и вернулся черезъ два дня. Гнала, торопила меня и сверная, тяжелая забота: по дорогѣ я узналъ навѣрное, что

Марковича дѣла плохи, крайне плохи, что ему грозитъ банкротство, полное разореніе, а можетъ быть даже и судъ. Конечно, въ его личной чистотѣ, честности сомнѣваться я не могъ ни на секунду даже; онъ легко могъ запутаться въ анчаровскихъ сѣтяхъ, самъ не понимая, не подозрѣвая даже, въ немъ онъ запутывается. Я узналъ все это отъ одного изъ мелкихъ адептовъ-почитателей Анчарова, — одного изъ тѣхъ типичныхъ хищниковъ, вѣчно голодныхъ, громко восторгающихся всякою крупною подлостью, разъ она продѣлана „по законамъ“ и настолько ловко, что совсѣмъ оставила „въ дуракахъ“ доверчиваго человѣка, какихъ можно было встрѣтить на каждомъ перекресткѣ.

— Ахъ!—заливался онъ, не слыша себя отъ какого-то непостижимаго удовольствія, захлебываясь и брызжа слюной. — Ахъ! И обошелъ же его Анчаровъ, то-есть вотъ какъ липцу ободралъ. Ахъ! ну, и талантъ у человѣка! Т-а-л-антъ!

— Какъ обобралъ?—спрашивалъ я, изъ-за тревоги не обращая вниманія на это жадное улюлюканье.

— Да такъ! Плевое дѣло, гроша не стоящее, за сотни тысячъ продалъ! Самому петля приходилась, потому одно слово: мыльный пузырь, на водѣ все писано было, а онъ и сбылъ ему, да за такой капиталъ, за такой капиталъ,—ахъ!—и мой собесѣдникъ даже глаза зажмурилъ.

— Надулъ, значить! Такъ вы хотите сказать?

— То-есть какъ надулъ? Коммерція, извѣстно! Какое-жъ надувательство? Глаза есть — смотри, а коли дуракъ—самъ на себя и пеняй!... На то и щука въ морѣ...

— И дѣла совсѣмъ плохи, говорите вы? — допрашивалъ я, затыкая уши на всю эту философію.

— Одно слово—банкротъ! Имущества-то и по гривнѣ на рубль не хватитъ... Акціонеры и дольщики такую тревогу подняли, такую тревогу! „Обманъ,—врычатъ,—надувательство!“ А онъ только глазами хлопаетъ. Известно, не его ума дѣло, — куда ему-то въ коммерцію? „Я, — говоритъ, — самъ обманутъ, самъ не зналъ, что дѣло такъ стоитъ“... Ха-ха-ха! — залился рассказчикъ, хватаясь за бока,—ха-ха-ха! Самъ не зналъ,.. ха-ха-ха!...

Я уже не слушалъ, хотя тотъ все еще обязательно посвящалъ меня въ эту „ловкую штуку“ и долго еще хохоталъ надъ „забывавшимся карасемъ“, передавая всевозможные слухи о томъ, какъ Анчаровъ въ первое время и отчеты составлялъ для неопытнаго Марковича съ фиктивными балансами, и книги помогалъ ему вести при посредствѣ „своего“ бухгалтера съ ложными записями, которыя совсѣмъ отуманили старика, и многое, многое другое, свидѣтельствовавшее о несомнѣнномъ мошенничествѣ. Я думалъ только о тяжелой долѣ, павшей на всю эту мирную, ни въ чемъ неповинную семью, гадалъ и соображалъ, какъ бы выпутать ее изъ-подъ этой кучи нечистаго мусора, если выпутать и вытащить была еще возможность.

Я вернулся поздно вечеромъ и сейчасъ же отправился къ Марковичу. Сердце у меня ныло, въ головѣ стоялъ цѣлый содомъ; какая-то тревога разливалась внутри по мѣрѣ приближенія къ дому, а жгучее, нетерпѣливое желаніе провѣрить всѣ эти толки, узнать навѣрное всю

правду, въ то же время, подгоняло. Слуга сказалъ, что старикъ давно сидитъ у себя запершись въ кабинетъ. Я прошелъ безъ доклада и съ тревожно бившимся сердцемъ отперъ дверь.

Въ кабинетъ стоялъ полумракъ отъ спущеннаго надъ горѣвшими свѣчами абажура. Кучи бумагъ валялись то тамъ, то сямъ въ безпорядкѣ, точно чья-то нетерпѣливая рука лихорадочно перерывала всѣ эти листы, ища и шаря въ нихъ чего-нибудь спѣшно, особенно спѣшно. Синеватый дымокъ недовуренной сигары тонкою струйкой извивался вверхъ въ неподвижномъ, тепломъ воздухѣ, расширяясь кверху въ дрожавшія, расплывавшіяся ленты. Старикъ сидѣлъ неподвижно за своимъ письменнымъ столомъ и точно спалъ, облокотясь на столъ и уперевъ лицо въ неподвижныя ладони.

— Анатолій Осиповичъ!...

Онъ вздрогнулъ, повернулъ ко мнѣ свое мертвенно-блѣдное, — даже не блѣдное, а какое-то сѣрое, окаменѣлое, съ помутившимся взглядомъ, съ крупными каплями слезъ, — лицо и посмотрѣлъ пристально.

— Бѣдныя, бѣдныя дѣти!...

Это все, что вырвалось у него изъ груди, вмѣсто привѣта, — вырвалось съ какимъ-то хрипомъ затаеннаго плача и застыло въ мертвомъ воздухѣ. Онъ опять закрылъ лицо.

Я подошелъ и положилъ ему на плечо руку.

— Анатолій Осиповичъ, Анатолій Осиповичъ! — окликнулъ я его громче. — Первое условіе успѣха — не отчаяваться!... Послушайте, не теряйте бодрости!

Онъ отнялъ отъ лица руки.

— Все пропало, все!—проговорилъ онъ съ невыразимымъ отчаяніемъ.—Я разоренъ, опутанъ, обманутъ, надутъ... я ограбленъ, понимаете?—вскочилъ онъ.—Я даже незапятнаннаго, честнаго имени не оставлю дѣтямъ... Ахъ! бѣдныя дѣти... д-ѣ-т-и!—и онъ застоналъ отъ глубокой, смертельной боли и снова повалился, какъ безсильный, въ кресло.

— Анатолій Осиповичъ!

Но онъ только глухо рыдалъ въ отвѣтъ.

— Анатолій Осиповичъ, ободритесь! Вы — мужчина, вы—отецъ!... Поговоримъ,—можетъ быть, не все еще потеряно.

— Все!—простоналъ онъ.

— Не можетъ быть! Это — отчаяніе говоритъ въ васъ...

— Убѣдитесь, убѣдитесь сами! — и онъ сталъ швырять бумаги, документы, счета, весь окружавшій его бумажный хламъ, точно съ злорадствомъ повторяя одно:— вотъ, вотъ, вотъ!

— Я все это, конечно, разсмотрю, — говорилъ я, дѣлая неимоверныя усилія казаться совершенно спокойнымъ,— разсмотрю, какъ юристъ, и, можетъ быть, чего добраго; мы сами притянемъ Анчарова къ отвѣтственности за обманъ. Вы только скажите мнѣ, употребили ли вы всѣ усилія, все, что было въ вашей власти, чтобы... чтобы...

— Я даже къ нему ѣздилъ! Къ нему, къ этому... этому... Я сейчасъ отъ него!...

— Ну, и что?—Я понялъ, что онъ говорилъ объ Анчаровѣ.

Старикъ вскочилъ снова, его лицо исказилось гнѣвомъ, глаза зажглись и метали искры.

— Я молилъ, — понимаете? — я молилъ!... Я не укорялъ его ни въ обманѣ, ни въ плутовствѣ, я только молилъ!

— Ну?

— Онъ отказалъ во всемъ, отказался отъ всякой помощи. Въ коммерціи-де нѣтъ дружбы!... Нѣтъ!... Ахъ! дѣти, бѣдныя дѣти! — схватился онъ за голову руками въ порывѣ страшнаго отчаянія.

— Пойдите, пойдите!... Можетъ быть, еще и есть выходъ!

— Есть, конечно, — иронически подхватилъ онъ, — есть! Онъ даже указалъ мнѣ его!

— Какой же?

— Поспѣшить перевести все имущество на жену... Понимаете?

— Это въ модѣ, — отвѣтилъ я, потупляя невольно глаза.

— Но только не въ моей!... Я не могу, — понимаете? — я не могу! — страстно заговорилъ онъ, весь трясаясь. — Я не подлецъ же, не воръ я! Я — дуракъ, старый, несчастный дуракъ, но не воръ! Въ роду у насъ не было воровъ. Пусть дѣти съ сумою пойдутъ, Христа ради, подъ окна... Бѣдныя, бѣдныя, бѣдныя дѣти!... Но я не могу, не могу я, не могу! — и съ глухимъ истерическимъ рыданіемъ онъ упалъ снова въ кресло.

Я долго провозился съ нимъ еще, напрягая всю волю

казаться спокойнымъ, и, въ концѣ-концовъ, казалось, добился своего. Подъ конецъ онъ, дѣйствительно, сталъ спокойнѣе, слушалъ мои слова съ интересомъ, казалось, слѣдилъ за моими движеніями, когда я собиралъ бумаги, чтобы разсмотрѣть ихъ за ночь, даже подавалъ мнѣ и искалъ ихъ. Мое спокойствіе, видимо, отражалось на немъ, — я и не думалъ приписывать все это утомленію, потому что глаза его лихорадочно горѣли. Онъ даже съ чувствомъ, особенно горячо пожалъ мою руку, когда я сказалъ, что не уйду въ себѣ, а останусь съ бумагами у него, и самъ приказалъ приготовить для меня комнату.

— Спите, непременно постарайтесь заснуть!—сказалъ я, прощаясь.—За ночь я разсмотрю все и завтра мы потолкуемъ какъ слѣдуетъ.

— Спасибо, спасибо!—отвѣчалъ онъ и тепло меня обнялъ.

VII.

Всю ночь провозился я съ бумагами, съ книгами, сче-тами и убѣдился, что, дѣйствительно, все пропало, какъ говорилъ старикъ,—вся семья оставалась нищей, буквально нищей. Всѣхъ имѣній съ трудомъ хватило бы на ликвидацію, даже не будь они заложены, а теперь, съ громаднымъ долгомъ земельнымъ банкамъ, который весь, цѣликомъ, ушелъ въ анчаровскій карманъ, кредиторамъ еле-еле выгадывался четвертакъ на рубль. Предпріятіе же, раздутое Анчаровымъ, его рекламами и искусствен-

нымъ поднятіемъ цѣнъ на акціи до продажи Марковичу, дѣйствительно представляло собою мыльный пузырь, пущенный, однако, съ такимъ знаніемъ дѣла и такъ ловко, что закону оставалось только молчать. Въ то, что, передавая дѣло, Анчаровъ баснословно высоко оцѣнилъ ничего почти не стоящее имущество, называлъ фабриками и заводами то, что не имѣло и тѣни подобія заводамъ и фабрикамъ, показалъ фиктивную, не существующую доходность, искусственно поднявъ ничего не стоящія акціи, которыя немедленно же пали вслѣдъ за передачей, и во многое другое еще законъ не вмѣшивался, представляя все это усмотрѣнію и соглашенію договаривающихся сторонъ.

Въ тяжеломъ раздумьи сошелъ я внизъ, въ столовую, къ утреннему чаю, не зная, какъ приступить къ старику, котораго такъ или иначе я обнадежилъ, которому пообѣщалъ свою помощь. Въ столовой никого не было, шипѣлъ только поданный самоваръ, да ворчалъ что-то попугай, перепрыгивая съ одной жердочки на другую. Безстрастная природа, праздновавшая свой медовый мѣсяцъ, ликуя, несла въ открытое окно волны яркаго весенняго свѣта, тонкаго и мягкаго аромата стоявшихъ въ цвѣту деревьевъ и живыхъ, страстныхъ звуковъ птичьяго щебетанья, и всѣ эти волны, точно смѣшиваясь, переплетаясь и сливаясь другъ съ другомъ въ узкой оконной рамѣ, наполняли комнату жизнью, свѣтомъ и глубокою весеннею нѣгой. Такъ и напрашивалось, такъ и тянуло сказать: „какъ хороша, какъ прелестна жизнь, если бы... если бы...“

Крикъ, невозможный, неописуемый крикъ прорѣзалъ воздухъ и застылъ, точно окаменѣлъ. Кому хоть разъ въ жизни выпало на долю слышать подобный крикъ, въ которомъ смѣшивалось, казалось, все зло, все горе, составляющее изнанку міроваго счастья, въ которомъ сливались вмѣстѣ и испугъ, и отчаяніе, и невыразимая боль, и ужасъ, смертельный ужасъ,—крикъ, вмѣстѣ съ которымъ, кажется, вырывалось изъ груди и сердце, тотъ не забудетъ его во вѣки. Волосы поднялись у меня дыбомъ, дыханье захватило; я чувствовалъ, какъ похолодѣлъ весь, въ одно мгновенье... И ничего не соображая, не понимая, не отдавая себѣ ни въ чемъ отчета, весь охваченный точно туманомъ отъ ужаса, я какъ-то безсознательно, точно повинуюсь одной неодолимой силѣ этого крика, какъ призыва, бросился на него въ кабинетъ. Тамъ, окаменѣвъ отъ ужаса, какъ блѣдная мраморная статуя, съ широко раскрытыми, безумными, окаменѣвшими глазами, съ искаженнымъ, но прелестнымъ лицомъ и судорожно прижатыми къ недышавшей груди руками, стояла Жень, наклонившись впередъ къ креслу, въ которомъ какъ-то судорожно и протяжно хрипѣлъ старикъ.

Я не понималъ еще ничего и ничего не видѣлъ. Я видѣлъ только тонкую, яркую струю свѣта, яркій золотой лучъ утренняго солнца, который, пробившись изъ-за угла спущенной сторы, золотилъ полосами сѣдую старческую голову, судорожно двигавшуюся по спинкѣ кресла, и разсыпался яркими, жгучими струями по кудрямъ, лицу и складкамъ бѣлаго платья Жени. Я видѣлъ пылинки, которыя носились, плыва, въ этомъ лучѣ и то-

нули, ныряя; я видѣлъ муху, которая одна безучастно кружилась надъ письменнымъ столомъ, кресломъ и бѣлою, окаменѣвшею фигурой дѣвушки. За окномъ на вѣтѣхъ кричали воробей и его силуэтъ, рѣзко выдѣлявшійся темнымъ пятномъ тѣни на ярко освѣщенной сторѣ, качался и прыгалъ то вверхъ, то внизъ. Часы на столѣ рѣзко и твердо тикали въ царившей тишинѣ, но какой-то протяжный не то вздохъ, не то хрипъ заглушалъ ихъ. Я не понималъ еще этого страннаго, протяжнаго звука, я только двинулся, чтобы понять его,—двинулся и все понималъ, все увидѣлъ: и бритву, и кровь, и судорожно поднимавшуюся съ хрипомъ грудь, и потускнѣвшій, холодный, полный боли, полный муки, полный невыразимаго страданія взоръ.

— Папа, папа! Боже мой, папа!—раздался въ моихъ ушахъ не то вопль, не то стонъ,—я не знаю что,—но только что-то ужасное, бездонно-ужасное, до того ужасное, что я задрожалъ весь, какъ листъ, опомнился, пришелъ въ себя точно отъ электрическаго удара,—и двѣ бѣлыя, холодныя руки протянулись къ старику, мараясь въ крови, а глухія рыданія заглушали его хрипы, — папа!

Я видѣлъ, я ясно видѣлъ, какъ на этотъ нечовѣчскій вопль потухавшіе, почти безжизненные зрачки блеснули жизнью, какъ задвигались умиравшія губы и мой слухъ, мой болѣзненно напряженный слухъ уловилъ, какъ жетса, ихъ предсмертный, агоническій шепотъ: „Мои дѣти! Мои бѣдныя дѣти!“

.

Зачѣмъ я бѣжалъ, куда, я не знаю. Я бѣжалъ безсознательно, весь охваченный паническимъ ужасомъ, потому что свади за мною гнались и эти зрачки, и этотъ стонъ, и этотъ хрипъ. Я помню, что мнѣ хотѣлось кричать, звать на помощь, но губы мнѣ не повиновались и я бессильно задыхался отъ боли или ужаса—не знаю. Мнѣ кажется, я бы сталъ звонить въ набатъ, если бы набѣжалъ на колоколъ, и помню, что въ головѣ вертѣлось одно имя: Анчаровъ, Анчаровъ! Почему и зачѣмъ былъ онъ мнѣ нуженъ, я, конечно, не понималъ. Но бессознательно торчавшее въ мозгу имя мало-по-малу овладѣло сознаниемъ настолько, что стало для меня цѣлью,—я, казалось, бѣжалъ къ Анчарову и, казалось, начиналъ понимать это. По крайней мѣрѣ, когда случай натолкнулъ его на меня у подъезда чьего-то дома, я сразу остановился и схватилъ его за рукавъ.

— Пойдемъ!... Пойдемъ!

Онъ не сопротивлялся, не спросилъ—ни куда, ни зачѣмъ, а пошелъ,—по крайней мѣрѣ, я не помню, чтобъ онъ что-нибудь спрашивалъ. Я видѣлъ, что мой видъ, мой голосъ ошеломили его; онъ поблѣднѣлъ, съѣжился, оторопѣлъ какъ-то. Говорять, ужасъ заразителенъ и гипнотизируетъ, лишаетъ воли, даже сознаниа другихъ людей,—можетъ быть, тутъ именно было что-нибудь въ этомъ родѣ, потому что Анчаровъ мнѣ повиновался. Мы шли оба торопливо, молча, не говоря ни слова, и я все держалъ его за рукавъ.

Когда мы вошли, наконецъ, въ кабинетъ, Женя лежала безъ чувствъ на оттоманѣ, возлѣ нея суетилась

прислуга, а у кресла старика толпилась цѣлая куча людей, въ томъ числѣ докторъ и чины полиціи, которые что-то безучастно писали и топили на свѣчѣхъ сжоругчъ. Старикъ уже не хрипѣлъ. Вся испачканная кровью, съдавая голова его лежала, свѣсившись, на лѣвомъ плечѣ. Чей-то повелительный, осипшій голосъ, среди топота ногъ, шуршанья платья, бумаги и какихъ-то неясныхъ восклицаній суевившихся людей, выдѣлялся своимъ словойнымъ, невозмутимымъ ритмомъ, однообразно отдавая одни и тѣ же приказанія:

— Печати!... На все печати!... Не забудьте печатей!

А въ углу, почти у самого порога, дюжій, плутоватый на видъ дѣтина, въ кафтанѣ среднеушеческаго покрова, съ глазами въ-раскосъ, съ какими-то особенными вывертками въ движеніяхъ, громкимъ шепотомъ спрашивалъ экономку, „какъ насчетъ позументу прикажете, потому что какъ гробъ по-благородному“ и т. д., на что честная, мягкая, какъ воскъ, жалостливая нѣмка, вся въ слезахъ, вся пришибленная горемъ, въ удивленіи воскликнула: „Mein Gott, wass will der Kerl! Der grobe Kerl!“

Анчаровъ, — я видѣлъ это ясно, — оперся о каминъ, чтобы не упасть. Лицо его было смертельно блѣдно, глаза вытаращены въ холодномъ, неподвижномъ ужасѣ. Но въ чертахъ его проскальзывало въ этотъ моментъ что-то теплое, хорошее, человѣческое, — что-то такое, чего раньше я въ немъ не видалъ никогда. Его губы дрожали; можно было думать, что онъ шепчетъ.

— Вы, конечно, сдѣлаете для семьи, — сказалъ я ему тихо, наклонясь.

Онъ посмотрѣлъ на меня влажными, не загадочными, не металлическими, не „ловкими“, а влажными человеческими глазами, — посмотрѣлъ такъ, что я повѣрилъ ему въ первый разъ.

— Да, да... все! — шепталъ онъ мнѣ въ отвѣтъ поблѣвными губами, сжимая мою руку.

Я бросился къ Женѣ, которая пришла въ себя, а когда повернулся, Анчарова уже не было.

VIII.

Прошло нѣсколько особенныхъ скверныхъ дней въ вознѣ съ погребеніемъ и въ той больной, душу раздражающей суетѣ, которая неминуемо сопровождаетъ подобныя катастрофы. Женя лежала въ постели, не вставая; доктора боялись, кажется, воспаленія мозга; она бредила, не узнавая никого; власти „описывали“ и „печатали“, гробовщики, могильщики, чтецы и т. д., и т. д., — все это приставало, любезно кланялось, просило денегъ, денегъ и денегъ; все тормозило, суетилось, бѣгало и какъ-то особенно назойливо и мучительно не давало покоя. Прилетѣли и какіе-то родственники; но, узнавъ, что семья въ полномъ разореніи, что ничего, кромѣ расходовъ, на ихъ долю выпасть не можетъ, разлетѣлись такъ же быстро, какъ и слетѣлись, точно вѣроны съ обглоданнаго до-чиста, до-бѣла, остова, оставивъ всѣ заботы, всѣ хлопоты на мнѣ одномъ. И волей-неволей приходилось мнѣ и бѣгать, и суетиться, и хлопотать, и

ломать, въ то же время, голову надъ тревожнымъ вопросомъ: какъ быть дальше, какъ устроить несчастную семью, выгадать для нея хоть какія-нибудь крохи? Дѣло было трудное въ виду полного разоренія, — оставалась одна надежда на Анчарова, — кстати, онъ прислалъ сто рублей на похороны, — надежда, что авось разбуженная ужасною катастрофой совѣсть заставитъ его дать семьѣ хоть часть изъ тѣхъ сотенъ тысячъ, за которыя онъ спустилъ покойному свой „мыльный пузырь“. Я надѣялся потому, что помнилъ и его взглядъ, и его шепотъ. Какъ только кончилась процедура похоронъ, я отправился къ нему.

— Я пришелъ къ вамъ въ качествѣ повѣреннаго Марковича, — сказалъ я, когда онъ быстрыми шагами выбѣжалъ ко мнѣ въ приемную, — вы общались...

— Да, да, да, помню... Грустная исторія, ужасная исторія! — вздохнулъ онъ. — Пойдемъ въ кабинетъ, тамъ потолкуемъ.

Его глаза бѣгали, его лицо не предвѣщало ничего хорошаго.

— Вотъ, — сказалъ онъ, доставая изъ конторки, очевидно, заранѣе приготовленные, два векселя покойнаго, — вотъ я дѣлаю, что могу! — и онъ разорвалъ ихъ.

— Ну? — я ждалъ еще.

— Вотъ и это для семьи! — Онъ досталъ тысячу рублей и положилъ ихъ предо мною, — все, что могу-сь!

— Какъ, это все? Это все, чѣмъ вы можете помочь?...

— А вы чего же еще желаете? — и онъ устался на

меня неподвижнымъ, холоднымъ, какъ сталь, взглядомъ, облокотившись на конторку.

— Михайло Ивановичъ, — началъ я, и отъ волненія у меня дрожали губы, — будемъ говорить прямо. Въ прошломъ у насъ съ вами, насколько помните, нехорошіе счёты, а я не изъ тѣхъ, которые забываютъ прошлое. Я бы не пришелъ къ вамъ, если бы... если бы... ну, словомъ, если бы я не видѣлъ вашего волненія при той сценѣ, — помните? — вы сказали: „да, да, всё сдѣлаю!“

Его коробило, пока я говорилъ.

— Помню! — твердо отчеканили его холодныя губы, хотя лицо покраснѣло и онъ какъ-то сконфуженно отряхалъ пепелъ съ сигары, не глядя на меня.

— Ну-съ?... Я потому только и пришелъ къ вамъ. Вы многое можете сдѣлать.

— Я сдѣлалъ все, что могъ!

— Михайло Ивановичъ, вѣдь, вы ограбили старика, вы сами толкнули его въ пропасть.

Онъ всплеснулъ въ удивленіи руками.

— Ограбилъ? Толкнулъ въ пропасть?! Я?!

— Вы продали ему дутое предпріятіе, которое угрожало вамъ самимъ, можетъ быть, судомъ. Вы сбыли его покойному за сотни тысячъ!

— Дутое предпріятіе?! — старался онъ увильнуть въ сторону. — Да развѣ есть въ коммерціи дутыя и не дутыя предпріятія? Все зависитъ отъ рузъ-съ! Зачѣмъ онъ покупалъ?

Но тутъ онъ самъ понялъ, что заврался.

— Я ему указывалъ выходъ, онъ могъ перевести все на жену!—скороговоркой затушевывалъ онъ сказанное.

— А совѣсть?

— Ха-ха-ха!—захохоталъ онъ дѣланнымъ смѣхомъ,— въ коммерціи совѣстливостъ!... Что же это такое?

— Это абсурдъ, понятно! И вы, конечно, понимали это вполне, когда передавали ему за сотни тысячъ то, что не стоило и гроша! Но я этого не оставляю, въ этомъ даю вамъ слово... Я употреблю все, чтобы вывести наружу это мошенничество,—говорилъ я, не помня себя,—я обращаюсь въ печати.

Онъ презрительно улыбнулся, хотя и поблѣднѣлъ.

— Къ суду...

Онъ поклонился.

— Къ администраціи, наконецъ, если судъ найдетъ, что формальности соблюдены.

— Сколько угодно!

Машинально я подвинулся впередъ, и онъ, вспомнивъ, вѣроятно, прошлое, испуганно нажалъ пуговку электрическаго звонка.

Я вышелъ съ отуманенною злобой головой, съ кипѣвшею внутри желчью. Но оставлять такъ сразу дѣло не хотѣлъ и направился къ Марѣ Львовнѣ, зная ея значеніе у Анчарова.

Я не говорилъ ей ни слова о своемъ визитѣ къ Анчарову, а, рисуя только яркими красками положеніе разоренной семьи, просилъ ее повліять на него. Она выслушала меня молча, хотя, видимо, была взволнована, заѣрзала, какъ-то нерѣшительно взглядывала на меня и кусала губы.

— Но, вѣдь, онъ самъ виноватъ, — какъ-то нерѣшительно, точно оправдываясь, проговорила она, наконецъ, — отчего не перевелъ на жену, какъ совѣтовалъ Анчаровъ? Такъ всѣ дѣлають.

— И вы, Марья Львовна! — не выдержалъ я. — Да развѣ онъ такой человѣкъ?...

— Ахъ, mon cher, вѣдь, спекуляція — не поэзія. Нельзя же въ такія дѣла вводить разныя нѣжности... Согласитесь!... Нужно было слушать Анчарова...

— Анчарова, который надулъ его, своего друга, который продалъ ему дутое дѣло?

— Ахъ, надулъ! — точно обидѣлась она. — Развѣ это надувательство? Это — коммерція... Дружба дружбой, а деньги деньгами! У него же были глаза, — чего-жъ онъ зѣввалъ?

— Марья Львовна!

— Да, да, да, — затараторила она, не слушая, — да! И вы хотите, чтобъ Анчаровъ филантропничалъ?!

— Но, вѣдь, за вздоръ онъ получилъ сотни тысячъ!

— Такъ что-жъ? Такъ всѣ дѣлають. Не онъ первый, не онъ послѣдній; это законъ спекуляціи. И Анчаровъ всего меньше человѣкъ, способный на разныя сантиментальности... Это дѣловой человѣкъ!

По тону и словамъ можно было думать, что тутъ все потеряно, но Марья Львовна была женщина. Я не доказывалъ ей, не убѣждалъ, — я обращался только къ ея чувству. Мало-по-малу она перестала возражать, разволновалась и, кажется, чуть не прослезилась.

— Вотъ что, — сказала она взволнованнымъ голосомъ,

кладя мнѣ на плечо руку.—Мнѣ самой жаль эту семью, а вы еще больше подогрѣли меня... Но помочь вамъ я не могу, — я, лично, понимаете?... Анчаровъ не такой человѣкъ, чтобы кого-нибудь слушать... Но я дамъ вамъ совѣтъ...

— Какой?

— А вотъ какой: обратитесь къ его женѣ; онъ переведъ все на нее, да и богатство-то ихъ, въ сущности, не его, а ея... Затроньте ея чувствительность: она, вѣдь, осталась прежнею Гликочкой,—немного насмѣшливо встала Марья Львовна,—и какъ-нибудь такъ, чтобы онъ не узналъ, да поскорѣй... Она можетъ выдать векселя или что-нибудь въ этомъ родѣ семьѣ... Понимаете?... Но только, чуръ, пусть это останется между нами, а не то Анчаровъ мнѣ не проститъ... Слышите?

— Конечно... Развѣ она вернулась изъ-за границы?

— Да, надняхъ... Идите сегодня вечеромъ къ ней; они на разныхъ половинахъ, да и Анчарова дома не будетъ. Только, смотрите!—погрозила она шутливо.

Вечеромъ я пошелъ. Еще въ прихожей столѣнулся я съ высохшею, напоминавшею мумію,—до того она была тоща,—женскою фігурой съ бѣлесоватыми глазами и съ трудомъ узналъ въ ней Гликочку.

— Гликерія Ивановна, Гликочка!...

Она отступила на шагъ, широко вытаращила свои бѣлесоватые глаза, разставила руки, слегка вскрикнула, точно застонала, и вдругъ бросилась мнѣ на шею.

— Это вы... вы... неужели?!—плакала она у меня на плечѣ.—Ахъ, какъ я рада, какъ я рада! Пойдемъ, пой-

демъ ко мнѣ! — потащила она меня. — Вспомнимъ наше старое, наше честное старое... оно уплыло... уплыло! — продолжала она, плача.

Меня самого, признаюсь, разстроила эта встрѣча. Все старое, заснувшее, полузабытое точно ожило и нахлынуло густою, неудержимою волной. Эти слезы Гликочки отдавали чѣмъ-то вродѣ похороннаго плача.

— Гликерія Ивановна! — хотѣлъ было я успокоить ее, но она перебила меня.

— Нѣтъ, не Гликерія Ивановна! Зовите меня Гликочкой, какъ прежде, какъ тогда... Я все прежняя Гликочка, глупенькая, но честная и искренняя... Да, да, прежняя, хотя вкругомъ одна подлость... Ахъ, сколько подлости!

Она говорила это такъ страстно, съ такою неподдѣльною болью, что мнѣ стало жаль ее.

— Что вы, Гликочка, что вы? Это такъ кажется больше!... Развѣ можетъ жизнь одною подлостью пробавляться? Посудите сами!...

— Ну, ужъ не знаю, право! Только я такъ несчастна, такъ глубоко несчастна... Знаете, вѣдь, вы другъ, вамъ можно, — знаете, этотъ Михайло Ивановичъ такой... такой!... — и она совсѣмъ разрыдалась.

— Гликочка!

— Но я, глупая, его такъ люблю... ахъ, такъ люблю! — и она заломила точно въ отчаянны руки.

Въ этомъ сказалась вся Гликочка.

— А я къ вамъ по дѣлу, Гликочка, — перебилъ я ее

ламентации и грустныя, и смѣшныя,— по дѣлу несчастныхъ Марковичей...

— Что-жь? Что-жь? — быстро спохватилась она. — Бѣдные они, бѣдные... Ахъ, мнѣ такъ жалъ!

Я рассказалъ ей все: и травлю на старика, и перепродажу, и причину полного разоренія, и мой разговоръ съ Анчаровымъ,—все, до мельчайшихъ подробностей. Она слушала, то, блѣднѣя, то вскакивая отъ изумленія, то хныча, то, перебивая меня всевозможными возгласами негодованія.

— Вы говорите: векселей имъ выдать, да? О, непременно! Это ужасно, это невѣроятно!... Сейчасъ, сію минуту. Самъ Богъ послалъ васъ ко мнѣ! — кричала она, когда я кончилъ, бѣгая по комнатѣ въ неописуемомъ волненіи.

Со мной были вексельные бланки; я вынулъ ихъ и положилъ. •

— Диктуйте! — и она схватила со стола перо. — Сколько писать? Скорѣй, скорѣй!

— Это ваше дѣло.

— На пятьдесятъ тысячъ, по десяти? — лихорадочно спросила она и взяла бланкъ.

— Отлично.

— Ну, диктуйте же!

Я сталъ диктовать, а она торопливо записывала, волнуясь, браня и перо, которое плохо писало, и густоту чернилъ, и съ какою-то точно злобой по нѣскольку разъ со стукомъ макала перо, повторяя:

— Ахъ, бѣдные! Ахъ, несчастные! — Но вдругъ она

спохватилась и зарыдала.—А что, если онъ разсердится? Ахъ, я такъ его люблю!—хныкала она, бросивъ перо и отодвигая бланкъ.

Признаюсь, я почувствовалъ себя крайне глупо: на такой пассажъ я уже никакъ не рассчитывалъ. Все шло какъ нельзя лучше и вдругъ эти неожиданныя слезы, эта странная нерѣшительность. Я покраснѣлъ и глупо уставился на нее, не зная, что говорить, а она смотрѣла на меня умоляющими, плачущими глазами, точно прося ее выручить. Въ это же мгновенье въ комнату, какъ бомба, влетѣлъ Анчаровъ.

— Что это? Векселя? Шантажъ?—внѣ себя, весь задыхаясь и трясаясь отъ злобы, крикнулъ онъ, схватывая разложенные бланки. Послѣ оказалось, что, опасаясь моего визита къ Глибочкѣ, онъ на всякій случай отдалъ приказаніе прислугѣ увѣдомить его о моемъ приходѣ.

— Что это? Шантажъ?!

Глибочка вскочила. Какъ всѣ „Глибочки“, застигнутая врасплохъ, она проявила на моментъ, на одинъ моментъ, конечно, неожиданную дерзость.

— Какъ вы смѣете такъ выражаться?—крикнула она, вспыхнувъ. — Это справедливость одна! Вы ограбили семью... я ей выдамъ векселей на пятьдесятъ тысячъ, непременно выдамъ!

— Ты разорить меня хочешь?

— Хочу, хочу, хочу!—топала Глибочка.

— Ты разрушишь всѣ мои планы!

— Ваши планы? Ха-ха-ха! Ваши планы?... Вы мнѣ смѣете говорить про планы? Никакихъ у васъ плановъ

нѣтъ! Одна безсовѣстность да алчность! Одна сплошная ложь!

— Гликочка! Дитя мое!...

Но Гликочка и безъ этого страстнаго восклицанія уже выговорилаcь. Она заламила руки и заплакала.

— Ахъ, когда я такъ его, глупца, люблю, такъ люблю!—умоляюще, точно оправдываясь, обернулась она ко мнѣ, ломая руки.

Я схватилъ шляпу и выбѣжалъ.

.....

На другой день меня позвали, обвинили почти въ шантажномъ вымогательствѣ векселей, посовѣтовали не вводить раздора въ „почтенную семью“ и оставить городъ.

IX.

Тяжелымъ гнетомъ легла вся эта жизненная драма на мою душу, и гнетущій призракъ ея все носился предо мною въ шумѣ и сутолокѣ столичной жизни. Но до финала было еще далеко; финалъ пришелъ позже, драма тянулась да тянулась, незамѣтно, тихо, за занавѣсью, которая, вдругъ поднявшись, открыла одну развязку, но такую глубоко-больную, что передъ нею поблѣднѣло все предшествовавшее, все то кровавое прошлое, которое ее обусловило и отъ котораго я тщетно искалъ себѣ забвенія. Все это померкло, потускнѣло передъ однимъ письмомъ Жени,—ея роковымъ письмомъ, оглушившимъ меня, какъ ударъ грома, наполнившимъ душу тою острою,

невыразимою болью, которую не тушатъ даже мужскія слезы, которая не гложетъ съ годами, для которой нигдѣ и никогда нѣтъ забвенія. Такая боль заползаетъ въ душу, какъ хроническій, неизлечимый недугъ въ заболѣвшее тѣло, что гложетъ тихо, незамѣтно, но упорно, шагъ за шагомъ; она встаетъ подчасъ какимъ-то тяжелымъ укоромъ, точно шепчетъ человѣку, что и онъ виноватъ,—виноватъ уже тѣмъ однимъ, что спокойно жилъ, думалъ, дышалъ, когда за спиной у него разыгрывалось то роковое, чему онъ не приберетъ теперь и названія, но что въ свое время онъ бы могъ, пожалуй, предотвратить своимъ внимательствомъ.

Это письмо лежитъ предо мною; его потускнѣвшія, пожелтѣвшія строчки сливаются въ моихъ глазахъ въ кровавыя, перепутанныя нити; ни читать, ни разобрать-ся въ нихъ я не могу, да и не зачѣмъ,—его слова отпечатлѣлись въ мозгу такъ сильно, что я могу читать наизусть. Я получилъ его поздно вечеромъ, прочелъ, окаменѣлъ какъ-то, застылъ, забылся, а когда очнулся, когда забившееся сердце пробудило меня отъ внезапной дремоты, я зналъ каждое слово, помнилъ каждый переносъ.

„Дорогой другъ мой!

„Когда вы будете читать это письмо, меня уже не будетъ на свѣтѣ. Вы пожалѣете меня, конечно, но я хочу, чтобы вы меня и простили. Знаете, невозможно умирать съ нехорошею тайной, съ сознаниемъ проступка... по крайней мѣрѣ, я не могу. Я хочу вамъ покаяться, — вамъ, вамъ одному, потому что ни мамѣ, ни

сестрамъ я ничего не сказала. Зачѣмъ мнѣ ихъ мучить?— и такъ моя смерть принесетъ имъ много горя,—а я хочу, чтобы онѣ всѣ были счастливы и обезпечены. Бѣдная мама, бѣдныя сестры, какъ онѣ будутъ плакать, какъ имъ будетъ тяжело, но за то онѣ будутъ обезпечены! Горе, которое я имъ принесу, будетъ имѣть для нихъ и хорошую сторону. Я оставлю имъ только коротенькую записку, въ которой пишу, что стрѣляюсь потому, что жизнь надоѣла и много горя вынесла. Но вамъ я скажу все... все,—я хочу покаяться и хочу, чтобы вы мнѣ простили. Ахъ, я такъ много думала, такъ много плакала... Знаете, другъ мой, откуда эти 25,000 рублей, которыя я перевела на васъ съ порученіемъ передать ихъ мамѣ и сестрамъ подъ видомъ остатковъ отъ ликвидаціи нашихъ дѣлъ, — я еще разъ, и еще разъ прошу васъ, умоляю не говорить ничего никому,—знаете? Ахъ, еслибъ все это зналъ папа, чтò бы онъ сказалъ? Онъ бы не повѣрилъ!... Но что же дѣлать, что же дѣлать, когда бѣдная мама и сестры умрутъ съ голоду?...

„Вотъ какъ все это вышло. Я писала вамъ, что я нашла себѣ уроки, которые совсѣмъ меня обезпечивали,—къ роднымъ уѣзжать я не хотѣла. Я хорошо устроилась, нашла себѣ маленькую, уютную комнату. Въ ней много свѣта и всѣ окна выходятъ въ прелестный садъ. Ахъ, въ немъ такъ хорошо, такъ хорошо! Себя я чувствовала спокойно и даже немного гордилась, что трудомъ зарабатываю средства. Тревожила меня только судьба мамы и сестеръ, которыя все не ѣхали, проживали за границею послѣдній грошъ, — бѣдная мама лежала въ постели.

Когда у нихъ вышли всѣ деньги, она написала мнѣ пойти къ Анчарову и попросить у него денегъ до полной ликвидаціи нашихъ дѣлъ; — вѣдь, она, бѣдная, помнила и знала только одно, что онъ нашъ старый пріятель. О, чего мнѣ стоило пойти къ нему! Я точно почувствовала все, что вышло изъ этого визита. Я много плакала, прежде чѣмъ пошла, но онъ встрѣтилъ меня по-родственному, сейчасъ же послалъ деньги и даже пожурилъ, что я не заглянула къ нему раньше. „Я бы и самъ, конечно, навѣстилъ васъ,—сказалъ онъ,—но думалъ, что вы на меня сердитесь, хотя я ни въ чемъ не виноватъ. Покойный самъ подготовилъ себѣ все своею непрактичностью!“ На другой же день онъ навѣстилъ меня, просидѣлъ долго, почти весь вечеръ, и опять держалъ себя мило, тепло, по-родственному. Онъ любовался и моею комнаткой, и моею черемухой, и канарейкой, все спрашивалъ о мамѣ и сестрахъ; я даже ему письма ихъ давала читать. Черезъ день онъ опять пріѣхалъ и сталъ ѣздить каждый вечеръ. Мы и гуляли съ нимъ по цѣлымъ часамъ, и читали, и перебирали прошлое. Конечно, будь я опытнѣе, не будь я такъ глупа, я бы поняла его и его визиты, поняла бы его тонъ, его взгляды, но тогда я ничего не понимала. Иногда меня брало какое-то раздумье, но я такъ была увѣрена, что онъ только жалѣетъ меня и нашу семью, что въ немъ говоритъ только старая пріязнь. Ахъ, какъ я была глупа! Иногда его посѣщенія были мнѣ тяжелы, мнѣ хотѣлось быть одной, но я сейчасъ же пересиливала себя и упрекала въ неблагодарности,—мамѣ онъ все посылалъ

большія суммы. Такъ тянулось до вчерашняго вечера, до этого ужаснаго вечера. Нѣтъ, я не могу... мнѣ нужно отдохнуть.

„Я провалялась цѣлый часъ въ какомъ-то отупѣніи, въ тупыхъ, но тяжелыхъ слезахъ, а нужно спѣшить, нужно кончать, а не то онъ пріѣдетъ за мной. Да, за мной, слышите? Онъ купилъ мое тѣло,—ну, и долженъ застать только одно тѣло. Ахъ, зачѣмъ все это именно такъ вышло?... Вѣдь, я еще хочу, хочу и хочу жить! Бѣдная мама, бѣдныя сестры! Я только для васъ все это сдѣлала, но вы не должны этого знать, никогда, никогда!

„Мы гуляли съ нимъ вчера у рѣки, надъ обрывомъ,—помните?—вамъ еще такъ нравилось это мѣсто. Рѣка тихо катилась, плавно, спокойно, и волны такъ нѣжно шумѣли и плескались о скалы, что ухо чуть ловило эти звуки. Дубы стояли тихо и угрюмо, какъ закодированные рыцари въ сказкахъ, а съ неба въ рѣку глядѣли звѣзды и качались на волнахъ. И вдругъ затрещалъ соловей, но такъ затрещалъ, что я, кажется, никогда не слышала такого пѣнія. Я стояла, какъ околдованная, и сама готова была, Богъ знаетъ отчего, заплакать. И тутъ вдругъ Анчаровъ бросился ко мнѣ, бросился...

„Онъ цѣловалъ мои ноги, мое платье, ловилъ мои руки, клялся и признавался въ своей страсти. Сначала я ничего не понимала, я испугалась и дрожала отъ испуга, но пришла въ себя, когда онъ заговорилъ о мамѣ. Онъ обѣщалъ ее осыпать золотомъ, дать ей возможность лечиться, кончить жизнь въ довольствѣ и убѣждалъ меня принести эту жертву для семьи, для больной старухи-

матери. Онъ говорилъ, что уѣдетъ со мной за границу, гдѣ никто не упрекнетъ меня за нашу связь; говорилъ, что страдаетъ съ своею женой, которую онъ не любитъ. И все говорилъ о мамѣ, о сестрахъ, объ ихъ нуждѣ,— о, Боже мой, Боже мой! Я слухала, какъ каменная, но дрожала съ ногъ до головы, какъ человѣкъ больной лихорадкой. Я не могла произнести ни звука и стояла неподвижно, пока онъ схватился за бумажникъ. „Берите, берите,—лихорадочно произнесъ онъ,—берите!... Сколько нужно? Десять тысячъ? Пятнадцать? Двадцать? Двадцать пять?...“ Тогда я вскрикнула, или зарыдала, не помню, и побѣжала, сломя голову. Но дома я одумалась, я пришла въ себя. Глубокая обида, страшная боль давили меня, но предо мною стояла больная мама и бѣдныя сестры. Боже мой, какія онѣ всѣ бѣдныя! Я все думала и плакала, плакала и думала! И я надумала, я все надумала. Утромъ я послала къ нему записку: „Пришли-те немедленно двадцать пять тысячъ и пріѣзжайте вечеромъ“. Цифру я написала машинально; это было послѣднее слово, которое онъ прокричалъ, и оно стояло въ моихъ ушахъ. Деньги лежали уже предо мною черезъ часъ и я снесла ихъ въ банкъ и перевела на васъ. Отдайте ихъ мамѣ!

„Когда онъ пріѣдетъ, револьверъ сдѣлаетъ свое дѣло; онъ застанетъ только мое тѣло и пусть назоветъ меня воровкой. Мнѣ все равно. А вы?... Видите, я опять плачу.

„Но плакать долго нельзя. Скоро загремитъ его карета въ нашемъ молчаливомъ переулкѣ, а письмо нуж-

но послать. Боже мой, какъ тяжело умирать! Черемуха такъ и тянется ко мнѣ, вмѣстѣ съ розовыми лучами близкаго заката. Моя канарейка все скачетъ. Всѣ, всѣ могутъ и будутъ жить, а я нѣтъ. Почему, за что? Что я сдѣлала?!.. Я—воровка!... Ой, нѣтъ, развѣ жизнь человѣческая не стоить двадцати пяти тысячъ?

„Прощайте всѣ, всѣ. И ты, розовое солнце, и ты, бѣлая черемуха, и ты, моя канарейка, и мама, и сестры, и зеленое поле, и рѣка, и дубы, и все, все... И люди прощайте, прощайте, добрые люди!... Я всѣхъ, всѣхъ люблю, всѣмъ и всему говорю прощай, любя!..

„И вы прощайте, мой дорогой и хорошій другъ! Прощайте и простите! Поцѣлуйте маму и сестеръ... Прощайте, а не то я совсѣмъ расхнычусь. Я сейчасъ запечатаю и отправлю съ своею доброю Матреной. То-то бѣдная испугается, когда вернется! Вѣдь, тогда ея „солнышко-барышня“ будетъ лежать бездыханная. Прощайте и простите вашу „егозу черноглазую“!

„Женя Марковичъ“.

„Нѣтъ, я не могу, не могу, не могу!...“

Но она смогла. Вслѣдъ за этимъ письмомъ я прочелъ въ газетѣ слѣдующее:

- „У насъ опять самоубійство. Застрѣлилась изъ револьвера дѣвица Евгенія Марковичъ, дочь прогорѣвшаго на неудачныхъ спекуляціяхъ богатаго помѣщика, 18-ти лѣтъ. Покойная оставила только краткую записку къ роднымъ, въ которой заявляла, что ей надоѣло жить. Выстрѣлъ былъ направленъ прямо въ сердце, изъ чего

можно заключить, что смерть была моментальная. Покойная блистала красотой“ и т. д., и т. д.

Х.

Анчаровъ, конечно, какъ и прежде, былъ „душой“, „звѣздой“, „оракуломъ“, чѣмъ хотите. Крайне отзывчивый на всякія „вѣянія“ и „настроенія“, согласно новому духу времени, новому кодексу понятій, онъ слылъ уже, понятно, не „титаномъ“, не „дѣльцомъ“ даже, а „трезвеннымъ, свѣдущимъ“ человѣкомъ. Банки его были переуступлены, „предпріятія“ ликвидированы, блестящіе „планы“ переданы въ другія ловкія руки, а самъ онъ, „послуживъ дѣлу промышленности и оживленію края“, съ спокойною совѣстью опочилъ на лаврахъ „предводительства“ въ уѣздѣ, добрая часть котораго составляла теперь его неотъемлемую, благопріобрѣтенную собственность. Естественно, онъ воевалъ теперь съ „этимъ земствомъ“, съ этимъ „корнемъ зла“, какъ выразительно называлъ онъ его, расточая все, что только можно было расточать, на головы немногочисленной, но стойко державшейся кучки дѣйствительно земскихъ людей, стоявшихъ за земскіе интересы, — „ну, не сумасброды ли это, не фантазеры ли, не вредные ли люди?“ — отрицалъ „эти г-л-а-с-н-ы-е, — Боже, сколько презрѣнія было въ этомъ! — „гласные“ суды, чуждые и народному духу, и его традиціямъ“, — „Помилуйте, вѣдь, это смѣхъ одинъ! Мошенники остаются безнаказанными!“ — и прессу, эту „ужас-

ную" прессу, которая „подрывала и святость семейнаго очага, и понятіе о благопріобрѣтенномъ“. И все это говорилося, конечно, только во имя „отечества“, во имя интересовъ „нашего простаго, добраго, сѣраго мужичка“, которому нужна только „добрая ложка каши“ и ведерко-другое ржанаго „излюбленнаго квасу“... Только!

И Марья Львовна, прелестная Марья Львовна, смѣшавшая нѣкогда прогрессъ съ ажіотажемъ, а нынѣ ажіотажъ съ „трезвеннымъ дѣломъ“, осталась все прежнею прелестною Марьей Львовной съ удивительными ножками,—ахъ, эти ножки! — и плечами, теперь, впрочемъ, всегда покрытыми густымъ, но довольно прозрачнымъ тюлемъ. Она блюла уже строго посты, пожимала своими удивительными плечами на „этихъ стриженныхъ“, — о, всему причиной эти курсы, это всѣмъ извѣстно! — и писала въ „трезвенной“ газетѣ страстные, полные огня, фельетоны, въ которыхъ распиналась за „священныя обязанности матери“, — Боже, какъ она несчастна, какъ глубоко несчастна, что у нея самой нѣтъ такого кругленькаго, упитаннаго,—ахъ! такого краснощекаго бабѣ. Она гдѣ-то „предлагала свои услуги“, даже служила и всѣхъ призывала остепениться, одуматься, бросить, наконецъ, это „глупое подраженіе Европѣ“. „Посмотрите! Наши добрые, вѣрные мужички: они всѣмъ довольны, никогда не ропщутъ,—кричала она всѣмъ и каждому и сейчасъ же добавляла:—блаженны кротцы!“

Когда я поѣхалъ въ N., меня сильно просили добрые знакомые выхлопотать въ земствѣ стипендію для одного бѣднаго, безроднаго юноши, только что кончившаго гим-

назію и не имѣвшаго никакихъ средствъ поступить въ университетъ. Какъ ни увѣрялъ я, что не имѣю ни малѣйшихъ шансовъ добиться успѣха, что въ N. у меня нѣтъ никакихъ связей, ко мнѣ приставали такъ сильно, что, волей-неволей, я далъ слово хлопотать и сдѣлать все возможное. Все зависѣло, главнымъ образомъ, отъ Анчарова и потому, естественно, я пошелъ къ Марѣ Львовнѣ.

Она забросала меня восклицаніями, какъ всегда, перебывала, увѣряла, что пора „одуматься“, но когда выговорила, стала слушать спокойно. Вѣроятно, утомившись, она даже пообѣщала сама упросить Анчарова и, несомнѣнно, успѣла бы въ этомъ, не принеси его нелегкая какъ разъ въ тотъ моментъ, какъ я только что собрался уходить.

— Сама судьба, сама судьба!—закричала Марья Львовна, бросаясь къ нему на встрѣчу и быстро, какъ всегда, скороговоркой передавая ему мою просьбу. — Вы сдѣлаете, да, вы сдѣлаете?—приставала она съ томною граціей молодой институтки.

Анчаровъ только что разглядѣлъ меня и еле успѣлъ спрятать выразительно-недовольную гримасу. Его видъ былъ спокойно-важенъ; борода съ просѣдью, которую онъ носилъ теперь, придавала ему много величія и сановитости. Кивнувъ мнѣ глазами, такими же бѣгающими, живыми глазами, какъ и прежде, онъ спокойно и важно остановился, положилъ на столъ свою фуражку съ краснымъ околышемъ, подумалъ и спокойно-важнымъ, размѣреннымъ тономъ отрѣзалъ:

— Никогда-съ!

— Почему?—невольно вырвалось у меня.

— Таковъ мой принципъ. Коли не пошъ, не суйся въ ризы!... Нѣтъ у него средствъ,—незачѣмъ и въ университетъ! — такъ же спокойно, наставительно продолжалъ Анчаровъ.

— То-есть какъ это?—пожалъ я плечами.—Бѣдняки не должны учиться?

— Въ университетѣ — да! Совершенно вѣрно-съ, не должны!—подхватилъ онъ.—Довольно съ насъ ученыхъ пролетаріевъ, этихъ разныхъ „истовъ“, — очень довольно-съ! Будетъ-съ!

— Пусть идутъ въ ремесла, какъ за границей, напри-
мѣръ,—подхватила Марья Львовна, — разные профессіи изучаютъ... Помилуйте, у насъ даже лавреєвъ нѣтъ хорошихъ, нянекъ, поваровъ, садовниковъ, мѣтръ-д'отелей!

Я невольно расхохотался.

— Однако, еще очень недавно вы утверждали совсѣмъ иное... теперь отрицать начали.

— Да, да, да и да!—какъ-то странно подхватилъ Анчаровъ.—Все теперь отрицаемъ-съ! Въ этомъ, батенька, весь такъ называемый *raison d'état*, весь смыслъ исторіи... Сначала утверждать, потомъ отрицать...

— А потомъ?—Меня заинтересовала эта своеобразная философія.

— А потомъ,—съ апломбомъ, ни мало не смущаясь, продолжалъ Анчаровъ,—потомъ истина-съ и ляжетъ въ свой моментъ по срединѣ! Понимаете? Въ свой моментъ! Но не раньше, не раньше-съ!

— Какой умъ, какой государственный умъ!—захлебывалась мнѣ въ ухо Марья Львовна. — Ахъ, еслибъ его планы были приняты! Ахъ!...

— Это выходитъ нѣчто вродѣ терминовъ: сначала тезисъ, потомъ антитезисъ и, наконецъ, синтезъ. Такъ?

Анчаровъ пропустилъ мимо ушей мой шутливый тонъ.

— Такъ, такъ, такъ... Именно-съ! Это прелестная аналогія... Да, вѣдь, жизнь имѣетъ тоже свою логику! Сначала синтезъ, потомъ антитеза... или то бишь... ахъ, я совсѣмъ сбился!... Ну, да все равно, вы понимаете...

.

Немного спустя я встрѣтилъ его недалеко отъ одного изъ департаментовъ. Онъ весь сіялъ и весело протянулъ мнѣ свои руки, точно другу. Въ моменты глубокаго счастья, какъ извѣстно, забывается все горькое, злое и обидное.

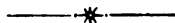
— Можно думать, что вы выиграли двѣсти тысячъ, право!

— Больше-съ, больше!—отвѣтилъ онъ, сіяя. — Я получилъ, наконецъ, назначеніе, котораго давно...

— Вотъ что!—Мнѣ стало какъ-то жутко.

— Да-съ!—отвѣтилъ онъ, потирая руки и зорко пронизывая меня взглядомъ.—Пора непосредственно воздѣйствовать на жизнь! Пора отъ словъ перейти къ дѣлу-съ! Да-съ!... Человѣкъ, у котораго есть свой планъ... вы понимаете?

Я, конечно, понялъ.



КОНЕЦЪ АНЧАРОВА.

(НѢЧТО ВРОДѢ ЭПИЛОГА).

КОНЕЦЪ АНЧАРОВА.

(Нѣчто вродѣ эпилога).

Э т ю д ъ.

I.

.... Прошли года... Дѣла все задерживали меня въ столицѣ и въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ подъ-рядъ мнѣ ни разу не пришлось побывать въ N. Когда я попалъ туда, наконецъ, никого изъ семьи Марковича тамъ уже не было. Старуха мать давно умерла за границей, дочери, выйдя замужъ, разѣхались въ разныя стороны, и только на лѣто съѣзжались сюда въ небольшую подгороднюю деревеньку, доставшуюся имъ послѣ матери. Разъ, вечеромъ, долго бродя по тротуарамъ, полный обычной тоски, глодавшей меня съ утра до вечера, я какъ-то вдругъ сразу повернулся и машинально пошелъ внизъ, за городъ, только смутно сознавая, что иду къ кладбищу.

Сторожъ у калитки сказалъ мнѣ, гдѣ найти могилу Жени; она была похоронена рядомъ съ отцомъ. Машинально вошелъ я на погостъ и такъ же машинально

двинулся по густой кладбищенской аллеѣ. На дворѣ стояла осень и желтый, мертвый листъ усыпалъ дорожки, простые могильные бугры, дорогіе памятники, высокіе и малые кресты. Мягко шуршалъ этотъ листъ подъ моими ногами, и этотъ мягкій шорохъ какъ-то особенно хорошо, какъ-то грустно хорошо, гармонировалъ и съ моимъ настроеніемъ, и съ сѣрымъ осеннимъ небомъ, и съ этою тихою, грустною аллеей плакующихъ березъ, липъ и каштановъ. Тихо все было, неподвижно, безмолвно, только одинокая ворона каркнула, пролетѣвъ гдѣ-то, а въ душу заползало то особое чувство покоя, холоднаго, безстрастнаго покоя, безъ участія, равнодушія къ себѣ, къ своему „я“, которое нагоняется такъ часто на нервныхъ людей безмолвнымъ, грустнымъ видомъ кладбища. Ничего какъ-то не чувствуется тогда, ничего не выдѣляется, все какъ-то тупо, тупо и покойно.

Я думалъ о могилѣ, которая была тамъ, внизу, за поворотомъ, подъ густою кущей деревьевъ. Я зналъ, какой памятникъ поставленъ на ней: колонка, увитая гирляндой; въ мысли онъ рисовался мнѣ пустыннымъ, одинокимъ, усыпаннымъ желтымъ листомъ, обвитымъ густыми, полубнаженными вѣтвями. Я сорвалъ нѣсколько стеблей еще зеленой травы, чтобы бросить на этотъ желтый листъ, и шелъ все впередъ, ничего не видя, не разглядывая. Машинально повернулъ я и остановился, какъ вкопанный....

Могила была не одинока, не пустынна! Ее осыпалъ желтый листъ, ее обвивали черныя, голыя вѣтви, но на плитѣ у подножія колонки сидѣла живая, человѣческая

фигура. Въ глубокой задумчивости, уткнувшись лбомъ въ ладонь согнутой, упертой въ колѣно руки, сидѣлъ кто-то, какой-то дряхлый старикъ, тоже ничего не видя и не слыша. Шляпа валялась у его ногъ и букетъ живыхъ цвѣтовъ выдѣлялся яркимъ, почти рѣжущимъ пятномъ на грустной желтизнѣ опавшихъ листьевъ. Кто это?...

Разбуженный, встревоженный моимъ шагомъ, онъ поднялъ голову: Анчаровъ!

Да, это сидѣлъ онъ, одинъ, подъ этимъ сѣрымъ, вечернимъ небомъ, среди этой кучи сплетенныхъ, полуобнаженныхъ вѣтвей, на этой бѣлой плитѣ, придавившей собою когда-то живаго человѣка. Сразу онъ не узналъ меня; его глаза были мутны, онъ всматривался въ меня подозрительно, недружелюбно, зло, какъ всматривается всегда человѣкъ, неожиданно и грубо потревоженный въ своихъ личныхъ, интимныхъ ощущеніяхъ. Но, узнавъ, онъ вздрогнулъ,—вздрогнулъ и побѣлѣлъ, какъ его носовой платокъ.

Мы точно спорить сошлись за эту могилу, за это тихое, грустное мѣсто. Этого я не ждалъ. Признаюсь, я почувствовалъ себя неловко, я покраснѣлъ, какъ всегда при чужой драмѣ. Мнѣ было какъ-то и досадно, и больно, и обидно, что я такъ съ разбѣга ворвался въ чужую душу, въ ея міръ, въ ея интимность. Я чуть не сказалъ: „извините!“ и хотѣлъ повернуться, но онъ предупредилъ меня. Молча, не говоря ни слова, не кивнувъ мнѣ даже головой, онъ всталъ, поднялъ шляпу и, не глядя на меня, повернулся идти.

Мнѣ стало еще болѣе неловко и, вмѣстѣ съ тѣмъ,

какое-то особенное чувство овладѣло мной... На моментъ что-то заклокотало внутри, съ устъ, казалось, готовилось сорваться жесткое слово, но только на моментъ. Этотъ угнетенный, жалкій видъ, эта уступчивость точно говорили о раскаяніи, о душевной мукѣ, о стыдѣ, а все это, если не всегда примиряетъ, то всегда останавливаетъ движеніе гнѣва. Право, не знаю, что именно такое почувствовалъ я, какъ характеризовать это ощущеніе, но мнѣ вдругъ какъ-то грустно стало отпустить его *такъ*, молча, безъ слова, безъ... я не скажу ласки, не скажу теплоты, но вообще *такъ*... Этотъ неожиданный проблескъ общечеловѣческихъ душевныхъ свойствъ и чертъ въ немъ, котораго я всегда видѣлъ и зналъ только черствымъ, расчетливымъ, хитрымъ лгуномъ, вызвалъ въ душѣ моей вдругъ что-то родъ жалостливости. Но и сказать ему что-нибудь я тоже не могъ,—не хватало словъ и силъ вымолвить ихъ,—не знаю, чего не хватало еще,—только я все продолжалъ глядѣть ему вслѣдъ молча, не двигаясь, не переставая чувствовать какую-то странную неловкость...

Онъ шелъ, но вдругъ повернулся, остановился и посмотрѣлъ на меня, точно тоже собираясь что-то сказать. Я видѣлъ, какъ зашевелились его усы, раскрылись губы, готовые, казалось, вымолвить что-то, и напряженно ждалъ... Ножданное слово не вылетѣло,—можетъ быть, тоже силъ не хватило для него,—и, остановившись только на моментъ, Анчаровъ вдругъ махнулъ рукой, повернулся вновь и скрылся, не обернувшись уже ни разу.

II.

Со дня этой встрѣчи я долго его не видалъ,—я съ нимъ не встрѣчался, ничего о немъ не слышалъ,—я ушелъ отъ всѣхъ и отъ всего. Потерявъ, какъ и другіе, смыслъ жизни, свою „нить“, свою вѣру, все то, что называется „душой“, я только нылъ, постыдно нылъ, грызъ, проклиналъ, терзалъ и самого себя, и другихъ. Жизнь точно уплыла изъ рукъ, и я, съ холодною, опустѣвшею душой, съ бессмысленно какъ-то бившимся сердцемъ, точно во снѣ, а не на яву, въ гипнозѣ, стоялъ, казалось, на пустынномъ кладбищѣ, сгнившіе кресты котораго, треснувшія, полустертыя плиты да могильные бугры грустно напоминали о кипѣвшей нѣкогда жизни. Однимъ лучемъ, одною искрой, еще согрѣвавшей мою истлѣвавшую, казалось, душу, былъ Боря, мой воспитанникъ, сынъ гдѣ-то далеко изнывавшей Лели,—старого друга,—и Анчарова, который никогда не зналъ его, не видалъ, никогда о немъ не справлялся. Уѣзжая въ свое „далеко“, гдѣ не было, конечно, хорошихъ школъ, Кутыревы оставили мнѣ Борю, какъ другу, какъ духовному брату, съ однимъ завѣтомъ: сдѣлать изъ него человѣка и никогда не говорить ему объ истинномъ отцѣ, за котораго мальчикъ принималъ Кутырева, не открывать ему тайны его рожденія. „Будетъ время,—говорила Леля,—выростетъ онъ, поумнѣетъ, и тогда я сама скажу ему все“.

Боря спасалъ меня; онъ замѣнялъ мнѣ все то, безъ

чего нельзя жить человеку, онъ наполнялъ собой парившую въ душѣ пустоту, имъ сдерживался напоръ той страшной волны скорбно-холоднаго, безнадежнаго нытья, которая могла бы поглотить меня, залить, задушить,—онъ поддерживалъ во мнѣ застывавшее желаніе жизни. Я оживалъ въ немъ и съ нимъ, я вспоминалъ себя, „насъ“, глядя въ его чистые глазенки, сверкавшіе молодою вѣрой и любовью, и, вспоминая, я молился только объ одномъ, — чтобы путь его былъ шире и легче, чтобы разбившее „насъ“ не коснулось его. Пытливо всматривался юноша въ жизнь, часто терзало его недоумѣніе, часто искалъ онъ отвѣтовъ, не разбираясь въ путаницѣ жизненныхъ явленій съ ихъ подчасъ странною и даже страшною логикой; но я молчалъ, я не давалъ ему своихъ жизнью вымученныхъ сомнѣній и скептицизма, я берегъ его отъ своего безвѣрія, оторванности, своего холоднаго нытья. Я молчалъ, потому что что же другое могъ я дать ему? Я молчалъ, потому что вѣрилъ въ его молодыя силы, въ то, что самъ онъ найдетъ свою дорогу и, найдя ее, проститъ своимъ чистымъ сердцемъ „насъ“, потерявшихъ аріаднину нить и сѣвшихъ на полдорогѣ,—проститъ, потому что мы, все-таки, шли и, уставъ, мы не заградили ему дорогу...

Юноша такъ и росъ, не зная истиннаго отца, какъ и Анчаровъ, конечно, не зналъ, не видалъ его и давно, вѣроятно, забылъ даже, что у него былъ сынъ, котораго онъ видалъ всего нѣсколько разъ, встрѣчая когда-то Лелю невзначай съ ребенкомъ на рукахъ на улицѣ или у знакомыхъ. Я ждалъ уже скоро Лелю, ея возврата,

но рокеъ судилъ иначе: мнѣ, моимъ устамъ пришлось открыть Борѣ все, мнѣ пришлось открыть ему отца.

Разъ, ночью, я получилъ странную и неожиданную телеграмму Анчарова, въ которой онъ просилъ меня пріѣхать поскорѣе. Я колебался, недоумѣвая, когда вторая телеграмма всего въ три слова: „простите, спѣшите, умираю“, положила конецъ моимъ колебаніямъ. Я скоро собрался и поѣхалъ, все недоумѣвая, все теряясь въ догадкахъ.

III.

Я недоумѣвалъ, терялся въ предположеніяхъ, а, между тѣмъ, тамъ, куда я ѣхалъ, въ роскошномъ, душномъ, пропитанномъ острымъ запахомъ лѣкарствъ кабинетѣ безнадежно больного, совершалась великая и глубокая, часто непостижимая на первый взглядъ драма. Подходилъ тотъ трагическій, невообразимо больной финалъ, когда прибитая, придавленная, заглушаемая въ теченіе всей жизни природа человѣка, съ ея потребностями любви, тепла, участія, ласки, семьи, когда все то, что зовется душой, совѣстью, — все это вдругъ встаетъ предъ изможденнымъ болѣзнію во весь ростъ, встаетъ и жестоко мститъ за себя, за свое поруганіе. Исчезли молодость, сила, здоровье, исчезло все то, что даетъ человѣку возможность жить одними физическими ощущеніями, жить только во имя ихъ и для нихъ, жить съ минуты на минуту, съ какою-то птичьею легкостью проходя мимо всего, бодро заглушая чуть слышный порою вну-

тренній протестъ чего-то неосязательнаго, безформеннаго, несознаннаго, но присущаго всѣмъ, — исчезли, — заглушать, притаптывать стало нечѣмъ, и вотъ, все это безформенное, неосязательное, несознанное начинаетъ копошиться, принимать форму, образъ, прокрадывается тихо, незамѣтно въ сознаніе. Капля по каплѣ, съ минуты на минуту, съ часу на часъ, чѣмъ дальше, тѣмъ больше растетъ оно, все развиваясь, все шире, все глубже, все безпощаднѣе охватывая человѣка, точно требуя отъ него отчета, заставляя его подводить итоги. А отчета, итоговъ человѣкъ не зналъ во всю его жизни!...

Конечно, все это я понималъ, узналъ только впоследствии, послѣ встрѣчи съ Анчаровымъ, далеко послѣ, когда масса неуловимыхъ психическихъ черточекъ, масса, повидимому, незначительныхъ съ виду, на первый взглядъ явленій сложилась во мнѣ въ цѣльную, рельефную картину, въ образъ, такъ сказать, душевной драмы, пережитой больнымъ. Анчаровъ умиралъ одинъ, совсѣмъ одинъ; возлѣ него, у его богатыхъ креселъ, въ которыхъ, неподвижный, закутанный, изможденный, онъ проводилъ часы, недѣли, мѣсяцы, сидѣла наемная сидѣлка... Ни семьи, ни родныхъ, ни близкихъ, — никого! Любившая его Гликочка давно покоилась подъ богатою, роскошною мраморною плитой. Марья Львовна, знакомые, сослуживцы? — онъ не могъ ихъ видѣть. Что они ему всѣ, — всѣ до одного?! Вѣроны, для которыхъ его богатство лакомая падалъ!... Развѣ онъ имъ нуженъ какъ живое „я“, какъ человѣкъ? Нѣтъ, и сто разъ нѣтъ! Ихъ участіе, ихъ видимыя слезы, ихъ разпросы?! Боже

мой, да развѣ онъ не знаетъ, чего стоятъ эти слезы, это дѣланное участіе, эти.... эти.... притворные разспросы?!

Одинъ и никого!

Сначала это „одинъ и никого“ не стояло предъ нимъ, не мучило, не давило такъ, какъ давить теперь. Въ началѣ болѣзни, когда онъ былъ еще бодръ, не подался, вѣрилъ въ выздоровленіе, глоталъ съ охотой микстуры, пилюли и всю прочую цѣлительную дребедень, на душѣ у него было пусто или легко, какъ всегда. Но потомъ потянулись часы, дни, цѣлые мѣсяцы, однообразные, томительные, похожіе одинъ на другой, какъ вѣчный стукъ маятника, какъ неугомонный ровный стукъ его сердца, и, по мѣрѣ того, какъ они тянулись, по мѣрѣ того, какъ онъ хирѣлъ, слабѣлъ, теряя вѣру въ выздоровленіе, ясно, сознательно приближаясь къ смерти, читая ее вездѣ, въ глазахъ врачей, знакомыхъ, сидѣлки,—это страшное „одинъ и никого“ все рельефнѣе выдвигалось предъ нимъ изъ какого-то неяснаго тумана, охватывая холодомъ, наполняя ужасомъ. Все неотступнѣе, все страшнѣе становилось и росло оно, все жесточе осаждало его, пригвожденнаго къ богатому креслу, все бѣльшимъ холодомъ и ужасомъ разило отъ него. Утромъ, въ полдень, вечеромъ, въ бессонную полночь,—одинъ въ этомъ громадномъ, роскошномъ кабинетѣ,—одинъ, одинъ и одинъ! Ни ласки, ни привѣта, ни тепла... Да и кому, и зачѣмъ онъ нуженъ? Никому! Доктора пріѣзжаютъ за деньги и все какъ-то торопятся только, точно боясь потерять лишнюю минуту... Сидѣлка?—она только и ждетъ,

какъ бы уловить хоть минутку отдыха... Марья Львовна, знакомые, товарищи, сослуживцы?—Ха, ха, ха,—раздавалось гдѣ-то глубоко въ немъ,—ха, ха, ха... вѣроны!

Сначала его разбирало только зло, похожее на какое-то безпредметное бѣшенство. Все раздражало его, бѣсило, волновало и злило. Что-то шипѣло въ немъ, влокало противъ всѣхъ и противъ самого... противъ всѣхъ, всѣхъ, всѣхъ!... Казалось, бездонное море желчи, злой, жестокой, ядовитой, разлилось въ немъ, затопило все и даже мысль и сознаніе. Задыхаясь въ немъ, онъ какъ-то забывалъ это ужасное, холодное „одинъ и никого“; оно, казалось, тоже злило его больше, чѣмъ подавляло... Но потомъ... потомъ... что-то странное стало твориться въ немъ, что-то невѣдомое закопошилось, засверлило, какъ червякъ, заглодало... Что?—Богъ его знаетъ! Усталъ онъ, что ли, отъ этой злобы, раздраженія, бѣшенства... или такъ... само собой, но его точно что-то пришибло вдругъ. Онъ приказалъ никого не принимать, — никого, кромѣ врачей, и по цѣлымъ часамъ, по цѣлымъ днямъ точно дремалъ, точно забывался въ какомъ-то непонятномъ столбнякѣ. И вмѣсто злобы, кипѣвшей, влокавшей, казалась, возбуждавшей его ослабѣвшій организмъ, теперь охватила его какая-то особая, безсознательная, никогда невѣдомая, щемящая тоска.

IV.

И эта безысходная, неудержимая тоска все росла и росла, заслоняя собою все, всё представлѣнія, всё ощущенія, — даже ощущенія животной, физической боли, — выдвигая впередъ одно: „одинъ и никого“ во всей его страшной, холодной наготѣ. Оно росло вмѣстѣ съ нею, развивалось, все неотступнѣе, все яснѣе, — о, Боже мой, до чего ясно! — давило, гнело, щемило душу, убивало, отравляло все, даже ясный лучъ солнца, даже свѣтлое ликование просыпавшейся за окномъ весны. А вмѣстѣ съ нимъ, вмѣстѣ съ этимъ страшнымъ: „одинъ, одинъ и одинъ!“ — вставали, оживали въ душѣ призраки прошлаго, самыя тяжелыя, самыя больныя воспоминанія, все то, что такъ легко удавалось гнать отъ себя до сихъ поръ, удавалось заглушать, притаптывать, заслонять быстрою смѣной ощущеній, впечатлѣній, суетой дѣятельной будничной жизни. Богъ его знаетъ: зачѣмъ и почему? Чего бы больной не далъ только, чтобы понять, отвѣтить на эти вопросы. Все чаще и чаще вставало все это предъ нимъ тяжелымъ, больнымъ укоромъ, вызывая въ душѣ какой-то неясный, смутный трепетъ, наполняя ее давящимъ сознаниемъ вины, — вины противъ всѣхъ. И предсмертный хрипъ зарѣзавшагося изъ-за него, разореннаго имъ старика Марковича, и полный острой боли и жгучаго стыда не то крикъ, не то стонъ красавицы Жени, ошеломленной, испуганной его торгомъ, — да, гнуснымъ торгомъ, предложеніемъ промѣнять себя, свою красоту

на его туго набитый бумажникъ, и трупъ этой самой Жени, ея скромная, тихая могилка, увѣнчанная колонкой съ гирляндой, рядомъ съ могилой отца, и многое, многое другое, одно другаго тяжелѣе и больнѣе, одно другаго безотраднѣе,—все затоптанное, поруганное, обманутое, все обиженное носилось теперь предъ нимъ черною тучей, точно мстя ему, точно подчеркивая это страшное: одинъ и одинъ! Тщетно задавалъ онъ себѣ сотни разъ вопросы: причемъ онъ тутъ? чѣмъ виновать? — вѣдь, онъ только велъ свою „линію“, отстаивалъ свое „я“, боролся за жизнь, какъ и всѣ на свѣтѣ,—служилъ себѣ,—а кто же не служить *себѣ*, своимъ ощущеніямъ, потребностямъ, желаніямъ,—кто? Тщетно,—эти вопросы не успокаивали, тоска все росла, видѣнія, образы, воспоминанія все неотступнѣе, все неудержимѣе, все больнѣе осаждали его воскресавшую память.

Но что страннѣе всего, чего онъ никакъ не могъ понять, какъ ни старался, какъ ни ломалъ свою голову,—онъ не только не гналъ отъ себя этихъ больныхъ образовъ и воспоминаній,—онъ какъ-то невольно поддавался имъ, даже вызывалъ ихъ. Точно какое-то особенное сладострастіе скрывалось въ нихъ, въ причиняемой ими боли, какое-то удовлетвореніе непонятной, бессознательной, но жгучей, какъ жажда, потребности давало ему это острое самотерзаніе. Чего было ему нужно, зачѣмъ, почему? — онъ не зналъ, но съ утра до вечера и позднею ночью, погруженный въ какую-то полумертвую неподвижность, полудрему, молчаливый, неподвижный, онъ все грезилъ, грезилъ и грезилъ...

Тихо входили къ нему врачи, осторожно щупали пульсъ, качали головами, совѣтовали побольше ѣсть, принимать то-то и то-то, осторожно выходили; тихо сопѣла сидѣлка, чутко прислушиваясь сквозь полудрему свою къ малѣйшему его движенію; мѣрно тикали часы на столѣ; гулко катились по улицѣ экипажи. А онъ ничего этого не видѣлъ, не слышалъ, не понималъ, точно все это его не касалось нисколько, ничѣмъ, и все только грезилъ, все только травилъ себя, бередилъ и терзалъ воспоминаніями. Зачѣмъ и почему?

А, между тѣмъ, ему все страстнѣе, все неудержимѣе хотѣлось понять и отвѣтить на эти „зачѣмъ и почему“,— онъ все больше и больше ломалъ надъ ними голову. Больной, изможденный, еле дышавшій, похожій скорѣе на скрюченный скелетъ, обтянутый сухимъ, сморщеннымъ пергаментомъ, чѣмъ на живаго человѣка, онъ отдалъ бы теперь все на свѣтѣ, всю эту ненавистную ему нынѣ роскошь, богатство, значеніе, все, что до сихъ поръ онъ ставилъ всегда и вездѣ впереди всего, за чѣмъ гонялся всю жизнь, чѣмъ только и жилъ, и дышалъ до сихъ поръ,—какъ все это глупо, глупо и глупо! стучало теперь его замиравшее сердце,—все это отдалъ бы онъ за одинъ проблескъ пониманія, за одинъ моментъ мира и покоя. Да, мира и покоя, — ихъ ему неоставало, они именно были закрыты этимъ непониманіемъ; но какого мира, какого покоя, — онъ не зналъ, не понималъ, не видѣлъ. Несомнѣнно, что-то новое, пока неясное, вставало, шевелилось въ его душѣ, но что именно, онъ не могъ ни сознать, ни уяснить. Чего-то было ему нуж-

но, чего-то недоставало, отъ этой недостачи росла его тоска!...

Такъ тянулись мѣсяцы, недѣли, дни, часы, томительные, однообразные, и больной все хирѣлъ, все больше слабѣлъ, подавался, изнывая въ безотчетной тоскѣ, отравлявшей все вокругъ, убивавшей, казалось, и волю, и мысль, и сознание... Но, конечно, все это только казалось... Тамъ, внутри, гдѣ-то глубоко-глубоко шла своя работа, незамѣтная, неудержимая, шло наростаніе чего-то доселѣ несознаннаго, какъ-то смутно, неясно просыпавшагося съ возростающею тоской, шло и ждало, кажется, только толчка, какого-нибудь незначительнаго факта, внѣшняго явленія, чтобы проявиться во всей своей силѣ. Такъ и въ неорганической, мертвой природѣ накопившіяся по атомамъ, скрытыя въ потенціи силы, дойдя до извѣстной степени напряженія, ждутъ только внѣшняго, самаго незначительнаго фактора, который бы вывелъ ихъ изъ мертваго состоянія; такъ и душа человѣка, накопивъ незамѣтно и безсознательно неувимыхъ часто, быстро-летныхъ впечатлѣній, творить изъ нихъ внезапно, подъ вліяніемъ какого-нибудь случайнаго толчка — явленія, — цѣльный, глубоко-сознанный образъ.

Разъ, позднимъ вечеромъ, въ темныя, глухія сумерки, когда сидѣлка дремала и кругомъ все было тихо, только маятникъ часовъ ровно и грубо нарушалъ безмолвіе, больной поднялъ свои вѣчно опущенныя вѣки. Прямо противъ него, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ его кресла, лежала его любимая Діана, лизала своихъ шаловливыхъ щенятъ и смотрѣла на него, виляя пушистымъ хвостомъ,

счастливымъ и преданнымъ взглядомъ. Много разъ видѣлъ онъ эту картину, много разъ любовался ею, ея внѣшнею красотой, ея граціей, но теперь... теперь онъ почуялъ въ ней и съ нею что-то особенное, что-то такое, чего точно никогда, никогда не видѣлъ, не чувствовалъ раньше. Прелестный песъ все вилялъ хвостомъ, все смотрѣлъ на него счастливымъ взглядомъ, точно приглашая дѣлиться своимъ счастьемъ, глубокимъ, бездоннымъ, какъ, море, счастьемъ матери, а больной не могъ отвести глазъ отъ этого взгляда, поддаваясь какому-то неясному, но неудержимому влеченію, все больше и больше охватываясь непонятнымъ волненіемъ. Что съ нимъ? Что это такое? Почему это волненіе, это странное очарованіе? Онъ не могъ отвѣтить на эти вопросы, но все смотрѣлъ, все больше видѣлъ и понималъ счастье собаки, все больше любовался на ея ласки щенкамъ, все больше охватывало его волненіе... И Діана смотрѣла на него своимъ счастливымъ, полнымъ ласки взглядомъ, смотрѣла, точно говоря: вотъ они,—и миръ, и покой, и счастье! И вдругъ, въ тотъ самый моментъ, когда, казалось, что-то непременно должно было выясниться, блеснуть въ немъ сознаніемъ, когда, казалось, онъ вотъ-вотъ пойметъ и свою тоску, и самотерзаніе, и всѣ свои больные, жгучіе вопросы, когда какая-то нѣга-счастье, полная мира, разлилась по всѣмъ фибрамъ, всецѣло наполнила, казалось, истерзанную душу, — въ немъ опять вдругъ, сразу проснулась, воскресла заглохшая было злоба... Сразу какъ-то проснулось это бѣшенство, эта желчь на всѣхъ и все и на эту глупую, глупую собаку съ ея

глупымъ взглядомъ... счастьемъ, что ли, все равно! Точно зависть, досада крылась въ этой острой желчи, точно больное, обидное сознаніе, что вотъ у него нѣтъ и того, что есть у Діаны, отравило вдругъ его забившееся сильнѣе сердце, и, весь дрожа, весь волнуясь, слабою, дрожавшею, плохо слушавшеюся рукой больной пожалъ пуговку звонка, разбудилъ сидѣлку, вскочившую въ испугъ, выругался, раскричался, — сидѣлка совсѣмъ растерялась: вѣдь, онъ давно все только молчалъ да молчалъ,—и приказалъ убрать собаку.

V.

Но все это было уже послѣднимъ проявленіемъ, послѣднею судорогой, послѣднею вспышкой отжившаго, прояснявшагося,—прежняго,—все это потонуло, заглохло также быстро, какъ и вспыхнуло. Цѣлый міръ какихъ-то новыхъ ощущеній и потребностей заползалъ въ душу больного, все вытѣсняя и вытѣсняя вспыхнувшую было желчь, прорѣзая лучемъ, яснымъ и свѣтлымъ, таившійся въ ней туманъ... Собаку убрали, но ему не стало легче; онъ не забылъ ни ея взгляда, ни своего волненія, ни той нѣги, что согрѣла его на моментъ какимъ-то мягкимъ и ласковымъ тепломъ,—нѣтъ!—все это стояло теперь предъ нимъ неотступно, чувалось, чувствовалось вездѣ и во всемъ. Объ этомъ стучалъ маятникъ, чиликалъ воробей утромъ, прыгая за окномъ съ вѣтки на вѣтку, объ этомъ же говорило ясное солнце, обливая

потоками своего любовнаго свѣта и воздухъ, и деревья, и полъ, и потолокъ, наполняя все нѣгой и счастьемъ... Да, счастьемъ для всѣхъ, и для него тоже... Но развѣ оно у него было когда-нибудь? Гдѣ, когда?...

И опять вспыхнувшая было жизнь смѣнилась тоской, но какою-то острою, напряженною тоской, которая вотъ-вотъ, казалось, смѣнится чѣмъ-то другимъ, что прояснить, уяснить все, дастъ миръ и блаженный покой. Растревоженная мысль больного вертится на одномъ вопросѣ этого кругомъ разлитаго счастья, дышащаго скрытою любовью, какъ глаза Діаны, доступнаго и чиликающему воробью, и Діанѣ, и каждой былинкѣ, каждому атому міра, которые любовно цѣлуетъ и нѣжитъ горячее солнце. Все говорить о немъ, все имъ дышетъ, все живетъ въ немъ и для него и, что самое главное, всѣ и все какъ бы чувствуютъ свою связь другъ съ другомъ въ этомъ счастьѣ. Развѣ не глядѣла на него собака, точно дѣлясь съ нимъ своимъ счастьемъ, развѣ не всѣмъ и каждому чиликаетъ о немъ воробей, не говоритъ этотъ прыгающій по подоконнику отблескъ солнца, не шумятъ деревья, не поютъ пчелы?... А онъ, — гдѣ его счастье, въ чемъ? Чѣмъ онъ дѣлился, — гдѣ, когда? Въ чемъ была его связь съ другими?...

...Тихо, монотонно тянется черная, безмолвная ночь. Свѣча съ опущеннымъ абажуромъ тускло и тоскливо освѣщаетъ большой, роскошный, какъ-то страшно пустой кабинетъ; сидѣлка дремлетъ сидя... Ни звука, ни движенія; только маятникъ, мѣрно качаясь, рѣзко отбиваетъ секунды...

И среди этого безмолвія цѣлый рядъ картинъ прошлаго, воспоминаній о пережитомъ длиною, неразрывною вереницей толпится въ остро-возбужденной памяти больного. Онъ копошится въ нихъ лихорадочно, страстно, суетливо, чтобы найти тамъ, въ погребенномъ, забытомъ, во всемъ, мимо чего онъ проходилъ всегда такъ легко и бодро, къ чему относился какъ въ мимолетной картинѣ калейдоскопа,—чтобы найти тамъ хоть одинъ лучъ своего счастья и своей связи съ другими, хоть одинъ намекъ на него, чтобы найти тамъ то, чего нѣтъ у него, чего недостаетъ ему въ этомъ бездонномъ сознаніи, что онъ *одинъ, одинъ и одинъ!*

Но тамъ нѣтъ ничего, тамъ все пусто, холодно, подернуто будничною суетой, обманомъ, неправдой. Тамъ нѣтъ ни счастья, ни любви, ни человѣка-друга, съ которымъ бы онъ дѣлился, у котораго бы онъ не взялъ чего-нибудь, не давая ничего взамѣнъ. Тамъ только *онъ, онъ и онъ*, ничѣмъ не согрѣтый, всѣмъ чужой, ко всѣмъ и всему безстрастный и безразличный. И въ концѣ всего этого, какъ въ концѣ длинной кладбищенской аллеи,—двѣ могилы рядомъ, одна другой страшнѣе... Одна—зарѣзавшагося изъ-за него отца, — полная его предсмертнымъ хрипомъ, другая — дочери, —увѣчанная колонной съ гирляндой, точно стонетъ и стонетъ такъ, какъ застонала красавица Женья, когда тихою, чудною ночью, среди разлитой кругомъ нѣги онъ протянулъ ей за ея красоту свои деньги... Все это онъ видитъ и слышитъ, и какой-то неописуемый смертельный не то холодъ, не то ужасъ впервые охватываетъ его душу, выступаетъ на

сухомъ, сморщенномъ лбу крупными каплями холоднаго пота, заставляетъ его синія, высохшія губы шептать, какъ-то страстно шептать: подло прожито!...

— Да, подло!—шепчуть, все шепчуть его синія губы,— одинъ, одинъ и одинъ!

Нѣтъ, не одинъ, — онъ вздрогнулъ отъ чьего-то прикосновенія... Вѣрный, преданный песъ тихо прокрался въ кабинетъ и положилъ къ нему па заутанныя колѣни свою морду, глядя ему въ лицо любовно-тоскливымъ взглядомъ и вилая хвостомъ. Онъ не одинъ, — нѣтъ! съ нимъ его песъ, его умная, красивая Діана. Что-то неудержимо поднялось при этомъ въ груди больнаго и сжало ему горло, все подступая къ глазамъ. Неужели такъ-таки никого, кромѣ нея, Діаны, въ цѣломъ свѣтѣ, ничего, кромѣ ея ласки? Неужели онъ такъ-таки совсѣмъ одинъ, никого нѣтъ у него, ни съ кѣмъ онъ не связанъ и не былъ связанъ никогда?!

И вдругъ внезапно, точно изъ какого-то холоднаго мрака выплылъ предъ нимъ свѣтлый образъ Лели, вспомнилась ихъ мимолетная связь, ея вѣра въ него, ея любовь къ нему, которому отдалась она вся, принявъ за него свою дѣвственно-чистую, непорочную мечту... Но рядомъ съ ней, всплывавшей иногда смутно въ его воспоминаніяхъ, воскресъ теперь и образъ ребенка на ея рукахъ,—его сына, да, его сына!.. Тр петь, хорошій, теплый, жгучій трепеть обьялъ больнаго: онъ не одинъ, у него есть сынъ, котораго онъ не знаетъ, не видѣлъ, но увидитъ, долженъ увидѣть!... Гдѣ онъ, что съ нимъ, да и знаетъ ли его?

Ясный лучъ свѣта проникъ въ его душу, освѣтилъ все и согрѣлъ, наполнилъ счастьемъ. И тихія, благодатныя, человѣческія слезы неудержимо, сами собой, полились капля за каплей по его сухимъ, сморщеннымъ щекамъ...

VI.

Солнце уже закатилось и западъ только слегка горѣлъ трепетнымъ, нѣжнымъ багрянцемъ, когда я входилъ въ Анчарову. Въ кабинетѣ, душномъ, пропитанномъ острымъ запахомъ лѣкарствъ, въ особенности мускуса, царилъ тяжелый полумракъ. Кто-то гдѣ-то судорожно съ хрипомъ дышалъ, но гдѣ и кто,—я разглядѣть сразу не могъ; рѣзче всего выдѣлялся,—потому я и замѣтилъ его прежде всего,—бѣлый фартукъ сидѣлки съ нашитымъ на немъ крестомъ. Только постепенно разглядѣлъ я отдѣльные предметы обстановки, различилъ богатое складное кресло, а въ немъ изможденнаго, почти мертвенно сморщенного старика, обложеннаго подушками, закутаннаго одѣялами... Но въ этомъ судорожно дышавшемъ старикѣ, съ такимъ больнымъ, вытянутымъ, помертвѣлымъ лицомъ, я долго не рѣшался признать Анчарова.

— Благодарю!—чуть слышно донеслось до моего слуха и замерло въ хрипѣ. Больной сдѣлалъ движеніе рукой, но она упала бессильно; я самъ взялъ его руку.

— Плохо вамъ?

Анчаровъ поднялъ опущенную, почти висѣвшую, какъ

будто въ забытѣ, голову и посмотрѣлъ на меня, точно разглядывалъ.

— Плохо... смерть! — не кончилъ онъ за хрипомъ. —
Бла-го-да-рю!

Сидѣлка неслышно поднялась и вышла. Наступило какое-то неловкое, напряженное молчаніе; Анчаровъ тяжело дышалъ и, видимо, что-то обдумывалъ или припоминалъ, брови были угрюмо сдвинуты, вѣки полуопущены.

— Гдѣ... она? — выговорилъ онъ съ трудомъ.

Я не понялъ сразу и насторожился.

— Леля! — прохрипѣлъ больной, замѣтивъ мое движеніе.

Меня ожгло. Я почувствовалъ, какъ вся кровь прилила въ сердце, отхлынула и затѣмъ оно сжалось болью. Я сразу все понялъ: и вызовъ меня, и значеніе, смыслъ этого вопроса, и ту бурю, то невыразимое страданіе, которымъ была полна теперь эта умирающая душа.

— Леля... — началъ я, путаясь, заминаясь, и побѣлѣвшими губами разсказалъ, гдѣ она и что съ нею.

— А сынъ?.. Мой сынъ...

— Вашъ сынъ?.. Онъ у меня... Это славный юноша!..

— Можно вызвать?

Я остановился въ нерѣшительности. Въ двухъ словахъ вопроса умирающаго звучала такая страстная мольба, что мои губы не рѣшались сказать: „нѣтъ!“ Онъ замѣтилъ мое колебаніе.

— Нельзя? Не стѣю? — точно рыдая спрашивалъ онъ. —
Да, да... подло прожито!.. Подло! Не стѣю!

— Михайло Ивановичъ!—началъ было я, но меня перебила сидѣлка извѣстіемъ о пріѣздѣ знакомыхъ. Анчарова передернуло, въ глазахъ блеснуло что-то вроде злобы.

— Не надо!—глухо почти закричалъ онъ, насколько могъ громче,—не надо!... Вѣроны на пададь!... Не надо!

Сидѣлка скрылась; больной закрылъ глаза, но его страшное: „вѣроны на пададь“ такъ и стояло въ моихъ ушахъ. Я сразу пересталъ колебаться.

— Я вызову Борю... я пошлю ему телеграмму!—сказалъ я, дрожа. Его рука слегка дрогнула въ моей, а взглядъ, которымъ онъ посмотрѣлъ на меня, выражалъ и радость, и тревогу.

— Вызовете?... Въ самомъ дѣлѣ?—спросилъ онъ, задыхаясь.

— Я сейчасъ же телеграфирую...

— А онъ меня признаетъ? Можетъ быть, не захочетъ?... Можетъ быть...—не договорилъ онъ въ остромъ волненіи.

— Сынъ вашъ славный, честный юноша!—перебилъ я этотъ недоговоренный, жестокий вопросъ, не зная, что сказать.

— Вызовите!—молилъ больной.—Я не стою, но я прошу васъ... Пусть проститъ...

Изъ потухавшихъ глазъ его потекли слезы... Онъ шепталъ еще что-то, но я не разслышалъ его шопота и наскоро набросалъ телеграмму.

— Вотъ!—сказалъ я и подаль ему. Онъ счастливо улынулся.

— Пошлите!

Я позвонилъ и передалъ депешу слугѣ.

— Я хочу имъ все оставить... понимаете, все—это ихъ!... Это все, что я могу еще... сдѣлать... загладить... Нѣтъ! загладить нельзя,—вздоръ! Вы помогите... нота-ріуса завтра призовите... завѣщаніе... утормъ!...

Онъ закашлялся, закрылъ глаза и замолчалъ. Часы звонко тикали на письменномъ столѣ,—минуты тянулись, какъ долгіе, томительные часы. Мнѣ показалось, что больной заснулъ, и я осторожно всталъ, чтобы послать сидѣлку.

— А, это вы!—открылъ онъ внезапно глаза на мое движеніе, какъ будто опомнившись отъ забытья,—я, вѣдь, любилъ ее... Лелю... Но глупо любилъ... подло... гадео любилъ!...—Больной точно разсуждалъ съ самимъ собою.

— Зачѣмъ вы себя разстраиваете?—старался я его успокоить.

— Я не разстраиваю... я такъ... я сознаю... чувствую... а не разстраиваю!... Подло прожито,—вздохнулъ онъ,—глупо... и... и... и...

— Кто прошлое помянетъ, Михайло Ивановичъ...

— У меня нѣтъ... будущаго,—прохрипѣлъ онъ грустно,—одно прошлое осталось... а въ немъ... а въ немъ... одно зло и... и... это!—обвелъ онъ кабинетъ глазами.

— Нѣтъ,—перебилъ я его,—не говорите этого... не было и нѣтъ жизни безъ... безъ чего-нибудь и хорошаго... У каждаго изъ насъ есть и свое злое, но есть и хорошее... вспомните-ка!... хорошія движенія...

— Да, движенія... Движенія были и у меня... но и только... только!... Силъ для нихъ не было!... Силъ!... Чего-

то недоставало!... Знаете,—говорилъ онъ, хрипя, страстно, точно каясь,—знаете... Я всегда вамъ за-ви-до-валъ... зло завидовалъ...

— Чему?—невольно удивился я.

— Что вы честный... человѣкъ!... Да, за-ви-довалъ, потому... потому и ненавидѣлъ!... У самого чего-то не хватало для этого!... Вотъ!... Помните, когда... когда... вы пришли ко мнѣ просить за несчастную семью... зарѣзан... зарѣзаннаго мною... да мною!... хотя не моею рукой, старика... Мар... Марко-вича?...

— Помню!... Но не волнуйтесь такъ...

— Я отказалъ,—продолжалъ страстно, захлебываясь и задыхаясь, больной,—отказалъ по зависти... по ненависти къ вамъ... Приди другой, я бы сдѣлалъ... Но я отказалъ... Я чувствовалъ, какъ глубоко... вы должны были презирать меня... И самолюбіе... и зависть... Прощаете?...

Все это разстроило меня до слезъ; вмѣсто отвѣта, я взялъ его руку и пожалъ.

— Прощаете?

— Да!...

— А знаете еще,—почти шепталъ онъ, причемъ потухшіе глаза его блеснули жизнью,—знаете... я бы могъ еще... сдѣлаться другимъ... Былъ моментъ!...

— Когда?

Если бы дочь старика... если бы Женя... если бы полюбила меня... а не... а не зас... застрѣлилась...

Онъ не договорилъ и зарыдалъ. Рыдалъ онъ глухо, спазматически, какъ въ нервномъ припадкѣ; рыданія

мѣшались съ большимъ тяжелымъ хрипомъ, сухія, костлявыя плечи дрожали, грудь порывисто то поднималась, то опускалась. Я подаль ему воду и онъ пилъ ее скачками, хрипя и задыхаясь, не слушая моихъ словъ, моею отрывистой, взволнованной рѣчи, которою я старался его успокоить.

— Подло! подло! подло!—шептали только его синія, пепельно-синія губы.

Къ счастью, тутъ вошелъ докторъ. Когда больной успокоился, мы вышли вмѣстѣ и въ прихожей онъ шепнулъ мнѣ, что дѣло совсѣмъ плохо.

— Вопросъ нѣсколькихъ дней только,—пояснилъ онъ на мой вопросъ,—всякое волненіе можетъ только ускорить... Ни за что нельзя поручиться!...

На другой день устроимъ я пріѣхалъ съ нотаріусомъ. Анчаровъ выглядѣлъ уже гораздо хуже,—вчерашнее волненіе не обошлось ему даромъ. Прочитанное нотаріусомъ завѣщаніе, которымъ Леля съ сыномъ назначались единственными наслѣдниками, онъ выслушалъ молча, съ закрытыми глазами, не двигаясь, не говоря ни слова. Когда чтеніе кончилось, онъ открылъ глаза.

— Добавьте,—прохрипѣлъ онъ, задыхаясь,—нохоронить... просто... Четыре доски... Рядомъ съ Марковичами... Каюсь... что довелъ ихъ до самоубійства...

Мы съ нотаріусомъ наклонились, чтобы лучше слышать судорожный шепотъ... Свидѣтели, старикъ-камердинеръ и поваръ, стояли неподвижно, оба блѣдные, и плакали.

— Пишите,—диктовалъ, все хрипя и задыхаясь, Ан-

чаровъ, дѣлая видимое усиліе говорить громче, — пишете. У...ми...ра...ю, пре...зи...ра...я... себя!

Онъ мучилъ, терзалъ себя съ какою-то непонятною страстью... Это слышалось въ его тонѣ.

Нотариусъ смотрѣлъ на меня вопросительно, но больной замѣтилъ это и заволновался.

— Пишите! — рѣзко хрипѣлъ онъ, напрягая силы, — это... это... моя воля!... Пре-зи-р-а-я себя!... Да! Раскаиваясь... бла...го...го...вѣ...я предъ... предъ честными... и...и...и...

Онъ посмотрѣлъ на меня, — глаза его были полны слезъ и глядѣли мягко, человѣчески мягко.

— И...и... любя всѣхъ!

Когда я, прощаясь, взялъ его руку, онъ опять открылъ закрытые было глаза и вспомнилъ свою манію.

— А сына... вызвали?...

— Онъ пріѣдетъ сегодня вечеромъ... я жду его...

— Да... да... я одинъ... одинъ... Кругомъ только вѣроны!... Одинъ... Я тоже вѣронъ!...

Онъ точно оживалъ въ этомъ самотерзаніи.

VII.

Былъ вечеръ, розовый, весенній вечеръ, когда мы съ Борей, оба разстроенные, оба взволнованные и блѣдные, входили къ больному. Боря дрожалъ и все держался за меня, взявъ напередъ слово, что я не оставляю его ни на минуту. Я долженъ былъ рассказать ему все и какъ

я ни старался подготовить его сначала, мой рассказъ, смягченный, отрывочный, ошеломилъ-таки юношу.

Сторы были подняты и въ окно врывались цѣлымъ снопомъ косые, розовые лучи потухавшаго солнца. Они играли по стѣнамъ, багрили полъ и роскошную обстановку кабинета, оживляли румянцемъ блѣдныя, впалыя щеки больного. Мы вошли крадучись, не дыша почти, но, все-таки, пробудили его отъ дремы. Онъ посмотрѣлъ на меня и сначала какъ будто не узналъ.

— А... это... вы?—прохрипѣлъ онъ.

И вдругъ онъ замѣтилъ Борю. Точно электрическая искра пробѣжала по немъ, точно магическая палочка всемогущей феи коснулась его изможденнаго, умирающаго тѣла. Онъ весь ожилъ, встрепенулся, лицо оздоровѣло, глаза вспыхнули жизнью, мыслью и... любовью.

— Сынъ?! Мой сынъ?—онъ не хрипѣлъ.

— Сынъ!—отвѣтилъ дрожавшій юноша.

— Иди... ко мнѣ!...

Какимъ-то чудомъ, необъяснимою властью, безсильныя руки протянулись впередъ смѣло и свободно, какъ здоровыя, живыя... Съ невѣроятною силой для умирающаго человѣка онъ притянулъ къ себѣ сына и, не глядя на него, не рассматривая, безумно, совсѣмъ безумно цѣловалъ его лицо, его плечи и руки. Это была какая-то органическая страсть, слѣпая, безсознательная, какъ инстинктъ, какъ влеченіе, — проснувшаяся, вспыхнувшая какъ-то разомъ, вдругъ, какъ вспыхиваетъ отъ искры порохъ, какъ взрываются накопившіеся въ шахтѣ газы. Онъ что-то шепталъ, но что?—разслышать было нель-

зл. Наконецъ, сильнымъ движеніемъ онъ отстранилъ отъ себя юношу, не снимая рукъ съ его плечъ, и посмотрѣлъ ему въ лицо какимъ-то воспаленнымъ, жаднымъ взглядомъ.

— Прощаешь?...

— Отецъ!—чуть простоналъ умоляюще юноша.

— Говори, сынъ, прощаешь?...

— Да, отецъ, да!...

— И за мать?...

— Отецъ!—умолялъ Боря.

— Отвѣчай сынъ мой... И за мать?

— И за мать!

— А вы?—обернулся онъ ко мнѣ.

— И я!

— А всѣ?... всѣ?...

Онъ не договорилъ. Грудь судорожно заходила... разъ... два... какой-то стонъ, легкій, чуть слышный вырвался изъ судорожно сжатыхъ губъ, руки бессильно повисли, глаза потухли, голова упала... Смерть явилась такъ же быстро, какъ вспыхнула послѣдняя искра жизни.

.
За поворотомъ густой кладбищенской аллеи стоятъ рядомъ три могилы; на средней изъ нихъ стоитъ бѣлая колонка, обвитая гирляндой. Густыя вѣтви липъ и каштановъ сплелись и склонились надъ ними короной,— и тихо качаются, точно шепчутъ что-то и навѣваютъ безмятежную дрему. Чьи-то заботливыя, любящія руки усыпаютъ могилы живыми цвѣтами, а кругомъ, вмѣсто ограды, обнесли ихъ кустами розъ, бѣлыхъ и алыхъ.

Оттого, можетъ быть, такъ и любить это тихое мѣсто кладбищенскій соловей и трещить здѣсь по веснѣ свои чудныя, безмятежныя пѣсни. Все здѣсь тихо, уютно, покойно,—все, кажется, дышетъ миромъ и любовью.

А, между тѣмъ, эти три могилы,—каждая,—хранятъ свою повѣсть, больную, тяжелую, мрачную... Но самую больную изъ нихъ, конечно, хранить та, которую любовно и нѣжно украшаютъ и холятъ когда-то больно обиженныя руки.



БЛУДНЫЙ СЫНЪ.

(ПОВѢСТЬ).

БЛУДНЫЙ СЫНЪ.

ПОВѢСТЬ.

(Памяти почившаго друга).

Часть первая.

ГЛАВА I.

У самой кручи высокаго скалистаго берега раскинулась деревня Барвиновка, бывшая вотчина богатыхъ пановъ Нѣготскихъ. Богъ его знаетъ, кто первый выбралъ это мѣсто, кто первый заселилъ его, — только прошли вѣка, разыгрались дѣлы историческія драмы, тысячи разъ земля заливалась человѣческою кровью, множество поколѣній сходило со сцены, уступая мѣсто новымъ и новымъ, а Барвиновка стоитъ себѣ, какъ стояла сотни лѣтъ тому назадъ, — стоитъ себѣ, какъ ни въ чемъ не бывало. Такъ же, какъ и прежде, какъ и всегда, видѣляется на темномъ фонѣ дубовой рощи ея сѣрая, высокая воловьня, съ каждымъ годомъ наклоняясь только все больше на одну сторону, такъ же кокетливо глядятся въ тихія, спокойныя воды ея бѣлыя хаты, такъ же хорошо поютъ въ ней дѣвчата... ничего, кажется, не измѣнилось вокругъ, все осталось попрежнему, какъ остались на

небѣ и яркое солнце, и свѣтлая луна, и Божьи звѣзды, точно ни время, ни бури жизни не касались Барвиновки. А, между тѣмъ, чего-чего не видала Барвинковка! Стоило только доброму человѣку поразспросить стариковъ, да не пожалѣть при этомъ „оховитой“,—потому что кто же любитъ говорить съ сухимъ горломъ?—и многое-бъ поразсказали ему старики. Услыхалъ бы онъ и про запорожцевъ, и про славныхъ гетмановъ, и про унію, и про татарскіе угоны. Узналъ бы, какъ славно бились дѣды за святую волю и родную землю, какъ въ наказаніе вырѣзывали ляхи почти до тла всю Барвинкову, какъ... ну; да многое, многое узналъ бы онъ!

Внизу подъ кручей течетъ Бугъ, тихо и спокойно, точно сонный. Каждую весну поднимаетъ старикъ свою сѣдую спину, реветъ и мечется, и брызжетъ пѣной, стараясь добраться до Барвиновки, но, еле дотянувшись до половины кручи, падаетъ, точно изнемогая, и снова течетъ весь годъ спокойно.

Разъ только было, разсказываютъ старые люди, что удалось ему добраться до Барвиновки. Еще за гетмановъ, когда козаки запрудили ему дорогу до Чернаго моря панскимъ и жидовскимъ трупомъ, разсердился старый, заворчалъ, что добрый козакъ, и, весь одѣвшись сѣдою пѣной, вырывая столѣтніе дубы, выкинулъ на высокую скалу у Барвиновки множество труповъ, отчего будто бы и зовется та скала съ той поры „панскою могилой“. Но это было такъ давно, такъ давно, что и говорить не стоить. Впрочемъ, разное говорятъ дѣды. Иные говорятъ, что „панскою могилой“ названа та скала потому, что именно

тамъ, а не въ иномъ мѣстѣ закопали барвиновцы „зрадника козака Нѣготу“, перваго своего пана. Давнымъ-давно, еще за унію, козаки Нѣгота, за измѣну своимъ, былъ награжденъ польскимъ королемъ шляхетскимъ званіемъ, „маєтностями и хлопами“ и, превратившись изъ простаго козака въ родоначальника знатнаго рода пановъ Нѣготскихъ, сталъ, по выраженію древнихъ украинскихъ сказаній, „лютымъ псомъ для людей, которыхъ уважалъ за быдло, осевернителемъ святыхъ храмовъ и гонителемъ вѣры козацкой, аки Іуліанъ Богоотступникъ“. Кончилось тѣмъ, что барвиновцы закопали его живымъ въ землю, въ томъ самомъ мѣстѣ, какъ говоритъ преданіе, что зовется „панскою могилою“, а сами за это всѣ до единаго юплатились правыми ушами, двадцать изъ нихъ — правыми ногами, а десять чубатыми козацкими головами. Умѣли расплачиваться въ доброе старое время!... Много лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, многое измѣнилось на бѣломъ свѣтѣ. Вмѣсто вольнолюбивыхъ козаковъ, остались мирные крѣпостные пахари, вмѣсто „зрадника“ Нѣготы — его потомки, знатные паны Нѣготскіе. Пора бы, кажется, забыть прошлое, покончить старые счета, такъ нѣтъ же!... Все попрежнему звали паны Нѣготскіе барвиновцевъ „быдломъ“ и „схизмой“, все попрежнему глядѣли на нихъ барвиновцы какъ на „вражихъ пановъ“ и „зрадниковъ“. Если съ теченіемъ времени измѣнились формы отношеній и придавленный крѣпостной не рѣшался уже мстить попрежнему, если, съ развитіемъ гуманности, отсѣченіе рукъ, ногъ, головы и т. п. смягчилось до безпощаднаго сѣченія, отрицанія человѣческаго

достоинства и требованія безпрекословной покорности со стороны крѣпостнаго раба пану, то сами отношенія остались, все-таки, прежнія, остались прежнія ненависть и презрѣніе. А что давилъ, презиралъ, топталъ панъ, ю, понятно, давилось и презиралось и всѣмъ тѣмъ, что близко окружало пана, всѣмъ полушляхетствомъ, разными панами экономами, управляющими, даже панскою дворней, даже вольнымъ корчмаремъ Срулемъ. Все, что одѣвалось въ „свиту“, ходило въ костелъ, а не въ церковь, служило на жалованьи у пана, считало себя панствомъ, презирало „барвиновца“, презирало его языкъ и вѣру, его нравы, презирало его тяжелый крѣпостной трудъ.

Когда у дьячка барвиновской церкви, Григорія Загайнаго, родился сынъ Андрей, всѣ барвиновцы были еще крѣпостными пановъ Нѣготскихъ. Маленькій Андрійко, какъ „вольный“, тоже долженъ былъ считаться „панн-чемъ“ и могъ бы по-настоящему играть съ разными Ясями и Михасями—дѣтьми разныхъ шляхтичей, но на самомъ дѣлѣ товарищами его дѣтства были одни барвиновскіе Степки и Петрики. Въ то время огульнаго презрѣнія къ „хлопству“, дьячокъ Григорій, какъ представитель „хлопской вѣры“, какъ человѣкъ, говорившій „хлопскимъ“ языкомъ, работавшій и жившій какъ „хлопъ“, считался всѣмъ шляхетствомъ тѣмъ же „хлопомъ“ и „быдломъ“, якшаться съ которымъ было униженіемъ. Онъ могъ имѣть значеніе и вѣсь только въ глазахъ самого „хлопства“,—конечно, если „хлопы“ вѣрили ему, видѣли въ немъ своего друга, своего же брата, только „разумнаго и письменнаго“, способнаго помочь каждому изъ нихъ

добрымъ словомъ, умнымъ совѣтомъ. И дьячокъ Григорій пользовался особеннымъ почетомъ среди нихъ, считался даже неопровержимымъ авторитетомъ и оракуломъ всѣмъ барвиновцами. Нуженъ ли былъ кому дѣловой совѣтъ, лѣкарство отъ ломоты и брюха, или что-нибудь другое, — вообще, что бы ни случилось такое, гдѣ одной головы было мало, — всѣ барвиновцы шли къ дьячку Григорію, въ полной увѣренности, что онъ разрѣшитъ всѣ сомнѣнія и вопросы, поможетъ всегда и во всемъ. Во-первыхъ, у барвиновцевъ не было больше никого, къ кому бы они могли обратиться въ такихъ случаяхъ, такъ какъ пошъ Пансій жилъ далеко, въ другомъ селѣ, и только прїѣзжалъ по праздникамъ „править службу“ въ Барвиновку. Во-вторыхъ, и что самое главное, всѣ были убѣждены, что дьячокъ Григорій — свой человѣкъ, своя душа, что онъ не продастъ, что все его сердце на сторонѣ барвиновцевъ. И въ самомъ дѣлѣ, развѣ могло его сердце, при тогдашнихъ условіяхъ, лежать не на ихъ сторонѣ?

Высокій, смуглый, вѣчно хмурый и угрюмый на видъ, дьячокъ Григорій даже по внѣшности почти ничѣмъ не отличался отъ любого барвиновца, развѣ болѣе длинными волосами и бородой, которой, по „стародавнему заказу“, „козацкому звычаю“, не носили барвиновцы. Въ рабочіе будни, когда онъ и пахалъ, и косилъ, и сѣялъ, и молотилъ, онъ ходилъ въ тѣхъ же, что и всѣ барвиновцы, полотняныхъ широчайшихъ штанахъ, въ той же бѣлой сорочкѣ, въ томъ же соломенномъ „брилѣ“, а осенью и зимой — въ томъ же завѣтномъ „кожухѣ“ и высокой овчинной шапкѣ. Свою единственную черную

рясу, которую, какъ зеницу ока, берегла дьячиха, надѣвалъ онъ только въ тѣхъ случаяхъ, когда, отрываясь отъ неустанной работы „хозяйеванья“, шелъ молить Бога о дождѣ и урожаѣ, молить для почившихъ барвиновцевъ вѣчной памяти и жизни безконечной, вѣнчать, крестить и исполнять другія духовныя требы. И, несмотря на это, несмотря на то, что жилъ онъ общемо всѣмъ барвиновцамъ жизнью и въ той же обстановкѣ,—въ такой же бѣлой мазаной хатѣ, съ тѣмъ же землянымъ поломъ, въ которой развѣ иконъ было только много,—онъ значилъ для барвиновцевъ неизмѣримо больше, чѣмъ всѣ богатые паны вмѣстѣ, чѣмъ кто бы то ни было. Мало того, что въ ихъ глазахъ онъ былъ и первый ученый, и первый философъ, и лучшій лѣкарь, и снотолкователь, и правовѣдъ, и учитель, — для барвиновцевъ онъ былъ тѣмъ же, чѣмъ „ватажки“ для ихъ дѣдовъ-козаковъ, избирая которыхъ тѣ говорили: „иди, атамане, и гдѣ голова твоя ляжетъ, тамъ и наши лягутъ“. Какъ и всѣ барвиновцы, относилась къ мужу и сама дьячиха — добрая, простая женщина, глядѣвшая на все его глазами и воспитывавшая дѣтей дочку Мотрю и сына Андрійку — въ страхъ Божиємъ и строгомъ почтеніи къ отцу. Съ самыхъ раннихъ лѣтъ пришлось Андрійкѣ слышать вкругомъ пожеланія — пойти по слѣдамъ отца, имѣть его голову, его сердце и тому подобное, и онъ привыкъ глядѣть на него какъ на что-то высшее, недостижимое, безошибочное, а къ его словамъ относиться какъ къ святому завету. А отецъ, чуть ли не съ той поры, какъ маленькій Андрійко сталъ крѣпко держаться на своихъ рѣзвыхъ

дѣтскихъ ножкахъ, когда ему такъ страстно хотѣлось бѣгать по огородамъ, пускать змѣя, бороздить Бугъ бабками, собирать въ лѣсу орѣхи и ягоды,—засадилъ его за азбуку, за Часословъ и Псалтырь и вѣчно долбилъ ему одно и то же: „учись, сынку!“

Крѣпко плакала, потихоньку, крѣпко жалѣла „милаго сына“ дьячиха, глядя на его „лютую муку“, на слезы, которыя тихо глоталъ онъ, оторванный отъ дѣтской за-бавы, игръ и потѣхи, но смѣла ли, могла ли она пере-чить, не соглашаться, вступаться за сына? Развѣ она, съ ея „простымъ, бабьимъ разумомъ“, знаетъ, что дѣй-ствительно нужно и что не нужно, и развѣ можетъ это знать кто-нибудь, кромѣ этого высокаго, хмураго, такого разумнаго и „всѣма поважаемаго“ человѣка, „пана дья-ка“, предъ которымъ такъ низко склоняются шапки всего честнаго, хрещеннаго люда? Онъ одинъ все знаетъ, все понимаетъ, зачѣмъ и какъ, и пусть же такъ будетъ, какъ онъ хочетъ, пусть „мучится“ Андрійко, и, плача, дьячиха только молила Бога, чтобъ это мученье легко доставалось ея любимцу.

Могъ ли и Андрійко не слушаться, могъ ли не учиться всѣмъ сердцемъ, когда это приказывалъ ему самъ отецъ, кумиръ всей Барвиновки и самой матери?

И Андрійко пересиливалъ неохоту, плача пересили-валъ стремленіе къ огородамъ, къ лѣсу, куда манили его Стецки и Кузьки, читалъ Псалтырь, Часословъ, долбилъ ужасную грамматику, корпѣлъ надъ невообра-зимою ариѳметикой и въ семь лѣтъ уже бойко читалъ Апостола, приводя въ умиленіе всѣхъ барвиновцевъ.

— О-о...—ласково говорили они ему, глядя его черно-волосую головку,—будетъ онъ разумный, какъ и отецъ его... Будетъ у насъ кому заступиться и помочь добрымъ словомъ... Дай Богъ ему только отцовскую душу!...

Боже, какія радостныя и гордыя слезы проливала умиленная дьячиха, слыша эти слова!

Одинъ только отецъ не хвалилъ его, не гладилъ по головкѣ за успѣхи, а твердилъ свое неизмѣнное: „учись, сынку!“

— Ты не богачъ, не знатнаго роду, потому тебѣ и надо учиться,—говорилъ онъ иногда, сажая мальчугана къ себѣ на колѣни и строго, почти сурово заглядывая ему въ глаза.—Учись, чтобы не убиваться такъ работой, какъ мы убиваемся... Будешь умнымъ, — не будешь косить и сѣять, будутъ на тебя глупые работать, — такъ ужъ на свѣтѣ ведется!

И Андрійко слушалъ съ трепетомъ и благоговѣніемъ, клялся, что будетъ учиться и станетъ умнымъ, и, дѣйствительно, еще страстнѣе уходилъ въ свое ученье. Разъ только рѣшился онъ какъ-то спросить отца, отчего тотъ самъ и косить, и сѣять, и живетъ такъ бѣдно, будучи такимъ умнымъ, но старый дьякъ, вмѣсто отвѣта, такъ сурово насупилъ брови, такъ грозно кашлянулъ и зашагалъ по хатѣ, что Андрійко зарекся спрашивать въ другой разъ и такъ и не узналъ никогда: почему.

Одному только Тарасу, мельнику, ближайшему другу дьячка Григорія, удавалось спасать мальчика отъ этой „муки“, отрывать отъ неустаннаго зубренья,—одному ему уступалъ дьячокъ и не перечилъ. Тарасъ былъ

„вольный“, грамотный мужикъ, имѣлъ свою собственную мельницу на Бугѣ, тутъ же у самой Барвиновки, и часто навѣдывался къ дядечку въ гости. Зналъ онъ по опыту, какъ „лютъ“ его другъ въ ученьи,—его единственный сынъ, Данилко, раньше учился у дядка грамотѣ, письму и цыфери,—понималъ онъ тайныя слезы дядчиhi и явныя малаго Андрійки, его блѣдность и худобу.

— Гей, пане дядче! — говаривалъ онъ, качая головой,—что это вы дѣлаете съ парнемъ?... Да онъ у васъ совсѣмъ сталъ на дивчѣ похожъ, а не на славнаго хлопця... Гляньте-ка, какой онъ худой, да блѣдный... Ну, хлопче, видай къ бісу свои муки, иди со мной, поиграйся съ Даниломъ, полови рыбы!—добавлялъ онъ, обращаясь къ Андрійкѣ, и дядкъ Григорій, задѣтый ли сравненіемъ хлопця съ дивчиной, самъ ли сознавая, что нужно же въ самомъ дѣлѣ давать ребенку отдыхъ хоть при случаѣ, поворчавъ, да поспоривши немного, отпускалъ сына.

Только на Тарасовой мельницѣ и отдыхалъ Андрійко въ забавахъ со своимъ „любимъ“ Данилкомъ.

Андрійкѣ не было еще и десяти лѣтъ, когда отецъ отвезъ его въ бурсу. Страшно стало мальчугану въ городѣ, среди большихъ домовъ, населенныхъ, какъ полагалъ онъ, одними „умными“, потому что они не сѣяли и не пахали, среди чуждыхъ ему условій городской жизни,—страстно хотѣлось ему назадъ въ Барвиновку, но боязнь отца и его завѣтъ учиться удерживали Андрійка отъ побѣга.

Чтобъ отогнать отъ себя тяжелое чувство тоски и

одиночества, онъ весь ушелъ въ зубреніе и на первыхъ же порахъ обратилъ на себя вниманіе бурсацкихъ педагоговъ, приобрѣлъ ихъ благосклонность, что спасало его отъ слишкомъ частой „порки“, въ которой почти и заключался весь смыслъ тогдашней педагогіи. Мало-помалу, однако, безотчетный страхъ проходилъ и городъ постепенно втягивалъ мальчика, раскидывая предъ его глазами прелести и соблазны, какихъ нѣтъ въ деревнѣ. Все тѣснѣе сближался Андрійко съ новыми товарищами, все больше увлекался товарищескою жизнью бурсы, съ ея безшабашнымъ шельмничествомъ и живымъ дѣтскимъ весельемъ; а тутъ еще, къ тому же, постоянные уроки, занятія, и, незамѣтно для самого себя, шагъ за шагомъ, Андрійко забывалъ свою Барвиновку.

Глава II.

Прошло нѣсколько лѣтъ. Пока Андрійко, съ отличіями проходя каторгу бурсы, добрался до риториковъ семинаріи, а оттуда въ философію, многое измѣнилось на бѣломъ свѣтѣ.

Со всею крѣпостною Русью вздохнула радостно и Барвиновка въ великій день освобожденія, и свободные барвиновцы ожесточенно гонялись теперь по лѣсамъ за шляхтой, въ увѣренности, что она бунтуетъ противъ „воли“.

Старый дьячокъ, отпраздновавъ съ народомъ долгожданную „волю“, умеръ, наказавъ на смертномъ одрѣ

передать сыну его благословленіе и завѣтъ: учиться и выходить въ люди.

Мотря, успѣвшая вырасти въ высокую, стройную красавицу, вышла замужъ за чернобриваго Данилу, сына Тараса-мельника, и къ ней, въ ея новую бѣлую хату у самой мельницы, перебралась и дьячиха, не перестававшая оплакивать покойнаго мужа. Сильно хотѣлось дьячихѣ обнять любимаго сына, заглянуть въ его „очи ясныя“, поглядѣть, каковъ вышелъ изъ него „парубокъ“; сильно хотѣлось и барвиновцамъ повидаться съ нимъ, послушать его рѣчей умныхъ, узнать отъ него, письменнаго человѣка, какъ и что на свѣтѣ Божиѣмъ; но никто не пенялъ на него, что онъ ни разу и носа не показалъ въ Барвиновку, потому что и пенять было не за что. Всѣ знали, что онъ учится на славу, а въ свободное время, каждыя каникулы, какъ волъ работаетъ, уча чужихъ дѣтей, добывая этимъ гроши для старухи-матери и родной сестры... Вполнѣ понимала это Барвиновка и вполнѣ одобряла.

— Подождемъ,— говорили они,— придетъ еще часъ, придетъ онъ къ намъ попомъ,—и гурьбой шли на мельницу къ старой дьячихѣ послушать письмо,—послужать, какъ „складно и разумно“ пишетъ Андрійко.

Дрожащею рукой надѣвала дьячиха на носъ свои старыя, тусклыя очки въ мѣдной оправѣ, дрожащею рукой вскрывала драгоцѣнное письмо и, дрожа и глотая слезы, при помощи Мотри и Данила, разбирала сватыя ея сердцу строки. Все быстрѣе и быстрѣе капали слезы, все больше и больше волновалась красавица Мотря, все чаще и

чаще вытирала она расшитымъ рукавомъ сорочки свои длинныя рѣсницы; кое-гдѣ и умиленные дѣды начинали моргать сивымъ усомъ, а кто побоитѣе—принимался хвалить Андрійку, утѣшать и ободрять старуху.

— Чего же тутъ плакать, пани - матко, — говорили ей, — хибѣ тому, что сынъ розумный? — и старуха, какъ бы испугавшись, набожно крестилась и со словами молитвы шептала въ отвѣтъ говорившимъ:

— Отъ счастья плачу, добрые люди, отъ счастья!

Большія надежды возлагали барвиновцы на Андрійку.

Многое измѣнилось за послѣдніе годы въ деревнѣ, и такъ быстро, такъ, казалось, внезапно, что никто и оглянуться не успѣлъ, не успѣлъ дать себѣ отчета, въ чемъ дѣло, не успѣлъ примѣниться. Пока барвиновцы только либовали и праздновали свою волю, ни о чемъ не думая, кругомъ нихъ складывались новыя отношенія, новыя условія, вызванныя ломкой стараго, громаднымъ переворотомъ. Явились новыя взгляды, новыя понятія, пошли иные, новые люди... И все это выросло, возникло такъ быстро, такъ неожиданно-негаданно, точно въ волшебной сказкѣ.

Имѣніе Нѣготскихъ, конфискованное за участіе пановъ въ мятежѣ, было продано на какихъ-то особенно льготныхъ условіяхъ рязанскому выходцу Өерапонтову, глядѣвшему на себя, какъ на миссіонера, какъ на „культуртрегера“ въ этой „мятежной“ странѣ. Өерапонтовъ на первыхъ же порахъ завелъ золоченую дугу, наборную упряжь съ бубенцами, доселѣ невиданныя въ Барвиновкѣ, сталъ ухорски летать на бѣшеной тройкѣ, а тѣмъ временемъ, пока наивные барвиновцы развѣвали рты и ды-

вовались“, окружилъ ихъ цѣлою сѣтью контрактовъ, неустоекъ, обязательствъ, штрафовъ,—и все „по законамъ“, о которыхъ барвиновцы, прожившіе вѣка въ беззаконіи, не имѣли ни малѣйшаго понятія. Больше всего именно донималъ ихъ этотъ „законъ“, эти новыя, какія-то неслыханныя доселѣ, права, „пункты“, по которымъ всегда выходилъ виноватымъ и о которыхъ кричалъ имъ и Терапонтовъ, и его другъ посредникъ, и становой, и писарь, и новый попъ Дорожей съ причтомъ, и даже Сруль, старый шинкарь Сруль.

Крѣпко чесали свои чубы барвиновцы, крѣпко вляли „бисова москаля“, съ его „паскудною“ руганью, — Терапонтовъ звучно ругался, — и волей-неволей опускали руки; не было ни дьяка Григорія, ни попа Паисія, которые помогли бы „добрымъ словомъ“, дѣльнымъ совѣтомъ, растолковали бы, куда сунуться, что сдѣлать, и сами стали бы за нихъ грудью. Новый попъ обзывалъ ихъ, какъ и Терапонтовъ, какъ и всѣ другіе, лѣнтями, „мазепами“, а „пана Терапонтова“ звалъ не иначе, какъ примѣрнымъ сыномъ церкви, благодѣтелемъ, указывалъ на его жертвы для благолѣпія храма, а вмѣстѣ съ нимъ въ одинъ голосъ пѣлъ то же самое и весь причтъ церковный.

Туго приходилось барвиновцамъ и они возложили всѣ свои упованія на Андрійка. Онъ превратился для нихъ въ какую-то полусказочную, живую панацею отъ всякихъ золъ, бѣдъ и недоразумѣній: онъ все растолкуетъ, все укажетъ; онъ не продастъ,—онъ свой человекъ, онъ самъ заступится!... Лишь бы только Андрійко кончилъ ученье,

да „высвятился на попа“, тогда они сами, всё до единого, пойдутъ просить для него барвиновскій приходъ, что бы это имъ ни стоило... Выпросятъ, устроятъ и заживутъ съ нимъ по старинѣ, какъ съ Паксіемъ, какъ съ дьякомъ Григоріемъ!

Не менѣе страстно ждала этой минуты и дьячиха. Неужели ея Андрійко, сынъ простой дьячихи, братъ мельничихи, будетъ попомъ, будетъ благословлять народъ, будетъ стоять за царскими вратами, предъ святымъ престоломъ, въ свѣтлыхъ золотыхъ ризахъ?... Да не сонъ ли это? Не сонъ ли эти чудныя картины, которыя услужливое воображеніе рисовало ей одну за другою, въ тихіе вечера, подъ шумъ веретена, когда она видѣла своего Андрійка и въ утро Христова Воскресенія, въ клубкахъ оиміама, при трепетномъ блескѣ сотенъ свѣчей,—когда она видѣла его на поляхъ, на лугахъ, среди несмѣтной толпы народа, просящимъ у Бога урожая, окропляющимъ все святою водой?... И возлѣ него, ближе всѣхъ къ нему—она, его мать, и ея любимая Мотря!... Одна другой отрадише и прелестнѣе проносились картины въ воображеніи старухи; съ ужасомъ гнала она ихъ отъ себя, подозрѣвая въ нихъ дѣло лукаваго, боясь, какъ бы не прогнѣвить Бога гордыней, не „наврочить“ Андріеинаго будущаго, а онѣ, какъ нарочно, все лѣзли и лѣзли, все неотступнѣе осаждали ея любящее сердце. Рыдая, молилась она святымъ иконамъ, налагала на себя строгій постъ, ходила своими старыми ногами въ Почаевъ и страстно молила Пречистую наказать одну ее, — только ее,—и дать все хорошее сыну.

И какъ же всплеснула она руками, какъ задрожала, когда въ одно радостное, свѣтлое утро, окруженный почти всѣми барвиновцами, отъ мала до велика, на порогѣ мельницы показался ея сынъ, ея Андрійко. Да полно, онъ ли это—этотъ высокій, красивый юноша, съ черными, какъ смоля, кудрями, съ шелковистыми, недавно пробившимися усами и бородкой, съ такими смѣлыми, гордыми очами, какія бываютъ только у знатныхъ и сильныхъ? Дрожа, рыдая, не вѣря своему счастью, переводила старуха удивленные глаза съ него на стоявшихъ съ разинутыми ртами парубковъ—его сверстниковъ, на строгихъ сѣдыхъ дѣдовъ, на румяныхъ, чернобровыхъ дивчатъ, и снова глядѣла на него... Конечно, это онъ, Андрійко!... Кто же другой могъ такъ сильно душисть ее въ объятіяхъ и звать „ненькой“, Мотрю—сестричкой, помнить по именамъ каждаго дѣда, каждаго парубка, — къ кому же другому могло тянуть ее такъ сильно ея любящее сердце?... И, не помня себя отъ восторга и счастья, дьячиха цѣловала ясныя очи своего „сизокрылаго“. Страстное ликованіе охватило барвиновцевъ, но не долго продолжалось оно...

— Не пойду я въ попы,—вдругъ отрѣзалъ Андрійко.

Обомлѣла старая дьячиха, заслышавъ эти слова, ахнула, заворчала вся Барвиновка. Страшно страдала старуха, распростившись съ золотыми мечтами, со всѣмъ ожидаемымъ счастьемъ, но она винила во всемъ только себя, свою гордыню, свои „думы“, за которыя Господь и наказалъ ее. Тщетно упрашивали ее барвиновцы уломать сына, пригрозить материнскимъ гнѣвомъ,—старуха

страдала молча, не показывая своего горя сыну, видя въ случившемся „наказующій перстъ Божій“, поднятый на нее за ея прегрѣшенія. Грѣшно было бы роптать, грѣшно было бы идти противъ воли Бога—и она смиренно и грустно отвѣчала барвиновцамъ:

— Какъ ему Богъ на душу положить, добрые люди, такъ пусть и будетъ!

— Да онъ Бога гнѣвить, что не хочетъ въ попы идти!—убѣждали ее барвиновцы.

— Все отъ Бога, все отъ Него одного,—грустно отвѣчала она.

Пробовали старики сами уламывать Андрійку, уговаривали его остаться хоть волостнымъ писаремъ, но ничего изъ этого не вышло; какъ заладилъ онъ свое: „не пойду въ попы, а въ университетъ хочу“,—такъ и стоялъ на своемъ, какъ камень. Не понимали барвиновцы, зачѣмъ ему университетъ, недоумѣвали и осыпали его упреками. Только одинъ Тарасъ-мельникъ покачалъ головой и, вынувъ изо-рта люльку и сплюнувъ на сторону, сказалъ:

— Пускай идетъ, добрые люди, куда его тянетъ... Отъ молодости это... Прежде, говорятъ, когда подростали хлопцы, то шли козаковать, а все же домой вертались... Теперь не то время: въ ученье тянетъ хлопцевъ,—ну, и пусть идетъ, а все же не будетъ ему свѣта, какъ дома!...

Мать страдала молча, барвиновцы громко и явно роптали и сердились, а Андрійко приходилъ въ ужасъ отъ одной мысли остаться въ Барвиновкѣ. Онъ любилъ бар-

виновцевъ, его доброе сердце готово было на всякое добро для нихъ, но отречься для нихъ отъ міра, отъ кипучей, страстной городской жизни, отъ свѣта шума,—отречься для того, чтобы помогать имъ только въ ихъ будничной жизни, когда „тамъ“, въ этомъ заманчивомъ, неизвѣстномъ, розовомъ „тамъ“, онъ можетъ дѣлать такъ много „для всѣхъ“; уложить всю свою жизнь въ узкую колею, когда предъ нимъ открыта широкая, полная жизни и кипучей дѣятельности дорога, казалось ему и абсурдомъ, и даже преступленіемъ. Юность жаждала шумной и страстной жизни; сердце, горѣвшее безпредѣльною вѣрой въ людей и жизнь, искало правды и свѣта; молодая энергія требовала борьбы и всеобъемлющаго дѣла; пытливый умъ ставилъ сотни вопросовъ и требовалъ удовлетворенія; юношеское честолюбіе толкало выдвигаться, стать замѣтнымъ; вѣра подсказывала во всемъ успѣхъ, а воображеніе рисовало неизвѣданную жизнь въ розовомъ свѣтѣ,—могъ ли онъ остаться въ скромной, сонной Барвиновкѣ, помириться съ будничною, сѣрою жизнью, среди наивныхъ, простыхъ пахарей, встававшихъ и ложившихся съ солнцемъ, неспособныхъ даже понять его свѣтлыхъ юношескихъ грезъ?... Еще въ семинаріи, когда его сердце впервые забилося жгучими вопросами, стоящими обыкновенно на порогѣ юности, а умъ горѣлъ, какъ въ огнѣ,—когда онъ сталъ учиться не по одному только отцовскому приказанію, а добиваясь рѣшенія своихъ сомнѣній,—онъ чувствовалъ себя уже чужимъ барвиновской жизни, рѣшилъ, что ему тамъ нечего дѣлать... Чѣмъ живетъ Барвиновка, кромѣ вопроса о насущномъ хлѣбѣ и возможности отдыха послѣ

каторжнаго труда? А онъ такъ мало думалъ о хлѣбѣ и совѣтѣ не искалъ отдохновенія.

Онъ поступилъ въ университетъ. Жутко пришлось ему на первыхъ порахъ—безъ средствъ, безъ знакомыхъ, трудно было вмѣстѣ и учиться, и добывать кусокъ хлѣба грошевыми уроками, перепиской, корректурой, отнимавшими большую часть времени, но молодая энергія, выносливость, пріобрѣтенная еще съ ранняго дѣтства привычка къ упорному труду—брали свое, и онъ не унывалъ. Самымъ тяжелымъ было для него то, что онъ не имѣлъ никакой возможности, какъ ни бился, удѣлать что-нибудь матери и сестрѣ, потому что долго, очень долго, самъ еле-еле сводилъ концы съ концами. Только на третьемъ курсѣ улыбнулось ему счастье, выпало хорошее, выгодное мѣсто учителя въ обезпеченной и доброй семьѣ Сошенко, относившейся къ нему, какъ къ родному. И жена, и мужъ Сошенко были, прежде всего, простые, добрые люди, какими кипитъ наша провинція. Она была неглупая, немного ваялая женщина, способная на многое доброе, если кто-нибудь наталкивалъ ее на него, но и безъ тѣни даже инициативы въ характерѣ; онъ—такой же добрый, веселый сангвиникъ, живой, подвижный, сыпавшій преувеличеніями, вѣчно чѣмъ-нибудь восторгавшійся, на что-нибудь негодовавшій, вѣчно пенявшій на среду и окружающія условія, въ которыхъ, однако, онъ бы чувствовалъ себя, на самомъ дѣлѣ, какъ ракъ на мели. Андрей тоже привязался къ этимъ добрымъ, безхитростнымъ людямъ и безмятежно зажилъ съ ними, забылъ Барвиновку, ея нужды, жела-

нія, упреки, успокоившись всецѣло на представившейся возможности посылать время отъ времени небольшія суммы денегъ роднѣ.

ГЛАВА III.

Стояло лѣто 187* года.

Горячее солнце давно уже закатилось за лѣсъ, обрызгавъ на прощанье золотомъ и пурпуромъ верхи могучихъ, вѣковыхъ дубовъ, и легкія тучки на западѣ, и синія волны широкаго Днѣпра. Незамѣтно и тихо, точно влюбленный на тайное свиданіе, прокрался нѣжный сумракъ, обволакивая и даль, и лѣсъ, и береговыя горы, и даже чудное голубое небо Украйны какимъ-то мягкимъ фіолетовымъ тономъ, а на встрѣчу ему, дрожа и волнуясь, легче дыма, легче пара поднимались съ Днѣпра клубы бѣлаго вечерняго тумана, разстилаясь кругомъ, точно цѣлуя землю. Все смолкало... Сама жизнь, казалось, догорала съ зарею, уступая мѣсто какой-то торжественной, невыразимо - сладкой и мягкой тишинѣ... Гдѣ-то крякнула утка, простоналъ куликъ, прокаркалъ вѣронъ... Что-то заѣрзало, зашумѣло въ камышѣ, вспорхнуло, тяжело хлопая крыльями, и снова все замолчало, точно замерло... Потянулъ вѣтерокъ, зарыбилъ синюю воду, взволновалъ туманъ и пронесся дальше—далеко-далеко... въ Черному морю, въ широкія степи... А сумракъ все надвигался, становился все гуще и гуще... Вотъ что-то блеснуло въ вышинѣ и отразилось дрожащею искрой въ

синихъ волнахъ, еще и еще... — и множество искръ, то яркихъ, то блѣдныхъ, загорѣлось въ потемнѣвшемъ небѣ, задрожало, закачалось въ Днѣпрѣ. Какъ бы украдкой, выплыла луна и облила мягкимъ, зеленоватымъ свѣтомъ землю, а черезъ Днѣпръ протянула яркую изълучей ленту, по которой ходятъ на берегъ русалки, еле касаясь своими легкими стопами этого золотого моста. И вдругъ, точно привѣтствуя плывущую красавицу луну, что-то засвистало, затрещало, разсыпалось дробью и, среди безмолвія и нѣги надвигающейся ночи, вся даль огласилась соловьиною трелью.

— Что за чудная ночь!

Это восклицаніе невольно сорвалось съ устъ Сергѣя Павловича Сошенка, вообще не умѣвшего ничего чувствовать молча. Закинувъ подъ голову руки, растянувшись на зеленой травѣ подъ могучимъ старымъ дубомъ, онъ упорно смотрѣлъ вверхъ, точно разсматривая какую-то звѣздочку, и, не поварачиваясь, продолжалъ:

— Всю бы жизнь провести такъ... на лонѣ природы!

— Опять гипербола! — улыбнулся Андрей, сидѣвшій тутъ же рядомъ, обнявъ колѣни руками и какъ-то безцѣльно, неподвижно всматриваясь въ даль.

— Ахъ, Андрей, брось ты эти свои гиперболы! — загорячился Сергѣй Павловичъ. — Ну, гиперболы, такъ гиперболы... А я говорю тебѣ, что не гипербола, — слышишь, Андрей?

И, повернувшись всѣмъ корпусомъ, поднявъ голову и глядя въ упоръ на друга, онъ какъ-то страстно, точно задѣтый за живое, проговорилъ:

— Честное слово, не знаю, что бы далъ, лишь бы развязаться съ этою городскою интеллигентною жизнью, съ этою пошлостью, фальшью, тунеядствомъ, съ этою китаищиной, облеченною въ мнимо-европейскія формы, съ этимъ мѣщанскимъ лоскомъ, прикрывающимъ столько лжи и гадости, съ этимъ... съ этимъ...

Сильное волненіе мѣшало ему говорить и подыскивать выраженія.

— Что же мѣшаетъ тебѣ развязаться?—спокойно спросилъ молодой человѣкъ, вода по травѣ тросточкой.

— Какъ что?!—вспылилъ Сошенко, приподнимаясь,—а семья, а дѣти, которымъ необходимо образованіе? Развѣ я отъ себя завишу?!... А воспитаніе, привычка, традиціи?... Да, наконецъ,—онъ протянулъ къ сидѣвшему двѣ бѣлыя, выхоленные руки,—наконецъ, эти руки, неспособныя ни къ чему другому, кромѣ интеллигентнаго переливанія изъ пустаго въ порожнее?... Развѣ этого мало?

Молодой человѣкъ пожалъ плечами.

— Я не понимаю, Сергѣй Павловичъ, право, не понимаю,—сказалъ онъ,—какъ это все, сейчасъ тобою перечисленное, мѣшаетъ тебѣ сторониться того, что такъ законно не нравится тебѣ въ нашемъ городскомъ или, какъ ты говоришь, интеллигентномъ быту?

— Это значить: жить въ болотѣ и не куликовать, такъ?—вскричалъ Сергѣй Павловичъ.—Да развѣ это возможно, Андрей?

— Я думаю, что возможно и должно,—спокойно и твердо отвѣтилъ тотъ.—Впрочемъ, это зависитъ отъ взгляда и... и характера,—добавилъ онъ типе.

— Можетъ быть, можетъ быть,—какъ будто обидѣлся немного Сергѣй Павловичъ. — Но на мой взглядъ, при моемъ характерѣ,—онъ подчеркнулъ слово „мой“ и „моемъ“,—это вздоръ... Только внѣ города возможна осмысленная, трезвая, честная жизнь... Только на лонѣ природы, отъ нея одной завися, работая и живя, какъ тотъ мужикъ, у котораго мы только что пили съ тобой молоко, душа найдетъ покой, наболѣвшая совѣсть успокоится, не будетъ постоянныхъ противорѣчій съ самимъ собою, постоянныхъ сдѣлокъ съ совѣстью...

Сергѣй Павловичъ всталъ, откинулъ со лба волосы и уставился на друга. Тотъ покачалъ головой.

— Пусть будетъ по-твоему, ладно,—началъ онъ тѣмъ же спокойнымъ, убѣжденнымъ тономъ,—хотя я, все-таки, попрежнему скажу тебѣ, что ты человѣкъ гиперболическій... Гипербола всегда и во всемъ. Ты говоришь такъ, не зная деревни. Я—сынъ деревни... Ладно, ладно,—заговорилъ онъ быстрѣе и перебивая себя, замѣтивъ нетерпѣливый жестъ друга,—не въ этомъ дѣло, пусть будетъ по-твоему... Я только хочу спросить тебя, чтó бы ты дѣлалъ такое въ деревнѣ, — ты, ученикъ Дарвина, Спенсера etc., etc.? Какъ бы это ты примирился съ „тремъ витами“ и „разрывъ-травой“?

Сошенко даже привскочилъ отъ этихъ словъ.

— Чтó бы я дѣлалъ? — закричалъ онъ, почти дрожа отъ волненія,—чтó бы я дѣлалъ?... Какъ бы я помирился?... Да развѣ бы я мирился? Развѣ я о безмятежномъ, пустопорожномъ *farniente* говорю?... Я билъ бы этихъ китовъ и травы, я вносилъ бы свѣтъ, училъ, я бы...

— Дѣлалъ то же, что можетъ дѣлать каждый дѣло-челъ и даже школьникъ и что надоѣло бы тебѣ съ первыхъ же дней! — подхватилъ Андрей. — Стоить овчинка выдѣлки... Стоить запастись такою массою знанія, столько лѣтъ труда ухлопать на одну голову... Нѣтъ, братъ, у насъ другое дѣло, другой путь...

— Позвольте-съ полюбопытствовать? — съ ироніей спросилъ Сергѣй Павловичъ, разставляя ноги и нагибаясь къ Андрею.

— Извольте-съ... — отвѣтилъ тотъ, немного волнуясь и краснѣя. — Среда, въ которой мы принадлежимъ, — среда цивилизаціи и культуры, одно существованіе которой есть несомнѣнное благо, несмотря на всѣ ея недостатки. Она — очагъ науки, — заговорилъ онъ быстрее, замѣтивъ улыбку на лицѣ друга, — источникъ знанія, идеаловъ, — значитъ, прогресса, значитъ, счастья человѣчества... Развѣ не такъ?.. Жить и работать въ ней и для нея — значитъ жить и работать для всѣхъ... Конечно, не тунеядствовать, а работать честно, помня, что мы — пионеры прогресса, что наша обязанность — не успокоиваться на добытомъ, а, напротивъ, погружаться все глубже въ область неизвѣстнаго, прокладывать все новыя дороги и, понятно, не измѣнять своимъ принципамъ, что ты называешь „уступками“ и на что такъ справедливо негодуешь... Какое намъ дѣло, всѣ ли идутъ за нами? Мы знаемъ, что мы — свѣтъ, а свѣтъ, раньше или позже, освѣтитъ всѣхъ... Вѣдь, и солнце не сразу освѣщаетъ землю, а спустя извѣстное время по появленіи на горизонтѣ, пока лучи его не добѣгутъ до насъ. Такъ и тутъ.

Андрей Григорьевич такъ увлекся, что, навѣрное, говорилъ бы еще долго, не помѣшай ему хохотъ друга. Сергѣй Павловичъ хохоталъ какъ-то истерически и, замѣтивъ, что Андрей хмурить брови, сталъ хохотать еще сильнѣе.

— Чему ты хохочешь?—немного обидчиво спросилъ его Андрей.

— Чему хохочу?—спросилъ тотъ, переставъ, наконецъ, смѣяться и задыхаясь.—Чему я смѣюсь?... Ха, ха, ха... Хочешь, я, какъ по пальцамъ, выложу тебѣ твое будущее *соченье*?...—и, загнувъ палецъ, онъ снова нѣсколь-
ко разъ хихикнулъ.

— Ну?—вызывающе улынулся Андрей.

— А вотъ-съ, Андрей Григорьевич!—смѣясь, продолжалъ онъ,—вы, вѣдь, уже кончили университетъ и поступаете немедленно на службу, потому что безъ службы вы, вѣдь, обойтись не можете, такъ?

— Такъ!—подтвердилъ Андрей Григорьевичъ.

— Ну, вотъ-съ, вотъ-съ!... Ладно... Служите вы сначала рьяно,—полны тамъ всякихъ идеаловъ и выспренныхъ желаній, отворачиваетесь отъ „общественной грязи“ и высоко держите голову,—это первая стадія. Потомъ,—онъ загнулъ второй палецъ,—наступаютъ всяческія ссоры, дразги, столкновенія, васъ донимаютъ сплетнями, инсинуаціями, ложью... Вы возмущаетесь, кипятитесь,—это стадія борьбы. Дальше, вы убѣждаетесь, что вамъ не совладать съ представителями мракобѣсія, что ни въ васъ, ни въ вашемъ служеніи никто не нуждается, что ничего хорошаго вы не сдѣлали и сдѣлать не можете,—это ста-

дія сомніній и тоски, такъ?... Затѣмъ, понятно, вы ищете „живую душу“, сердце, съ которымъ бы можно подѣлиться, найти поддержку, и всенепремѣнно встрѣчаете „божественное созданіе, сотканное изъ лучей правды“, которое, несмотря на всю свою наивность и идеальныя стремленія, преисправно женить васъ на себѣ,—это стадія возрожденія въ иллюзіяхъ... Наконецъ, послѣднее,—растянулъ онъ слово „послѣднее“, загибая послѣдній палецъ,—семья, дѣти, которымъ нуженъ хлѣбъ, платье, образованіе, необходимость жить, „какъ всѣ“, и компромиссъ, компромиссъ безъ конца...

— Не весело!—съ неподдѣльною ироніей покачалъ Андрей головой.

— Еще бы! За то—сама правда!—опять страстно заговорилъ Сергѣй Павловичъ.—Вѣдь, я самъ испыталъ все это, самъ извѣдалъ... Самъ я пламенѣлъ когда-то, дружище, иллюзіями, самъ „вожделѣлъ“, какъ ты, а теперь—на, смотри—рѣжусь въ карты, не имѣю досуга пробѣжать газеты, толку воду изъ-за жалованья, да и мало ли еще что...

— Ладно,—перебилъ его Андрей, вставая, —кончимъ это... Можетъ быть, дѣйствительно страшно тяжело нашъ путь, можетъ быть, и вправду трудно устоять на немъ, но что же изъ этого? Неужели отступать? Пеняй самъ на себя, кто упалъ, и не требуй только отъ другихъ идушихъ того же... Все же, дружище, истина, что каждый можетъ дѣйствовать только въ своей сферѣ: рыба—жить въ водѣ, орелъ—на сушѣ... А въ деревнѣ намъ нѣтъ мѣста! Черезъ-чуръ большая пропасть лежитъ между на-

ми, интеллигенціей, и народомъ—во всемъ, во всемъ: въ нервахъ, привычкахъ, въ міросозерцаніи, въ нравахъ.

Сергѣй Павловичъ завертѣлся на мѣстѣ, собираясь что-то возразить, но былъ остановленъ въ самомъ началѣ. Молодая, красивая брюнетка, одѣтая съ большимъ вкусомъ, подбѣжала къ нему сзади и неожиданно закрыла ему глаза руками.

— Ахъ вы, спорщики, вѣчные спорщики!—прокричала она, весело смѣясь.—Вѣдь, намъ давно пора! Я должна быть сегодня на раутѣ княгини и мнѣ еще одѣваться...

— Въ самомъ дѣлѣ, ѣдемъ!—заторопился Сергѣй Павловичъ, разнимая маленькія ручки жены и нѣжно цѣлуя ихъ,—вѣдь, и я сегодня дежурнымъ старшиной въ клубѣ... А гдѣ же Коля, Sophie?

— Онъ увлекся грибами, Serge... Коля, Коля!—закричала Софья Николаевна, и на ея зовъ, изъ лѣсу, показался крохотный гимназистикъ, ученикъ Андрея. Сергѣй Павловичъ подалъ женѣ руку и все общество направилось къ лодкѣ. Въ лодкѣ онъ разсказалъ скандальный случай изъ клубной жизни и сталъ распространяться объ удивительной вѣроломности картъ.

— Ты что же это подсмѣиваешься?—шутливо набросился онъ на Андрея, подмѣтивъ на его лицѣ улыбку.— Думаешь: вотъ, молъ, дѣятель, отвелъ душу въ спорѣ и—снова за старое?... Эхъ, братъ! да, вѣдь, это же наша судьба, судьба интеллигента, такая...

Андрей не отвѣтилъ ничего и приналегъ на весла.

Да и что могъ онъ отвѣтить? Онъ давно зналъ эту черту за Сергѣемъ Павловичемъ, давно съ ней прими-

рился; вѣдь, не разъ уже они спорили такъ горячо, что у него, Андрея, болѣла голова и цѣлые дни, затѣмъ, уходили на анализъ этихъ споровъ, тогда какъ Сергѣй Павловичъ бѣгалъ, какъ ни въ чемъ не бывало, увлекаясь всякою мелочью, совершенно забывъ и предметъ спора, и самый споръ. Онъ, дѣйствительно, отводилъ только душу въ спорѣ, тѣшилъ себя; но чтобы это могло быть удѣломъ всѣхъ,—о, онъ, Андрей, съ этимъ никогда не согласится! Развѣ то, что онъ, Андрей, говоритъ, не искреннѣйшее его убѣжденіе, не альфа и омега всего его я, закрывшее собою всю Барвиновку, съ ея укорами, упреками, желаніями, нуждами,—развѣ не чувствуетъ онъ въ себѣ силъ, живыхъ, честныхъ, стойкихъ, не призрачныхъ силъ? Развѣ нѣтъ въ немъ вѣры въ жизнь, въ людей,—развѣ онъ способенъ на „уступки?... Никогда, конечно, никогда!.. Лучше убѣгу,—улыбнулся онъ про себя.

Показался городъ и скоро лодка причалила къ набережной. Слуга, отворившій на звонокъ дверь, подаль Андрею запечатанный конвертъ.

— Курьеръ принесъ,—сказалъ онъ,—только что!

— Навѣрное, опредѣленіе!—полюбопытствовалъ Сергѣй Павловичъ.

— Да,—отвѣтилъ Андрей, пробѣжавъ письмо,—опредѣленіе, но только...

— Что, что?—заинтересовались оба Сошенки.

— Учителемъ древнихъ языковъ въ N—скую гимназію; другихъ вакансій нѣтъ.

— Первый блинъ да комомъ, — захохоталъ Сергѣй

Павловичъ; но такъ какъ онъ былъ теперь совсѣмъ въ другомъ настроеніи, то и сталъ увѣрять Андрея, что унывать не за чѣмъ, что все равно—учителемъ ли исторіи, или языковъ—пользу вездѣ приносить можно, лишь бы желать ее приносить и честно работать.—Напротивъ, еще лучшее дѣло, прекраснѣйшее дѣло!... Ты будешь облегчать дѣтямъ, разумнымъ преподаваніемъ, изученіе этой тарабарщины... Нелегкая, но прекрасная задача!—кричалъ онъ и, увлекшись, сталъ доказывать, что не велика важность работать на любимомъ поприщѣ.—Нѣтъ, если ты герой,—кричалъ онъ,—бери самое тяжелое, самое несимпатичное...—Но тутъ помѣшала ему Софья Николаевна, торопя его одѣваться.

Андрей смотрѣлъ, не двигаясь, въ окно на улицу, по которой сновали люди взадъ и впередъ, и, навѣрное, не видѣлъ ихъ, также какъ не слышалъ горячей рѣчи Сергѣя Павловича. Что съ нимъ такое? Вѣдь, вотъ, онъ добился, наконецъ, того, чего желалъ... Онъ вступаетъ, наконецъ, въ жизнь самостоятельнымъ дѣятелемъ, обеспеченнымъ работой, вступаетъ лучше многихъ, съ дипломомъ и медалью. „Первый блинъ да комомъ!“—прозвучало возлѣ. „Послѣдній ли только?“—промелькнуло въ немъ гдѣ-то глубоко-глубоко и скрылось.

— Развѣ отказаться? — спросилъ онъ какъ-то про себя.—Что за вздоръ, не все ли равно, въ сущности?... Дѣло не въ предметѣ, а въ пріемахъ, въ воспитаніи, въ нравственномъ вліяніи учителя... Маленькая неудача и—уже разнюнился...—И, бодро отряхнувшись, онъ принялъ веселый видъ.

Было ли ему въ самомъ дѣлѣ весело, Богъ его знаетъ, но всю ночь онъ проворочался въ постели и заснулъ только подъ уgro.

Глава IV.

Что бы ни говорили пессимисты, какъ бы страстно ни выдвигали впередъ страданіе и зло, какъ корень мірозданія, а, все-таки, нужно сознаться, что жизнь, несмотря на всю свою подчасъ безалаберность и безалаберную жестокость, раскинула человѣку на его пути не мало хорошихъ моментовъ. Правда, моменты эти преходящи, какъ и все на свѣтѣ,—преходящи, какъ и моменты злые и тяжелые,—отчего къ нимъ припиливаютъ клички: „иллюзіи“, „самообманъ“, „самообольщеніе“, но очень можетъ быть, что именно эти-то иллюзіи и самообольщеніе спасаютъ отъ „небытія“, которое такъ настоятельно рекомендуется пессимистами, и насъ всѣхъ, и самихъ совѣтчиковъ. Не все ли равно, въ самомъ дѣлѣ, иллюзіи ли они, самообольщеніе ли, когда въ такіе реально переживаемые моменты человѣку живетъ хорошо, дышется вольно, какъ птицѣ, вѣрится въ жизнь, въ людей, въ будущее и накопляются силы болѣе или менѣе стойко и твердо выносить и тяжелое, за которымъ, несомнѣнно, вновь послѣдуетъ что-нибудь и свѣтлое? Не все ли равно, когда они оставляютъ неизгладимый слѣдъ на типѣ и характерѣ человѣка, способствуютъ его духовному росту, разцвѣту его силъ, двигаютъ на подвигъ,

на добро и, такимъ образомъ, способствуютъ улучшенію условій самой жизни? Количественъ такихъ „иллюзій“ измѣряется духовная жизнь человѣка, ея сила и страстность, а въ періодичности переживаемыхъ моментовъ, въ постоянной смѣнѣ тяжелыхъ и свѣтлыхъ минутъ, можетъ быть, и кроется источникъ того, что такъ упорно отрицается пессимистами, но что на общечеловѣческомъ языкѣ называется „счастьемъ“.

Изъ такихъ моментовъ, какъ извѣстно, поэты выбираютъ чаще для своихъ пѣсень моменты любви,—счастливый медовый мѣсяцъ. Конечно, блаженъ этотъ часъ и в сто-кратъ несчастенъ человѣкъ, его не пережившій, да и есть ли еще такой человѣкъ на свѣтѣ, будь онъ пессимистъ хоть съ колыбели?! Но есть еще и другой моментъ: медовый мѣсяцъ—жизни, и трудно, право, сказать, который изъ нихъ полнѣе и лучше. Этотъ медовый мѣсяцъ—первый самостоятельный шагъ человѣка, его первый выходъ на арену общественной работы, его первый послѣ долгой подготовительной работы въ школѣ жизненный турниръ, когда, полный силы, энергіи и вѣры въ себя, онъ впервые смѣло вноситъ въ жизнь свое духовное „я“ и ставитъ его лицомъ въ лицу съ загадочнымъ пока для него сфинксомъ—обществомъ.

Такой именно моментъ и переживалъ теперь Андрей. Сынъ другой среды, другихъ условій жизни, послѣ долгой подготовительной работы, въ теченіе которой онъ зналъ только свои книги, да книги, онъ вступалъ, наконецъ, въ обѣтованную землю, о которой еще въ дѣтствѣ твердилъ ему неустанно суровый отецъ, въ новую

сферу, известную ему только изъ тѣхъ же книгъ, да по смутнымъ обрывкамъ, долетавшимъ до университетской скамьи, и рассмотреть которыя не было времени изъ-за упорныхъ занятій,—вступалъ какъ равноправный членъ, какъ работникъ. Сфинксъ лежитъ предъ нимъ на дороге,—это правда,—но этотъ загадочный сфинксъ не страшитъ, онъ манитъ къ себѣ, влечетъ и точно улыбается ему свѣтлою и ясною улыбкой теплаго привѣта. Кто это улыбался другъ другу: не онъ ли самъ сфинксу, не свою ли улыбку ему принималъ онъ за его, Андрей не думалъ, да и не могъ думать. Съ чего бы? Вѣдь, съ самаго дѣтства онъ страстно, лихорадочно работалъ для этой минуты, съ самаго дѣтства страстно ждалъ ея, вѣрилъ, что „тамъ“, въ этомъ неясномъ „тамъ“, и тепло, и хорошо, и привольно, и есть для него свое мѣсто. Тамъ правда, тамъ свѣтъ, тамъ осмысленная человѣческая работа, жадной которой горитъ его молодая энергія, тамъ—все то, что горитъ въ его честномъ сердцѣ и такъ ясно, кажется, отражается въ неподвижныхъ глазахъ улыбающагося сфинкса. А если такъ, то развѣ могъ ему, въ самомъ дѣлѣ, не улыбаться привѣтомъ этотъ неподвижный съ виду сфинксъ, истинный обликъ котораго скрывался для него, правда, въ какомъ-то неясномъ, но свѣтломъ туманѣ?

А тамъ, за этимъ туманомъ, стоялъ одинъ изъ губернскихъ городовъ благословеннаго юга, какихъ не мало въ нашемъ отечествѣ. Городъ ничѣмъ особеннымъ не выдавался и отличался отъ другихъ такихъ же городовъ красивымъ видомъ, да страшнымъ обиліемъ евреевъ.

Были тамъ и губернаторскій домъ съ двумя фонарями и жандармомъ у подъѣзда, и пыльные, никуда негодныя мостовыя, и чахлый бульваръ; былъ и „порядокъ“, за которымъ, какъ водится, надзирало недреманное око полицеймейстера, и, конечно, клубъ, гдѣ мужья обмѣнивались ассигнаціями за зелеными столиками, а жены и дѣвы порхали вокругъ кавалеровъ, пикантно судачили и заводили интрижки. Такъ называемое „общество“, состоявшее почти сплошь изъ однихъ наѣзжихъ со всѣхъ концовъ земли русской чиновниковъ - обрусителей, дѣлилось по рангамъ и доходамъ на отдѣльныя тучки, называвшіяся „партіями“, съ однимъ общимъ для всѣхъ девизомъ: карты и сплетни. На всемъ лежала печать скуки и вялости; оживленіе вносили только скандальчики и служебныя перемѣны, поднимавшія на ноги всѣхъ. Въ такихъ случаяхъ все оживало, точно отъ электрическаго толчка. Языки начинали трещать, визиты учащались, все двигалось, шумѣло, кричало, осуждало или оправдывало, мелочи вырастали въ цѣлыя событія, пока не улегалось впечатлѣніе новизны. Тогда опять все входило въ колею, опять выходили на сцену скука и вялость, и если не выручалъ какой-нибудь новый скандальчикъ, а скука одолѣвала до зарѣзу, вспоминали о „бѣдныхъ“, хватались за нихъ, какъ утопающій за соломенку, устраивали въ ихъ пользу аллегри, балы, обѣды, любительскіе спектакли, не обходившіеся ни разу безъ ссоръ изъ-за распредѣленія ролей.

Впрочемъ, Андрею на первыхъ же порахъ пришлось волей-неволей стать вдали отъ „общества“ и его жизни;

у него совсѣмъ почти не было свободнаго времени. Классы поглощали добрую часть дня, а вечеръ приходилось посвящать на составленіе диссертациі, которую необходимо было представить къ сроку. Къ тому же, съ первыхъ шаговъ на новомъ своемъ поприщѣ онъ находился все время въ какомъ-то странномъ, неизвѣданномъ еще настроеніи, въ которомъ главную роль играло что-то похожее на недоумѣніе, а въ такомъ настроеніи было, естественно, не до знакомствъ. Съ первыхъ же шаговъ пришлось ему убѣдиться, что въ своихъ планахъ и расчетахъ на будущее онъ совсѣмъ упустилъ изъ вида, совсѣмъ не принималъ въ расчетъ тѣ мелкія, но большія и обидныя дразги, непріятности и столкновенія, которыя какъ-то незамѣтно, точно нечаянно, но сразу опутали его цѣлою сѣтью. Правда, всѣ эти дразги и столкновенія были пока мелкія, съ ними легко справлялись молодая энергія и вѣра, но они какъ-то невольнo орогoшивали его, а то, что онъ не предвидѣлъ ихъ заранѣе, дѣлало ихъ особенно чувствительными для него, обусловливало его особенно страстное къ нимъ отношеніе. Андрей вступалъ въ жизнь съ цѣлымъ запасомъ глубоко сознанныхъ и продуманныхъ запросовъ, требованій, съ цѣлымъ кодексомъ, въ которомъ не думалъ уступить ни одной іоты, вступалъ съ увѣренностью, что жизнь на все это отвѣтитъ, отзовется, и вдругъ эта самая жизнь сама предъявила ему свой кодексъ, свои требованія, съ которыми онъ подчасъ совсѣмъ не могъ помириться. Сфинксъ, до сихъ поръ улыбавшійся, вдругъ выпустилъ свои когти...

Андрей не разочаровался, не упалъ духомъ, онъ только не въ мѣру кипятился и злился.

Учебный округъ считался однимъ изъ лучшихъ и былъ таковымъ на самомъ дѣлѣ. Во главѣ его стоялъ человекъ всѣми уважаемый, глубоко-честный и гуманный, искренно преданный дѣлу воспитанія, искренно любившій его, а помощникомъ его былъ одинъ изъ извѣстѣйшихъ педагоговъ, посѣдѣвшій на службѣ округу ученый, сильно любимый и юношествомъ, и учебнымъ персоналомъ. Къ сожалѣнію, гимназія, въ которую попалъ Андрей, была на худшемъ счету въ округѣ; ее тамъ только „терпѣли“. Старикъ-директоръ ея, давно уставшій на службѣ, въ которой относился совершенно формально, и многіе изъ учителей, далеко не отвѣчавшіе видамъ и требованіямъ округа, дослуживали уже свои пенсіонные сроки; стариковъ потому не хотѣли тревожить, ждали, пока они сами не выйдутъ въ отставку. Попечитель не скрывъ этого отъ Андрея, высказалъ ему все прямо, когда тотъ явился къ нему передъ отъѣздомъ.

— Гимназія не изъ лучшихъ,—сказалъ ему попечитель, ласково взявъ его за руку и мягко заглядывая въ его черные, смѣлые глаза, — далеко не изъ лучшихъ... Она намъ вотъ гдѣ сидитъ!—показалъ онъ на шею.— Все идетъ тамъ плохо, многое нуждается въ коренной передѣлкѣ... Директоръ—старикъ, плохой педагогъ, многіе изъ учителей тоже... Я терплю ихъ только потому, что они дослуживаютъ свои пенсіи, — зачѣмъ обижать людей, поработавшихъ-таки на своемъ вѣку?... Но скоро тамъ все перемѣнится... А васъ мы посылаемъ туда,

чтобы вы внесли побольше энергии и любви къ дѣлу; я надѣюсь на васъ, получивъ самые лестные отзывы о васъ университета. Только съумѣйте ладить тамъ... Съумѣете?

— Попробую!—отвѣтилъ Андрей.

— Попробуйте и постарайтесь!—подчеркнулъ ему попечитель.—Это будетъ хорошая школа для васъ. Въ нашемъ дѣлѣ мало хорошо работать, важно еще уметь жить съ людьми, съ товарищами, уметь справиться съ собою. Нужно уметь то, что вообще называется: ладить.

А вотъ этого-то именно и не умѣлъ Андрей, и не только не умѣлъ, а даже и понималъ это плохо. Чистый теоретикъ, знавшій до сихъ поръ только свои книги, лекціи, науку, онъ не видѣлъ, не зналъ, что есть еще нѣчто, кромѣ всего этого, не менѣе сильное и требовательное, чѣмъ теорія, что это нѣчто называется „практикой жизни“ и дается человѣку тоже суровою и долгою школою, школою самой жизни. Чистая теорія ставила ему свои требованія, свои термины, она знала только: „да—да“ и „нѣтъ—нѣтъ“. Практика жизни требовала другаго, смотрѣла иначе, знала и „полу-да“, и „полу-нѣтъ“. Тамъ, въ теоріи, было все ясно, опредѣленно, строго-логично, всецѣло вытекало одно изъ другаго; здѣсь, въ практикѣ жизни, все было темно, спутано, о логикѣ не было и помину. Это-то и огорошивало Андрея, это-то и служило источникомъ его постоянныхъ столкновеній и непріятностей, начавшихся почти съ первыхъ же дней его службы.

Съ директоромъ у него вышло крупное столкновение

на первых же порахъ, когда старикъ, привыкшій къ рутинѣ, дорожившій только внѣшностью, формой, дисциплиной, сдѣлалъ ему замѣчаніе по поводу ненавидимыхъ имъ „новшествъ“, а Андрей рѣзко отрѣзалъ, что не понимаетъ аракчеевщины въ педагогіи.

— Теорія - съ, теорія - съ! — внушительно и строго отвѣтилъ ему обидѣвшійся начальникъ, вертя по привычкѣ пальцы „мельницей“. — Пока я здѣсь, я не потерплю вашихъ теорій. Уйду — дѣлайте, что хотите... Но пока я здѣсь — все останется такъ же. Помните!

Но Андрей тоже не сдавался и тоже безъ всякихъ уступокъ хотѣлъ поставить на своемъ, а это, несомнѣнно, вызывало новыя столкновенія, плодило новыя недоразумѣнія. Сталкивались и задѣвались самолюбія, ставились на счетъ каждое слово, каждый жестъ, а каждый новый шагъ Андрея окрашивался и объяснялся именно такъ, какъ того требовали задѣтое, растравленное самолюбіе и скрытая зависть. Не мало, конечно, способствовала всему этому и кучка старыхъ, тоже вмѣстѣ съ директоромъ только дослуживавшихъ пенсіонъ учителей задѣтыхъ, почти обиженныхъ его „новшествами“, въ которыхъ почему-то они сразу увидѣли „критику“ на себя, на свою методу. Правда, ихъ озлобляло, бѣсило и то, что Андрей держалъ себя какъ-то особнякомъ, не сходился, не знакомился, весь ушелъ въ работу, къ которой они давно привыкли относиться спустя рукава, формально, и черезъ-чуръ прямо, черезъ-чуръ рѣзко указывалъ имъ на это, рѣзалъ правду въ глаза. Наружна они выказывали ему, каждый отдѣльно, съ глазу на

глазъ, любезности, даже лебезили передъ нимъ, узнавъ, что онъ на хорошемъ счету въ округѣ, но втайнѣ, втихомолку натравливали на него и безъ того обижавшагося директора, которому то и дѣло доносили, сплетничали, искажая и объясняя все по-своему. Андрей скоро это понялъ, сталъ съ ними еще сдержаннѣе; въ его манерѣ стала проглядывать плохо скрываемая безгливость, почти отвращеніе, несомнѣнно обидное, а это, что называется, подливало масла въ огонь. Длинный, рыжій нѣмецъ Гинцъ, не обинуясь, не стѣсняясь, сталъ, на примѣръ, записывать въ книжку каждое его слово, причемъ записывалъ и имена свидѣтелей, и каждый день носилъ показывать все записанное старику-директору. Не лучше поступалъ и французъ Патре, и остальные. Жалобы и доносы такъ и сыпались на Андрея.

— А нашъ „новаторъ“ или „любимчикъ“, — такъ иногда звали его, намекая на отношенія къ нему въ округѣ, — сегодня сдѣлалъ или сказалъ еще вотъ то-то! — то и дѣло стояло въ ушахъ директора. Тотъ злился, набрасывался на Андрея, придираясь ко всему, но, получивъ нѣсколько разъ отпоръ, и довольно рѣзкій, сталъ жаловаться на него въ округъ. Въ округѣ хранили глубокое молчаніе на всѣ эти жалобы и доносы, очевидно, оправдывая Андрея, а это еще болѣе раздражало и возбуждало противъ него всѣхъ.

Глава V.

Время летѣло, а положеніе Андрея все ухудшалось, становилось все невыносимѣе. Со многими изъ сослуживцевъ онъ пересталъ даже кланяться, директоръ какъ-то игнорировалъ его, обидно не замѣчалъ, на „совѣтахъ“ онъ оставался всегда въ меньшинствѣ, его мнѣнія и указанія, его слова встрѣчались какъ что-то невозможное, дикое, нестоющее вниманія,—словомъ, его кололи какъ и гдѣ могли, точно въ расчетъ вызвать на какую-нибудь горячую вспышку. Онъ похудѣлъ, осунулся, поблѣднѣлъ, только черные глаза его горѣли еще ярче, выдавая все усиливающуюся раздражительность, и еще страстнѣе ушелъ онъ въ свою работу, уставая за которой, забывалъ все.

Съ однимъ только учителемъ математики, Дергуномъ, сошелся Андрей близко, онъ даже поселился съ нимъ рядомъ, но и того приходилось ему вѣчно укорять въ „бабствѣ“, неподвижности, пессимизмѣ, что, впрочемъ, нисколько не волновало, не сердило этого соннаго съ виду, но крайне честнаго, полнаго добродушнаго юмора человѣка, привязавшагося къ Андрею какою-то материнскою привязанностью. Дергунъ старался болѣе или менѣе примирить его съ окружающимъ, унять его горячность, сдерживать отъ рѣзкихъ выходовъ, въ чемъ иногда и успѣвалъ, вообще ухаживалъ за нимъ, какъ за роднымъ дѣтищемъ. Всегда поддерживая Андрея, онъ умѣлъ это сдѣлать какъ-то не раздражая само-

любія, не натапливаясь на ссоры, оставаясь въ простыхъ, почти хорошихъ отношеніяхъ со всѣми, и этимъ много помогая ему. Пилъ съ Гинцемъ пиво, съ Патре—ливеры, слушалъ анекдоты о разныхъ belles femmes Евгенія „Враля“, прозваннаго такъ всѣми за вѣчное вранье, и только изподтишка хихикалъ, стравливая ненавидѣвшихъ другъ друга нѣмца и француза напоминачіемъ о недавно кончившейся войнѣ и отторгнутыхъ провинціяхъ, да двухъ братьевъ-славянъ—Сметанку и Дудека, несмотря на свой „компатріотизмъ“, обзывавшихъ другъ друга „гундсвортами“ и „лайдаками“, со страстною ревностью вырывавшихъ другъ у друга „карьеру“. Вообще, онъ водилъ знакомство съ самою разношерстною компаніей, не тяготился ею, кое-какъ убивая досугъ, и въ то время, какъ Андрей кипятился и волновался, раздражаясь все больше и больше, чувствовалъ себя, повидимому, какъ нельзя лучше. Это и волновало Андрея, и сердило; онъ никакъ не могъ съ этимъ примириться.

— Ну, ужъ и компанія у васъ,—вырвалось у него разъ какъ-то невольно.

— А что?—невозмутимо улыбаясь, переспросилъ Дергунъ.

— Да это чортъ знаетъ что такое!

— Ну, серденько, бываетъ и похуже; эти хоть дурни, слава тебѣ, Господи!—спокойно отрѣзалъ тотъ.

— Да развѣ это утѣшеніе?

— Не утѣшеніе, а все же пріятно... То ли еще бываетъ!

Андрей разсердился.

— Какъ это вы живете, миритесь со всѣмъ этимъ?— горячо спросилъ онъ.—Я просто придти въ себя не могу отъ отвращенія.

— А живу, какъ видите... Отъучу—и пообѣдаю, тамъ сосну, тамъ почитаю, пива напьюсь, въ театрѣ схожу... Подойдетъ случай—Дудека со Сметанкой, или француза съ нѣмцемъ стравлю, а не то съ Женичкой Вралемъ о римскомъ огурцѣ побесѣдную,—ну, день и прошелъ.

— Да развѣ такъ жить можно? — почти закричалъ Андрей; глаза его горѣли, щеки поблѣднѣли, а губы дрожали.

— А отчего-жь нельзя? Видите, живу! — нахмуривъ брови, отвѣтилъ Дергунъ.

— Да, вѣдь, такъ только Пацюкъ Гоголя живетъ... Помилуйте!...

Дергунъ поднялся съ мѣста, и его обыкновенно ровный и спокойный голосъ задрожалъ, когда онъ заговорилъ:

— А хоть бы и Пацюкъ! Что же дѣлать, если жизнь представляетъ только двѣ дилеммы: Пацюкъ и синица, зажигающая море, если ничего другого выбрать нельзя? Пацюкомъ я хоть существовать могу, жить въ себѣ, какъ говорятъ нѣмцы, въ себѣ запершись... Ну, а синицей... куда я дѣнусь, когда ее сейчасъ отовсюду гнать будутъ?... Мостовую мостить, дрова рубить?... Да я не умѣю! — и онъ тяжело зашагалъ по комнатѣ.

Андрей нахмурилъ брови и молчалъ, плотно сжавъ губы, — сравненіе съ синицей, зажигающей море, такъ

задѣло его, а Дергунъ продолжалъ, ходя по комнатѣ и пощипывая бороду:

— Тутъ еще благодать, сударь, сущая благодать! Попечитель и всѣ въ округѣ на нашей съ вами сторонѣ, сами знаете, никакими доносами съ нами подѣлать ничего не могутъ... Потерпите только немножко и все переѣмнится... Вамъ такъ и въ округѣ говорили. Директоръ и вся его компанія выйдутъ въ отставку, все обновится сразу, только ждать нужно умѣть. Не горячитесь только... Такъ ли еще бываетъ, сами посудите!...

— Сужу... бываетъ, можетъ быть, и хуже, но это не утѣшеніе: по-вашему жить нельзя,—отвѣтилъ Андрей.

— А по-вашему, съ этими вѣчными ссорами, волненіями, ни къ чему не приводящими, ничего существеннаго не дающими, только жизнь отравляющими,—можно? Хорошая эта жизнь? И чего добились вы? Директоръ только и ждетъ теперь повода подставить вамъ ножку.

Андрей не отвѣтилъ, только еще болѣе нахмурился и все шагаль угрюмо изъ угла въ уголъ. Дергунъ, посвистывая, пилъ чай. Прошло добрыхъ четверть часа въ такомъ молчаніи, пока Андрей не остановился.

— Знаете что?—началъ онъ, точно желая переѣмнить разговоръ. — Знакомиться нужно, вотъ что. Не годится такъ запираться, какъ мы съ вами... Городъ, вѣдь, большой, людей много, отчего вы не знакомитесь? Неужели такъ-таки и нѣтъ кругомъ хорошаго человѣка?

— Попробуйте, увидите! — отвѣтилъ нехотя Дергунъ.

— Я, конечно, попробую, а вы?

— Пробовалъ, — отрѣзалъ тотъ съ гримасой, — ни-

чего не вышло... Въ карты не играю, въ роля не только первыхъ любовниковъ, но и десятыхъ, не гожусь, — видите, какъ скроенъ?

— Ну, такъ что же? — спросилъ Андрей.

— А то, что такъ какъ никакого интереса я не представлялъ, только и годился, что въ женихи какой-нибудь алчущей дѣвицѣ, то и принялись меня женить, — безъ моего вѣдома, конечно, — да сразу на шестерыхъ, потому что каждый кружокъ имѣлъ свою кандидатку. Тянули меня во всѣ стороны, ссорились, дразни пошли, ругань, сплетни, пока я не прозрѣлъ, въ чемъ дѣло, и не удралъ въ свою конуру.

Оба расхохотались.

— Да и послѣ этого, — продолжалъ Дергунъ, — не сразу оставили меня въ покоѣ... Такой, доложу вамъ, пассажъ еще вышелъ, такой пассажъ...

— Что же? — спросилъ развеселившійся уже Андрей.

— Да какъ вамъ сказать, — засмѣялся Дергунъ, немного покраснѣвъ, — чортъ знаетъ что!... Иду это я разъ, а на встрѣчу мнѣ одна изъ „кандидатовъ“... Хотѣлъ я шмыгнуть въ переулокъ, анъ не тутъ-то было, — такъ и подскочила... „Здравствуйте, говорить, что васъ не видно?“ „Я туда-сюда, — ничего не подѣлаешь!... „Навѣрное, говорить, влюбился?... Только въ кого? Скажите, кого вы больше всѣхъ любите?“ Что тутъ подѣлаешь? Я возьми, да съ дуру и отвѣтъ: а вы кого? — Ну!... — разставилъ онъ руки.

— Что же „ну“? — торопилъ Андрей.

— Да то „ну“, что она и затанула: „прежде всѣхъ,

говорить, конечно, Бога, потомъ — начальницу, — она въ пріютѣ одною служила, — а потомъ, говоритъ, потомъ... брюнета...“ Да какъ посмотреть!...

— Что же вы, брюнетъ, ей отвѣтили? — захохоталъ Андрей почти до слезъ.

— Да чуть не провалился! — покраснѣлъ наивно Дергунъ. — Только и напелся сказать: „Вы бы, сударыня, лучше блондина!“ Она въ слезы. „Мужикъ!“ — говоритъ, — ну, я совсѣмъ растерялся; стою, только ротъ разинулъ да глазами ворочаю... Жаловалась на меня патронессамъ, тѣ на меня, — ну, и пошла потѣха, — насилу отмахался! Нѣтъ, вотъ такъ, какъ теперь — съ нѣмцемъ, съ французомъ, съ прочей компаніей — куда лучше... Повѣрьте!...

— Охъ, Пацюкъ же вы, настоящій Пацюкъ! — сказалъ Андрей, когда совладалъ съ хохотомъ, которымъ такъ и залился, выслушавъ наивный разговоръ друга. Послушаешь васъ, такъ только и осталось на свѣтѣ, что жить по-вашему, пацюковать...

Дергунъ поднималъ на него свои добрые, немного насмѣшливые глаза и сказалъ какимъ-то задумчивымъ, особенно теплымъ тономъ:

— „Тяжко жить на свѣтѣ, а хочется жить!“ — помните у Шевченко?... Въ этомъ, братъ, вся суть, вся тайна интеллигентнаго пацюкованья... Для насъ это предѣлъ, его же не преjdeши... Такъ-то! Погодите, сами споете ту же пѣсню!...

— Я? — переспросилъ Андрей, смѣло глядя на пріятеля, — а? Да я лучше удеру, провалюсь...

— Куда? — грустно и вмѣстѣ насмѣшливо спросилъ Дергунъ.

— Куда глаза глядятъ... Бѣлый свѣтъ великъ!

Дергунъ покачалъ головой.

— Никуда не уйдешь, потому что намъ уйти некуда... Вездѣ одно и то же,—хорошо тамъ, гдѣ насъ нѣтъ! Счастье еще, если и искру-то Божью въ себѣ сохранишь, и на томъ спасибо!

Андрей, конечно, не послушалъ Дергуна и съ своею обычною страстностью набросился теперь на знакомства, которыхъ набралось у него сразу очень много. Скучавшее „общество“, давно уже прослышавшее о немъ, давно уже заинтересованное восторженными отзывами Сошенко, который писалъ о немъ кое-кому изъ мѣстныхъ пріятелей, приняло его съ распростертыми объятіями. Лихорадочно бросился онъ въ свѣтскую суету,—въ эти безсмысленно чередовавшіеся другъ за другомъ вечера, пикники и проч., и на первыхъ порахъ дѣйствительно забывался немного, забывалъ всѣ утреннія дразги и волненія. Ему даже правилась сначала эта новая, неизвѣстная, знакомая только по прочитаннымъ книгамъ, среда съ ея вишнимъ блескомъ и видомъ наружнаго довольства, правился немного этотъ салонно-гостинный лоскъ, прикрывающій для новичка царящую подъ нимъ пустоту, спячку и скуку, обманывающій его не взглядывшійся глазъ какимъ-то призракомъ жизни и живыхъ интересовъ. Онъ былъ еще слишкомъ молодъ и слишкомъ довѣрчивъ, чтобы ко всему подходить съ сомнѣніемъ, не довѣрять наружности, осторожно относиться къ словамъ, зачастую

не отвѣчающимъ скрытому подъ ними смыслу, а молодое тщеславіе тѣшилось общимъ ухаживаніемъ и любезностями; къ тому же, Андрею хотѣлось и жить.

Но скоро, натѣшившись, онъ разглядѣлъ, понялъ все: въ прибранныхъ на-показъ гостинныхъ сфинексъ еще разъ показалъ ему свои когти, и какъ-никакъ, въ душѣ, по крайней мѣрѣ, онъ долженъ былъ сознаться себѣ, что Дергунъ былъ не совсѣмъ неправъ. Если его, правда, не собирались женить сразу на всѣхъ послѣвшихъ и переспѣвшихъ кандидаткахъ, за то, благодаря его стройной фигурѣ и красивому лицу, всѣ львицы города въ перебой пожелали сдѣлать изъ него своего адъютанта. Совѣтница, растянувшись въ соблазнительной позѣ на кушеткѣ, томно говорила ему о мукахъ неудовлетворенной души. Предсѣдательша довѣряла ему секретъ, что она *никогда* не измѣняла еще мужу, подчеркивая слово „никогда“ и выразительно добавляя, что, конечно, если бы нашелся „настоящій“ человѣкъ, то ея сердце... и т. д., а прокурорша такъ-таки напрямки стрѣляла въ него глазами и словами, что у нея „свой особенный темпераментъ“. Въ концѣ-концовъ, вышло то, что изъ-за Андрея, какъ нѣкогда изъ-за Дергуна, всѣ передрались, перессорились, пошли сплетни,—и онъ убѣжалъ, возмущенный, озлобленный, и затворился, какъ Дергунъ.

Тогда служебная дрязга и столкновѣнія, отъ которыхъ онъ забывался въ суетѣ „свѣта“, стали ему еще невыносимѣе, еще тяжелѣе. Теперь къ нему прокралось въ душу что-то вродѣ острой и больной хандры, отъ которой не спасали его ни усталость, ни наука, ни книги,

и стало вытѣснять оттуда или глушить всё его неясные, правда, но живые порывы, мечты и надежды, — все то, что называлъ онъ своимъ внутреннимъ, духовнымъ міромъ. Такъ, по крайней мѣрѣ, ему казалось, потому что вокругъ и въ самомъ себѣ онъ сталъ ощущать вдругъ какую-то холодную пустоту. То была первая реакція послѣ свѣтлыхъ минутъ медоваго мѣсяца жизни, и потребность забыться хоть на чемъ-нибудь, — потребность въ остромъ и сильномъ ощущеніи, которое бы встряхнуло его всего или опьянило, все сильнѣе и сильнѣе охватывало его занывшую душу.

Былъ уже поздній вечеръ, когда пыльною дорогой Андрей машинально брелъ въ городъ изъ своей дальней прогулки. Вдали виднѣлось уже предмѣстье, слегка окутанное въ голубоватый сумракъ, въ которомъ рѣзко мигали зажигавшіеся огни, и слабо доносившійся грохотъ мостовыхъ непріятно раздражалъ его нервы. Ему захотѣлось вдругъ снова уйти отъ города, уйти въ лѣсъ, въ поле, — куда-нибудь, лишь бы подальше отъ этого грохота и сутолоки, которые увеличивали, казалось, его хандру. Онъ повернулъ назадъ, и въ это самое время его нагналъ мчавшійся изъ города въ тучѣ пыли кабріолетъ. Это была Карская, первая львица города, красивая, пылкая, какъ-то необузданно-страстная и капризная брюнетка, полная ухарства и своеволія, избалованная толпой поклонниковъ и обожателей, въ числѣ которыхъ былъ и первый левъ — недавно пріѣхавшій изъ столицы съ модными воротничками и такими же галстуками чиновникъ особыхъ порученій, слышавшій Патти и всѣмъ надо-

ѣдавшій. У Карскихъ Андрей бывалъ часто, даже слишкомъ часто, рѣдко встрѣчаясь, однако, съ мужемъ, довольно немолодымъ уже человѣкомъ, занятымъ исключительно только дѣлами и картами, за что скучавшая жена точно мстила ему толпой поклонниковъ и безшабашнымъ даже для провинціи ухарствомъ. Домъ ихъ такъ и дѣлился на двѣ половины: картежную и амурную, — какъ острили мѣстные зоилы, а въ этой второй половинѣ самая выдающаяся роль какъ-то невольно, безъ всякихъ съ его стороны усилій, выпала на долю Андрея. Трудно сказать, что собственно въ немъ привлекало къ себѣ красивую, избалованную женщину, вѣчно окруженную блестящею толпой вздыхавшей молодежи, умъ ли, насмѣшливость ли, бросающаяся въ глаза сдержанность, то ли, что онъ одинъ изъ всѣхъ не ухаживалъ за нею, но только Карская черезъ-чуръ рѣзко, черезъ-чуръ замѣтно выделяла его изъ общей толпы, — „бросалась на шею къ нему“, — какъ выразительно извили языки, что и создало всѣ тѣ сплетни и дразги, отъ которыхъ Андрей убѣжалъ и заперся.

— Здравствуйте, — крикнула она ему, осаживая горячую, взмыленную лошадь, — здравствуйте, затворникъ! Вы опять совершаете свой послѣбобѣденный моціонъ?

— Гуляю! — спокойно отвѣтилъ Андрей на ея вызывающій, немного насмѣшливый хохотъ.

— Гуляете! А я думала моціономъ лечитесь отъ катарра... Ха, ха, ха!... Что же, и опять, конечно, предпочитаете пѣшкомъ... да?! Опять какъ и въ прошлый разъ?

Андрея какъ-то стѣсняло это ухаживаніе красивой женщины, которую онъ не любилъ, которая нравилась ему только своею внѣшностью, почему, между прочимъ, онъ и отказался надняхъ подсѣсть къ ней въ кабриолетъ, когда она встрѣтила его на прогулѣ. Теперь ея хохотъ и насмѣшливый тонъ немного подзадорили его.

— Нѣтъ,—отвѣтилъ онъ,—сегодня я предпочитаю по-
ѣхать...

— А!—протянула она, отодвигаясь и очищая ему мѣсто. — То-то! А я было уже подумала, что вы боитесь бѣшеныхъ лошадей... и... и...

— И чего?—переспросилъ Андрей, когда лошадь понеслась.

— И бѣшенныхъ женщинъ!—Раскраснѣвшись отъ быстроты, захватывавшей духъ ѣзды, она смѣло, вызывающе смотрѣла ему въ глаза.

— Я такихъ не видѣлъ!—съ улыбкой отвѣтилъ Андрей, не опуская взгляда. Его начали немного пьянить и эта бѣшенная скачка, и эта близость красивой, дышавшей страстью женщины.

— Не видѣли? Вотъ какъ! Помилуйте, весь городъ, всѣ кумушки зовутъ меня бѣшеной! Такъ вы меня не боитесь?

— Конечно, нѣтъ!

— Отчего же вы убѣжали, затворились отъ меня?... Отчего васъ не видно?

— Я не отъ васъ одной, а вообще ушелъ отъ гостиныхъ!... Скучно...

— Скучно?!... Нечего сказать, хорошій комплиментъ!

Конечно, — насмѣшливо, вызываяще продолжала она, — мы не служимъ, не играемъ въ карты, ничего не понимаемъ въ такихъ интересныхъ предметахъ, какъ латинская или греческая грамматика...

— Оставьте грамматики... Развѣ однѣми грамматиками, да службой живутъ люди? — ѣдко отвѣтилъ задѣтый Андрей.

— А чѣмъ же еще? Чѣмъ? — нетерпѣливо подалась она впередъ.

— У каждаго человѣка, — уклончиво отвѣтилъ онъ, — есть свой внутренній міръ, свои идеалы, свои...

— И вы живете согласно этому внутреннему міру, согласно вашимъ идеаламъ?... Да? — насмѣшливо перебила она его.

— Нѣтъ, не совсѣмъ, но...

— То-то, что нѣтъ; въ этомъ-то и суть вся!... А всякое „но“ въ такихъ случаяхъ обманъ и скука... Право, лучше ужъ жить по-моему.

— То-есть?

— Прожигать жизнь, — ни мало не смущаясь, отрѣзала она ему, — топить свою скуку въ морѣ шума, веселья, ощущеній. Брать отъ жизни все, что даетъ она. Такъ куда лучше, право, — гораздо лучше, чѣмъ всякія грамматики... По крайней мѣрѣ, подъ старость будетъ чѣмъ помянуть молодость... Да и пріятно!...

— Надоѣсть! — улынулся Андрей.

— Надоѣсть? Нѣтъ! Гораздо меньше, чѣмъ грамматики и вѣчный разладъ между внутреннимъ міромъ и наружнымъ... Повѣрьте!... Только не нужно останавли-

ваться, а все кружиться, кружиться безъ конца... Въ этомъ круженьи забываешься!... Вотъ и ресторанъ,—я пить хочу!

Они подъѣхали къ загородному ресторану. Андрей соскочилъ и спросилъ, чего принести.

— Шампанскаго!—улыбнулась она ему какъ-то свѣтло, мило скаля свои острые зубы и слегка краснѣя.

Онъ тоже улыбнулся ей въ отвѣтъ и пошелъ распорядиться, почти совсѣмъ опьяненный. Эта улыбка точно сближала ихъ, устанавливала какую-то неясную, но сладкую и теплую связь, въ которой какъ-то незамѣтно потонула вся его хандра.

— Чокнемся? — предложила она, когда шампанское было принесено и налито въ бокалы.

— За что?—спросилъ онъ такимъ же задорнымъ тономъ, открыто любуясь ею.

Она оглядѣлась, окинула глазами чудное небо, блиставшее уже свѣтлыми звѣздами, окутанный мглою лѣсъ, стоявшій въ какомъ-то чарующемъ молчаніи, разстилавшуюся влѣво даль, тонувшую въ мягкихъ тонахъ надвигавшейся ночи, и вновь улыбнулась Андрею.

— За ночь... за сегодняшнюю ночь! — протянула она бокалъ, улыбаясь и точно краснѣя.

Они чокнулись, все также улыбаясь другъ другу.

— Ну, ѣдемъ!—топнула она ножкой, когда вино было допито.—Садитесь!...

Андрей послушно вскочилъ, но въ это самое время до нихъ долетѣли близкіе звуки мотива изъ „Гугенотовъ“. Поклонникъ Патти, напѣвая довольно невѣрно арію Валентины, перерѣзалъ имъ дорогу.

— А... а!... Мое почтеніе!... Какими судьбами?—закричалъ онъ, снимая свою петербургскую шляпу.

— Здравствуйте, васъ ищемъ!—смѣясь, отвѣтила ему, быстро охмѣлѣвшая, какъ и Андрей, Карская. — А вы все свою Патти вспоминаете?

— Да. Ахъ, вы и представить себѣ не можете, что это за прелесть, — картиночка! — залепеталъ молодой левъ.—Тра-ла-ла, тра-лю-лю, та-та-та!... Прелесть!

— Помогите держать мнѣ возжи, — обратилась Карская къ Андрею, прижимаясь къ нему.—Нѣтъ, не такъ! Сюда, вотъ такъ!—и она ударила лошадь.

Андрею пришлось обнять ее, чтобы помочь ей держать возжи, — такъ она сама нашла удобнѣе. Молодой левъ окидывалъ ихъ подозрительнымъ взглядомъ, не зная, обижаться ли ему на Карскую, или нѣтъ. На ходу она перегнулась къ нему черезъ Андрея и крикнула въ догонку:

— Счастливо оставаться съ Валентиной... бѣдной Валентиной!...

— А вы куда? — переспросилъ левъ, не зная что сказать.

— А я... я...—путаясь, смѣялась Карская,—я предпочитаю съ Раулемъ!

Лошадь мчалась во всю прыть, и отъ этой быстроты и выпитаго вина у обоихъ кружилась голова и стучало въ вискахъ. Карская выпустила возжи и совсѣмъ повисла на обнявшей ее рукѣ Андрея, который все больше и больше, какъ и она, терялъ самообладаніе. Кровь, приливая къ сердцу, жгла, точно кипяткомъ, и по тѣлу

пробѣгала дрожь, но онъ, все-таки, на моментъ опомнился и спросилъ глухимъ шепотомъ:

— Завтра по городу будетъ пущена новая сплетня. Не повернуть ли лошадей?

— Ни за что! Что мнѣ до сплетень? — отвѣтила она страстнымъ шепотомъ, смотря на него влажными глазами, причемъ ея красивыя ноздри слегка раздувались. — Я сама отвѣчаю за себя и за то, что мнѣ нравится! Я про-жи-га-ю жизнь!

И въ тотъ же моментъ Андрей почувствовалъ, какъ ея головка безсильно повисла у него на плечѣ, а по лицу разметались ея надушенные, мягкіе, какъ шелкъ, волосы.

— Такъ лучше, такъ гораздо лучше! — страстно шептала она. — Правда?

На встрѣчу имъ выплывала изъ-за лѣса зеленая луна, обливая всю окрестность потоками мягкаго, фантастическаго свѣта, манилъ задумчивый, молчаливый лѣсъ, а съ неба свѣтло и ясно мигали золотыя звѣзды.

ГЛАВА VI.

Эта такъ печально, такъ случайно установившаяся связь,—связь отъ скуки, отъ больной потребности самозабвенія въ остромъ ощущеніи, связь безъ почвы, безъ глубокаго, сильнаго чувства, даже безъ знанія друг друга,—больная, какъ больны были они оба, на время

все-таки, отвлекла Андрея отъ хандры; онъ забылъ за ней все то, что его мучило. Искусственно вызванная страсть, вспыхнувшая такъ ярко и сильно, какъ она и можетъ только вспыхивать въ молодые, дѣвственные годы, опьянила его, отуманила, не давала ни времени, ни возможности на размышленіе, на анализъ, а совѣсть или нравственное чувство спокойно дремало, убаюкиваемое какимъ-то скептически-холоднымъ нашептываніемъ, что, вѣдь, большинство связей, если не всѣ, устанавливаются въ мірѣ почти такимъ же образомъ.

— Чѣмъ мы хуже другихъ?—вторила Карская этому внутреннему самооправдывающему шепоту, ласкаясь, когда замѣчала на лбу Андрея морщины.—Погляди только! Одна влюбила себя въ старика генерала, который запираетъ ее на ключъ, красивая Лидія промѣняла себя на карету, на положеніе, на „превосходительство“, этотъ женился на черноземномъ имѣніи... Погляди только, вглядись!

Андрей глядѣлъ, вглядывался и вѣрилъ убаюкивавшему совѣсть шепоту.

Мучило его сильно, что связь ихъ была скрытная, воровская, полная невозможной фальши по отношенію къ мужу, но Карская со слезами говорила ему и онъ ей вѣрилъ, онъ зналъ, что она говоритъ правду, что старикъ мужъ гораздо больше дорожитъ своимъ положеніемъ и картами, чѣмъ ею, что онъ не только все подозрѣваетъ, но и все знаетъ, и только дѣлаетъ видъ, будто ничего не видитъ, потому что между ними давно все порвано, связь поддерживается только наружно, ради

приличія, ради положенія, какъ и въ большинствѣ семей мѣстнаго бо-монда.

И опять успокоился Андрей, тѣмъ больше, что ему жаль становилось эту пылкую, страстную женщину, съ богато одаренною натурой, смѣлымъ и рѣшительнымъ характеромъ, способную на многое хорошее, сложись ея жизнь иначе, — правдивую, искреннюю и теперь даже. Естественное чувство деликатной благодарности за счастливыя, хорошія минуты, за любовь ея, ласки, невольно способствовало этому самоуспокоенію.

Но, въ концѣ-концовъ, эта связь лопнула, когда опьяненіе страстью прошло, какъ проходитъ всякое опьяненіе; у Андрея осталось на душѣ что-то вродѣ укора, слѣдъ какой-то вины и противъ себя самого, и противъ женщины, до связи съ которой онъ допустилъ себя, не любя ее, у нея же только лишній пережитый фактъ, чтобы на старости помянуть кипучую молодость, какъ она сама говорила. Романъ ихъ кончился совершенно благополучно, какъ обыкновенно и кончается большинство романовъ въ жизни. Затрещавшіе кругомъ языки „людскаго стада, не прощающіе, по увѣренію Карской, никому его счастья“, вынудили-таки мужа посоветовать женѣ уѣхать на время въ деревню, къ матери, что она выполнила почти безъ всякаго сожалѣнія, и, прощаясь „на зло только“, какъ она признавалась, попросила одну изъ самыхъ ярыхъ сплетницъ передать Андрею ея поцѣлуй. Тотъ опять остался одинъ съ своими столкновеніями, уроками и книгами, въ которыя ушелъ теперь весь и всецѣло, чтобы затушить въ себѣ тяжелую, упорную ра-

ботой щемящее чувство укора,—больнаго до обиды похмѣлья послѣ пережитаго опьяненія.

— Чего разяюнился?—ободрялъ его, бывало, ходившій за нимъ, какъ мать, Дергунъ.—Эге-ге, братику; кто не платитъ подати молодости?... Что-жь бы это и за молодость была! Не молодость, а кваша!... Я и самъ, знаете, когда былъ въ семинаріи, то въ огороды лазилъ...

— Хорошая эта философія,—возразилъ угрюмо Андрей, хмурия брови,—только, знаете, жаль, что я не могу ею заткнуть глотку тому, кто говоритъ мнѣ о нравственныхъ обязанностяхъ педагога!...

— Педагоги, педагоги!...—кипятился Дергунъ.—А развѣ педагоги не люди?

— Что же, мнѣ такъ и отвѣтить директору на его намеки?... Да?...

— А, конечно, такъ и скажите!... Самъ, поди, сколько разъ скакалъ въ гречку, когда былъ помоложе...

— Можетъ быть, и скакалъ, но для меня-то, поймите, это не оправданіе...

И потому, что это не могло быть для него оправданіемъ, онъ и болѣлъ, и мучился, и только блѣднѣлъ, какъ полотно, выслушивая эти намеки. Что, въ самомъ дѣлѣ, могъ бы онъ отвѣтить на нихъ, развѣ философія Дергуна казалась ему невѣрной? Одно: что будь не онъ, а кто-нибудь другой на его мѣстѣ, то тому несомнѣнно все простилось бы, глаза ничего бы не видѣли, уши не слышали, а намеки, еслибъ и были, то развѣ игриваго свойства. Но такой отвѣтъ былъ не отвѣтъ собсѣнно,

онъ это понималъ и чувствовалъ, и потому безмолвно, только блѣднѣя, выслушивалъ язвительныя рѣчи о долгѣ и нравственности педагога со стороны тѣхъ, кого не уважалъ, кто самъ, въ сущности, далеко не отвѣчалъ такимъ требованіямъ. Въ другое время, раньше, онъ многое могъ бы и сказать, и указать на такія рѣчи, а теперь... теперь онъ какъ-то невольно чувствовалъ себя такъ, какъ завѣдомый воръ, которому пришлось бы обличать воровство.

Все это еще болѣе осложняло ненормальность его отношеній и положенія, а всякое осложненіе увеличивало натянутость, еще сильнѣе затрогивало самолюбіе, обостряло столкновенія и дразни. Андрей пожелтѣлъ, похудѣлъ, сталъ совсѣмъ угрюмъ, „неузнаваемъ“, какъ трещали языки, „отъ безумной-де любви и тоски“, и это трещанье, долетавшее до него, несмотря на замѣнутость его, выражавшееся непрошеннымъ сожалѣніемъ во взглядѣ, въ жестахъ, въ формѣ выраженій, только сильнѣе раздражало его. Нѣсколько разъ онъ подумывалъ уже о томъ, чтобъ уйти куда-нибудь, перевестись, найти другое мѣсто, другое дѣло, и все больше и больше задумывался надъ письмомъ Сошенко, который, перемѣнивъ казенную должность на частную, съ какимъ-то баснословнымъ окладомъ, распинался теперь за „частную работу“, пѣлъ ей дифирамбы, какъ нѣкоей, чуть ли не гражданской доблести, увѣрялъ, что теперь чувствуетъ себя вполне хорошо и независимо. Удерживали Андрея на мѣстѣ, главнымъ образомъ, самолюбіе, гордость, да разнесшіеся слухи о назначенной въ округѣ ревизіи гимназій, а онъ

чувствовалъ потребность оправдать себя, всѣ жалобы на него и доносы, своею работой.

Но прошло много времени, много горькихъ мѣсяцевъ, прежде чѣмъ пріѣхалъ, наконецъ, ревизоръ. Ревизовать пріѣхалъ помощникъ попечителя, извѣстный педагогъ, всею душой преданный своему дѣлу. Пріѣздъ именно его для ревизіи сильно сконфузилъ директора и всѣхъ дослужившихъ до пенсіона, желавшихъ другаго ревизора. По цѣлымъ часамъ просиживалъ онъ на урокахъ неподвижно на задней партѣ класса, и Андрею иногда казалось, что его умные, живые глаза, представлявшіе такой рѣзкій контрастъ со всею его согбенною, старою фигурой, болѣзненнымъ лицомъ и сѣдыми волосами, смотрятъ на него съ какою-то мягкою, любовною грустью. Они обмѣнялись лишь нѣсколькими фразами при представленіи и затѣмъ встрѣчались постоянно молча, такъ какъ ревизоръ отличался крайнею молчаливостью, но Андрея что-то влекло къ нему, располагало, и именно глаза, какъ говорилъ онъ Дергуну.

Разъ Андрей, покончивъ уроки, собирался было уходить домой, какъ къ нему тихо подошелъ ревизоръ и попросилъ его слѣдовать за собою.

— Извините,—глухо сказалъ онъ ему,—прошу удѣлить мнѣ нѣсколько минутъ по дѣлу.

Они вошли въ только что оставленную учителями сборную комнату, гдѣ не было ни души. Старикъ нѣсколько разъ молча прошелся по комнатѣ, заложивъ руки въ карманы и что-то шамкая про себя сухими старческими губами и какъ-то сумрачно, понуро глядя въ

полъ. Наконецъ, онъ остановился вполноту передъ Андреемъ.

— Я посѣтилъ много вашихъ уроковъ,—началъ онъ сухимъ, официальнымъ тономъ,—и долженъ благодарить васъ... Такой преподаватель, какъ вы,—кладъ. Мало у насъ такихъ!

Андрей отвѣтилъ официальнымъ полупоклономъ.

— Да, да,—продолжалъ тотъ,—я такъ и въ округѣ скажу. Вы—рѣдкій преподаватель. У васъ сейчасъ видна любовь и къ дѣлу, и къ дѣтямъ... Это большая рѣдкость, большая рѣдкость!—добавилъ онъ, вздохнувъ.

Онъ замолчалъ и уставился на Андрея, точно разглядывая черты его лица, и Андрею показалось, что глаза его опять свѣтятся подмѣченной имъ ранѣ любовною, мягкою грустью.

— Ну-съ,—началъ онъ опять и тонъ его голоса сталъ какимъ-то задушевымъ и грустнымъ, какъ и его взглядъ,—это говорю я вамъ какъ вашъ начальникъ, ревизоръ. Д-да! А теперь,—продолжалъ онъ, не спуская глазъ съ Андрея,—теперь... Позвольте ли мнѣ говорить съ вами какъ коллегъ, съдому коллегъ, — онъ тронулъ свои сѣдые волосы,—захотите ли выслушать меня, старика?

Онъ ждалъ, не спуская своего грустнаго, пронизывающаго взгляда. Андрей открыто, мягко улыбнулся.

— Я буду радъ,—отвѣтилъ онъ.

— Ладно,—сказалъ тотъ, все еще смотря на него, и, обнявъ его рукою за талию, сталъ ходить съ нимъ по комнатѣ.—Я повторяю вамъ,—говорилъ онъ, точно торо-

пясь и подыскивая выраженія, — что сказалъ уже: вы хоропій учитель, да, да... Я васъ уже узналъ, всего узналъ, — вашу методу, вашъ характеръ, — узналъ все... У меня опытный глазъ на этотъ счетъ. Вы отъ души работали, сердцемъ, а не за жалованье. Я положительно благодаренъ вамъ за удовольствіе, которое вынесъ, посѣщая ваши уроки. Вы мнѣ напомнили прежнее, минувшее... Глядя на васъ, я вспомнилъ время, когда былъ молодъ...

Онъ говорилъ съ сильнымъ волненіемъ; блѣдныя, старческія щеки его покрылись густымъ румянцемъ. Андрей понималъ теперь, почему такъ грустно глядѣли его глаза на урокахъ.

— И, тѣмъ не менѣе, несмотря... Знаете, какой совѣтъ я дамъ вамъ... знаете?... Ну?

Старикъ остановился въ волненіи и поднялъ на Андрея въ упоръ глаза. Андрей молчалъ.

— Уходите отсюда лучше... Поищите другаго дѣла, — докончилъ старикъ почти шепотомъ.

— Вы хотите, чтобъ я подалъ въ отставку? — удивился Андрей, не ожидавшій ничего подобнаго.

— Совѣтую, а не хочу, — подчеркнул старикъ. — Вы должны понять меня... Это я говорю вамъ частно, какъ коллега вашъ, какъ другъ! — почти крикнулъ онъ, стискивая руку Андрея. — Не объ отставкѣ вашей рѣчь, поищите другаго дѣла, говорю, гдѣ ваши силы, умъ, честность, энергія наши бы... наши бы приложеніе и... и... удовлетвореніе.

Андрей понималъ все, и сердце его мучительно сжалось.

— Развѣ вы не видите,—продолжалъ тотъ,—какъ мнѣ больно говорить вамъ это, какъ тяжело, но что же дѣлать? Вы не такой человѣкъ,—о, нѣтъ, я сразу понялъ васъ!—чтобы здѣсь ужиться,—онъ подчеркнулъ „здѣсь“,—примириться, пойти на компромиссы... И не пужно ихъ, не пужно,—зачѣмъ? Оставайтесь самъ собою, всегда такимъ оставайтесь!...—Волненіе старика дошло до того, что на глазахъ его показались слезы.—Знаете ли,—продолжалъ онъ, немного успокоившись,—вѣдь, изъ-за васъ пѣлая буря въ округѣ поднялась, чортъ знаетъ что... Вѣдь, про васъ просто ужасы доносятъ. Положимъ, я поддержу васъ, защищу,—о, конечно!—но капля долбитъ и камень... Вѣдь, вы не смиритесь передъ ними,—онъ презрительно махнулъ рукой въ сторону,—потому-то я и говорю вамъ: поищите другаго дѣла, исподволь, потихоньку подыскивайте.

Андрей слушалъ молча, все больше и больше блѣднѣя. Ему было и жутко, и больно, и обидно. Оказывалось, что люди, которыхъ онъ презиралъ, могли вырвать у него изъ рукъ его любимое дѣло, съ которымъ онъ связывалъ столько надеждъ, столько свѣтлыхъ надеждъ. У него захватывало дыханіе, грудь судорожно поднималась.

— Мнѣ страшно тяжело оставить свое дѣло!—съ усиленіемъ выговорилъ онъ, наконецъ.

Старика передернуло, руки его задрожали, съ невыразимою лаской схватилъ онъ руку Андрея и, сжимая ее дрожащими руками, заговорилъ съ прежнимъ волненіемъ, задыхаясь и спѣша:

— Еще бы!... Я вполнѣ понимаю васъ... Я цѣню, я уважаю васъ... Вамъ больно, какъ и мнѣ,—вѣрьте мнѣ! И пока я въ округѣ, пока я на мѣстѣ, я все сдѣлаю, чтобы поддержать васъ, все... Я защищу васъ, но... но...—сильное волненіе помѣшало ему кончить.

— Что тутъ у васъ было, рассказывайте!—обратился онъ, немного успокоившись, къ Андрею, все еще стоявшему молча, въ тяжеломъ раздумѣ.

Они уѣли на диванъ. Андрей рассказалъ всѣ свои столкновенія, все, что въ немъ накипѣло, что мучило его уже второй годъ. Старикъ слушалъ, качалъ головой, возмущался. На прощанье онъ мягко обнялъ Андрея.

— Оставайтесь такимъ, оставайтесь... всю жизнь,—шепталъ онъ, тряся его руку.—Пока я въ округѣ, ваше положеніе болѣе или менѣе безопасно. Помните это! Но... но...—говоря это, старикъ чуть не плакалъ отъ волненія.

Когда Андрей пришелъ домой, онъ засталъ у себя Дергуна, поджидавшего его съ нетерпѣніемъ.

— Ну, что, друже?—винулъ онъ къ нему.

— Слушайте!... — и Андрей передалъ свой разговоръ съ ревизоромъ. Дергунъ слушалъ, въ волненіи ходя по комнатѣ.

— Знатный это человѣкъ! Слава Богу, что онъ еще въ округѣ, а если уйдетъ?—онъ махнулъ рукой.— Что же вы будете дѣлать-то?

— А буду тянуть, пока тянется, а тамъ посмотримъ!

Глава VII.

Не весело стало Андрею, но разъ онъ чувствовалъ себя особенно скверно. Часъ уплывалъ за часомъ, а онъ, далеко отбросивъ отъ себя книгу, которую взялъ было машинально, все сидѣлъ и сидѣлъ неподвижно, злой и хмурый; тяжелыя мысли наполняли его голову, мучили, жгли, не давали покоя. Съ какимъ-то непонятнымъ, болезненнымъ злорадствомъ бичевалъ онъ самъ себя, хохоталъ надъ своими наивными разсчетами, надеждами, иллюзіями, которыя казались ему теперь такими дѣтскими, такими дѣтски-смѣшными! Долго ли онъ будетъ тянуть все это?—спрашивалъ онъ самъ себя и въ отвѣтъ барабанилъ пальцами по подоконнику, на которомъ заходящее солнце провело широкія розовыя полосы. „Нѣтъ, нѣтъ,—стучали пальцы,—нѣтъ“. Но куда же идти, что дѣлать? „Свѣтъ великъ — это правда, но что ты тамъ будешь дѣлать, что?—точно шепчетъ ему Дергунъ.—Двѣ только дилеммы, только двѣ представляетъ жизнь: Пацюкъ или синица“.—„Неправда, неправда!—стучитъ сердце и глаза зажигаются, щеки покрываются румянцемъ. — Неправда: есть же на свѣтѣ живая, осмысленная, полезная работа, а если есть, значить, есть и возможность работать...“

Зачѣмъ же онъ танетъ эту лямку, бесполезную, тяжелую, зачѣмъ идетъ въ руку со Сметанкой, зачѣмъ терпитъ всякія гадости, для какого чорта? Ради дѣтей, которыя такъ его любятъ? Но что же онъ можетъ сдѣлать для нихъ существеннаго?

Стукъ въ дверь прервалъ его думы, но онъ не поднялся, не обратилъ на него вниманія. „Вѣроятно, Дергунъ“,—подумалъ онъ.

Стукъ повторился.

Злой, поднялся онъ съ мѣста и направился къ двери, приготовясь недружелюбно встрѣтить гостя.

— Кто тамъ? — рѣзко спросилъ онъ, еляда руку на задвижку.

— Здѣсь ли квартира г. Загайнаго?—спрашивалъ молодой, звонкій женскій голосъ, немного запыхавшійся отъ скорой ходьбы и подъема на лѣстницу.

Андрей удивился и, быстро поправивъ платье, отворилъ дверь. Въ корридорѣ, прямо у его двери, стояла женская фигура, лицо которой нельзя было разглядѣть за сумракомъ.

— Вы отъ кого?—угрюмо спросилъ онъ, принявъ пришедшую за горничную, присланную съ какииъ-нибудь порученіемъ.

— Отъ себя!—весело отвѣтила та, и въ ея отвѣтъ послышалась улыбка.—А вы—Загаинный?

— Да,—отвѣтилъ Андрей,—къ вашимъ услугамъ.

Онъ немного растерялся и все еще стоялъ въ раскрытыхъ дверяхъ, не впуская гостью.

Та разсмѣялась.

— Вы всегда такъ нелюбезно встрѣчаете гостей, даже въ комнату не пускаете? — быстро, сквозь смѣхъ, спросила она, повидимому, съ любопытствомъ оглядывая его высокую фигуру и подсмѣиваясь надъ его растерян-

ностью.—А я къ вамъ съ письмомъ Сергѣя Павловича... кланяются вамъ...

Какъ ужаленный, отскочилъ Андрей отъ двери, рассыпаясь въ извиненіяхъ, на что его гостья только весело смѣялась.

— Ничего, ничего,—говорила она, смѣясь,—прощаю, прощаю вамъ, нелюбезный хозяинъ! Давайте-ка лучше познакоимся.

— Познакоимся!—засмѣялся уже и Андрей, подкупленный ея простотой и веселымъ смѣхомъ.—Кто я, вы уже знаете,—Загайный,—сказалъ онъ, протягивая руку.

— Анна Горская,—отвѣтила она, еле охватывая его руку своими маленькими пальцами,—а для добрыхъ знакомыхъ просто Галя; если будемъ друзьями, такъ и зовите меня. Я ваше мѣсто занимала у Сошенка, дѣтей учила, а теперь къ вамъ пріѣхала поучиться.

— Чему?—удивился Андрей, не сводя глазъ съ гостьи.

— Сейчасъ расскажу, а прежде... вотъ!—сказала та, смѣясь и подавая письмо.

Давно пробѣжалъ Андрей письмо Сошенка, полное упрековъ за молчаніе и разныхъ вопросовъ; давно уже выслушалъ просьбу Гали и выразилъ свое согласіе помочь ей лучше подготовиться къ вступленію въ одинъ изъ заграничныхъ университетовъ, куда она собиралась осенью, а ему казалось, что время не шло, не двигалось. Онъ забылъ и хандру, и свои сомнѣнія, и вопросы, и только слушалъ гостью, только вторилъ ей веселому смѣху и, самъ заражаясь ея весельемъ, оживленно рассказывалъ ей о городѣ, о знакомыхъ, о себѣ. Со стороны

можно было подумать, что оба они старинные, завадичные друзья,—до того непринужденна и проста была ихъ бесѣда. Вѣра въ жизнь, въ людей, отсутствіе какихъ бы то ни было сомнѣній, колебаній, юношеская свѣжесть, ненадломленность дѣвушки оживили, точно возродили Андрея. Боже, какъ давно, какъ страшно давно былъ онъ такимъ, чувствовалъ себя такъ легко, такъ пріятно!... Точно измѣнилось все вокругъ, точно все, что еще сегодня только мучило его, былъ одинъ сонъ, одинъ тяжелый кошмаръ... Галя не была красавицей, далеко не была ею, но въ большихъ сѣрыхъ глазахъ ея свѣтилось столько ума, прямоты и честности, она была такъ проста, вся фигура, каждый взглядъ ея, каждое слово отражали столько чистоты, молодой энергіи и силы, что Андрей не сводилъ съ нея глазъ; и чѣмъ больше смотрѣлъ, тѣмъ сильнѣе тянуло его смотрѣть на нее, все смотрѣть и слушать.

— Пора, однако,—спохватилась Галя.

— Я провожу васъ,—сказалъ Андрей, которому не хотѣлось разставаться такъ скоро.

— Ладно,—отвѣтила она,—встати, съ мамой познакомлю васъ; она предобрая у меня.

Когда Андрей возвращался домой, ему не хотѣлось ни спать, ни читать, ни гулять, хотя ночь была прекрасная. Онъ почувствовалъ вдругъ потребность шума, веселья, смѣха и невольно какъ-то зашелъ въ гостиницу какъ разъ въ то время, когда Дергунъ стравливалъ тамъ Сметанку съ Дудекомъ за билліардомъ. Приходъ его былъ такою неожиданностью для нихъ, хорошо знавшихъ

его характеръ и нелюбовь къ трактирнымъ развлечениямъ, что оба компаніюта, готовые было побить другъ друга кіями, остановились, какъ вкопанные, а Дергунъ такъ и бросился прямо съ вопросомъ:

— Что съ тобой, что случилось?

Андрей только засмѣялся.

— Ну, господа, за кѣмъ кій, съ кѣмъ сразиться?— весело спросилъ онъ, точно передъ нимъ были не оба „братушки“, которыхъ онъ то и дѣло донималъ, а лучшіе его друзья.

— Зо мной, зо мной!—подскочилъ юркій, угреватый Сметанка, которому очень польстило обращеніе Андрея.

— Ладно!... На шампанское?

— О-о!... вивать... идѣть!

— Да что съ тобой?—накинулся опять Дергунъ,—женисься, что ли?

— Може надграду какую одъ начальства одобрали?—ослабился Сметанка, причемъ его узкіе, „шельмовскіе“, по выраженію Гинца, глазки завистливо блеснули.

— Чтось есть?—подозрительно поддакнулъ Дудекъ.

Но Андрей, вмѣсто отвѣта, ловко положилъ шаръ въ лузу и нѣсколькими ударами выигралъ партію. Сметанка поморщился, но, приказавъ подать вино, только замѣтилъ

— О-о-о!... Кто всегда выигрываетъ, тотъ въ любви проигрываетъ!...

— А вы какъ, братушекъ, по этой части?—такимъ же веселымъ тономъ спросилъ его Андрей.

— О-о-о!—закатывая глаза къ небу, хвастливо подмигнулъ Сметанка.

Андрею было весело, хорошо, какъ бываетъ всегда человѣку тоскующему, одинокому, живущему со дня на день, чѣмъ Богъ послалъ, при встрѣчѣ съ живымъ, веселымъ, свѣжимъ другомъ. Въ этомъ хорошемъ чувствѣ потонуло для него все, что еще недавно мучило его; оно заслонило собою всю пошлость окружающаго. Онъ забылъ за нимъ и Сметанокъ, и Дудековъ, точно не замѣчалъ, не видѣлъ ихъ, свою хандру, непріятности, желаніе бѣжать. Беззавѣтно поддавался онъ этому чувству, покорялся ему, со дня на день втягивался все больше и, не видя за нимъ ничего, точно махнувъ на все рукой, спѣшилъ только въ Галѣ, только одну ее видѣлъ и помнилъ. Тамъ, въ этомъ крошечномъ, чистенькомъ домикѣ, на берегу рѣки, точно потонувшемъ въ густой зелени, гдѣ жила Галя со старухой-матерью, кое-какъ пробивавшейся скуднымъ пенсіономъ, Андрей оживалъ духомъ, чувствовалъ себя тепло и привольно, забывалъ все. Весело слушалъ онъ безконечные рассказы старухи о дѣтскихъ годахъ ея любимой дочки, вмѣстѣ съ нею любовался Галей, спорилъ, училъ, смѣялся, какъ давно не смѣялся.

Давно, бывало, спать себѣ старуха, давно улегся и весь городъ, а они вдвоемъ съ Галей все еще рыщутъ по темной рошѣ, то споря, то ведя безконечные разговоры, то любуясь темною лѣтнею ночью, а не то тихо качаются на рѣкѣ въ лодкѣ, заслушиваясь соловья, страстно выводящаго свои ноты. „О, какъ чудно, какъ хорошо!“ — прошепчетъ, бывало, въ восторгѣ Галя, складывая на колѣняхъ свои маленькія ручки; а когда соловей

умолкалъ, она принималась пѣть сама, и тогда Андрею казалось, что всѣ соловьи міра слетѣлись вмѣстѣ и запѣли старыя украинскія пѣсни. Говорили они о прошломъ, гадали о будущемъ, въ которое оба смотрѣли ясно и смѣло, дѣлились надеждами, поддерживали, поощряли другъ друга... Чѣмъ были они другъ другу: братомъ и сестрой, друзьями?—они объ этомъ не думали вовсе. Зачѣмъ? Андрей даже забылъ, казалось, что Галя собирается уѣхать,—по крайней мѣрѣ, онъ никогда объ этомъ не думалъ.

Глава VIII.

Наступала осень.

Былъ поздній вечеръ, когда Андрей задумчиво шелъ лѣсомъ, угрюмый и недовольный. Три дня уже не видѣлъ онъ Гали, уѣхавшей погостить на время къ тетѣ въ деревню, и эта первая разлука доставила ему цѣлый рядъ непріятныхъ ощущеній. Опять овладѣла имъ прежняя хандра и отвращеніе къ окружавшему, съ которымъ волей-неволей приходилось стоять теперь одинъ-на-одинъ и лицомъ къ лицу, но къ нимъ примѣшивалось еще неизвѣстное до сихъ поръ ощущеніе какой-то безнадежной пустоты, тоска одиночества, какая-то непонятная, щемящая боль... „Одинъ, одинъ!“—повторялъ онъ про себя, и это сознаніе, что онъ одинъ, не давало ему покоя и въ особенности было ему больно. Еще такъ недавно Галя пѣла, смѣялась, глядѣла на него такъ тепло, такъ ясно, съ такимъ вниманіемъ слушала его рѣчи... и онъ былъ

такъ счастливъ, а теперь—одинъ! Чего-жъ она засидѣлась?... Думалъ ли онъ, что ему такъ тяжела будетъ эта разлука? А ей?...

Угрюмо шагаль онъ по лѣсу, машинально срывая и ломая желтѣвшіе листья, направляясь къ берегу, гдѣ стояла привязанная лодка, и вдругъ остановился, какъ вкопанный. „Неужели я люблю ее?“—прошептали чуть слышно его блѣдныя губы; глаза раскрылись точно въ удивленія, по тѣлу пробѣжалъ холодъ, а сердце застучало, будто хотѣло выскочить изъ груди.

„Да, да“,—отозвалось гдѣ-то глубоко-глубоко. „Да, да“,—зашептали вокругъ листья, воздухъ, деревья, и чувство яснаго счастья, чувство чего-то хорошаго, теплаго наполнило его грудь, зажгло румянцемъ щеки.

Машинально отвязалъ онъ лодку, не чувствуя подъ собой земли, ничего не видя,—въ блаженномъ полусознательномъ состояніи. Все, казалось ему, смѣялось, ликовало, дрожало счастьемъ, каждый листъ, каждая травка, каждая струйка, какъ зеркало блестящей рѣки. Ему почудился полдень, горячій и яркій, и солнце, казалось, жгло его, слѣпило его глаза... Гдѣ же дѣлся вечеръ, темный поздній вечеръ?

Страшная боль сжала его сердце, голова закружилась, ноги подкосились, и онъ почти упалъ на сваеяку лодки.

„Она уйдетъ, непременно уйдетъ... Она такъ страстно хочетъ уѣхать“,—застучало въ головѣ и застыло въ ней кускомъ льда. Онъ все понялъ, онъ пришелъ въ себя.

Сильными взмахами весель далеко отъѣхалъ онъ отъ

берега. Вотъ уже и тотъ берегъ... вотъ сады... одинъ, другой, вотъ и ея садъ...

„Гдѣ она теперь?“

— Ау, ау!—прозвучало въ тихомъ вечернемъ воздухѣ.

Андрей вздрогнулъ, ожилъ, встрепенулся, забылъ всѣ муки, всѣ боли.

Не ошибся ли онъ? Нѣтъ, нѣтъ! Загорѣвшіеся жизнью и счастьемъ глаза его хорошо разглядѣли въ вечернемъ мракѣ Галя, стоявшую въ саду у рѣки и звавшую его къ себѣ. Онъ хотѣлъ крикнуть, громко разсѣяться, но голосъ ему не повиновался; онъ только улыбался и гналъ изъ всѣхъ силъ лодку.

— Я такъ и знала, предчувствовала, что вы катаетесь,—смѣясь, кричала ему издали Галя, и эти слова оживили его сладкою надеждой.

„Она знала, она предчувствовала... она думала обо мнѣ“,—отражалось въ его сердцѣ какимъ-то судорожнымъ, блаженнымъ трепетомъ.

— Когда пріѣхали?—могли выговорить только его губы. Галя вскочила въ лодку.

— Съ часъ, не больше! И, видите, сейчасъ къ вамъ!—говорила она, веселая и живая.—У меня есть что-то хорошее, хорошее... прекрасная новость!

— Что же именно?—переспросилъ Андрей, не сводя съ нея глазъ.

— Скажите прежде: „слава Богу“.

— Ну, слава Богу.

— Да не „ну“, а серьезно, право... Неожданное счастье!... Тетка...—начала она торжественно, съ раста-

новкой, точно желая какъ можно дольше длить эффектъ и поразить слушателя,—тетка, къ которой я ѣздила прощаться, отвалила мнѣ на дорогу цѣлыхъ двѣсти рублей, а?

Въ тонѣ ея голоса было столько радости и неподдѣльнаго веселья; она такъ увѣренно рассчитывала на радость, изумленіе и восторгъ слушателя, что невольно была поражена его молчаніемъ.

— Что же вы молчите?... Отчего, сударь, не кричите: ура?—все еще весело спросила она.—Послѣ-завтра я собираюсь dahin, dahin...

Но отвѣта не было; только весла заходили сильнѣе.

Гая вдругъ почувствовала себя какъ-то неловко и, сама еще не зная отчего, немного покраснѣла. Сердце ея тревожно забилося.

Какъ-то нерѣшительно уставила она глаза на друга и только теперь замѣтила выраженіе глубокаго страданія на его поблѣднѣвшемъ и точно застывшемъ лицѣ.

— Что съ вами, Андрей Григорьевичъ, что съ вами?—тревожно спросила она. Неловкость и тревога ея росли все больше и она еще сильнѣе покраснѣла.

Андрей не отвѣтилъ.

— Вы нездоровы?

Опять молчаніе.

— Вы не радуетесь моему счастью, моему...

— Этому счастью—нѣтъ... Я не могу радоваться вашему отъѣзду... — глухо, съ дрожью въ голосѣ, проговорилъ, наконецъ, Андрей.

— Почему?

Это „почему“ вырвалось у нея какъ-то невольно. Она вся вспыхнула и сама сейчас же разсердилась на себя за него.

Тихій, дрожащій, страстный шепотъ коснулся ея слуха:

— Потому что я люблю васъ, потому что остаться безъ васъ мнѣ страшно тяжело, потому что...

Теперь пришла ея очередь сидѣть неподвижно, въ молчаніи, какъ статуя. Она то вспыхивала, то блѣднѣла; на длинныхъ опущенныхъ черныхъ рѣсницахъ ея что-то блеснуло, какъ будто слезы. Судорожно обрывали ея бѣлые, тонкіе пальцы блѣдные восковые лепестки водяной лиліи.

— И я люблю васъ, — тихо, необычайно мягко, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ-то грустно проговорила она, не поднимая еще глазъ. — Люблю какъ друга, очень, очень люблю... — добавила она, точно спохватившись, точно боясь показаться холодной. — Изъ всѣхъ вы мнѣ самый близкій, самый дорогой, но...

Андрей пересталъ грести и точно замеръ отъ этого тона и „но“.

— Но я еще... я совсѣмъ не знаю жизни... Я еще не жила совсѣмъ... Я еще хочу узнать жизнь, мнѣ еще надо поучиться, работать... Правда, милый, хорошій Андрей Григорьевичъ, вы сами мнѣ это говорили?

Все это было сказано необычайно мягко, тепло, задушевно и, вмѣстѣ съ тѣмъ, совершенно просто. Безусловною прямою отдавала вся ея фигура, и, по мѣрѣ того, какъ она говорила, голосъ становился тверже, сильнѣе, споконнѣе.

— Правда?

Андрей не отвѣтилъ.

— Вы сердитесь? — тревожно переспросила она и въ ея вопросѣ послышались и любовь, и боязнь, и тревога.

— Нѣтъ, — глухо отвѣтилъ онъ.

— Не сердитесь... милый, хорошій, дорогой мой... Вѣдь, я люблю васъ, очень люблю... Я счастлива, что и вы меня любите, да, да... — Она подняла на него свои черные, прямые глаза и посмотрѣла мягкимъ, добрымъ взглядомъ. — Но, вѣдь, я еще совсѣмъ дѣвчонка; я не могу еще связывать себя навсегда... Для этого еще будетъ время, — о, много времени!... Правда?... Послѣ, послѣ, если вы не забудете меня... не разлюбите... другое дѣло... Но теперь... какая же я жена? — любовно засмѣялась она.

Вмѣсто отвѣта, Андрей ударилъ веслами и лодка полетѣла къ берегу.

— Мы оба любимъ другъ друга, — продолжала она, точно оправдываясь и тревожно ловя выраженіе его лица, — но оба же хотимъ еще учиться и работать. Если же мы останемся вмѣстѣ, если мы женимся, придется на все махнуть рукой; у насъ пойдутъ свои заботы, свои нужды... семья, дѣти... Правда, милый?

Лодка ударилась о берегъ.

— Правду я говорю? Дай же мнѣ твою руку.

Андрей протянулъ руку и Галя, пожавъ ее, потянула его къ себѣ.

— Ты не сердись, нѣтъ? — спросила она, обвивая

его шею руками и засматривая ему въ глаза, — нѣтъ, другъ мой?

— Нѣтъ, нѣтъ, я не сержусь... Я люблю тебя, мнѣ тяжела наша разлука, но иди, иди; ты права... тебѣ еще рано вить свое знѣздышко, иди!

Голосъ его сильно дрожалъ.

— Но тебѣ больно, милый?

— Больно, — да, очень больно, — но я самъ говорю тебѣ: уѣзжай... Уѣзжай! — почти крикнулъ онъ, задыхаясь, — я самъ уѣду, я самъ брошу, я самъ... — бормоталъ онъ внѣ себя, тяжело дыша отъ волненія.

— Уѣдешь, бросишь... что, зачѣмъ?

— Уѣду, брошу... все, все это. Жить такъ... безъ живаго дѣла, съ пустотой, тянуть лямку... такъ нельзя. За тобой, за любовью я забылъ это.

— Учить другихъ — это тянуть лямку? — удивилась Галя.

— Учить другихъ со Сметанками и прочими — развѣ портить! Сознать одно, а дѣлать другое, вѣчныя подлости, уступки... Прощай! — вдругъ сказалъ онъ, вставая и сжимая ее руку.

Галя глядѣла на него, а по щекамъ ея текли крупныя слезы. Она видѣла, какъ сильно страдаетъ онъ, какъ тяжело ему, и жгучая жалость и что-то похожее на раскаяніе въ чемъ-то охватили ее сердце. Точно виноватою чувствовала она себя передъ нимъ и потребность загладить, смягчить нанесенную боль, потребность приласкать близкаго, дорогаго человѣка, съ такою болью говорившаго ей: „прощай“, заставили ее удержать Андрея.

— Подожди, милый, сядь, — говорила она ему, плача, — ты такъ взволновался... Куда же ты хочешь уѣхать?

— Свѣтъ великъ... мѣста много... найдется и мнѣ... Прощай!

— Постой, милый!

— Нѣтъ, прощай... прощай! — и онъ крѣпко сжалъ ея руку.

Галя встала, обняла его шею и тихо прошептала сквозь слезы:

— Прости меня.

— Мнѣ не въ чемъ прощать тебя, дорогая... Прощай!

— До свиданія! — сказала она, подставляя ему свои губы.

Онъ крѣпко, сильно обнялъ ее, осыпалъ поцѣлуями ея лобъ, глаза, губы, затѣмъ, обхвативъ руками, поднялъ, точно перо, и поставилъ на берегъ.

— До свиданія! — крикнулъ онъ, быстро отчаливъ отъ берега.

Галя долго стояла на берегу и смотрѣла ему вслѣдъ.

ГЛАВА IX.

Трудно сказать, что думалъ Андрей, когда, привязавъ лодку, онъ машинально побрелъ черезъ лѣсъ. Въ головѣ толпились какіе-то неясные, непонятные обрывки, безъ конца, безъ начала, безъ смысла, какъ бредъ горячечнаго. Онъ не видѣлъ ни тропинки, ни лѣса, ни пней, о которые спотыкался, не зналъ, куда онъ идетъ, за-

чѣмъ, даже гдѣ онъ. Ночь все сгущалась, часъ уплывалъ за часомъ, а онъ все бродилъ по лѣсу тою же неровною, точно пьяною походкой, не чувствуя усталости, не разбираясь въ той путаницѣ образовъ, мыслей, представлений, что жгли его голову, быстро смѣняясь одно другимъ, какъ въ калейдоскопѣ.. И вездѣ—только Галя, и все только она... Вотъ она смѣется, вотъ поетъ, вотъ онъ слышитъ ихъ давнишній споръ... Вотъ она сидитъ блѣдная-блѣдная и слушаетъ его признаніе, а слезы такъ и капаютъ. Все пережитое, пережитое за время ихъ встрѣчи встало теперь, точно выплывало въ какомъ-то туманѣ, толпится одно за другимъ, проносятся какъ сонъ, какъ видѣнія. И все сильнѣе давитъ его чувство щемящей пустоты, безпріютности, точъ-въ-точъ какъ тамъ, у берега, когда, вспомнивъ, что она уѣдетъ, онъ упалъ въ лодку,—давитъ до боли, до муки. Ему жаль, ему страшно жаль, точно что-то родное, близкое, дорогое, какъ жизнь, вдругъ оторвалось отъ него, упало въ пропасть, исчезло на глазахъ, при немъ же... Куда ему дѣваться, что дѣлать? И въ отвѣтъ на эти больные вопросы что-то схватываетъ въ груди, точно спазма, захватываетъ дыханіе, поднимается все выше и выше, подступаетъ къ глазамъ...

И вдругъ все исчезло сразу, быстро: и Галя, и муки, и все, и все.

Предъ нимъ только сѣрое зданіе гимназіи, корридоры, классы, Сметанка съ братіей, Дергунъ... Онъ видитъ самого себя съ своими волненіями, раздражительностью. „Донъ-Кихоть!“—насмѣшливо шепчутъ его блѣдныя губы.

Все это встаетъ передъ нимъ такъ живо, такъ ясно, такъ реально, точно картина; онъ даже чувствуетъ холодъ этой монотонной, сѣрой жизни, однообразной, какъ тиканье часового маятника, глухой, какъ лѣсная тропинка, бесполезной, смѣшной, дряблой, ненужной, какъ... какъ...

— Бъ чорту!—махнулъ онъ вдругъ рукой, точно придя въ себя, опомнившись, и злая улыбка искривила его блѣдныя губы.

Сквозь чашу мигалъ свѣтъ изъ оконъ загороднаго ресторана и Андрей прямо пошелъ на него. Его точно тяготить теперь стала тишина и темъ лѣса, безлюдье, пустота... Было уже очень поздно, посѣтителы почти всѣ разошлись. Нѣсколько подвыпившихъ только продолжали стучать шарами на бильярдѣ; лакеи, зѣвая, слонялись изъ угла въ уголъ, когда Андрей, усѣвшись въ отдѣльномомъ, маленькомъ кабинетѣ, спросилъ бутылку чего-нибудь покрѣпче.

— Ромъ, коньякъ... можно глинтвейнъ-съ.

— Все равно... покрѣпче!

Онъ пилъ вѣпркій напитокъ залпами, но опьяненіе, сонъ, забытье не приходили. Ни малѣйшаго облегченія не почувствовалъ онъ,—напротивъ, ему стало хуже. Ко всему, что такъ мучило, терзало его внутри, присоединился еще непріятный шумъ въ ушахъ, усиленно билось сердце, кружилась голова. Онъ спросилъ номеръ и бросился на постель, не раздѣваясь, но сонъ, желанный сонъ не приходилъ, точно нарочно. Его душило. Стѣны, давалось, давили ему грудь и мѣшали дышать; доносив-

шійся стукъ бильярдныхъ шаровъ раздражалъ и какъ-то особенно непріятно беспокоилъ; горячій, спертый воздухъ точно жегъ ему лицо, горло, все тѣло. Онъ отворилъ окно, втянулъ струю свѣжаго воздуха и ему еще хуже, еще нестерпимѣе стало въ комнатѣ.

— Гроза, баринъ, собирается, переночуйте лучше, — уговаривалъ его слуга, у котораго онъ спросилъ счетъ, собравшись уходить, — до города далеко и народъ всякій шляется.

Но что было Андрею до грозы и „всякаго народа“?

Онъ пошелъ. Гроза дѣйствительно собиралась и скоро разразилась цѣлымъ потокомъ дождя, грома и молніи. Первые капли освѣжили его, онъ почувствовалъ себя бодрѣе, но черезъ нѣсколько минутъ промокъ до костей. Онъ повернулъ назадъ, но оказалось, что онъ сбился съ дороги. Съ полчаса бродилъ онъ, весь мокрый и грязный, взадъ и впередъ по темному лѣсу, дико стонавшему отъ вѣтра, розыскавая дорогу, пока не набрелъ на поляну, на которой, при свѣтѣ молніи, различилъ стогъ сѣна. Онъ забился въ сѣно и заснулъ крѣпкимъ сномъ.

Когда онъ проснулся, было утро. Ночная буря освѣжила природу и все окрестъ сверкало жизнью и счастливою радостью. Бриллиантовыя капли дрожали, играя радугой, на листьяхъ, цвѣтахъ и стебляхъ; въ воздухѣ не было пыли, — дышалось легко и пріятно, и этотъ рѣзкій контрастъ проснувшейся жизни, полной радости и беззаботнаго счастья, съ его душевнымъ состояніемъ тяжело дѣйствовалъ на Андрея. Къ тому же, у него просто

трещала голова отъ выпитаго наканунѣ вина. Угрюмый, дотащился онъ къ себѣ и сталъ сбрасывать съ себя грязное, полубосяхшее, влажное платье, когда Михей подаль ему письмо.

— Мальчикъ чуть свѣтъ принесъ,—сказалъ онъ.

Андрей узналъ почеркъ; это писала Галя. Сердце его забилося и надеждой, и страхомъ, и болью, и счастьемъ. Быстро разорвалъ онъ конвертъ.

„Милый, ради тебя, — ты это понимаешь, — я ѣду утромъ, а не послѣ-завтра. Тебѣ и мнѣ, — Галя подчеркнула „мнѣ“, — будетъ легче, если скорѣй. Не нужно прощаться... Мнѣ жаль тебя, мнѣ больно, я люблю тебя. До свиданія, милый, дорогой! Твоя Галя“.

Далѣе слѣдовалъ *post-scriptum*, судя по почерку, писанный спокойнѣе:

„Пиши мнѣ: Zürich, poste restante. Я увѣрена, что ты справишься съ непріятнымъ чувствомъ, вызваннымъ нашею временною разлукой“.

„Временною“ было тоже подчеркнуто. Андрей понял, что послѣдняя фраза относилась къ высказанному имъ желанію бросить учительство.

Онъ взглянулъ на часы: было безъ 15-ти минутъ 8.

— Поѣздъ отходитъ въ восемь, Михей?

— Такъ точно-съ, въ восемь,—отвѣтилъ Михей, не спуская тревожнаго взгляда съ блѣднаго, угрюмаго лица дорогаго барина.

Оставалось четверть часа; Андрей схватилъ шляпу и вышелъ.

За высокою горой, на которую они не разъ взбира-

лись съ Галей, тянулось полотно желѣзной дороги, огибавшее дугой городъ. Почти бѣгомъ спустился онъ въ оврагъ и пошелъ полемъ. Ему страстно хотѣлось увидѣть хоть поѣздъ, который увезетъ ее, Галю...

„Не нужно прощаться, — думалъ онъ, — пусть будетъ такъ... ладно... Я не прощаться иду!“ — и, тяжело дыша, онъ бѣжалъ по тропинкѣ между копнами сжатого хлѣба.

Вотъ столбъ... одинъ, другой, третій, вотъ что-то желтѣетъ—это насыпь... еще и еще! Сердце его сильно билось, онъ задыхался, когда прямо передъ нимъ протянулись рельсы. Почти безъ силъ опустился онъ у полотна дороги. Но вотъ далеко-далеко что-то загрохотало, зашумѣло въ воздухѣ, все сильнѣе и сильнѣе, рельсы слегка застонали, зазвенѣли и этотъ, сначала тихій, гармоническій звукъ перешелъ въ неприятное жужжанье... ближе, ближе. Андрей весь замеръ и притаилъ дыханіе. Прямо на него, грохоча и выпуская клубы дыма и пара, изъ-за лѣса выплывалъ поѣздъ.

Быстро мелькнулъ локомотивъ. Андрей видѣлъ, какъ машинистъ держалъ рычагъ и напряженно всматривался вдаль. Мелькнулъ товарный вагонъ, пассажирскій... одинъ, другой, третій...

— Галя! — Андрей протянулъ впередъ руки.

Показалось ли ему, дѣйствительно ли Галя мелькнула въ окнѣ вагона, или это мечта разгоряченнаго воображенія? Онъ такъ и замеръ, точно застылъ въ неподвижной позѣ съ протянутыми впередъ руками, съ устремленнымъ куда-то взоромъ, только блѣдныя губы его что-то шептали или силились шептать. Поѣздъ давно исчезъ

изъ вида, даже дымъ, черный, ѣдкій дымъ разсѣлся, а Андрей все сидѣлъ такъ же неподвижно, мертво, въ напряженной позѣ.

Когда онъ возвращался въ городъ, вдали, изъ-за кучи деревьевъ, онъ разглядѣлъ веселую кавалькаду, быстро скрывшуюся по дорогѣ къ загородной рощѣ. Это скакала Карская, недавно вернувшаяся къ мужу, окруженная толпою своихъ вздыхателей, въ числѣ которыхъ неуклюже галопировалъ сзади неизмѣнный почитатель Патти. Все пережитое желчною волной поднялось въ немъ сразу, онъ остановился, какъ-то нехорошо, злобно улыбнулся про себя и почти бѣгомъ направился домой. Въ дверяхъ, съ разбѣга, онъ столкнулся съ Сошенко, который такъ и повисъ у него на шеѣ.

— Наконецъ-то!—кричалъ онъ, цѣлуя его.—Сколько лѣтъ, сколько зимъ! Наконецъ-то! А я все сижу да жду... Гдѣ пропадалъ?

— Гулялъ!—задыхаясь отъ объятій, чуть проговорилъ Андрей.

— Гулялъ, ишь ты! Вотъ они, дѣятели, гуляютъ! А у насъ, братъ, ни минуточки свободной нѣтъ: приемы, покупки, продажи... Еле-еле выгадалъ часокъ завернуть къ дружкѣ, поглядѣть, каково-то ему, а онъ гулять изволить!

— Когда пріѣхалъ? — перебилъ Андрей эту тираду.

— Только что... Мы,—Сошенко называлъ такъ управление частной компаніи, въ которой былъ теперь директоромъ,—мы рѣшили тутъ у васъ кое-какія землицы пріобрѣсть, ну, и пріѣхалъ... посмотрѣть нужно... Какъ жи-

вешь, рассказывай!... Стой, да что съ тобой, ты на себя не похожъ сталъ!—тревожно спросилъ онъ, разглядѣвъ, наконецъ, черты друга. — Что такое?

Андрей махнулъ рукой.

— Долго рассказывать. Плохо,—словомъ, уйти хочу.

— Къ намъ, къ намъ, къ намъ, голубчикъ!—обрадовался тотъ.—Мы быстро тебя поправимъ... Во-первыхъ, овладець—первый сортъ!—Сошенко даже пальцы чмокнулъ.— А затѣмъ, согласишься, частная работа, независимость... А какъ жена-то будетъ рада! Она тебѣ низко, пренизко велѣла кланяться... Ну, такъ какъ же? Ладно?

Андрей задумался.

— Скорѣй, скорѣй!—тормошилъ его другъ,—что тутъ раздумывать!... Геморроя жалко или чина статскаго совѣтника? Пустяки, по рукамъ лучше, быстро, по-американски! Time is money!... Д-да-съ!

— Да что у васъ дѣлать-то? — колеблясь, спросилъ Андрей.

— Что дѣлать?... Богу Меркурію служить, вотъ что-съ... Культурѣ въ самомъ чистомъ видѣ-съ, кристаллизованномъ, такъ сказать, очищенномъ отъ всякихъ интеллигентностей!... Купить, продать, курсъ, биржа — вотъ наши термины! Поднятіе благосостоянія, развитіе промышленности, потребностей, вообще всяческое развитіе всего—наши принципы!... А, впрочемъ, работы мало... Кое-что написать, кое-что сосчитать, подписать и затѣмъ получить окладъ, да и все тутъ,—дѣлай себѣ что хочешь, хоть вѣтромъ свищи, право... Ну, такъ какъ же?

— Да я не знаю, дружище, съумѣю ли у васъ...

— Э, братъ, вздоръ!—перебилъ его Сошенко.— Если ты богинѣ свѣта служишь, такъ богу Меркурію и по-давно сможешь; онъ у насъ на этотъ счетъ покладистый. Лучезарныя богини, дружище, какъ всѣ женщины, капризны, взбалмошны, конечно, кромѣ моей Sophie!—шутливо расшаренулся онъ, — требуютъ непремѣнно этихъ скучныхъ законныхъ узъ и формъ, и т. д., и т. д., а божокъ нашъ премиленькій!... Онъ терпѣть не можетъ этихъ узъ и законностей, съ нимъ чудесно! Идетъ?

— Все равно, ладно!—махнулъ Андрей рукой,—тащи!

— Ну, вотъ то-то,—искренно обрадовался Сошенко,—люблю, братъ, что скоро. Молодецъ! У насъ, встати, и вакансія хорошая имѣется: секретаря правленія... Будешь только бланки подписывать: Андрей такой-то, да и все тутъ! Пойдемъ же, вспрыснемъ... крошончикъ холоненькаго, а? Гдѣ у васъ тутъ лучшіе пріюты услady? Веди, давай же руку!

Андрей далъ руку.

Часть вторая.

Глава I.

Стояла сѣверная петербургская осень. Въ маленькой комнатѣ одного изъ невзрачныхъ домовъ на Петербургской сторонѣ, въ какихъ обыкновенно ютится бѣдный учащійся людъ столицы, темнымъ вечеромъ у заваленнаго книгами стола, склонивъ усталую голову на обѣ

руки, сидѣла Галя. Она нарочно не зажигала лампы, потому что свѣтъ невольно потянулъ бы ее къ работѣ, а ей такъ хотѣлось, такъ нужно было отдохнуть, посидѣть въ той тихой дремѣ, полной наплыва думъ и воспоминаній, къ которой такъ располагаютъ вообще сумерки. На дворѣ вылъ вѣтеръ, стоялъ холодъ, а въ комнатѣ было такъ тепло, такъ уютно, маятникъ часовъ стучалъ такъ мѣрно, такъ много всякихъ думъ и обрывковъ прошлаго лѣзло въ голову, что Галя никакъ не могла оторваться. Она такъ набѣгалась за день съ уроками, которыми поддерживала себя въ столицѣ, такъ устала, работая надъ лекціями профессора, такъ наволновалась всякими слухами и происшествіями дня, что отдохнуть часокъ-другой являлось необходимою. И она сидѣла тихо и неподвижно, ни на что не глядя, ни о чемъ особенно не думая, перебирая въ головѣ то то, то другое, а услужливая въ такихъ случаяхъ память сама подсказывала матеріалъ... И Богъ знаетъ почему, по какому закону сцѣпленія идей, ей вспомнился давно забытый N. Галя вздрогнула, блѣдныя щеки ея заалѣли румянцемъ, когда предъ ней встали эти картины прошлаго... всталъ Андрей... пронеслось послѣднее ихъ свиданіе въ лодкѣ, его признаніе... Нельзя сказать, чтобъ она совсѣмъ забыла Андрея,—она его скорѣе не вспоминала. Сначала, какъ только они разстались и она уѣхала за границу, ей было очень тяжело,—Андрей не давалъ ей покоя, его любовь мучила ее, она точно виноватой чувствовала себя передъ нимъ, и болѣла за него, инстинктивно чуя, какъ было больно ему. Но затѣмъ прошли мѣсяцы, годъ, другой

почти цѣлыхъ три года неустаннаго труда и лишеній, отъ которыхъ она и поблѣднѣла, и похудѣла. Жизнь давала такъ много впечатлѣній, захватывавшихъ подчасъ всего человѣка, а Андрей не писалъ, не давалъ о себѣ знать ни строчкой, ни полусловомъ, ничто вокругъ даже не намекало, не говорило о немъ—и больное чувство стало заживать, теряло свою остроту, и Галя все рѣже и рѣже стала вспоминать Андрея, рѣшивъ, что вся его любовь была простымъ порывомъ страстной, горячей натуры, задышавшейся въ тяжелой обстановкѣ, которая давила, не давая выхода молодой энергій и жаждѣ честной, осмысленной дѣятельности.

Изъ перваго же письма матери, полученнаго за границей, она узнала, что Андрей бросилъ гимназію, уѣхалъ изъ N. и съ тѣхъ поръ ни за границу, ни въ Петербургъ, гдѣ она уже цѣлый годъ посѣщала курсы, не знала о немъ ничего, не слышала,—онъ точно въ воду канулъ.

И почему же вспомнился онъ ей именно теперь, когда она не знаетъ, гдѣ онъ, даже живъ ли онъ на свѣтѣ? Его высокая, сильная фигура такъ отчетливо выдѣляется передъ нею изъ мрака комнаты; честные, смѣлые глаза жгутъ ее взглядомъ; сильная рука такъ крѣпко и, вмѣстѣ съ тѣмъ, такъ мягко и пріятно жметъ ея руку, отчего у ней кружится голова. Ей давно уже кажется, что это не полъ, не стѣны, не потолокъ, не душный, спертый воздухъ нагрѣтой печью комнаты. Надъ нею темносинее ночное небо Украйны и звѣзды, золотыя, какъ расплавленное золото, а внизу чистая, какъ зеркало, гладь рѣки,

въ которой дрожать эти красивыя звѣзды... Какъ привольно, какъ легко дышетъ грудь этимъ воздухомъ, полнымъ аромата, полнымъ какой-то особенной нѣги, точно любовной ласки! Тихо скользить лодка, Андрей гребетъ какъ-то неслышно, какъ машетъ крыльями птица въ лазури; онъ шепчетъ ей что-то, она видитъ его блѣдныя губы, его горящія глаза, полные любви, страха и ласки... Ей хочется и плакать, и цѣловать, и ласкаться...

Или вотъ ясное, свѣтлое утро... Поѣздъ гремитъ и грохочетъ. Она сама сидитъ въ вагонѣ и несется, несется быстро... Ей такъ тяжело, такъ хочется плакать, хотя она и рада, въ то же время, тому, что ѣдетъ. Въ окнѣ мелькаютъ знакомыя мѣста, по которымъ они гуляли вдвоемъ... Что онъ, гдѣ? Слезы застилаютъ и туманятъ глаза... Она ничего не видитъ, только одну черную неподвижную точку у самой насыпи... Что это?... Точка растетъ... да это и не точка вовсе, это онъ, Андрей... онъ протягиваетъ руки.

— Галя...

Не мечта ли это? Онъ ли это? Дѣйствительно ли слышала она свое имя, или...

— Можно войти?—кто-то застучалъ въ дверь.

Исчезли чары. Галя очнулась, вздрогнула, нахмурилась, какъ дѣлаетъ всегда человѣкъ, потревоженный въ своихъ думахъ.

— Это вы, Гриневъ?—спросила она недовольнымъ тономъ.

Ей послышался голосъ знакомаго студента.

— Нѣтъ... нѣтъ... тысячу разъ нѣтъ, — раздался въ

отвѣтъ веселый басокъ, — это я... я... собственною персоной... я, Серг...

Галя не слушала уже и бросилась отворять двери. Въ комнату влетѣла веселая, подвижная фигура нашего стараго знакомаго, Сергѣя Павловича. Несмотря на полноту, развившуюся съ годами беззаботной жизни, Сергѣй Павловичъ былъ все такъ же подвиженъ и юрокъ.

— Три дня здѣсь... три дня ищу и не могу найти, — кричалъ онъ, сжимая руку Гали. — Фу ты, куда забралась!... Ну, какъ живется?... Отчего нѣтъ огня? — сыпалъ онъ вопросами.

Но Галя не отвѣчала. Взволнованная неожиданнымъ свиданіемъ со старымъ знакомымъ, она суетилась, зажигала лампу, подавала стулъ, бѣгала къ хозяйкѣ справляться о самоварѣ, а Сергѣй Павловичъ такъ и сыпалъ словами.

— Ну, и Петербургъ вашъ, — кричалъ онъ, закуривая папиросу, — ходишь, ходишь — ничего не добьешься. Три дня бьюсь какъ рыба объ ледъ и никакого толку. Я по дѣлу сюда... дѣло есть одно. Жена вамъ вланяется, пеняетъ, что рѣдко пишете; а дочурка — такъ та даже цѣловать хочетъ. Молодецъ она у насъ, бой дѣвка... Чего это вы такъ мечетесь? — осадилъ онъ ее вдругъ вопросомъ.

— И сама не знаю, — засмѣялась Галя, — очень ужъ вы удивили меня прїѣздомъ... Вотъ ужъ не ожидала, — сказала она, садясь, наконецъ. — Э... да какъ же вы потолстѣли, сударь!

— И постарѣлъ? — шутливо спросилъ Сергѣй Павловичъ.

— Пожалуй... или, лучше, обрюзгли.

— Ничего не подѣлаешь,—со вздохомъ отвѣтилъ онъ,— время! Мало ли воды-то утекло, какъ мы видѣлись! Жизнь такая! Эта полнота есть, такъ сказать, нѣкоторымъ образомъ патентъ на интеллигентность, сударыня, не шутите!... Такъ-то-съ! Что же, какъ живется?

Галя стала рассказывать о своей жизни въ столицѣ и въ Швейцаріи. Сергѣй Павловичъ слушалъ, волновался, жестикулировалъ, вставлялъ свои шуточки. Подали самоваръ. За чаемъ разговоръ тянулся еще веселѣе. Обоимъ—и Галѣ, и Сергѣю Павловичу—пріятно было поговорить, перебрать прошлое, поразспросить о старыхъ знакомыхъ.

— А гдѣ онъ, что съ нимъ? — живо спросила Галя, когда разговоръ нечаянно коснулся Андрея, причемъ ея сердце точно забилося сильнѣе. — Я, вѣдь, совсѣмъ, совсѣмъ потеряла его изъ вида.

Сергѣй Павловичъ сорвался съ мѣста и, сильно жестикулируя, зашагалъ по комнатѣ.

— Удивительный человѣкъ какой-то, совсѣмъ какъ въ воду канулъ... Вы знаете, онъ, вѣдь, бросилъ гимназію?

— Это я знаю,—мать писала,—а дальше?

— Дальше? — Сергѣй Павловичъ еще энергичнѣе зашагалъ по комнатѣ.—Богъ его знаетъ!... Встрѣтился я съ нимъ случайно въ К., года два почти назадъ. Разговорились. Онъ проѣздомъ былъ изъ Питера, — вы тогда какъ разъ за границей были, — литературой пробовалъ жить, да, вѣдь, этимъ мудрено прожить. Въ управляющіе какого-то громаднаго княжескаго имѣнія поступилъ,

съ громаднымъ жалованьемъ, но затѣмъ, я слышалъ, что-то у него вышло съ княземъ... изъ-за хозяйственныхъ улучшеній, что ли, или вродѣ этого... Въ управленіи желѣзной дорогой былъ,—мнѣ одинъ знакомый о немъ говорилъ,—тоже у него тамъ что-то вышло... Въ земствѣ, слышалъ, толкался. Странная натура!

— Онъ честный человѣкъ! Энергичн масса!—перебила Галя, страстно, лихорадочно слушавшая Сергѣя Павловича.

— Правда, да!—замахалъ Сергѣй Павловичъ руками.—Стальной человѣкъ!—какъ-то важно произнесъ онъ.—Но молодъ, горячъ. Такъ, вѣдь, нельзя—прямо, съ налету... разъ, два и кончено. Бочкомъ, бочкомъ, по кирпичику и потихоньку.

Сергѣй Павловичъ очень наглядно показывалъ, какъ это нужно „бочкомъ, по кирпичику“, и такъ утомительно, что Галя стала хохотать.

— Письмо къ вамъ!—постучалась хозяйка.

Все еще смѣющаяся, веселая, Галя быстро стала распечатывать конвертъ съ заграничнымъ штемпелемъ.

— Отъ товарки, вѣрно,—сказала она гостю.

— Ну-ка, ну-ка, что новенькаго, кстати?—спрашивалъ онъ, съ любопытствомъ слѣдя за ней глазами.

По мѣрѣ того, какъ она пробѣгала строки письма, щеки ея, вспыхнувшія было сначала румянцемъ, блѣднѣли все больше, а глаза широко раскрывались, какъ у удивленнаго, пораженнаго человѣка. Сергѣй Павловичъ не спускалъ съ нея глазъ.

— Отъ Андрея, отъ Андрея Григорьевича,—прогово-

рила она, наконецъ, какимъ-то нерѣшительнымъ, не то удивленнымъ голосомъ, точно сомнѣваясь и недоумѣвая.

Сергѣй Павловичъ вскочилъ, какъ ужаленный.

— Отъ Андрея? Что же, гдѣ онъ, что съ нимъ?

Галя вспыхнула, помолчала, подумала и еще разъ пробѣжала нѣсколько строкъ письма.

— Онъ за границей... въ Америкѣ.

— Какъ?... Что онъ тамъ дѣлаетъ? — допрашивалъ Сергѣй Павловичъ, не замѣчая, что Галя сильно разстроена.

— Онъ совсѣмъ уѣхалъ, навсегда, сжегъ за собой корабли, какъ пишетъ, чтобы не возвращаться.

— Зачѣмъ, почему? Чудакъ! — Сергѣй Павловичъ горѣлъ нетерпѣніемъ и любопытствомъ. — Прочтите же!

Галя стояла въ нерѣшительности, колебалась, наконецъ, стала читать:

„Вашъ адресъ я узналъ отъ одной изъ вашихъ товаровъ, моей знакомой. Я вамъ не писалъ никогда, — вы сами несомнѣнно поняли почему“, — начала она и остановилась.

— Ну, тутъ чисто-личные...

— Пропускайте! — почти крикнулъ Сергѣй Павловичъ. — Дальше... Суть-то, суть!

„Я бѣгу, уѣзжаю навсегда, — продолжала читать Галя, — и за это свое бѣгство я нисколько не краснѣю. Мнѣ не передъ кѣмъ и не отъ чего краснѣть, какъ нѣтъ съ кѣмъ и прощаться, кромѣ васъ. Съ вами я хочу проститься, какъ съ единственнымъ...“ — Ну, тутъ опять... — остановилась Галя.

— Хорошо, дальше! — махалъ Сергѣй Павловичъ отчаянно руками.

„И мнѣ больно было бы,—продолжала она,—если бы вы объяснили мой отъѣздъ чѣмъ-нибудь вродѣ малодушнаго, трусливаго бѣгства передъ трудною работою, объяснили его холоднымъ эгоизмомъ, расчетомъ и т. д. Нѣтъ и нѣтъ, — говорю вамъ искренно,—не малодушіе тутъ, не трусость, не эгоизмъ, а глубокое убѣжденіе, что я здѣсь всѣмъ чужой, лишній, ненужный человѣкъ,—убѣжденіе, къ которому и вы, быть можетъ, придете въ свое время...“

Галя остановилась, подумала и покачала отрицательно головой.

— Никогда! — сказала она вслухъ, твердо и рѣшительно.

„...Интеллигенція же наша... Я сначала страстно върился въ нее,—продолжала она читать,—спросите Сергѣя Павловича, если увидите его...“

— Да, да, вѣрно! — заговорилъ тотъ быстро, обрадовавшись, что и о немъ упоминается.

Галя пропустила что-то въ письмѣ, закусивъ губы, чтобы не разсмѣяться, и продолжала:

„... Не сразу я въ ней разочаровался; я, вѣдь, много толкался среди нея. Чего, чего ни перепробовалъ, и вездѣ видѣлъ только болтуновъ, карьеристовъ и въ лучшемъ только случаѣ убѣжденныхъ трусовъ...“

— Ужъ будто бы! — точно обидѣлся Сергѣй Павловичъ.

„... Что же мнѣ дѣлать съ ними и среди нихъ? Толочь воду и пугаться собственной тѣни? Я уѣзжаю въ Новый

Свѣтъ, гдѣ другіе люди, гдѣ жизнь только складывается, гдѣ всякому много работы... Европы я боюсь потому, что тамъ сложившіяся традиціи, что тамъ все свое издревле установившееся, привычки, вкусы, характеры и т. д.,— словомъ, все то, что сдѣлаетъ меня тамъ чужимъ, таеъ какъ я не всосалъ его съ дѣтства. Въ Новомъ Свѣтѣ еще нѣтъ — „свой“ и „не свой“, ибо тамъ каждый пока „свой“, голосъ каждаго найдетъ откликъ въ жизни“.

Окончивъ чтеніе, Галя насупилась, а Сергѣй Павловичъ въ восторгѣ бѣгалъ по комнатѣ и махалъ руками.

— Правда, правда! — кричалъ онъ въ какомъ-то экстазѣ. — Онъ тысячу разъ правъ! О, я бы самъ махнулъ за нимъ въ Америку, будь я помоложе и не будь семьи... Геніальная натура — Андрей, ге-ні-аль-на-я! — И онъ забѣгалъ по комнатѣ. — Я ему напишу, непременно напишу! А вы?

— Нѣтъ, теперь я не буду писать, — задумчиво отвѣчала Галя, — пусть это пройдетъ, пусть онъ...

— Что? — въ удивленіи перебилъ ее Сергѣй Павловичъ, — вы не одобряете его, а?

— Нѣтъ. Это — увлеченіе, временное затмѣніе, вызванное раздраженіемъ, желчью... Онъ одумается, увидитъ. Послѣ... послѣ я напишу ему, но не теперь.

— Квасная патріотка! — захохоталъ Сергѣй Павловичъ, — ишь ты! А адресъ? Есть его адресъ?

— Есть. Вотъ онъ, — отвѣтила Галя.

Сергѣй Павловичъ записалъ, лихорадочно, спѣшно, а Галя все стояла, грустная, задумчивая, точно придавленная.

ГЛАВА II.

Въ то самое время, когда Галя читала его письмо Андрей уже почти проѣхалъ Европу и приближался къ морю. Трудно было признать въ немъ съ перваго взгляда того Андрея, котораго мы знали въ N. около трехъ лѣтъ тому назадъ. Щеки его поблѣднѣли, втянулись- глаза глубоко впали и на всемъ лицѣ, молодомъ, энергичномъ лицѣ лежалъ теперь отпечатокъ какой-то грусти, не то боли, не то надломленности, какъ бываетъ у людей, только что вставшихъ послѣ долгой, тяжелой болѣзни. И этотъ отпечатокъ не сходилъ съ него, что бы онъ ни дѣлалъ, о чемъ бы ни думалъ, чѣмъ бы ни занимался, какою бы энергіей и силой ни сверкали его каріе, глубоко впавшіе глаза. Все, что ни встрѣчалъ онъ до сихъ поръ, покинувъ родину, — и впечатлѣнія кипучей жизни за границей, и роскошныя картины природы, — онъ встрѣчалъ все съ тѣмъ же неизмѣннымъ видомъ, почти безучастно, какъ китаецъ, ставящій себѣ принципомъ: ничему не удивляться у варваровъ. Онъ не засматривался въ окна вагоновъ, не искалъ древностей, не лазилъ по крутизнамъ и развалинамъ, не бѣгалъ по галлереямъ и музеямъ. Онъ быстро проѣхалъ Европу, какъ страстный любовникъ, спѣшащій на свиданіе, не видящій, не замѣчающій ничего по сторонамъ, на пути. Европа была для него только долгимъ, томительнымъ путемъ, отдѣлявшимъ его отъ возлюбленнаго „Запада“, — что же могло быть въ ней интереснаго и замѣчательнаго?

Онъ только и думалъ, что о своемъ Западѣ, излюбленномъ Западѣ, куда бѣгутъ такіе же, какъ и онъ, всѣмъ и всему чужіе люди „строить новую жизнь на новомъ мѣстѣ“ (такъ буквально говорилось въ „Путешествіи“, чтеніе котораго, главнымъ образомъ, и натолкнуло Андрея на Америку), — гдѣ спросится и его голосъ, гдѣ онъ будетъ не чужой, не лишній, не непонятный, потому что у него есть и энергія, и желаніе работать. Западъ, казалось, былъ для него тѣмъ же, чѣмъ соломенка для утопающаго, послѣдняя надежда, послѣдній выходъ. Куда дѣться, не будь этого „Запада“? Превратиться въ Дергуна или тянуть жизнь въ городахъ Европы безъ цѣли, безъ дѣла, не чувствуя подъ собой почвы, не имѣя никакихъ связей съ окружающею жизнью, всему и всѣмъ чужой? Андрей даже вздрогнулъ, когда подумалъ объ этомъ.

Онъ избѣгалъ разговоровъ, разспросовъ, на которые такъ охотны нѣмцы, — хотя зналъ ихъ языкъ хорошо, — сторонился всѣхъ и всего. Вѣчно погруженный въ свои думы, онъ казался своимъ спутникамъ по вагону болѣннымъ, дремлющимъ, и его оставляли въ покоѣ. Разъ только, не далеко уже отъ моря, его думы перебилъ молодой сосѣдъ баварецъ, съ любопытствомъ всматривавшійся сѣрыми, умными глазами въ его выразительное, блѣдное лицо.

— Куда вы ѣдете? — спросилъ онъ Андрея.

Потревоженный Андрей неохотно, почти грубо отрѣзалъ:

— На Западъ!

— Во Францію?

— Нѣтъ, дальше...

— Въ Америку? — и въ тонѣ спрашивавшаго послышалось удивленіе.

— Да! — угрюмо отвѣтилъ Андрей, проклиная внутренно назойливость сосѣда.

Баварецъ посмотрѣлъ на него еще пристальнѣе, посмотрѣлъ на его плечи, руки и чуть-чуть улыбнулся.

— Боюсь показаться нескромнымъ, — началъ онъ, — но не позволите ли спросить... Вы знаете какое-нибудь ремесло?

— Нѣтъ, никакого не знаю! — все также неохотно, не глядя, отвѣтилъ Андрей.

— Знаете англійскій языкъ?

— Тоже нѣтъ.

— У васъ есть тамъ родные, знакомые? — продолжалъ допросъ сосѣдъ, все болѣе и болѣе удивляясь.

— Нѣтъ... никого нѣтъ... я одинъ.

— Вы туристъ?

— О, нѣтъ!...

— Чего же вы ѣдете туда? — почти вкрикнулъ тотъ, изумленный, нахмутивъ густыя брови.

— Жить! — отвѣтилъ Андрей.

Нѣмецъ широко раскрылъ свои умные сѣрые глаза, посмотрѣлъ на Андрея, потеръ лобъ рукой, подумалъ и спросилъ:

— Можно узнать вашу національность?

— Я русскій...

— А!... — протянулъ нѣмецъ, чуть-чуть улыбаясь мяг-

вою, доброю улыбкой, и какъ-то просто и ласково, положивъ руку на колѣно Андрея, сказалъ задушевнымъ тономъ:

— Не ѣздите туда; тамъ вы не найдете того, чего ищете.

Андрей улыбнулся какъ фанатикъ, когда ему говорятъ, что данное чудо невозможно.

— Да, да, не ѣздите,—продолжалъ тотъ тѣмъ же задушевнымъ, убѣжденнымъ тономъ.—Если бы вы хотѣли составить колоссальное богатство, выдвинуться,—о, я бы ничего не сказалъ... Но жить!... Тамъ нѣтъ жизни!

— Какъ?

— Въ смыслѣ той жизни, которую вы подразумѣваете,—поправился нѣмецъ,—человѣческой жизни,—подчеркнулъ онъ.—Тамъ вы встрѣтите одну погоню за наживой, за властью, которую даетъ она, и эта общая погоня сотретъ васъ, какъ пылинку, если вы не пойдете за нею...

— Въ восточныхъ штатахъ, пожалуй,—разговорился охотно Андрей, такъ какъ разговоръ шелъ о любимой темѣ,—тамъ можетъ быть, но въ западныхъ, гдѣ жизнь еще только слагается, куда прибываютъ лучшіе, энергичнѣйшіе типы со всѣхъ концовъ земли, съ самыми разнообразными міросозерцаніями, гдѣ нѣтъ традицій...

— Вы думаете? — перебилъ нѣмецъ эту вычитанную тираду.—Такъ должно казаться издали, но только издали... Всѣ эти „новые“ люди прибываютъ туда съ старыми богами... Всѣ они бѣгутъ туда съ одною цѣлью—личнаго счастья, а соприкасающаяся съ Западомъ жизнь восточныхъ штатовъ,—жизнь сильная, кипучая, страст-

ная, — даетъ готовую формулу, готовый рецептъ счастья.

— Но, вѣдь, рецептовъ можетъ быть много...

— Вѣрно! — подхватилъ нѣмецъ, — какъ и вездѣ, но гораздо больше ихъ *здѣсь*, чѣмъ *тамъ*, и гораздо больше почвы для нихъ *здѣсь*. Сравнительно лучшее экономическое положеніе массы обезпечиваетъ общее положеніе, если и не отъ „жгучихъ вопросовъ“, то отъ особенной, *нашей*, — подчеркнул онъ, — остроты ихъ... О рецептахъ и разныхъ формулахъ тамъ мечтаютъ одинокіе мыслители, а не сравнительно довольная масса... Тамъ имъ нѣтъ ходу!... Вѣрьте мнѣ: тамъ одинъ общій рецептъ счастья: „долларъ“, какъ и одинъ лазунгъ: „*Help your self!*“... Я, вѣдь, былъ тамъ...

— Вы были тамъ? Чего же вы ѣздили? — живо спросилъ Андрей.

— Жить, — улыбнулся нѣмецъ. — Я уѣхалъ туда... тоже не жилось на родинѣ.

Долго говорили они все на ту же тему и Андрей стойко и горячо отстаивалъ свое. О, онъ знаетъ, что его ждетъ много труда, лишеній, самая суровая школа съ нуждой и голодомъ, — вѣдь, онъ рассчитываетъ на свои мускулы, на одинъ мускульный трудъ въ первое время, пока пробьется, присмотрится, ознакомится съ жизнью, людьми, языкомъ. Но что же изъ того, что будетъ трудно? — даромъ ничто не дается! Ему нужна эта школа, нужна какъ загрязненному, пыльному путнику — чистая влага ручья, гдѣ бы онъ могъ смыть все, освѣжиться. Если онъ сможетъ, устоять, не падеть, — онъ станетъ

новымъ человѣкомъ, здоровымъ и сильнымъ, безъ драблоти, колебаній, сомнѣній, вѣчнаго шатанья отъ постоянныхъ компромиссовъ и сдѣлокъ съ совѣстью, съ сердцемъ. Онъ знаетъ, что тамъ не рай, что и тамъ много злаго и темнаго, но ошибочно обобщать это злое и темное, какъ дѣлаетъ, напримѣръ, его собесѣдникъ.

— И развѣ не легко, не привольно человѣческой груди въ широкомъ, зеленомъ лѣсу въ знойный день, хотя тамъ есть и гнилые пни, и трясины, и ядовитыя змѣи?— спрашивалъ онъ подъ конецъ и глаза его горѣли страстнымъ, лихорадочнымъ огнемъ, грудь порывисто дышала, а блѣдныя щеки оживились румянцемъ.

Страстная рѣчь, казалось, дѣйствовала на нѣмца; онъ точно колебаться началъ въ своихъ доводахъ. Онъ слушалъ, качая головой.

Ни малѣйшаго слѣда не оставилъ этотъ разговоръ въ душѣ Андрея, ни малѣйшаго колебанія не произвелъ онъ въ его задачахъ, планахъ, надеждахъ. Онъ всегда вообще туго подавался въ своихъ рѣшеніяхъ, а тутъ, къ тому же, все, казалось ему, было такъ опредѣленно, ясно, точно, такъ логически вѣрно. Нѣтъ, онъ не бредитъ, не ошибается, не фантазируетъ, не стоитъ на зыбучемъ пескѣ! Давно уже ушелъ нѣмецъ на одной изъ промежуточныхъ станцій, а Андрей все сидѣлъ и думалъ, перебиралъ все прошлое, все то, отъ чего онъ бѣжалъ, что хотѣлъ забыть и, казалось, забылъ уже. Съ какимъ-то наслажденіемъ, точно въ свое оправданіе, копался онъ въ воспоминаніяхъ, въ прошломъ, выбирая и подчеркивая въ душѣ все то, что легло на нее бременемъ, по-

будило его бѣжать, оставить родную землю, — всѣ свои столкновѣнія, всѣ разбитыя дѣйствительностью иллюзіи, мечты и надежды, — все то, за что онъ обвинялъ не себя, а другихъ. Онъ вспоминалъ, перебиралъ все, даже юность, даже первыя свои столкновѣнія съ семьей, съ Барвиновкой. Развѣ не былъ онъ *чужимъ* съ своими влеченіями родной семьѣ, самымъ близкимъ людямъ? А затѣмъ, затѣмъ... мало, что ли, толкался онъ, мало пробовалъ, стучаясь всегда лбомъ о стѣну?... И гимназія, и земство, и частная служба, — все, все пробовалъ и отовсюду бѣжалъ, потому что вездѣ одно и то же: гдѣ онъ встрѣтилъ сочувствіе, пониманіе, участіе? Въ комъ, гдѣ нашелъ поддержку? Нигдѣ нигдѣ!

— Море! — крикнули въ вагонѣ.

Андрей очнулся, взглянулъ въ окно, вздохнулъ глубоко, какъ отъ тяжкаго кошмара, и улыбнулся впервые хорошею, счастливою улыбкой.

Когда онъ стоялъ у моря, глядѣлъ на его необъятный просторъ, точно желая проникнуть туда, далеко-далеко, за синее небо, которое надъ нимъ нависло и точно потонуло въ немъ, на пароходъ, который, пыхтя и свистя, легко качался на сѣро-зеленыхъ волнахъ, посылая въ небо клубы чернаго, ѣдкаго дыма, — онъ почувствовалъ себя легко и привольно, какъ человѣкъ, долго взбиравшійся по крутизнамъ, чувствуетъ себя, добравшись до вершины. Онъ не понималъ ни слезъ, ни рыданій, ни поцѣлуевъ земли, которыми прощались вокругъ него сотни эмигрантовъ съ родиной, съ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ жили, развивали свои силы, боролись и любили. Все это ему

было чуждо, даже непонятно. Онъ самъ, казалось, ни о чемъ не плакалъ, не болѣлъ, ничего не жалѣлъ, не оставлялъ ничего другаго. „Развѣ Галя?“ — мельнуло въ немъ гдѣ-то глубоко, мельнуло и застыло, исчезло. Вѣдь, съ Галей онъ уже давно, давно разстался!... Чего же плачутъ эти люди, чего жалѣютъ? Чѣмъ была для нихъ родина, если они бросаютъ ее? Чего же имъ жаль, чего плакать? И вдругъ у него защемило сердце, что-то заняло, что-то жгучее пробѣжало въ груди и блѣдныя щеки поблѣднѣли еще больше, поблѣднѣли, какъ у трупа. Ему вспомнились вдругъ, какъ-то внезапно, и семья, и Барвиновка, и покойный отецъ, и всѣ эти простые люди, еще въ дѣтствѣ гладившіе его умную головку, ихъ пожеланія имѣть ему отцовскую душу и сердце, ихъ надежды, въ прахъ разбитыя однимъ его словомъ: „не хочу“. Да развѣ они всѣ не чужіе ему? Что общаго между ними, когда они даже понять не могутъ другъ друга? Цѣлая пропасть, непроходимая пропасть лежитъ между ними, да они всѣ, вѣроятно, и забыли его, какъ и онъ ихъ забылъ... Но отчего же вспомнились они ему теперь именно, вспомнились такъ живо, такъ реально? Передъ смертью, говорятъ, вспоминается дѣтство, дѣтскія впечатлѣнія,—вотъ отчего вспомнились! Вѣдь, онъ умираетъ, умираетъ для *этой* жизни, для Стараго Свѣта!...

— Да, да, да! — шепчутъ его блѣдныя губы.

— Was? — переспросилъ его длинный старикъ-швабъ, упорно, одиноко, какъ и Андрей, всматривавшійся въ морскую даль. Ему показалось, что Андрей его окликнулъ.

— Нѣтъ, я такъ,—смѣшался отъ неожиданности Андрей.—Скоро ли, однако, сядемъ на пароходъ?

— Сейчасъ, сударь. А вы одни?

— Одинъ.

— У васъ не съ кѣмъ прощаться, не о комъ пожалѣть?

— Нѣтъ! — отвѣтилъ Андрей.

— Дайте вашу руку!

Швабъ вѣрно сжалъ руку Андрея и какъ-то мягко, любовно, съ грустью поглядѣлъ въ его блѣдное лицо и впалые глаза.

— У меня тоже никого нѣтъ... Я тоже одинъ!—сказалъ онъ, сжимая его руку.—Я всѣхъ похоронилъ... А вы?

— И я похоронилъ.

Но Андрей выговорилъ это не твердо, точно севозъ зубы.

ГЛАВА III.

На пароходѣ Андрей чувствовалъ себѣ вообще хорошо и легко, не копался въ душѣ, не перебиралъ прошлаго; онъ былъ покоенъ и только сгоралъ нетерпѣніемъ поскорѣе добратъся, увидѣть эту новую „обѣтованную“ землю. Никто уже не спорилъ съ нимъ здѣсь, никто не сомнѣвался, никто не пророчилъ разочарованія, новаго горя, бѣды. Напротивъ, сотни людей, окружавшихъ его теперь, всѣ эти бѣжавшіе съ родины нѣмцы, ирландцы, французы, испанцы, итальянцы и т. д.,—всѣ

они вѣрили его вѣрой, жили его надеждой, сгорали его нетерпѣніемъ. Всѣ они ѣдутъ туда—далеко, за море, гдѣ такъ хорошо, гдѣ они забудутъ все выстраданное горе, оживутъ, поднимутъ голову. Что имъ родина—хе! У нихъ нѣтъ ея, она не мать имъ, а злая мачиха. Что видѣли они съ дѣтства, кромѣ нужды, горя, обидъ, всякихъ лишеній? Чѣмъ приласкала ихъ эта мать,—разъ, хоть на единый мигъ открыла она имъ свое сердце, приглубила? Нѣтъ, никогда! Пропадай же, родина, пусть ее любятъ тѣ, кого она гладитъ и холитъ, а они... они найдутъ себѣ другую родину—тамъ, далеко, за моремъ, куда ходитъ солнце и манитъ ихъ, гдѣ всѣмъ есть мѣсто за столомъ жизни.

Въ этой сферѣ одинаковыхъ вѣры, надеждъ, упованій было привольно Андрею, какъ въ знойный, палящій день хорошо въ прохладной рѣкѣ, какъ легко, привольно человѣку въ кругу любящей, дорогой семьи послѣ долгаго скитанія по свѣту среди чужихъ людей, тяжелыхъ столкновеній, непріятностей. Здѣсь всѣ его поймутъ, пожалѣютъ его обиды, скажутъ слово утѣшенія. Здѣсь никто не будетъ беречь его ранъ, смѣяться, пожимать плечами, качать недовѣрчиво головой, потому что здѣсь его раны—ихъ раны, его боль—ихъ боли.

Въ каждомъ лицѣ читалъ Андрей одну и ту же повесть, во всѣхъ глазахъ видѣлъ ту же надежду, въ каждомъ сердцѣ чувствовалъ ту же горячую вѣру въ будущее. И страстно прислушивался онъ къ стоустому восторженному бреду о новой жизни, на „новомъ мѣстѣ“, страстно слушалъ людей, сильныхъ, здоровыхъ,

энергичныхъ, трудолюбивыхъ, способныхъ сравнять горы съ равниной и навалить на равнины горы, но, какъ и онъ, измученныхъ, какъ и онъ, съ одною надеждою въ запасѣ. Прошлое ихъ было мрачно, настоящее было мрачно,—они, какъ и онъ, хотѣли отстоять хоть будущее, собрали весь запасъ силъ и энергій, бросили все, все порвали, оставивъ при себѣ одну надежду и вѣру.

Въ III классѣ, въ междупалубномъ пространствѣ, гдѣ помѣщался Андрей и всѣ его спутники, было просто ужасно,—сырость, вонь, темнота и тѣснота. Голова кружилась и болѣла безъ качки, отъ нѣсколькихъ часовъ пребыванія въ этой спертой, тяжелой атмосферѣ клоаки, куда добрый хозяинъ не пустилъ бы и собаки, а парходная компанія набилась людьми, взявъ съ нихъ за это по 45 талеровъ съ человѣка, съ харчами. Харчи были подѣлъ всему,—все было гнилое, тухлое. Но ни Андрей, ни его спутники не роптали, не тяготились, не обращали вниманія, лучше сказать, не думали объ этомъ, какъ не думаетъ, не ропщетъ солдатъ на бивуакахъ, еле-еле дотащившійся до котла съ плохими щами. Лишь бы день прошелъ скорѣе, лишь бы ближе, лишь бы дойти поскорѣе.

А дни тянулись медленно до тошноты, до одури, какъ тянутся въ казематѣ дни узника, послѣдніе, срочные дни. Солнце вставало и ныряло, набѣгали и проносились дальше тучи, прыгали дельфины; каждый день то же, что и завтра, что и вчера. Андрей читывалъ „Путешествія“, возился съ лексиконами, присматривался къ окружавшему его люду, знакомился, выпрашивалъ.

валъ, что и гдѣ могъ. Вотъ звучитъ традиціонная гитара испанца, подъ звуки которой нѣмцы пляшутъ родной вальсъ. Вонъ кучка французовъ съ жаромъ ведетъ споры, перебираетъ то то, то другое изъ жизни своей родины. Смотритъ Андрей кругомъ. У борта стоитъ высокій, мускулистый, какъ дикая степная лошадь, какъ бизонъ, колоссъ ирландецъ съ младенчески-чистыми, наивными глазами и съ восторгомъ жуетъ тухлую солонину послѣ своего вѣчно одного картофеля... Какъ страстно, съ какою вѣрой смотрятъ его глаза туда, далеко, за море, точно видятъ эту благословенную страну „съ кисельными берегами и молочными рѣками“, гдѣ пріютились милліоны его братьевъ, сыновъ „зеленаго Эрина“, выгнанные съ роднаго поля „жестокимъ бриттомъ“, гдѣ нѣтъ ландлордовъ, нѣтъ „выселеній“! Даже жидъ, простой виленскій жидъ, всю жизнь свою стоявшій „безъ шапки“ съ вѣчно однимъ подобострастнымъ, испуганнымъ видомъ, стоитъ твердо и смѣло смотреть впередъ.

— Какъ это, вы рассказывали, тамъ устроено насчетъ работы?—въ сотый разъ спрашиваетъ Андрея старый швабъ, подсаживаясь къ нему и сопя короткою трубкой.

Швабъ съ первой ихъ встрѣчи у моря привязался къ нему, какъ къ другу.

И Андрей въ сотый разъ терпѣливо рассказываетъ, по описаніямъ, и о Castle-Garden'ѣ *), и о рабочемъ бюро,

*) Въ Castle-Garden'ѣ помѣщается особое учрежденіе, заведующее эмиграціей въ Нью-Йоркѣ. Тамъ ведется статистика эмиграціи, даются эмигрантамъ совѣты и даже пріютъ временный, мѣняютъ безъ обмана деньги по курсу, больныхъ помѣщаютъ въ больницы. Эмигранты доставляются непосредственно туда.

куда приходятъ всѣ ищущіе работы, гдѣ агенты разныхъ компаній и фермеровъ нанимаютъ на работы, заключаютъ тутъ же контракты подѣ наблюдениемъ особыхъ комиссаровъ, обязанныхъ болѣе или менѣе оберегать эмигрантовъ отъ эксплуатаціи и обмана.

— Да вотъ послушайте! — говоритъ онъ и въ сотый разъ читаетъ окружающему его люду выписки изъ „Путешествій“.

— Holla! — радостно кричатъ молодые, а болѣе возрастные, болѣе степенные спокойно покачиваютъ головами и блескомъ глазъ выдаютъ только свое волненіе.

Вотъ какъ все хорошо устроено на ихъ новой родинѣ!

— Holla, holla! — звучатъ радостные голоса.

— Eviva! — подхватываетъ тонкій фальцетъ ничего не понявшаго, а только увлеченнаго общимъ настроеніемъ и крикомъ итальянца.

— Ваша спеціальность, monsieur? — участливо спрашиваютъ Андрея французы.

— Я не знаю никакого ремесла, господи... Я... я учитель.

— А-а... monsieur le professeur сейчасъ, вѣроятно, найдеть себѣ уроки... непременно! — съ увѣренностью говорятъ они, чтобы сказать что-нибудь пріятное.

— Уроки? — удивляется Андрей, — какіе уроки? Ни за что, господи, да я и не знаю англійскаго языка... Мнѣ придется начать такъ, какъ всѣ начинаютъ — съ работы.

— Ахъ, какъ жаль, какъ жаль, monsieur! — съ неприятнымъ участіемъ киваютъ головой французы.

— Чего жаль?—почти насмѣшливо, задорно удивляется Андрей.

— Да какже, monsieur le professeur, вѣдь, это трудно, тѣмъ болѣе, что скоро зима, когда на фермахъ нѣтъ работъ... А фермы — самое лучшее для чернораб... ragdon, monsieur, для неспеціалиста.

— Да, — беззаботно соглашается Андрей, — но это вздоръ... Я радъ, что мнѣ придется начинать новую жизнь съ такой школы... Она—пробный камень для меня, придется напрячь всю энергію... За то, когда пробьюсь я, хорошо освоюсь съ жизнью, со страной, съ людьми...

— Правда, правда,—деликатно соглашаются французы,—это вѣрно, monsieur, но... на первыхъ порахъ... на первыхъ порахъ... если будетъ очень трудно, monsieur... Если будетъ нуженъ другъ, товарищъ, monsieur, — вотъ адресъ!—и десятки рукъ суютъ Андрею свои карточки, на которыхъ карандашомъ отмѣчаютъ городъ, гдѣ думаютъ основаться, и свою спеціальность.

Андрей бралъ карточки, жаль всѣмъ руки, благодарилъ, но ничѣмъ, ни словами, ни жестами не могъ выразить того, что стояло въ сердцѣ. Въ сердцѣ билась какая-то безпредѣльная близость, ласка ко всѣмъ этимъ исателямъ новой жизни, какое-то неизъяснимое чувство братства, которое двигаетъ людей на подвиги, на самоотверженіе. Слова любви замирали на устахъ, хотя сердце такъ и рвалось вылить ихъ потоками, хотя ему такъ хотѣлось всѣхъ обнять, всѣмъ сказать что-нибудь особенно хорошее, отплатить сторицей за ласку, мягкость, деликатность. Даже ирландецъ, съ которымъ онъ не могъ ни

разу сказать и двухъ словъ, не зная его языка, и которому онъ изрѣдка уступалъ только куски своей солонины, хлѣба, ссужалъ табакомъ, что тотъ принималъ вѣжливо, но съ достоинствомъ, увидя его разъ больнымъ отъ качки и духоты въ трюмѣ, взвалилъ къ себѣ на плечи и, какъ ребенка, вынесъ на палубу и, снявъ свой ветхій, дырявый плащъ, прикрылъ имъ Андрея отъ дождя. Все это бодрило Андрея, оживляло и онъ чувствовалъ себя такъ хорошо, какъ никогда въ жизни. Онъ не превеличивалъ, когда говорилъ, что ему придется, вѣроятно, начать съ самой суровой школы труда. Онъ ѣхалъ почти безъ гроша, отославъ при отъѣздѣ большую часть своихъ средствъ матери и оставивъ себѣ только на проѣздъ. Онъ ѣхалъ такимъ же пролетаріемъ, какъ и всѣ его спутники, даже гораздо бѣднѣе, необеспеченнѣе многихъ, такъ какъ не зналъ ремесла, не умѣлъ работать, а о болѣе интеллигентномъ трудѣ онъ и думать не могъ, не зная языка, умѣя только съ грѣхомъ пополамъ, и то съ помощью словаря, прочитатъ мелкій рассказъ, анекдотъ и т. п. Но ни разу тревога за будущее не вползала въ его сердце,—напротивъ, онъ вообще никогда не боялся лишеній, а теперь онъ даже радъ былъ бы имъ, искренно радъ... Волей-неволей придется напрячь всю энергію, борясь за жизнь, за то, чтобы не умереть съ голоду. Известно, вѣдь, что обстановка человѣка можетъ и приглушать, и будить энергію. А энергія—все! Съ нею, путемъ тяжелаго, но полезнаго опыта, тяжелыхъ усилій, онъ скорѣе ориентируется въ странѣ, узнаетъ все то, что ускользнуло бы отъ него, не пробуй онъ самъ своими

боками. „Окунусь въ это новое море жизни, — думалъ онъ,—и только головой и руками буду добираться до берега... Доберусь и...“—онъ не договаривалъ, но, само собою разумѣется, что дальше шла увѣренность въ счастіи.

А пароходъ летѣлъ все впередъ и впередъ и въ одно прекрасное, свѣтлое утро, ровно 12-е по счету, глазамъ, жадно искавшимъ ее, предстала эта „новая земля“. Восторженный крикъ измученныхъ страстнымъ ожиданіемъ грудей привѣтствовалъ ее, тысячи глазъ, и давно сухихъ, блеснувшихъ теперь огнемъ, и молодыхъ, свѣжихъ, влажныхъ отъ восторга, пожирали ее и точно недоумѣвали, что и небо здѣсь то же, и солнце, и вода такъ же ласкаетъ, баюкаетъ берегъ, и такая же зеленая трава, какъ дома, одѣваетъ эту счастливую землю. Забыта томительная скука, забыты лишенія, болѣзнь, забыто все прошлое, даже пережитое горе забыто. Скорѣй бы выйти на этотъ берегъ, скорѣй бы увидѣть этотъ заманчивый, громадный, богатый и суетливый New-York! О, какъ долго, какъ томительно долго тянутся эти осмотры: санитарный и таможенный,—что за скука, что за отчаянная скука на этомъ страшномъ солнцепѣкѣ!

Но вотъ все кончено и передъ измученными ожиданіемъ людьми выплываетъ громадный стеклянный куполъ Castle-Garden'a, этого порога Нью-Йорка для каждаго эмигранта. Все ближе и ближе, все громаднѣе растетъ онъ и вынырываетъ изъ воды, наконецъ, величественнымъ, грандіознымъ зданіемъ.

— На берегъ, господа, на берегъ!

И зачѣмъ это приглашеніе?—всѣ и такъ уже на бе-

реку. Всѣ лица напряжены, немного блѣдны, у всѣхъ забилося сердце какимъ-то особеннымъ трепетомъ ожиданія чего-то жгучаго, хорошаго и, вмѣстѣ съ тѣмъ, неизвѣстнаго. Вслѣдъ за другими вошелъ Андрей въ залъ, освѣщенный сверху тѣмъ громаднымъ стекляннымъ куполомъ, что такъ долго мозолило глаза издали.

— По національностямъ, господа, подходите по національностямъ!

Все двигается, суетится, всѣ разбились на кучки. Андрей случайно совсѣмъ сталъ въ кучку нѣмцевъ и пошелъ съ нею къ небольшому бюро, за которымъ сидѣлъ агентъ эмиграціонной комиссіи. Агентъ записывалъ имена, разспрашивалъ о нуждахъ, предлагалъ совѣты.

— Ступайте на западъ, на западъ совѣтую... Здѣсь нечего дѣлать, рынокъ переполненъ руками!—говорилъ онъ каждому столару, кузнецу, слесарю, земледѣльцу и т. д.—Каждый, отправляющійся на западъ, можетъ купить желѣзно-дорожный билетъ со скидкою половины цѣны!

Подошелъ Андрей.

— Ваша національность?

— Русскій.

— Какъ?—удивился агентъ.

— Русскій!...

— Специальность?—продолжалъ агентъ, не спуская глазъ съ Андрея.

— Учитель.

Агентъ пожалъ плечами.

— Знаете языкъ, агліійскій языкъ?

— Нѣтъ.

Агентъ посмотрѣлъ на него пристально, записалъ и кивнулъ головой. Андрей отошелъ, чтобъ уступить мѣсто слѣдующему.

— Что вы намѣрены дѣлать?—крикнулъ ему въ догонку агентъ, опять повернувшись въ его сторону.

— На западъ!—отвѣтилъ Андрей, уходя.

— На западъ?—удивился тотъ, пожимая плечами и долго провожая его взоромъ.—На западъ!... На западѣ нужна не голова, а руки!...

Но Андрей уже не слышалъ; онъ шагаль по небольшой площади, отдѣляющей Castle-Garden отъ „Бродвея“—самой богатой, суетливой улицы города. Послѣ двѣнадцатидневнаго путешествія водою, съ радостью вырвавшись на волю школьника бѣгалъ онъ по New-York'у, какъ каждый новичокъ, поражаясь грандіозностью построекъ, парками, скверами, суетой, движеніемъ, смѣшеніемъ языковъ, расъ, типовъ и костюмовъ, своеобразіемъ жизни, поражающей вообще cadaго европейца на американской почвѣ. Все было ново, все было интересно и Андрею хотѣлось какъ можно больше и скорѣе узнать и насмотрѣться—заразъ, сегодня, въ этотъ первый и единственный день „празднаго отдыха“. „Завтра уже за работу,—думалъ онъ,—непремѣнно за работу...“

Съ этою мыслью о работѣ онъ и проснулся на другой день утромъ въ одной изъ галлерей Castle-Garden'a, отводимыхъ для ночлега эмигрантамъ, не желающимъ или не имѣющимъ средствъ помѣститься въ гостиницахъ, и немедленно же отправился въ рабочее бюро. Народу бы-

ло еще немного, нанимателей совѣмъ не было и Андрей, усѣвшись на скамѣ съ надписью „чернорабочіе“, рядомъ съ двумя сонными ирландцами, сталъ отъ скуки рыться въ лексиконѣ учебника англійскаго языка. Мало-по-малу онъ до того увлекся своею работою, что и не замѣтилъ, какъ къ скамѣ подошелъ агентъ-наниматель, здоровенный, обрюзглый толстякъ съ грубымъ, жестокимъ лицомъ и хитро бѣгавшими, нахальными, дерзкими глазками.

— На желѣзную дорогу! Кто хочетъ на желѣзную дорогу?—повторялъ онъ по-нѣмецки и по-англійски.

— Я,—отвѣтилъ Андрей, подымаясь,—я согласенъ!... Какая плата?—Онъ зналъ, что эмигрантовъ эксплуатируютъ агенты-наниматели, пользуясь ихъ наивною и незнакомствомъ съ высотой рабочей платы, и потому сразу заговорилъ о „платѣ“, смѣло и увѣренно, какъ сдѣлалъ бы это настоящій „янки“. „Меня не надуешь; я не отдамъ себя за грошъ!“—говорили его глаза, смѣло смотря въ хитрое, злое лицо агента.

Тотъ хладнокровно оглядѣлъ его съ ногъ до головы, улыбнулся и вдругъ, вмѣсто отвѣта, протянулъ свою толстую, сильную руку и сталъ щупать его мускулы.

— Что вы?—вспыхнулъ Андрей, не ожидавшій ничего подобнаго, — что вы? Вѣдь, я не скотина, я человѣкъ!...

Но агентъ уже не слушалъ. Сдвинувъ его съ пути своимъ дюжимъ плечомъ, онъ подходилъ къ другому.

— Мнѣ нуженъ не человѣкъ, а его мускулы!—отвѣтилъ онъ сквозь зубы, грубо и насмѣшливо улыбаясь.

ГЛАВА IV.

Если бы мы, читатель, обратились непосредственно къ Андрею съ вопросомъ: каково пришлось ему въ первое время на новомъ мѣстѣ, что онъ думалъ, чѣмъ жилъ, нашелъ ли то, чего искалъ, на что надѣялся, — онъ былъ бы, навѣрное, поставленъ этимъ вопросомъ въ большое затрудненіе. „Работалъ и голодалъ!“ — вотъ все, что онъ сказалъ бы намъ и что могъ бы сказать о первыхъ мѣсяцахъ жизни, когда тяжелая нужда, незнакомство съ условіями новой жизни и языкомъ страны, неумѣнье работать, полная изолированность и отсутствіе какой бы то ни было поддержки поставили его волею-неволею въ необходимость напрягать всѣ силы, всѣ помыслы только на добываніе куска хлѣба, на борьбу съ голодною смертью. Эта борьба поглощала всего человѣка, не оставляя мѣста ни для чего другаго, — поглощала до того, что въ немъ засыпалъ живой, сознающій, анализирующій, наблюдающій человѣкъ съ задачами, цѣлями, міросозерцаніемъ. Онъ сталъ тою идеальною живою машиною, работающею, устающею, голодающею — и только, о которой такъ вздыхаютъ всѣ фабриканты и заводчики міра. Кругомъ кипѣла самая широкая, шумная, энергическая жизнь, полная новыхъ формъ и явленій, любопытныхъ и свѣтлыхъ, о которыхъ давно мечтаетъ европеецъ, — условія труда, борьбы за хлѣбъ приводили въ восторгъ эмигрировавшихъ рабочихъ, а Андрей ничего не замѣчалъ, ни на что не обращалъ вниманія,

точно не понималъ, не видѣлъ. Онъ ничѣмъ не интересовался, точно забылъ себя, забылъ все то, что привело его сюда. Для всего этого у него не было времени, онъ только работалъ, только отстаивалъ свое право на жизнь.

Все пережитое за это время слилось для него въ одно общее впечатлѣніе „каторги“, и въ немъ тонули, какъ тонутъ въ морѣ дождевыя капли, всѣ отдѣльныя встрѣчи, впечатлѣнія, эпизоды; одно только стоитъ предъ нимъ, одно помнить онъ хорошо, цѣльно, что все это время ему приходилось страшно тяжело—не нравственно, не духовно, а чисто-физически. Онъ отлично помнить, что духовною жизнью онъ не жилъ. Онъ не думалъ, не анализировалъ, не представлялъ, не присматривался, не изучалъ,—онъ только работалъ, какъ волъ, какъ лошадь, машинально, почти безсознательно. Онъ зналъ и помнилъ только одно, что для крова и хлѣба нужно выработать не менѣе 4-хъ долларовъ въ недѣлю; жилъ только страхомъ, что ему откажутъ въ работѣ. „Мускулы, а не человѣкъ!“—стояло у него вѣчно въ ушахъ, не давая мѣста ничему другому, и онъ жилъ почти одними мускулами.

Никакая человѣческая сила не выдержала бы добровольно подобной борьбы „за хлѣбъ“ неприспособленнаго, непривычнаго, умственно развитаго человѣка, самая сильная энергія могла не устоять и сломиться, не явись на помощь безвыходность, замѣнявшая и силу, и энергію, сама толкавшая человѣка, и не будь человѣкъ одаренъ способностью „втягиваться“. Будь у него средства до-

браться, Андрей, можетъ быть, поборошь бы самолюбіе и вернулся, но средствъ у него не было; отступить— значило умереть, а кто же въ его годы, съ его вѣрой въ себя, энергіей, самолюбіемъ, волей, сдѣлаеть такой выборъ?

И онъ методически, неустанно тянулъ свое ярмо, просыпаясь утромъ затѣмъ, чтобы къ вечеру растянуться неподвижно, еле дыша отъ усталости и боли во всѣхъ членахъ, ни о чемъ не думая, не гадая, весь охваченный одною потребностью сна и отдыха. И это только въ лучшемъ случаѣ, потому что бывало и хуже, когда не было ни работы, ни денегъ, а, значить, и хлѣба. Часто, въ особенности въ первое время, обливаясь потомъ, напрягая до боли всѣ силы надъ только что найденною работою, онъ слышалъ роковое: „Идите! Вы неспособны, вы задерживаете другихъ!“—и тогда голодный, истощенный, еле держась на ногахъ, онъ шнырялъ взадъ и впередъ, вновь выискивая, выпрашивая работу, съ которой, можетъ быть, завтра его такъ же прогонять. Иногда, въ такіа минуты, послѣ безплодныхъ поисковъ, имъ овладѣвала страшная, безотчетная злоба на всѣхъ и себя. Измученные нервы болѣзненно просыпались... Чувство какой-то тяжелой и больной обиды мучило, не давало покоя... Хотѣлось крикнуть, сказать, вылить все накопившееся, все больное таеъ, чтобы всѣ услышали, остановились... Но развѣ, услышавъ, поняли бы его? Развѣ не простая онъ мускульная единица для всѣхъ здѣсь, какъ любой землекопъ-ирландецъ? Кто ему повѣритъ, кто его здѣсь знаетъ? „Какое намъ до тебя дѣло? Помогай самъ

себѣ! Кто звалъ тебя сюда? А назвался—не пеняй!... Ты чужой, совсѣмъ чужой намъ!" — казалось, говорило все вокругъ Андрею и одна надежда, что все это только „пока“, спасала его отъ отчаянія.

Въ такомъ положеніи разъ, онъ помнить, онъ чуть не укралъ булку. Это было въ многолюдномъ, богатомъ Чикаго, гдѣ онъ тщетно искалъ работы. Два дня у него не было во рту и корки и голодъ страшно его мучилъ. Къ тому же, его била лихорадка,—онъ двѣ недѣли сряду ночевалъ въ паркѣ, на сырой землѣ, подъ открытымъ небомъ. Какъ онъ очутился на набережной, онъ не помнить... у него кружилась голова отъ голода, болѣзни или вида тѣхъ сотенъ тысячъ вулей хлѣба, что, окрашенные лучами заходившаго солнца, нагружались тутъ же на баржи, баржи, пароходы... И вдругъ: „Булки, свѣжія, теплыя, мягкія булки!... Купите, купите!“—кричалъ мальчикъ, босой, блѣдный, таща лотокъ. Андрею стало жаль мальчика...

На бѣду, онъ попалъ въ штаты осенью, въ самое тяжелое для рабочаго люда время, когда окончаніе полевыхъ работъ наводняетъ города массой голоднаго, ищущаго работы люда. Волей - неволей пришлось ему толкаться въ городахъ, вести конкуренцію съ настоящими здоровыми и сильными работниками при сравнительно маломъ спросѣ на руки. Положеніе дѣйствительно было отчаянно-плохо. Лѣтомъ, на фермахъ, когда руки цѣнятся на вѣсъ золота, ему было бы легче, но теперь приходилось до крайности жутко. „Какой вы рабочій?“—насмѣшливо встрѣчали его хозяева, подозрительно огля-

дывая его бѣлыя, слабыя руки, изъ-за которыхъ имъ чудился бѣжавшій изъ европейской тюрьмы мошенникъ, и съ тою же подозрительностью встрѣчали его и товарищи рабочіе. „Какой онъ рабочій? Онъ—бѣлоручка... ничего не умѣетъ... Попался, видно, дома на чемъ, ну, и бѣжалъ сюда отъ тюрьмы!“—говорили кругомъ; а Андрей еслибъ и могъ и умѣлъ объяснить говорившимъ, то, навѣрное, не сдѣлалъ бы этого. Ему не повѣрили бы и обдали бы хохотомъ. Статочное ли дѣло мѣнять богатое, обеспеченное положеніе на такую каторгу и, притомъ, добровольно? Ъдетъ ли кто-нибудь сюда не отъ бѣды, не за лучшимъ кускомъ, не за лишнимъ долларомъ? Онъ или лгунъ, или сумасшедшій,—сказали бы ему; это навѣрное знали Андрей.

Несмотря на все, Андрей не отчаивался, не терялъ ни вѣры въ себя, ни энергій. Искать работы, голодать, когда ея не было, рыть песокъ, громоздить уголь, бить камень, мѣсилъ кирпичъ,—словомъ, дѣлалъ все, что ни выпадало, что ни давали. Мало-по-малу онъ втянулся, приобрѣлъ кое-какую сноровку, небольшой навыкъ и, что было для него чуть ли не самымъ важнымъ, „набилъ ухо“, какъ говорится,—сталъ понемногу различать и понимать разговорную рѣчь, отдѣльные звуки которой сливались для него въ одинъ безконечный свистъ и шумъ сначала. Такимъ образомъ, въ серединѣ короткой зимы положеніе его немного улучшилось, стало легче находить работу, голодать и мыкаться приходилось меньше, а работа не такъ утомляла уже и не требовала сверхъестественнаго напряженія, поглощавшаго всего человѣка

оставляла мѣсто для ума, души, наблюденій, — для духовной жизни. Андрей сталъ оживать, въ немъ сталъ просыпаться мыслящій, анализирующій, живой человекъ, охваченный доселѣ точно летаргіей, какимъ-то соннымъ, безсознательнымъ прозябаніемъ. Оглянувшись впервые назадъ, онъ съ удивленіемъ и почти съ ужасомъ убѣдился, что жилъ до сихъ поръ только инстинктомъ, — какимъ-то неяснымъ, смутнымъ инстинктомъ жизни и самосохраненія, какъ вошь, какъ улитка, безъ смысла и цѣли. Думалъ онъ? Наблюдалъ? Дѣлалъ выводы, анализировалъ? — спрашивалъ онъ самъ себя и на все отвѣчалъ только: нѣтъ! Ничего такого онъ не помнить. Если и было, то незамѣтно, мимоходомъ. Что же онъ дѣлалъ? Приспособлялся, шляясь изъ города въ городъ! — улыбнулся онъ себѣ въ отвѣтъ, — улыбнулся тою хорошею, счастливою улыбкой, какою улыбается воскресшій послѣ тяжелой болѣзни больной, когда ему рассказываютъ, какъ онъ мучился въ жару и бредилъ.

Но по мѣрѣ того, какъ онъ выходилъ изъ такого грубаго, животнаго состоянія, по мѣрѣ того, какъ мускульная жизнь уступала въ немъ мѣсто духовной, нервной, сознательно-человѣческой, имъ начинало овладѣвать что-то вродѣ скуки, чувство какой-то пустоты и неудовлетворенности. Не было съ кѣмъ дѣлиться впечатлѣніями, говорить, не было никого, кто бы его понялъ, оцѣнилъ, призналъ то, что требовало признанія, проявилъ бы хотя малѣйшій интересъ къ нему, какъ къ человѣку, а не мускульной машинѣ, товарищу за работой, обѣдомъ или по койкѣ. Какъ чернорабочему, Андрею приходилось всегда

стоять за самымъ грубымъ, тяжелымъ трудомъ, вертѣться, такимъ образомъ, въ самомъ низшемъ, самомъ грубомъ кругу эмиграціи рабочаго люда, вѣчно враждовавшихъ другъ съ другомъ ирландцевъ и сѣверныхъ нѣмцевъ, составлявшихъ свои особы, тѣсно замѣнутые кружки. Зная нѣмецкій языкъ, онъ могъ бы сблизиться съ нѣмцами, войти въ ихъ кругъ, но ему претила отличавшая ихъ грубость, ихъ какое-то холодное нахальство, циническій эгоизмъ, наглое самодовольство, кулачество и подхалюзничество, лакейство, о которомъ онъ читалъ еще у Берне. Къ тому же, нѣмцы, какъ и ирландцы, несмотря на симпатичныя ему стороны тѣхъ, не могли бы предложить ему ничего другаго, кромѣ общихъ попоекъ, картежной игры и т. п., а ему совсѣмъ не этого хотѣлось.

Отъ этой ли тоски, отъ желанія ли съ кѣмъ подѣлиться мыслями, поговорить, онъ разъ какъ-то, совсѣмъ нечаянно, вспомнилъ о своемъ письмѣ къ Галѣ. Вѣдь, она могла же отвѣтить, письмо давно лежитъ, вѣроятно! — пронеслось въ головѣ и наполнило его чѣмъ-то мягкимъ и теплымъ. Ему вдругъ страстно захотѣлось получить это письмо, прочитать сейчасъ же, какъ можно скорѣе. Что-то тамъ дѣлается, что-то она напишетъ ему? Отчего это онъ ни разу до сихъ поръ не вспомнилъ, не подумалъ объ этомъ?—спрашивалъ и точно укорялъ онъ себя. Адресъ свой онъ далъ Галѣ на Castle-Garden, куда обыкновенно адресуются всѣ письма эмигрантамъ въ первое время ихъ пребыванія въ штатахъ, и теперь ему приходилось ждать, пока онъ напишетъ туда, пока тамъ отыщутъ его письмо, если оно тамъ есть, и перешлютъ

ему по его новому адресу. Ждать приходилось долго,—вѣдь, онъ былъ уже въ громадномъ С.-Луи, въ этомъ многотысячномъ, богатомъ „сердцѣ штатовъ“, столицѣ Запада.

Письма онъ дождался, но не въ С.-Луи уже. Работа, исканіе ея погнало его еще дальше на западъ. Снѣжные наносы завалили желѣзную дорогу,—понадобилось много рабочихъ рукъ; компаніи предлагали хорошую плату — по 3 доллара въ день съ харчами и Андрей укатилъ съ первымъ рабочимъ транспортомъ. Въ снѣжномъ, пустынномъ полѣ, на сильномъ холодномъ вѣтрѣ, весь обливаясь потомъ, изнемогая отъ усталости, онъ рылъ лопатой глубокой снѣгъ. Скука въ особенности его донимала. „Хоть бы швабъ былъ тутъ!“ — вспомнилъ онъ своего пароходнаго компаньона, глядя на чуждые все лица, преимущественно ирландцевъ, тщетно вслушиваясь въ ихъ неумолкавшій, оживленный, непонятный разговоръ. И вдругъ онъ слышитъ свое имя, кто-то, громко крича, зоветъ его... Кто бы это? — Я! — отвѣчалъ онъ на зовъ, выдвигаясь впередъ, и, въ то же время, видитъ въ рукѣ спрашивающаго что-то бѣлое и слышитъ: „Письмо!—съ послѣднимъ транспортомъ!—Письмо!“

Какъ страшно дрожать его руки, пока онъ рветъ конвертъ, какъ бьется его сердце!... Онъ не можетъ читать, у него захватываетъ духъ, кружится голова, сливаются строки... Сосѣдъ ирландецъ глядитъ на него съ такимъ неподдѣльнымъ участіемъ,—вѣдь, онъ самъ такъ трепещетъ, когда получаетъ вѣсточку съ дорогаго „зеленаго Эрина“, — онъ это отлично понимаетъ. Но что же это?

„Я давно рѣшилъ, что ты гениальная натура!—читаетъ Андрей строки Сергѣя Павловича, — и самъ тоже...“ А Галя? — спрашиваетъ онъ самъ себя, прерывая чтеніе, пораженный, удивленный, разочарованный,—такъ это не Галя, нѣтъ? — шепчутъ его побѣлѣвшія губы, а глаза ищутъ и находятъ только сравненія съ орломъ въ поднебесьи, восклицанія по поводу того, какъ ему-де теперь „легко и чудно дышется“, сожалѣній о томъ, что „жена и дѣти мѣшаютъ“ ему, Сергѣю Павловичу, отправиться въ штаты тоже, что было всегда „мечтой его юности“, и т. д., все въ томъ же родѣ.

Писалъ одинъ Сергѣй Павловичъ. Андрей съ досадой швырнулъ письмo,—тамъ не было ничего, кромѣ приведенныхъ восклицаній. „Посмотрѣлъ бы я на тебя здѣсь съ твоимъ брюшкомъ, какимъ бы ты орломъ выглядѣлъ!“ — прошипѣлъ онъ съ досадой. Ему было и досадно, и больно. Отчего Галя не отвѣтила?—неотступно мучило его,—вѣдь, вотъ, написалъ же тотъ! И отчего не написалъ онъ, чтò она дѣлаетъ, чтò думаетъ, чтò говорила, когда читала ему письмо? Ахъ, Сергѣй Павловичъ, неисправимый Сергѣй Павловичъ!—вздохнулъ Андрей, снова пробѣгая письмо.

Но тутъ мысли его приняли другой оборотъ. Онъ сталъ удивляться, съ какой стати ожидалъ письма Гали. Вѣдь, для Гали онъ совсѣмъ, совсѣмъ посторонній и она, навѣрное, даже забыла о немъ. Зачѣмъ писалъ онъ ей, чего ждалъ онъ и что она можетъ ему отвѣтить, кромѣ формальныхъ, ненужныхъ пожеланій?... Эхъ!—почти крикнулъ онъ съ досадой и, закалявшись впередъ писать до-

мой кому бы то ни было изъ старыхъ друзей и ждать отвѣта, приналежъ съ какимъ-то ожесточеніемъ на лопату.

ГЛАВА V.

До весны, до начала полевыхъ работъ, оставалось съ небольшимъ два мѣсяца и Андрей начиналъ уже чувствовать себя побѣдителемъ, какъ на бѣду его въ странѣ разразился „банковъ кризисъ“. Сначала лопнулъ одинъ банкъ въ Нью-Йоркѣ, тамъ другой въ Чикаго, третій за нимъ въ С.-Луи, а тамъ и пошло одинъ за другимъ. Банки лопались, какъ слишкомъ раздутые мыльные пузыри, а вслѣдъ за ними закрывались фабрики, приостанавливались заводы, наступила неслыханная безработица и дороговизна на все. Цѣлыя сотни тысячъ людей разорились въ пухъ, потерявъ всѣ свои сбереженія въ банкахъ, а еще большее, неисчислимо-большее число тысячъ было обречено на голодъ, осталось безъ всякихъ средствъ къ существованію съ приостановкой работъ. Страной овладѣла паника, вездѣ слышался громкій ропотъ, собирались грозные митинги, произносились грозныя рѣчи, а кое-гдѣ доходило даже до вооруженнаго столкновенія съ милиціей голодныхъ рабочихъ массъ, требовавшихъ государственнаго вмѣшательства въ общее положеніе дѣлъ и открытія такимъ путемъ фабрикъ и заводовъ. Безчисленные благотворительныя учрежденія Союза широко открыли свои дѣйствія, вездѣ учреждались даровыя кухни и столовыя, пекарни; но что могла подѣлать миска пло-

хаго супа среди цѣлаго моря нищеты и голода? Къ тому же, нищета была горда, возмущалась необходимостью прибѣгать къ благотворительности и громко заявляла о своихъ сильныхъ рукахъ, о правѣ на трудъ и о многомъ другомъ, чего никакъ не хотѣли понять тѣ, что проповѣдывали „свободу промышленности“ и „невмѣшательство“, находя, что „все идетъ какъ нельзя лучше“, что случившійся „кризисъ“ въ порядкѣ вещей, впослѣ естественъ и законенъ въ общемъ ходѣ индустріи и что нужно только „потерпѣть немножко“.

Андрей быстро проѣлъ свое сбереженіе, скопленное при очисткѣ желѣзно-дорожнаго пути, и голодалъ теперь, какъ и всѣ, даже самые искусные и ловкіе рабочіе. Ему невыносимою казалась мысль обращаться къ благотворительности, и онъ рѣшился выносить голодъ, пока станетъ силъ, пока будутъ носить ноги. Тщетно шлялся онъ по безконечнымъ улицамъ С.-Луи, заглядывалъ въ каждый дворъ, ища какой бы то ни было работы, хотя бы за одинъ хлѣбъ, — работы не было. Цѣлую недѣлю кормился онъ разными выбросками сорныхъ кучъ: гнилымъ картофелемъ, корками дынь, арбузовъ и т. под. мерзостью, крѣпился какъ могъ, но, отоцавъ въ конецъ, махнулъ рукой и побрелъ къ ближайшей даровой столовой какого-то благотворительнаго общества.

Страшно поразила его встрѣченная имъ тамъ картина. Десятки дѣтей, женщинъ, стариковъ и молодыхъ, блѣдныхъ, истощенныхъ, безъ кровинки, похожихъ скорѣе на скелеты, только живые и обтянутые кожей, чѣмъ на людей, наполняли залы столовой, страстно ожидая сво-

ей очереди; жадными взорами провожали они каждый глотокъ, каждую ложку добравшихся уже до супа дру-гихъ, вѣвшихъ скелетовъ и на блѣдныхъ лицахъ ихъ отражалась какая-то бѣшеная, жестокая злоба нетерпѣнія. Красивыя, нарядныя лэди-распорядительницы шныряли взадъ и впередъ, отбирая номера, указывая очередь и своимъ здоровымъ, изящнымъ видомъ еще больше усугубляли, какъ бы подчеркивали общее ужасное впечатлѣніе контраста нищеты и горя. Въ углу залы методистскій пасторъ говорилъ проповѣдь на тему „любви и терпѣнія“, и его глухой, надтреснутый голосъ звучалъ какъ-то особенно странно и дико среди немолчного лязга и звяканья ложекъ. Все вмѣстѣ говорило, казалось, о какой-то ужасной тризнѣ, печальныхъ и мрачныхъ могильныхъ поминкахъ во вкусѣ Эдгара Поэ. У Андрея морозъ пробѣжалъ по спинѣ и голова закружилась.

— Вы за даровымъ супомъ? — обратилась къ нему одна изъ распорядительницъ, молодая бѣлокурая миссъ.

— Да!—чуть слышно выговорилъ Андрей.

Онъ вдругъ почему-то почувствовалъ себя и здоровымъ, и даже не голоднымъ среди всѣхъ этихъ несчастныхъ, и чувство какого-то жгучаго стыда и больной невыразимой обиды за то, что онъ здѣсь, за даровою чашкой супа, душило его, окрасило румянцемъ его блѣдныя щеки, а глаза затуманило слезами.

— Вашъ номеръ?—продолжала миссъ.

— У меня нѣтъ номера!—отвѣтилъ онъ глухо.

— Вы въ первый разъ?

— Да!

— Подождите минутку,—сказала она, поворачиваясь уходить,—я вамъ принесу и номеръ, и супъ...

— Пойдите! А свидѣтельство о бѣдности, гдѣ оно?— гнѣвно перебила ее суровая, немолодая дама, наступая на Андрея и измѣряя его недоувѣрчивымъ взглядомъ. — Гдѣ у васъ свидѣтельство о бѣдности?

— Какое свидѣтельство?—спросилъ Андрей, дрожа и все больше краснѣя.

— Отъ прихода или попечительнаго совѣта...

— Я не бралъ свидѣтельства! — выговорилъ онъ уже совсѣмъ съ трудомъ.

— Не брали?—дама сурово измѣрила его съ ногъ до головы и прямо, уставивъ ему въ лицо недоувѣрчивые, холодные глаза, произнесла важно и торжественно: — Стыдитесь, сударь! Лѣньность — мать пороковъ!... Вы не хотите работать и набрасываетесь на даровое... Стыдитесь! Вонъ послушайте слова пастора!—и она метнула рукой въ уголъ.

У Андрея подкосились ноги, застучало въ вискахъ... Что-то сдавило ему грудь, поднимаясь все выше и выше къ глазамъ... Губы его силились что-то отвѣтить, но только нервно дрожали, точно скованные... Гдѣ выходъ,—двери, окна? — онъ ничего не видитъ.

— Возьмите супъ! — раздался надъ его ухомъ голосъ молодой распорядительницы.— Ахъ, мадамъ,—обратилась она съ укоромъ къ старшей товаркѣ, — вы опять обидѣли правоученіями... Такъ, вѣдь, нельзя, мадамъ!

Андрей пришелъ въ себя; жестомъ, полнымъ отвраще-

нiя, оттолкнулъ онъ протянутую ему миску и направился къ двери.

— А супъ, сэръ, супъ!—кричала ему вслѣдъ сконфуженная добрая дѣвушка.

— Не надо!—обернулся Андрей и вышелъ.

— А что, видите? — донесся до него голосъ старей лэди. — Вы говорите: нельзя такъ! Какъ нельзя? Вѣдь, вотъ же я пробудила совѣсть въ этомъ лѣнтѣй и... отлично!

Онъ пошелъ, самъ не зная зачѣмъ и куда, полный горькаго, тяжелаго чувства, большой обиды, потрясенный, озлобленный до слезъ, до какаго-то тупаго бѣшенства на все и себя, отъ котораго онъ задыхался. Такъ пошелъ онъ нѣсколько улицъ, пока не наткнулся на чугунную рѣшетку набережной, преградившую ему дорогу. Что было дѣлать? Очевидно, хлопотать о свидѣтельствѣ о бѣдности или... Но нѣтъ! Къ чорту свидѣтельство!... Ненужно ему такой благотворительности, да и ниважной... Богъ съ ней, ненужно!... Въ воду? Тоже нѣтъ,—зачѣмъ? Онъ будетъ тянуть, пока не свалится съ ногъ,—ну, а тамъ пусть везутъ въ больницу или дѣлаютъ что хотятъ, — ему все равно! И, стиснувъ зубы, онъ судорожно сжалъ перила рѣшетки.

— Сэръ!—и кто-то хлопнулъ его по плечу сзади.

Онъ обернулся. Передъ нимъ стоялъ тошій, высокій, типичный янки и, точно зондируя его своимъ строгимъ, холоднымъ взглядомъ, протягивалъ ему маленькую брошюру, на заглавномъ листѣ которой стояло крупными буквами:

„Новѣйшее, истиннѣйшее библейское общество, построенное на самыхъ настоящихъ библейско-христіаннѣйшихъ истинахъ“, а немного ниже: „Долой еретиковъ методистовъ!“

Андрей понялъ, что предъ нимъ миссіонеръ какой-нибудь вновь возникшей секты, растущихъ въ штатахъ какъ грибы. Зло разобрало его еще сильнѣе и онъ положительно чувствовалъ, что дрожить отъ злобы, какъ только раскрывъ ротъ.

— Христіаннѣйшій мистеръ!—сказалъ онъ, нехорошо улыбаясь, — вы бы, право, лучше сдѣлали, предложивъ мнѣ работу и хлѣбъ сначала, а потомъ уже это...

Янки передернуло и отъ словъ, и отъ ихъ тона, и отъ улыбки. Они вообще не любятъ насмѣшекъ и смѣшнаго положенія. Сѣрые, холодные, безстрастные глаза его вдругъ вспыхнули огнемъ.

— Не единымъ хлѣбомъ живетъ человѣкъ,—знаете ли вы это, сэръ?—спросилъ онъ, пристально всматриваясь въ Андрея.

— Знаю! — такъ же насмѣшливо продолжалъ тотъ,—но не знаете ли, какъ можно прожить безъ хлѣба?... Если знаете и можно, — о, я сейчасъ же пристану къ вамъ, сейчасъ же...

Янки засунулъ руки въ карманы, потоптался на мѣстѣ, посвисталъ и, поднявъ глаза на Андрея, спросилъ, точно въ раздумьи:

— Такъ у васъ нѣтъ работы, а?

— Нѣтъ!

— Да,—поморщился онъ,—плохо: въ странѣ кризисъ,

всѣмъ жутко! Что же дѣлать, сэръ? Нечего дѣлать... Но вы можете обратиться въ благотворительности...

— Обращался, — отказали. У меня нѣтъ свидѣтельства...

— Какого свидѣтельства?

— Свидѣтельства о бѣдности! — и Андрей разсказалъ сцену въ столовой.

— Это отвратительно! — возмущился янки. — Вамъ бы слѣдовало силой взять свое, васъ бы, навѣрное, оправдали... Вѣдь, даровая столовая существуетъ для голодныхъ... Впрочемъ, позвольте, сэръ, позвольте, — схватилъ онъ его въ страстномъ волненіи за рукавъ, — позвольте, — не методисты ли они?

— Этого я не знаю.

— Скажите номеръ дома и улицу, сэръ! Только номеръ и улицу, — наступалъ онъ почти въ изступленіи на Андрея, тряся его за рукавъ, — а?

Андрей сказалъ.

— Они, они! — закричалъ тотъ не своимъ голосомъ, — они, методисты!... Я такъ и зналъ, сэръ!... О, мы имъ не спустимъ, нѣтъ! Какой прекрасный случай!... Это промыслъ Божій надъ нами. О, мы обличимъ ихъ лицемѣріе, непременно! — и янки хохоталъ отъ восторга и трясъ изо всей силы неповинный рукавъ Андрея.

— Зовутъ меня Самуэль Уиндоу, сэръ! А васъ? — спросилъ онъ, немного успокоившись.

Андрей назвалъ себя на американскій ладъ, какъ американцы переверкали его имя.

— Ваша національность? — продолжалъ допросъ ми-

стеръ Самуэль, подготовляя уже въ умѣ громовое обличеніе методистовъ.

Русскій.

Тотъ отступилъ въ удивленіи.

— Русскій, а?... Я первый разъ вижу русскаго!—шепталъ онъ, разсматривая Андрея. — А ваша специальность?

— Дома—учитель, здѣсь—чернорабочій...

— А-а!—процѣдилъ какъ-то съвозъ зубы мистеръ Самуэль. — А-а!... Милости просимъ ко мнѣ!—и, схвативъ за рукавъ Андрея, онъ потащилъ его за собой.

Пока они шли, янки что-то раздумывалъ, посвистывая, и вдругъ спросилъ:

— Вы ищете работы... гм... Не умѣете ли вы драться, сэръ?

— Что?—переспросилъ Андрей, думая, что онъ ослышался.

— Драться, боксировать... Вотъ такъ!—и мистеръ Самуэль показалъ приемы бокса.

— Нѣтъ, совсѣмъ не умѣю!—отвѣтилъ Андрей, недоумѣвая.

— Жаль, — отвѣтилъ мистеръ Самуэль, — жаль... Въ моей профессіи проповѣдника иногда очень нуженъ бываетъ такой человѣкъ. Методистская чернь очень груба, сэръ, дѣлаетъ подчасъ большія непріятности... Намедни бочку изъ-подъ ногъ вытащили, провлятые... Жаль... Мнѣ нуженъ такой человѣкъ...

— Я совсѣмъ не гожусь для этого,—немного обидчиво отвѣтилъ Андрей,—совсѣмъ не гожусь...

— Жаль... Ну, да мы, можетъ быть, подыщемъ вамъ что-нибудь.

Эти слова приободрили Андрея. Онъ понялъ, что за него теперь уцѣпится вся новая секта, чтобы такимъ образомъ насолить противникамъ, и сдѣлать для него то, чего бы не сдѣлала, умирай онъ на ихъ глазахъ отъ голода. Онъ являлся для нихъ средствомъ показать всѣмъ свое великодушіе и гуманность и, вмѣстѣ съ тѣмъ, унижить методистовъ. Правду сказать, все это ему крайне претило, казалось даже омерзительнымъ, но это было самое лучшее въ его положеніи, а онъ уже научился цѣнить „лучшій выходъ“ и примирался съ некрасивыми подчасъ частностями его.

Андрею дѣйствительно дали работу. Мистеръ Самуэль распорядился по приходѣ домой, прежде всего, накормить его, а затѣмъ сталъ совѣщаться съ пятью главными членами секты, которыхъ пригласилъ по телеграфу. Всѣ они были въ восторгѣ отъ подвернувшагося случая и постановили единогласно написать громовое обличеніе методистовъ, а Андрея нанять для „свидѣтельствованія истины“.

— Согласны вы, сэръ, свидѣтельствовать истину? — торжественно спросилъ его старикъ Бромфи, бывшій пресвитеріанскій пасторъ, а нынѣ глава этой секты.

— То-есть... что такое? Что долженъ я дѣлать? — спросилъ онъ.

— Мы не желаемъ насиловать вашей совѣсти... Мы просто предлагаемъ вамъ работу, легкую и приличную, — отвѣтилъ мистеръ Бромфи. — Вы будете только, оставаясь

при своихъ убѣжденіяхъ, разносить по городу наши воззванія и брошюры... Согласны?

— Да!...

— Вы получите за это полдоллара въ день; при настоящемъ положеніи дѣлъ, сэръ, это громадная плата, а уважаемый и достопочтенный Самуэль Уиндоу дастъ вамъ обѣдъ и кровъ, въ тому же... Вы можете поселиться здѣсь сейчасъ же... Гдѣ ваши вещи?

— У меня нѣтъ никакихъ вещей уже! — отвѣтилъ Андрей.

— А!... Мистеръ Бромфи покачалъ головой съ сожалѣніемъ. — Но не отчаивайтесь, сэръ, — спохватился онъ, — не печальтесь, — „ничего“; это самый удобный багажъ по дорогѣ въ царствіе Божіе!

Цѣлую недѣлю проходилъ Андрей по улицамъ С.-Луи, „свидѣтельствуя истину“, весь обвѣшанный съ ногъ до головы, какъ „человѣкъ - объявленіе“, разными душеспасительными текстами, воззваніями въ „душевному исцѣленію“ и брошюрами, спасавшими отъ „ада“, и цѣлую недѣлю служилъ предметомъ ярой полемики газетъ двухъ разныхъ сектъ. Методисты сыпали въ него бранью, обзывали лѣнтяемъ, увѣряли, что въ даровую столовую онъ пришелъ не голодный, а ища только скандала, по назначенію „новыхъ еретиковъ“, а „еретики“, — новая секта, — плакались надъ „несчастливымъ“, которому „жестокосердые“ методисты, забывъ притчу о самарянинѣ, „поднесли камень, вмѣсто хлѣба“, и который, навѣрное, умеръ бы съ голода, не спаси его они. Цѣлую недѣлю господа Уиндоу и Бромфи потирали отъ удовольствія руки и то

и дѣло говорили Андрею: „Дѣла идутъ отлично; вы хорошо зарабатываете свои полдоллара въ день“,—и секта росла. Но черезъ недѣлю подоспѣли новыя событія: газеты стали браниться уже изъ-за нихъ, Андрей былъ забытъ и „отцы“ секты рѣшили, что „свидѣтельствовать истину“ ему довольно.

— Вы получите новое назначеніе, — сказалъ ему мистеръ Бромфи. Оба, и мистеръ Уиндоу, и Бромфи, были лѣсоторговцы. Они предложили Андрею работу въ лѣсныхъ складахъ за городомъ по рѣкѣ Миссури, вплоть до весны, за тѣ же полдоллара въ день. Это была четверть настоящей цѣны, но Андрей съ радостью согласился на все, хотя „отцы“ поставили ему, въ тому же, очень тяжелыя условія. Все-таки, это была „настоящая работа“, а не шатанье вывѣской по улицамъ, съ которымъ онъ примирялся только потому, что оно было, все-таки, лучше милостыни и голодной смерти.

ГЛАВА VI.

Прошелъ годъ и Андрея трудно было узнать. Онъ точно выросъ, возмужалъ, окрѣпъ; въ каждомъ его движеніи сказывалась сила и ловкость, не было уже въ его фигурѣ неувѣренности, нерѣшительности, какого-то недоумѣнія, что сквозитъ обыкновенно въ каждомъ движеніи эмигранта. Съ виду онъ совсѣмъ походилъ на окружавшихъ его поджарыхъ, стойкихъ, самоувѣренныхъ янки и только акцентъ да нѣкоторое затрудненіе въ рѣ-

чи выдавали въ немъ европейца. Положеніе его значительно улучшилось, онъ чувствовалъ себя даже обеспеченнымъ, у него водились уже свободныя деньги, благодаря его умѣренности и экономности во всемъ, такъ что къ зимѣ онъ разсчитывалъ бросить работу и специально заняться изученіемъ языка въ одной изъ нормальныхъ школъ. Вообще тяжелые дни съ перспективой голодной смерти миновали для него безвозвратно, такъ какъ приобрѣтенная сноровка и ловкость въ работѣ, ознакомленіе со страной и условіями жизни обеспечивали ему всегда работу. Еще немного усилій, лучшее знакомство съ языкомъ, и онъ имѣлъ бы полную возможность бросить мускульный трудъ и приняться за другія, болѣе подходящія и сродныя ему, болѣе легкія и лучше оплачиваемыя „интеллигентныя“ занятія,—хотя бы учительство,—для чего онъ собственно и хотѣлъ заняться зимой языкомъ. Два раза уже его съ радостью принимали „всерьезъ“ въ торговыхъ конторахъ и только страсть къ шатанью, неусидчивость на мѣстѣ заставляла его оба раза бросать эту сравнительно выгодную работу.

Страсть къ шатанью развилась въ немъ почти въ потребность. Онъ никакъ не могъ усидѣть на мѣстѣ; забирался на далекій западъ, въ самую глушь еще только зарождающейся жизни, оттуда бѣжалъ на востокъ, съ востока на сѣверъ, сгорая нетерпѣніемъ все видѣть, все узнать, со всѣмъ ознакомиться. Но была тому и еще одна причина, и чуть ли не главная, въ которой онъ, однако, не признавался теперь и даже намекъ на нее встрѣчалъ и гналъ съ неудовольствіемъ.

Съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ онъ только, такъ сказать, отдышался отъ ужасной невзгоды первыхъ дней, какъ только сталъ думать, анализировать, понимать живую рѣчь и присматриваться къ жизни, по мѣрѣ того, какъ онъ все тверже и тверже стоялъ на ногахъ, чувствовалъ себя обезпеченнѣе,—онъ все больше и больше чувствовалъ какую-то пустоту вокругъ, неудовлетворенность, тоску и отчужденіе. Какъ онъ ни старался, какъ, казалось, ни вникалъ душой и сердцемъ въ окружающія явленія, онъ чувствовалъ себя, все-таки, чуждымъ имъ, точно что-то лежало между нимъ и жизнью. Она не захватывала его всецѣло, съ душой и сердцемъ и со всѣми фибрами его „я“,—а этого ему было нужно,—какъ захватывала другихъ и, странное дѣло, онъ никогда не могъ ориентироваться быстро при малѣйшемъ фактѣ, не могъ такъ быстро соображать послѣдствій и дѣлать выводы, какъ другіе, не могъ, не чувствовалъ въ себѣ силъ, а подъ собою почвы—являться съ инициативой, и, вѣроятно, потому не могъ съ такимъ апломбомъ, такъ твердо, такъ увѣренно, съ такимъ равнодушіемъ къ чужимъ взглядамъ выступать съ своимъ мнѣніемъ, какъ дѣлали это всѣ, даже глупые до смѣшнаго люди. Самый заурядный смертный чувствовалъ себя въ такихъ случаяхъ сильнѣе, тверже, независимѣе, свободнѣе выступалъ съ своею ролью, чѣмъ Андрей, въ душѣ котораго вѣчно стояла какая-то неувѣренность, не то нерѣшительность, не то робость.

— Точно я въ чужой гостиной!—сердился онъ про себя, недоумѣвая и волнуясь, а что-то глубокое, затаен-

ное, что-то такое, что онъ ежечасно, ежеминутно подавлялъ въ себѣ со злобой, безжалостно гналъ прочь, точно шептало ему, точно вторило: „чужой, чужой, чужой!“

Вотъ отчего бѣгалъ онъ съ мѣста на мѣсто, съ востока на западъ, съ запада на сѣверъ и опять назадъ, вотъ что гнало его, не давало покоя. Пусто было вездѣ, чуждо все, не было чѣмъ жить, чему отдавать свои силы. Нашлись бы у него и задачи, и цѣли, и принципы, и все, что нужно для полной духовной жизни,—не было только, не находилось, не чувствовалось *среды*, въ которую бы онъ вошелъ съ ними, не чувствовалось почвы для нихъ или онъ совсѣмъ не могъ найти ихъ, различить, примѣниться. Кругомъ все были особые люди, съ особымъ складомъ характера, особыми понятіями, міросозерцаніемъ, традиціями, нервами, всѣмъ, всѣмъ особымъ до того, что казались не своими, чужими. И что хуже всего, что было всего больнѣе и обиднѣе,—жизнь, кипучая, страстная жизнь точно придавливала его, подчиняла, дѣлала изъ него не то безсознательное орудіе, не то подневольнаго раба. Въ то время, какъ на родинѣ онъ самъ предъявлялъ ей требованія,—предъявлялъ смѣло и твердо, даже фанатически, безъ уступокъ, предъявлялъ какъ деспотъ, часто не разбирая условій, не прощая компромиссовъ, не понимая слабости, — тутъ онъ самъ не предъявлялъ ничего, а только шелъ за жизнью, какъ идетъ запряженный волъ въ телѣгѣ. Если въ рѣдкихъ случаяхъ онъ и поднималъ свой голосъ, то дѣлалъ это робко, совсѣмъ не такъ, скоро стушевывался, отступалъ съ поля, потому что другіе говорили *иначе*, инымъ

языкомъ, являлись всегда понятнѣе, практичнѣе, хотя и неправѣе. Вотъ что мучило Андрея, отравляло его свѣтлое счастье выбившагося изъ ваторги человѣка, вотъ что онъ гналъ отъ себя, въ чемъ не хотѣлъ себѣ признаться.

Былъ скверный осенній день, дождливый и холодный, когда Андрей сѣлъ въ вагомъ отходившаго на востокъ поѣзда. Съ утра кружилась и болѣла у него голова, знобило, бросало въ жаръ, съ утра онъ чувствовалъ себя плохо. Можетъ быть, онъ простудился на этой проклятой лѣсопилкѣ въ Мидльборо, когда таскалъ изъ воды бревна, но, вѣрнѣе, — думалось ему, — все это было слѣдствіемъ тѣхъ потрясеній и передрагъ, что посыпались на него съ самаго утра. Много пришлось ему вынести за день, много, вполне достаточно, чтобы захворать или чувствовать себя скверно. Вѣдь, за часъ всего, даже за полчаса онъ былъ арестантомъ, стоялъ за рѣшеткой судьи... его обвиняли, его простили, — простили, какъ чужестранца! Всѣ нервы, казалось, заходили въ немъ, — до того было это обидно. Лучше бы, право, обвинили!

Онъ растянулся на диванѣ, далеко отбросивъ газету, и съ какимъ-то непонятнымъ тайнымъ злорадствомъ перебиралъ въ умѣ всѣ эти больныя, обидныя подробности суда, бередилъ себя ими, хотя самъ еле дышалъ отъ этой пытки. Такъ и стоитъ передъ нимъ, какъ живой, этотъ почтенный, сѣдой старикъ судья, такъ уважаемый и гордомъ, и всѣмъ округомъ, — старикъ, пережившій такъ много, извѣдавшій и бурныя засѣданія конгресса, когда

онъ поддерживалъ Линкольна, и невзгоды и бури страшной междоусобной войны, когда, промѣнявъ портфель депутата на ранецъ солдата, онъ пошелъ спасать „союзъ и рабовъ“. Много, много видѣли эти сѣрые, задумчивые глаза длиннобородаго, сѣдаго, какъ лунь, старика, глядящіе на него не то съ сожалѣніемъ, не то съ лаской и, вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ-то прямо и строго, точно говоря ему: „гляди, я весь тутъ!“ И Андрей слышитъ, какъ старческія сухія губы говорятъ ему, такъ серьезно, такъ вѣско отчеканивая каждое слово:

— Вы, несомнѣнно, хорошій человѣкъ, я умный, и честный, но вы не янки, не американецъ. Думать и не поступать такъ, какъ думаешь,—это не въ нашихъ нравахъ. Ни одинъ честный янки не можетъ быть *нейтральнымъ*, когда на его глазахъ попирается его законъ, его конституція!

Да, да... это самое, слово въ слово, сказалъ ему судья... Онъ еще слышитъ этотъ старческій голосъ, видитъ, какъ двигаются сухія старческія губы. Эти слова, больныя, обидныя, жгутъ его до сихъ поръ... Могъ ли онъ не быть *нейтральнымъ*, могъ ли поступить иначе? Сдѣлается ли онъ когда-нибудь настоящимъ янки? Нѣтъ!

Все, все, всѣ ужасныя событія этого проклятаго дня встали передъ нимъ какъ на картинѣ. Онъ и не подозревалъ, что предстоитъ бурная, ужасная сцена, дикая свалка... Онъ стоялъ у станка и механически, тупо дѣлалъ свою работу. Иногда онъ поднималъ глаза и смотрѣлъ на часовую стрѣлку, какъ и всѣ, съ нетерпѣніемъ ожидая полудня, когда истекалъ срокъ, данный хозя-

евамъ для обсужденія и отвѣта ультиматума рабочихъ о сокращеніи рабочихъ часовъ и увеличеніи платы подѣ угрозой забастовки.

Онъ думаетъ о томъ, что, въ случаѣ отказа хозяевъ и забастовки, онъ броситъ работу и поступитъ въ школу. Денегъ у него хватитъ мѣсяца на три, на четыре. Совсѣмъ неожиданно раздался крикъ: „китайцы, китайцы!“— до того неожиданно, что сначала онъ даже не понялъ. Только выглянувъ въ окно и увидавъ толпу людей съ желтыми лицами, грязныхъ, оборванныхъ, несчастныхъ, онъ понялъ, въ чемъ дѣло. Правда, всѣ ожидали, что хозяева выкинутъ какую-нибудь пакость, но китайцевъ не ждали,— по крайней мѣрѣ, онъ не ждалъ.

А говоръ, крикъ, шумъ вокругъ него все растутъ и растутъ.

— Не пустимъ, — кричатъ сотни голосовъ, — не пустимъ! Вонъ ихъ, рабовъ, работающихъ за горсть риса! Вонъ „понижателей“!

— Заприте двери, бить ихъ, если войдутъ! — выдѣляется изъ общаго гвалта.

— За что бить? — уговариваетъ Андрей. — Чѣмъ они виноваты?... Глядите—они глупы, несчастны!

На него обрушивается цѣлый потокъ брани, угрозъ, насмѣшекъ.

— Онъ подкупленъ хозяевами! Онъ—измѣнникъ, онъ не товарищъ, а такой же китаецъ!

Нѣсколько голосовъ защищаютъ его, но и они смолкаютъ, стушевываются въ общемъ гвалтѣ.

И затѣмъ стукъ... ломаютъ двери, окна... Китайцы,

съ полисменами во главѣ, врываются съ ломами... Сзади понукають хозяева. Крики, шумъ, выстрѣлы, кровь... Падаетъ одинъ, другой... и все сливается въ какую-то беспорядочную, ужасную сутолоку, въ какой-то хаосъ, съ грохотомъ, визгомъ, выстрѣлами, и заволакивается дымомъ.

Черезъ нѣсколько часовъ Андрей уже въ судѣ и слышитъ, какъ судья говорить сердито, строго, грозно нахмутивъ брови:

— Вы попрали свой законъ, попрали свою конституцію!

— Да,—отвѣчаютъ ему всѣ обвиняемые,—мы виновны, мы сдѣлали это въ увлеченіи, мы каемся! — и въ тонѣ ихъ голоса, въ ихъ глазахъ, въ ихъ сконфуженныхъ лицахъ дѣйствительно читается неподдѣльное раскаяніе.

А затѣмъ? Затѣмъ вызываютъ и его.

— Вы принимали участіе?

— Нѣтъ,—отвѣчаетъ онъ,—я не дрался.

— Почему? — удивляется судья и смотритъ на него неодобрчиво.

Андрей объясняетъ.

— Онъ былъ противъ, онъ даже уговаривалъ насъ! — поддерживаютъ его громко остальные обвиняемые.

Пристально смотритъ на него старикъ.

— Что же вы дѣлали?

— Я былъ нейтраленъ, я стоялъ въ сторонѣ.

— Нейтраленъ? — точно гремитъ голосъ судьи. — Въ сторонѣ? Нейтраленъ, когда на вашихъ глазахъ по-

пирался законъ? Нейтраленъ, когда ожесточенные до бѣшенства стрѣляли въ неповинныхъ людей, когда падали трупы? Нейтраленъ! Да эта нейтральность—преступленіе!

— Что же я долженъ былъ дѣлать? — недоумѣваетъ Андрей.

— Что должны были дѣлать? — голосъ судьи все растетъ и растетъ.—Сэръ! вы должны были дѣлать то, что повелѣваетъ вамъ вашъ гражданскій долгъ, ваша совесть, возмущавшаяся противъ насилія, конституція, ограждающая каждаго на этой почвѣ. Вы должны были дѣлать то, что дѣлали полисмены, вы должны были явиться въ нимъ на помощь противъ бунтовщиковъ, вы должны были защищать законъ, который святъ каждому американицу, пока онъ существуетъ! Такъ ли я говорю, джентльмены?

И Андрей слышитъ, какъ кругомъ всѣ поднимаются, и публика, и свидѣтели, и присяжные, и обвиняемые, и въ одинъ голосъ говорятъ:

— All right!

— Онъ—чужестранецъ! — рѣжетъ его ухо чье-то непрощенное внимательство.

— Въ этомъ его оправданіе!—отвѣчаетъ судья.

А грохотъ мчащагося поѣзда точно вторить теперь, точно подсказываетъ въ тактъ: „въ этомъ, въ этомъ, въ этомъ!“

Могъ ли онъ не быть нейтральнымъ? Нѣтъ, никогда!

— Гражданинъ! Два слова, гражданинъ!

Андрей очнулся и поднялъ горячую, отяжелѣвшую голову, съ изумленіемъ оглядывая вагонъ; онъ совсѣмъ

было забыть, что ѣдетъ. Передъ нимъ стоялъ одинъ изъ пассажировъ съ записною книжкой въ рукѣ и спрашивалъ его о чемъ-то, но о чемъ собственно, онъ долго не могъ разобрать,—ему мѣшали все красные круги въ глазахъ и какое-то странное состояніе, точно опьяненіе. Наконецъ, съ большимъ усиліемъ разобралъ онъ, что отъ него добиваются, за кого онъ изъ двухъ кандидатовъ въ президенты?

— Я не имѣю голоса для президентскихъ выборовъ,— я не пробылъ здѣсь пяти лѣтъ!—уклоняется Андрей.

— Все равно, сэръ... Мы въ вагонѣ баллотуруемъ и ведемъ споры... За кого вы изъ двухъ?

— Ни за того, ни за другаго.

— Какъ же такъ?—смѣется тотъ и, заинтересованный, присаживается къ Андрею, вытаскиваетъ сигару и владеть ноги на его пледъ.

— Очень просто... Я не удовлетворяюсь ни одною программой—ни республиканцевъ, ни демократовъ...

— Правильно, сэръ! Многое слѣдовало бы выкинуть и многое слѣдовало бы добавить у насъ... Я демократъ, сэръ,—теперь демократъ, прежде принадлежалъ къ республиканцамъ,—но пока можно будетъ провести все, что слѣдовало бы, провести настоящую программу, нужно же хоть что-нибудь... Не такъ ли?

Андрей молчитъ.

— Вѣдь, нужно же на чемъ-нибудь помириться?... Какъ же иначе?—кричитъ сосѣдъ и хлопаетъ его по колену.—Иначе, сэръ, тѣ посадятъ своего и не полу-

чишь ни цента изъ того, что желаешь. Какъ бы вы поступили на моемъ мѣстѣ, а?

— Я бы воздержался!—увѣренно отвѣчаетъ Андрей.

— Воздержался!—воскликаетъ въ удивленіи сосѣдъ и хохочетъ,—воздержался, чтобы тѣ ослы своего посадили у нашего добра!... Ха, ха, ха, сэръ! Настоящій вы европеецъ...

Опять „европеецъ“!

— Да, вѣдь, я ни за того, ни за другаго, кого бы ни посадили, все равно!—горячо, весь вспыхнувъ, обижается Андрей.

— Кого бы ни посадили!... Ха, ха, ха! Вамъ все равно... А страна, а народъ, а наши нужды, долги, китайскій вопросъ? Все равно?! Ха, ха, ха!—и сосѣдъ хохочетъ и хлопаетъ его по плечу.

— „Европеецъ“ вы, вотъ что!—рычитъ онъ еще долго.—Воздержаться! Это я—полноправный гражданинъ, чтобы не подалъ своего голоса, точно я не думаю о странѣ,—хоть трава, молъ, на ней не расти?... Ха, ха, ха! Европеецъ!

И вмѣстѣ съ нимъ хохочутъ всѣ, качаютъ головами и повторяютъ: „европеецъ!“

Глава VII.

А поѣздъ все летитъ, все грохочетъ и, кажется, тоже смѣется надъ нимъ и повторяетъ сотни, тысячи разъ: „чужой, чужой“, точно дразнить его. Даже въ вискахъ,

въ ухахъ отдается у него это слово съ каждымъ ударомъ пульса, а сквозь закрытыя вѣки онъ читаетъ его и впереди, и справа, и слѣва написаннымъ громадными огненными и кровавыми буквами. И чѣмъ плотнѣе закрывается онъ глаза, тѣмъ ярче горятъ, выделяются буквы, чѣмъ сильнѣе затыкаетъ уши, тѣмъ явственнѣе, отчетливѣе слышитъ. Голова у него кружится все сильнѣе и сильнѣе и, какъ нарочно, полна только больными воспоминаніями, картинами встрѣчъ и столеновеній, напоминающими, подчеркивающими, подтверждающими это ужасное слово: „чужой!“ Онъ борется съ ними, онъ гонитъ ихъ прочь, но они все лѣзутъ и лѣзутъ, все неотступнѣе, неотвязнѣе осаждаютъ и мучатъ. Вездѣ и всегда, на востокѣ, на западѣ, на сѣверѣ, на югѣ, на водѣ и сушѣ, въ городахъ и фермахъ, все, все шепчетъ, кричитъ ему: „чужой!“ Господи, куда же, наконецъ, укрыться, гдѣ же это онъ не будетъ чужой?

Онъ усталъ, наконецъ, бороться и далъ полную волю этимъ не то воспоминаніямъ, не то видѣніямъ. Они толпятся, чередуются одно другимъ, какъ въ калейдоскопѣ. Вся жизнь, все пережитое за два года въ штатахъ встаетъ, кажется, передъ нимъ какъ на ладони, въ безпорядкѣ, но отчетливо и ясно. Что внесъ онъ въ жизнь за эти годы, что сдѣлалъ? Что дала ему жизнь, что сказала?

„Чужой, чужой, чужой!“—грохочетъ поѣздъ, стучитъ въ вискахъ, рисуется огненными чертами сквозь закрытыя вѣки.

И новая картина, новое воспоминаніе, какъ видѣніе,

отчетливо и ярко встало передъ нимъ. Кругомъ волнистая, роскошная прерія зеленѣе изумруда, усѣянная цвѣтами пѣжнѣе бирюзы и сапфира, ярче рубина. Тамъ и сямъ высокіе холмы усѣяны роскошными дубами, тѣнистыми каштанами, орѣхомъ и стройными, гордыми сикоморами, перевитыми длинными, какъ карабельные канаты, лозами дикаго винограда. Голубое, почти синее небо отражается въ чистомъ, какъ хрусталь, ручьѣ и дрожить въ немъ вмѣстѣ съ яркимъ, ослѣпляющимъ солнцемъ... Люди?... Что дѣлаютъ здѣсь эти люди съ ихъ фургонами, палатками, шалашами?... Чего горятъ ихъ лица, сверкаютъ глаза?... Откуда это возбужденіе, лихорадка, когда еще вчера, только вчера они были такъ спокойны, такъ безстрастно-спокойны?

Андрей узнаетъ, наконецъ, церковный полевой митингъ, на которомъ онъ присутствовалъ вмѣстѣ съ своимъ другомъ, однимъ молодымъ, даровитымъ и умнымъ американцемъ. Всѣ эти тысячи людей, вчера еще совсѣмъ иные, съѣхались сюда только молиться, каяться, „обновляться“. Никто не сзывалъ ихъ, они сами какъ-то потянули въ прерію, услышавъ про митингъ. Еще вчера это были только неутомимые пахари, барышники, мастера, подмастерья, еще вчера это были только заботливыя хозяйки, матери, жены... А сегодня? Точно переродились они, точно что-то давно жившее въ нихъ тихо, незамѣтно, но страстно, что-то накипѣвшее вдругъ вырвалось наружу и потекло безъ удержу, безъ мѣры, безъ границы. Такъ вспыхиваетъ внезапно еле дымящійся кратеръ, такъ прорывается наружу раскаленная лава. Забыты насущные

вопросы, забыть упорный трудъ, забыты домъ, семья, родные, близкіе, забыты корысть и нажива. Все, все забыто, и какіе-то иные люди, полные одной жгучей скорби, невыразимаго горя, глубокаго раскаянія, люди безграничной любви и всепрощенія только молятся, каются, рыдаютъ, всѣми фибрами слушаютъ экзальтированныя рѣчи, жадно ловятъ слова „любовь“ и „прощеніе“. Забыты распри различныхъ сектъ и направленій: Все слилось въ одну дружную семью, вчерашніе враги—сегодня братья, вчерашняго „еретика“ слушаютъ какъ пророка. Общая экзальтація все растетъ и растетъ и переходитъ въ какой-то непонятный, бѣшеный экстазъ, способный навести ужасъ. Рыданія переходятъ въ дивій хохотъ, истеричный плачь и визгъ заглушаютъ проповѣдниковъ, сложенные въ мольбѣ руки сжимаются въ кулаки и неистово, какъ-то страстно колотятъ грудь, все учащая и учащая удары. Вотъ свалилась одна и бьется въ судорогахъ съ пѣной у рта, за ней другая, тамъ третій, четвертый и почти весь людъ принимается кривляться, прыгать, неистовствовать, валяться и корчиться по землѣ, заражая одинъ другаго какимъ-то пьянымъ, дивимъ экстазомъ.

— Это Бедламъ, это ужасно!—шепчетъ Андрей, отворачиваясь не то съ ужасомъ, не то съ отвращеніемъ.

— Что вы, что вы,—говорить ему другъ,—что вы! Это величайшій моментъ, это моментъ духовнаго пробужденія народа, одревенѣвшаго за годъ стяжанья! Это взрывъ, прорвавшій земную кору!... Онъ ужасенъ, но онъ снесъ все, что загромождало святую искру огня въ человѣкѣ. Тутъ можно собрать громадную жатву, только нужно по-

нимать народъ и умѣть говорить съ нимъ, а вы никогда не поймете и не съумѣете,—вы чужой намъ!

Да, онъ, дѣйствительно, „чужой“, онъ никогда не пойметъ *этого*. Все это ему и непонятно, и противно, и даже ужасно не то странно, не то болѣзненностью. Но отчего же теперь не сжимается болью его сердце при словѣ „чужой“, отчего ему не обидно, не страшно за эту отчужденность и чувство пустоты и тоски одиночества не охватываетъ его, какъ всегда?... Что за притча, что съ нимъ? Что напомнила ему эта картина-видѣнье, что такое? Отчего его всего охватываетъ такая-то нѣга, такая-то душевная благодать и покой?... Неужели что-нибудь такое, гдѣ онъ не былъ „чужой“, — но гдѣ и что?

Онъ видитъ другое небо,—не такое глубокое, но мягкое и ласковое. Внизу бѣжитъ рѣка и сѣдою пѣной плещетъ о скалы и камни. Съ высокаго скалистого берега въ нее смотрятся старые, развѣсистые дубы. Заходящее солнце косыми, розовыми лучами играетъ на грубыхъ бѣлыхъ рубахахъ и смуглыхъ, усатыхъ лицахъ сидящаго кучкой народа. Всѣ эти смуглые, усатые лица съ карими глазами такъ знакомы, но кто они и гдѣ все это, онъ не можетъ припомнить. Сердце стучитъ такъ сильно, что мѣшаетъ ему припоминать.

Среди кучки народа стоитъ мальчишъ и держитъ въ рукахъ старую, старую книгу. Онъ что-то читаетъ сидящимъ, а тѣ слушаютъ его съ умиленіемъ и какою-то тихою грустью. Звонко несется дѣтскій голосъ, но словъ Андрей не можетъ слышать,—неугомонный стукъ серд-

ца мѣшаетъ. По смуглымъ, загорѣлымъ лицамъ текутъ тихія, тихія слезы. Отъ этихъ слезъ у него замираетъ сердце, перестаетъ вдругъ биться. Онъ ясно слышитъ теперь, что читаетъ мальчикъ: „Приидите ко мнѣ всѣ труждающіеся и обремененные и азъ упокою вы“,—ласкаютъ его слухъ слова святаго текста. И видитъ онъ, какъ сотни рукъ протягиваются съ лаской къ черной, кудрявой головѣ босаго ребенка, а стоустый шепотъ говоритъ ему: „рости, рости и будь намъ на помощь!...“

Яркій лучъ свѣта наполняетъ вдругъ голову Андрея, съ глазъ спадаетъ туманъ. Онъ припомнилъ все... все... и барвиновцевъ, и этотъ вечеръ... Вѣдь, это онъ, онъ,—маленькій Андрійко—читаетъ имъ „святое слово“.

А кондукторъ все трасетъ и трасетъ его за плечо и кричитъ ему, что онъ проспалъ городъ. Съ усиліемъ открываетъ онъ глаза. Голова, горячая, точно налитая свинцомъ, не можетъ подняться.

— Сэръ, вы проспали городъ!... У васъ зеленый билетъ, вы должны были встать здѣсь... Изъ-за васъ я долженъ остановить поѣздъ... Мы проѣхали уже двѣ мили... двѣ мили, сэръ!

Онъ все еще ничего не видитъ, не понимаетъ. Наконецъ, съ большимъ трудомъ и неясно, точно глаза у него покрыты флёромъ, различаетъ онъ кондуктора, вагонъ, начинаетъ понимать, въ чемъ дѣло. Онъ ѣхалъ, кажется, дѣйствительно въ городъ, но зачѣмъ?

— Желаете встать? Я останавливаю!—допрашиваетъ кондукторъ,

Вмѣсто отвѣта, Андрей поднимается, шатаясь. Онъ припомнилъ,—здѣсь онъ поступить въ школу.

— Тихе, тихе, сэръ, осторожнѣе!—говорить кондукторъ, когда поѣздъ на его свистокъ убавилъ ходъ, а Андрей сталъ выходить, шатаясь. — Эхъ, какъ вы разошпались!... Ну, да воздухъ освѣжить, ничего... счастливаго пути... всего двѣ мили по полотну!—и онъ бережно спустилъ его съ подножки.

Стояла мрачная осенняя ночь и моросилъ мелкій, холодный дождикъ. Андрей сдѣлалъ нѣсколько шаговъ и упалъ на влажную, скользкую глину насыпи, — у него подкосились ноги. Страшная усталость охватила его, все тѣло ныло, болѣло, голова горѣла и кружилась, въ ушахъ стоялъ цѣлый содомъ. Что съ нимъ такое?... Скоро онъ поднялся, собравъ всѣ силы, и опять пошелъ; его освѣжилъ немного воздухъ, а въ особенности сырость, холодный дождь. Онъ шелъ долго и все какъ-то машинально, забывъ даже куда. Не оставаться же на этой мокрой глинѣ. Онъ шелъ, пока въ глазахъ у него не запрыгали фонари... Одинъ, другой... сотни, тысячи фонарей запрыгали, закружились, превращаясь въ цѣлое пламя. Онъ увидѣлъ мостовую и упалъ на нее, точно пьяный...

— Кто вы? Что съ вами?

Онъ видитъ наклонившееся надъ нимъ блѣдное, престелное женское лицо, но подняться не можетъ. Какъ мягко, какъ чудно хорошо звучить ея вопросъ! Онъ нарочно молчитъ, чтобы она еще разъ спросила... Да это просто музыка!

— Боже мой, что съ нимъ?—точно поетъ въ тревогѣ чудный голосъ.—Помогите! Народъ!

Онъ всматривается въ нее все больше и больше. Какъ знакомы ему эти черты, этотъ голосъ, эти длинныя пряди роскошныхъ шелковистыхъ волосъ! Гдѣ онъ ихъ видѣлъ, когда? Онъ припоминаетъ... Насыпь, вагонъ... одинъ, другой, третій,—она... Галя!

— Галя!—шепчетъ онъ и силится протянуть руки.

— Н-а-р-о-дъ!

Все спутывается у него въ головѣ... Онъ слышитъ шумъ точно отъ прибоя волнъ... Волны, синія волны поднимаютъ его и несутъ, качая, баюкая, куда-то далеко-далеко...

Глава VIII.

А Галя и не подозрѣвала, что она приснилась, привидѣлась Андрею въ жестокомъ горячечномъ бреду. Далеко была она отъ него, все въ той же крошечной комнатѣ, въ которой два года назадъ читала его первое, прощальное письмо. Сильно похудѣла дѣвушка, поблѣднѣла, какъ-то вытянулась, отчего глаза, большіе, сѣрые глаза стали еще больше и, казалось, еще больше любви стояло въ нихъ, тихой, сосредоточенной любви, еще болѣею правдой свѣтились они. Да и какъ было ей не поблѣднѣть, не похудѣть, — легко ли достались ей эти два года? Легкое ли дѣло учиться бѣдняку въ холодной столицѣ, терпя и голодъ, и холодъ, еле-еле перебиваясь грошовыми уроками, уставая за ними и своимъ учень-

емъ до изнеможенія изъ дня въ день? А сколько, въ тому же, неприятностей, больныхъ и обидныхъ передрагъ выпадаетъ на долю... такъ, зря—за то, что молодъ, что сердце бьется сильнѣе, что въ рукахъ книга!... Трудное это дѣло, и какъ оно трудно — ясно говорятъ впалыя, блѣдныя щеки.

Будетъ ли легко впереди, тамъ, за порогомъ ученья,— за работой и дѣломъ въ жизни, которымъ она себя посвящаетъ? О, конечно! Тамъ—ея излюбленное дѣло, ея сокровеннѣйшая, сладчайшая мечта, весь смыслъ ея жизни, для чего она и несла, и несетъ теперь всю эту невзгоду,—осталась еще на годъ въ этой ужасной столицѣ для практики въ клиникахъ, для лучшей подготовки. Черезъ годъ она потонетъ въ сѣрой деревенской глуши, черезъ годъ она сольется съ массой сельскаго люда, принесетъ ему посильную помощь, руки, сердце, голову,—отдастъ себя всю, всю!... Можетъ быть, хотъ одинъ лишній стоиъ не вырвется изъ больной груди, благодаря ея помощи и усиліямъ, хотъ одну улыбку на изстрадавшемся лицѣ вызоветъ ея ласка, хотъ одинъ только лучъ яснаго свѣта пробьется, благодаря ей, въ безпосходную, сонную тьму!... Развѣ это не счастье, не радость, не жизнь, не дѣло? Боже мой! Вѣдь, только для этого она учится, бьется какъ рыба объ ледъ, худѣетъ и блѣднѣетъ!

Она думаетъ про себя, что дѣло ея—маленькое, но чѣмъ же она виновата,—говоритъ она,—что ей не дано силъ на большое? Люди большихъ дѣлъ, эти безсмертные свѣточп жизни—титаны грядущаго культа, а она—простой,

маленькій человекъ, который можетъ только потонуть, расплыться въ темной массѣ, чтобы не прожить на свѣтѣ даромъ. Она—маленькая дождевая капля, жадно всасываемая сухою, черною землею, изнемогающею отъ избытка скрытыхъ собственныхъ плодотворныхъ силъ, которой необходима только эта маленькая оплодотворяющая капля, чтобы родить неисчислимые богатства. Но своему маленькому, незамѣтному дѣлу она посвятитъ себя всю, посвятитъ, какъ обѣту. Въ этомъ посвященіи все ея счастье, вся ея жизнь, всё ея помыслы и цѣли. Явиться маленькою дождевою каплей, исчезнуть, какъ она, чтобы напитать собой ростки будущей роскошной нивы—ея насущная потребность,—внѣ этого она и жить не можетъ. Всю себя положить она тутъ и никто никогда не подмѣтитъ въ ней ни усталости, ни недовольства, какъ бы ни было трудно. Трудно? Вздоръ! Чѣмъ труднѣе, тѣмъ она будетъ счастливѣе!

Только одному человеку повѣдала она все это, только передъ однимъ открыла эту „святая святыхъ“ свою, излила свою душу, и этотъ человекъ былъ Андрей. Только съ нимъ подѣлилась она своими помыслами, надеждами и мечтами. Не было у нея никого ближе, родственнѣе его, но онъ ни разу, даже ни строчкой не отвѣтилъ на ея письма. Сильно смущало это дѣвушку. Что съ нимъ? Не забылъ ли ее? Едва ли,—думаетъ она, и какъ-то невольно краснѣетъ при этомъ. Можетъ быть, болѣнъ, несчастенъ, умеръ? Какъ не хорошо чувствуетъ она себя, когда эта нелѣпая, вздорная мысль придетъ ей въ голову. Съ чего-жъ бы это онъ вдругъ умеръ? Вотъ вздоръ!

Странное дѣло! Съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ она узнала изъ письма о его бѣгствѣ, какъ онъ исчезъ для нея, казалось, навсегда, вмѣсто того, чтобы забывать, она все чаще и чаще думала о немъ. Все чаще и чаще вставалъ онъ передъ нею, все чаще вспоминаетъ она ихъ встрѣчи, разлуку, его горячія, страстныя рѣчи... А вечера, тѣ вечера на рѣкѣ!... И чувствуетъ она при этомъ, что онъ не чужой ей, что онъ ей близокъ, ближе, чѣмъ она подозрѣвала, близокъ, какъ самый, самый близкій братъ. Почему этого не было раньше? Правда, какъ она ни противъ его бѣгства, ей нравится, ее влечетъ его мужество, смѣлость, энергія, но, вѣдь, такимъ онъ былъ всегда. Что же заслоняло его раньше, что стояло между нимъ и ею? Молодое увлеченіе жизнью, самостоятельнымъ трудомъ, жгучимъ желаніемъ все обнять, все узнать, все увидѣть, всѣмъ, всѣмъ, что было ново, неизвѣдано, что влекло и манило? Можетъ быть, можетъ быть, потому что теперь, когда прошли порывы, а ясные, счастливые дни первыхъ жизненныхъ шаговъ смѣнились тяжелымъ опытомъ, безжалостно снявшимъ со многого румяна и позолоту, Галя чувствовала себя иногда одинокой, точно заброшенной, безпріютной, — чувствовала иногда потребность въ другѣ, честномъ, хорошемъ и умномъ, который бы выслушалъ ея радость и горе. Къ тому же, ей было страшно жаль Андрея. Ей стало жаль его съ того самаго вечера, какъ она прочла его письмо, потому что она была убѣждена, что онъ вернется, испытаетъ еще больше неудачъ и разочарованій, которыя, въ концѣ-концовъ, могутъ совсѣмъ залить человѣка желчью. Ей

казалось, что человекъ, рожденный подъ сѣрымъ небомъ, въ сѣрой хатѣ, среди сѣраго, бѣднаго люда, не можетъ забыть ихъ и чувствовать себя хорошо подъ вѣчно синимъ небомъ, какія бы радости оно ни сулило, разъ онъ не холодный эгоистъ. А таковымъ она его не считала,— о, нѣтъ! Его отъѣздъ—это избытокъ энергіи, жажда работы, поиски ея, поиски за тѣмъ, къ чему бы всецѣло приложить свои руки, голову и сердце. Зачѣмъ же этотъ напрасный отъѣздъ, эта трата силъ, энергіи, лѣтъ? Къ чему эти поиски, когда выходъ есть, есть дѣло, есть гдѣ отдать себя, приложить свои силы? Ахъ, если бы только скорѣй прочелъ онъ ея письма!

Она долго ему не писала, не отвѣчала, желая все обсудить, все взвѣсить, выжидая, чтобъ улеглось его увлеченіе, чтобъ наступилъ въ немъ тотъ періодъ сомнѣнія, на который она такъ увѣренно рассчитывала. Но вотъ уже она послала ему цѣлыхъ три письма, — и какихъ письма! Она вся горѣла, а на глазахъ стояли слезы, когда она ихъ писала. Все, все рассказала ему, ему одному, больше никому никогда, всю душу вылила, она даже сама удивлялась, какъ это у нея лилось изъ-подъ пера, а онъ—ни строчки, ни полслова! И Сергѣй Павловичъ, который писалъ гораздо раньше, сердится и негодууетъ, что ему нѣтъ отвѣта.

Что же съ нимъ такое, гдѣ онъ, доходятъ ли письма? Живъ ли? Конечно, живъ, вотъ развѣ полюбилъ другую, гораздо лучше ея, умнѣе, красивѣе, забылъ за новою подругой,—и чувство какой-то больной досады, какое-то крайне непріятное чувство, которое она гонить прочь,

которое заставляет горѣть ея блѣдныя щеки, наполняетъ ея душу.

На дворѣ воетъ непогода, въ крошечной комнаткѣ такъ тепло и уютно, маятникъ старыхъ, запыленныхъ часовъ стучить такъ мѣрно, такъ хорошо думается и грезится подъ его мѣрное качанье, при этомъ блѣдномъ свѣтѣ накрытой абажуромъ лампы... Галя сидитъ и думаетъ, какъ она отправится въ американское консульство, по совѣту Сергѣя Павловича, навести или просить навести справки объ Андреѣ. Многое еще, многое передумала дѣвушка, пока темнорусая головка ея не упала на столъ и она не заснула. Ей даже не снилось, что въ это самое время Андрей видитъ ее возлѣ себя, зоветъ и шепчетъ: „Галя!“ лежа въ горячкѣ на мостовой.

Глава IX.

Когда Андрей очнулся, пришелъ въ себя, онъ лежалъ на мягкой, богатой и бѣлой, какъ снѣгъ, койкѣ. Былъ ясный зимній вечеръ и въ окнѣ горѣла грустная зимняя заря, окрасившая подоконникъ, стѣны и полъ мягкимъ желто-розовымъ свѣтомъ. Въ углу сидѣла сидѣлка, „сестра“, и читала книгу.

Еще мутными, плохо различающими, но полными недоумѣнія глазами обвелъ онъ комнату. Гдѣ онъ, что съ нимъ? Какъ онъ попалъ сюда, въ эту полную комфорта обстановку? Онъ силился припомнить, силился дать себѣ отчетъ въ своемъ положеніи, и припомнилъ лѣсопил-

ку и судъ. Тутъ у него вдругъ закружилась голова и потемнѣло въ глазахъ.

— Пить!—сознательно прошептали въ первый разъ его блѣдныя, безкровныя губы.

Сидѣлка вздрогнула, взглянула на него и ея прекрасное, доброе лицо озарилось вдругъ мягкой и нѣжною улыбкой.

— Наконецъ-то,—сказала она, подавая стаканъ,—наконецъ-то вы пришли въ себя!... Цѣлыхъ двѣ недѣли вы только бредили!—Въ тонѣ ея голоса слышалась неподдѣльная радость.

— Гдѣ я?—спросилъ Андрей.

— Въ больницѣ, въ городской больницѣ!... Вы упали на мостовой и васъ принесли сюда,—бѣдный иностранецъ! А теперь молчите и спите; вамъ еще нельзя говорить!...

Андрей покорился безропотно; онъ и самъ усталъ отъ своихъ вопросовъ и хотѣлъ спать. Къ тому же, все это ему приказывалось такъ мягко, ласково, точно родная сестра говорила ему, и въ сладкомъ покоѣ, съ какимъ-то необычайно мягкимъ чувствомъ въ груди, онъ повернулся и заснулъ.

На другое утро, когда онъ проснулся, докторъ, сѣдой, но еще бодрый старикъ, весело улыбнулся ему и хлопнулъ по плечу.

— Молодцомъ, молодцомъ!—сказалъ онъ.—Крѣпко же вы меня смутили... Этакая горячка... Гдѣ это вы ее схватили?

Андрей вспомнилъ—гдѣ.

— На пильномъ заводѣ.

— Скверная работа! Много тамъ заболѣваютъ... много... Кто вы такой? Ваша національность?

Андрей назвалъ себя.

— А національность?

— Русскій.

— Русскій? И давно вы здѣсь?—удивился докторъ.

— Два года.

— Ваша специальность—работа на заводѣ?

— Нѣтъ, я былъ учителемъ на родинѣ.

Докторъ посмотрѣлъ на него долго и внимательно.

— Ну, не говорите, довольно съ васъ, послѣ поговори́мъ, а теперь молчите, — и онъ сталъ щупать его пульсъ.

Выздоровленіе шло быстро, точно природа хотѣла вознаградить его этимъ за долгую, тяжелую болѣзнь. Шагъ за шагомъ, быстро возвращались къ нему и здоровье, и силы. Его окружалъ самый тщательный уходъ, къ нему были такъ внимательны, казалось, даже любили... Да, любили, потому что и докторъ, и сидѣлка относились къ нему, какъ родные, какъ братъ и сестра. Съ какимъ интересомъ, съ какимъ участіемъ разспрашивали они о его прошломъ, слушали его жизненную повѣсть!

Чего же недостаетъ ему, чего ему еще нужно? Онъ и самъ еще не знаетъ, не даетъ себѣ отчета, чего именно, но чего-то нѣтъ,—это несомнѣнно... Это таинственное „что-то“ такъ беспокоитъ его, преслѣдуетъ, тревожитъ, что онъ все больше и больше подчиняется ему, теряетъ вѣру въ возможность отдѣлаться отъ него чтеніемъ и

разговорами. Оно наполняет его душу чувством пустоты и одиночества, оно преслѣдуетъ его какою-то тоской, оно заставляетъ зачѣмъ-то еще разъ копаться въ прошломъ и провѣрять свой „выходъ“, свое бѣгство сюда, насмѣшливо добивается итога пережитаго и сдѣланнаго въ эти два года. Но, что страннѣе всего, оно, несомнѣнно оно, навѣваетъ на него эти сны и воспоминанія о тѣхъ далекихъ, далекихъ дняхъ, когда босой, черноволосый мальчуганъ,—тотъ самый, о которомъ онъ вспомнилъ въ вагонѣ, котораго онъ видѣлъ читающимъ *святое слово* цѣлой кучѣ умиленнаго народа,—не былъ ни чужимъ, ни одинокимъ, и, жадно слѣдя за всѣмъ дѣтски-наблюдательными глазами, клялъ въ своемъ крошечномъ сердцѣ такіе страстные обѣты.

.
— Ге, что мой млынъ!—говоритъ мельникъ Тарасъ дьячку Григорію.—Такіе ли есть, говорятъ!... Слышалъ я, что до многоаго дошли умные люди, чего мы не знаемъ, темные,—много самаго чудеснаго выдумали, да научить насъ некому, показать некому... Сами знаете, что неученье—тьма!...

— Слышишь, сыну?

— Слышу,—отвѣчаетъ ребенокъ на многозначительный вопросъ отца и клянется себѣ, страстно клянется, что все узнаетъ, всему научить, только бы вырасти ему.

.
Андрей радъ, когда можетъ разогнать все это разговоромъ, хоть на минуту заглушить, разсѣять. Онъ всегда очень радъ приходу доктора.

— Знаете, докторъ,—говоритъ онъ,—когда я ѣхалъ сюда, одинъ баварецъ, побывавшій здѣсь и, замѣтите, очень умный человѣкъ, не совѣтовалъ мнѣ ѣхать, увѣряя, что у васъ здѣсь нѣтъ жизни...

— Ну, положимъ,—отвѣчаетъ докторъ, подумавъ,—жизнь-то есть, но *своя*, особенная, вами, европейцами, неусвоиваемая. Видите, вѣдь, мы особеннаго склада люди: кое-что, да кое-какъ пережили, что и сдѣлало насъ оригинальными, вамъ чуждыми. Не тотъ складъ, приѣмъ, характеръ, не тѣ традиціи, привычки,—ну, вамъ пусто, скучно, незамѣтно,—не свое, словомъ, поняли? Ну, а насчетъ перваго, такъ отчего же... нѣтъ,—замѣшался докторъ, раздумывая и соображая,—отчего же не ѣхать?... Работа найдется, только... Знаете вы нашу задачу настоящаго момента, жизнью намѣченную и поставленную намъ пока дилемму?

— Нѣтъ... Какая?

— Побѣдить пространство, сэръ, вотъ что!... Да, да, да,—заговорилъ докторъ быстрѣе,—пока это. У насъ его слишкомъ много, слишкомъ много, сэръ!... Пустыню, сырую природу прибрать къ рукамъ и обработать,—вотъ что написала жизнь на нашемъ знамени. А потому рукамъ, однимъ *рукамъ*,—вы понимаете?—у насъ вольготнѣе, легче ориентироваться, осѣсть, чѣмъ одной *головой*... Понимаете? У васъ не то; у васъ уже мѣста мало... У васъ главный спросъ на голову...

Андрей и не думаетъ провѣрять правдивость сказаннаго. Ему точно все равно, такъ ли это, или не такъ. Если онъ и лежитъ съ закрытыми глазами, точно въ глу-

бокой задумчивости, то это потому только, что въ ушахъ у него стоитъ: „У васъ не то... у васъ спросятъ на голову!...“

.
— Знаешь,—говорить русокудрый Данылко черноголовому, босому мальчику, съ которымъ вмѣстѣ сидитъ у самаго Буга, въ высокой и густой травѣ,—знаешь, говорятъ, что доля запрятана глубоко-глубоко—за девятью желѣзными дверями и большими замками, и никто ее добыть не можетъ...

— Я пойду добывать и... добуду!

— Неня говоритъ, что для того нужно много поститься...

— Я буду поститься!

— Нужно много, очень много знать...

— Я буду знать!

— Нужно не бояться никакихъ страховъ...

— О, я ничего не буду бояться!

И лицо черноволосаго, босаго мальчика сіяетъ такою вѣрой, глаза горятъ такою силой и отвагой, въ тонѣ звучать такая отчаянная увѣренность и рѣшимость, что Данылко ему вѣрить, — вѣрить всецѣло, что онъ добудетъ для всѣхъ ихъ долю, и смотреть на него со страхомъ и восторгомъ...

.
Но чаще и больше, чѣмъ съ докторомъ, говорилъ Андрей съ сидѣлкою, этою безконечно-доброю, точно созданною изъ одной любви и самопожертвованія, вроткою и тихою дѣвушкой. Все потеряла добрая дѣвушка въ

жизни, все въ одно злое утро, и съ тѣхъ поръ, похоронивъ все свое, вся посвятила себя людямъ, страданію, нищетѣ и горю. Въ одно утро, когда она мужественно и твердо перевязывала раны на перевязочномъ пунктѣ, ужасная междоусобная война отняла у нея сразу и жениха, и брата, съ которыми только за часъ, за одинъ часъ передъ тѣмъ она такъ весело шутила. Она нашла ихъ на мѣстѣ жестокаго боя и долго стояла надъ ними, какъ блѣдная, безстрастная статуя, тихо, неподвижно, не плача,—развѣ при такомъ горѣ льются слезы? Сама закрыла имъ глаза и съ той поры не было въ округѣ ни одного человѣка, юноши, дѣвушки, ребенка, который бы не зналъ миссъ Вудзонъ, этой высокой, блѣдной больницы сидѣлки, „сестры“, „ангела-утѣшителя“,—не было головы, которая бы не склонилась передъ нею. А голова янки склоняется рѣдко,—о, какъ рѣдко!

Миссъ Вудзонъ не была собственно сидѣлкой, она была помощницей докторовъ, чтецомъ и секретаремъ больныхъ, которымъ читала и писала письма, довѣреннымъ пастора, за котораго такъ часто читала эту маленькую святую книжку завѣта любви, душой больницы, этого пріюта скорби, горя и страданія. На ней лежалъ надзоръ за порядкомъ, за „сестрами“-сидѣлками, за всѣмъ, за всѣмъ. Вездѣ и всегда видѣлось ея простое, вѣчно одно и то же черное платье, вездѣ появлялась она, всегда ровная, кроткая, добрая, внося съ собой миръ и утѣшеніе, чистоту и порядокъ, и вездѣ, всѣ глаза, встрѣчая ее, загорались надеждой и счастьемъ. Сколько глазъ она закрыла, сколько слышала послѣднихъ вздоховъ,

кимъ ея кроткій голосъ, ея теплыя слова, ея ласка облегчили послѣднія минуты! „Помолись за меня! — часто слышала она голосъ, полный слезъ и жгучей скорби, умиленнаго святымъ писаніемъ больного, грубою, мозолистою рукою сжимавшаго какъ въ тискахъ ея блѣдную, маленькую ручку, — помолись, добрая дѣвушка, я великій грѣшникъ, я всю жизнь только думалъ о себѣ!...“

Дѣвушка опускалась на колѣни и молилась такъ страстно, съ такою вѣрой, что больной успокоивался, убѣжденный, что если тамъ, за звѣздами, есть кому слышать, то эта мольба дойдетъ туда и вымолить ему и прощеніе, и то, чего онъ не имѣлъ въ жизни. Только въ тѣхъ случаяхъ, когда больной былъ очень опасенъ, когда требовался особенный, самый тщательный уходъ и надзоръ, когда не наука, не лѣкарства могли спасти человека, а самая нѣжная, самая предупредительная, чистоматеринская заботливость, — миссъ Вудзонъ садилась сидѣлкой сама отбивать жертву у смерти. Потому-то и ходила она сама за Андреемъ, надъ которымъ долго, очень долго докторъ безнадежно качалъ головой. Теперь, съ выздоровленіемъ, Андрей видалъ ее рѣже, но выпадали иногда цѣлые вечера, которые они проводили вмѣстѣ, то читая, то рассказывая другъ другу свое прошлое, свои встрѣчи и наблюденія. Разъ она много рассказывала объ общинахъ и фаланстерахъ, въ которыхъ побывала, ища покоя и отдыха послѣ своей страшной потери.

— Отчего же вы не остались тамъ, если тамъ такъ хорошо? — спросилъ Андрей.

— Потому что я не понимаю этого удаленія отъ міра, отъ людей, въ стѣны своей жизни... Тамъ-то хорошо, а другимъ?... Въ жизни-то какъ?

— Пусть эти другіе примѣры берутъ и тоже такъ, устраиваются,—возразилъ онъ, точно задѣтый немного.

— А если они не готовы для такой жизни?—горячо возразила миссъ Вудзонъ.—Вѣдь, вы знаете, какое большинство! Знаете, что только единицы могутъ жить такимъ счастьемъ. Это холодный эгоизмъ, сэръ, холодный эгоизмъ и черствый,—покачала она головой.

— Черствый эгоизмъ!—приподнялся Андрей, весь вспыхнувъ, точно отъ личной обиды. — Я не хочу жить въ грязи, такъ не могу устроиться какъ хочу?... Да во имя чего же это?... Во имя того, что другимъ желательно копаться въ тинѣ, и я долженъ?...

Онъ весь дрожалъ, — до того взволновалъ его этотъ споръ.

— Зачѣмъ вы говорите, что кому-нибудь желательна грязь,—съ укоромъ отвѣчаетъ ему кроткій голосъ,—когда это неправда? Развѣ имъ возможенъ выборъ, пока они сами такіе?... Вѣдь, ихъ поступки, ихъ жизнь обусловлены ихъ нравственнымъ уровнемъ. Оставайтесь въ ихъ средѣ, поднимайте ихъ нравственный уровень, учите, помогайте подняться, открывайте имъ глаза, а не прячьтесь въ своихъ стѣнахъ, гдѣ только вамъ хорошо... Если всѣ поднимутся до васъ, то и безъ вашихъ примѣровъ заживутъ такъ же. Нѣтъ, вы внесите въ ихъ среду, отдайте имъ все то, чѣмъ вы выше ихъ,—вотъ, по-моему, задача честнаго человѣка...

Оба молчатъ, обомлѣвъ, очевидно, почему-то не по себѣ, тяжело, неловко. Миссъ Вудзонъ еще больше поблѣднѣла, и тихо, молча качается въ своемъ креслѣ. Подложивъ подъ голову руки, смотритъ вверхъ Андрей, но ничего, кажется, не видитъ. Грудь дышетъ тяжело, порывисто, точно на нее налегла тяжесть, голова кружится, въ ушахъ стоитъ: „эгоизмъ, холодный, черствый!“ Что съ нимъ, чего онъ волнуется, отчего замираетъ сердце? Развѣ онъ уходилъ въ какія-нибудь стѣны, гдѣ только ему хорошо, развѣ...

— Сэръ!—касается его слуха почти тихій, точно робкій шепотъ.

Онъ быстро открываетъ глаза,—онъ радъ, что ему мѣшаютъ.

— Сэръ, вы... никогда здѣсь не вспоминали о... о... родинѣ, никогда не приходила она вамъ на мысль?

— А что?—и онъ приподнимается, онъ опять дрожитъ.

Миссъ Вудзонъ молчитъ, тихо качаясь, опускаетъ глаза и краснѣетъ.

— Что?—настойчиво, дрожащими губами, повторяетъ онъ свой вопросъ. Онъ чувствуетъ потребность поставить что-то ребромъ, непременно, во что бы то ни стало добиться отвѣта.—Что?

Медленно поднимаетъ дѣвушка свои честные глаза, которые никогда, никогда не лгали.

— Я бы не могла,—говоритъ она, дрожа сама,—я бы помнила... Нѣтъ, я бы никогда не могла уѣхать... бросить...

Развѣ онъ не ожидалъ этого?

— Это, по-вашему, эгоизмъ?—чуть шепчуть его блѣдныя губы,—да, миссъ Вудзонъ?

Дѣвушка молчитъ. Онъ видитъ, что она колеблется.

— Миссъ Вудзонъ! — говоритъ онъ громко, почти не дыша. — Миссъ Вудзонъ!... Вы видите, я не могу... я прошу, я требую отвѣта!

— Да!—чуть слышно доносится до него шепотъ.

Онъ въ безсиліи опускается на подушку. Все кружится, все путается, лампа, столъ, окно, потолокъ, но въ головѣ такъ стало ясно,—такъ ясно, точно пелена какая-то спала. Конечно все это тяжелое, больное, наврѣвавшее по каплѣ, по песчинкѣ, такъ долго, такъ мучительно долго... Одно еще только!

Его исхудалая, блѣдная, дрожащая рука протягивается, ищетъ и сжимаетъ крошечную ручку. Онъ поднимаетъ глаза и только теперь видитъ на блѣдномъ, прекрасномъ лицѣ крупныя слезы.

— Миссъ Вудзонъ, — говоритъ онъ взволнованно, но твердо,—миссъ Вудзонъ, клянусь вамъ... вамъ, которую я такъ уважаю... Клянусь, я ничего не хотѣлъ для себя... не искалъ...

— Вѣрю,—перебиваетъ его плачущій голосъ,—вѣрю! Избытокъ силъ и жизни, мой другъ! Я давно, давно вижу, что вы мечетесь въ сомнѣніи... Кто же не ошибается? Но всякая ошибка служить на пользу!

И оба такъ ясно, такъ счастливо глядятъ другъ на друга.

Докторъ вошелъ необычно; сразу было видно, что онъ чѣмъ-то взволнованъ и спѣшить.

— Ну, какъ? — задалъ онъ свой обычный вопросъ, усаживаясь въ кресло.

— Ладно! — отвѣтилъ Андрей.

— А у меня есть для васъ кое-что новое! — и докторъ вынулъ и развернулъ большой листъ *New-York Herald's*.

— Читайте!

Андрей и миссъ Вудзонъ оба усталились въ газету.

— Обо мнѣ справлялись въ консульствѣ!... Мнѣ писали и не получали отвѣта!... Когда? Кто? — вскричалъ Андрей, пробѣгая консульское увѣдомленіе.

— Читайте дальше; я не умѣю произносить вашихъ фамилій, — сказалъ докторъ, отгрызая сигару.

— Миссъ Горская, Галя!

Руки у Андрея задрожали, и не будь онъ уже такъ крѣпокъ, онъ бы, навѣрное, упалъ.

— Я сейчасъ же напишу и отвѣчу!

— Не трудитесь, — говоритъ докторъ, — я уже послалъ увѣдомленіе.

— Какъ?

— По телеграфу. Вѣдь, консулъ обращается ко всѣмъ гражданамъ, кто только васъ знаетъ. Развѣ вы не получали писемъ? Что это значить? У насъ письма не пропадаютъ.

— Они, навѣрное, лежатъ въ С.-Луи, на почтѣ. Я давно оттуда и не справлялся, не посылалъ адреса, — говоритъ Андрей, въ волненіи сжимая руку доктора. —

Я самъ виновать, я страшно виновать... Но благодарю васъ, благодарю.

— За что, за что? Экъ вы взволнованы! Я думалъ, сэръ, что вы больше оверѣпли... Я приду вечеромъ; мнѣ нужно кое-что сказать вамъ,—сказалъ тотъ, уходя.

Андрей ничего не видитъ, не слышитъ. Письма! Гдѣ эти письма? О, какъ онъ виновать, какъ страшно виновать передъ нею! Но развѣ онъ думалъ, зналъ, что она напишетъ?

— Успокойтесь, сэръ, — говоритъ миссъ Вудзонъ, — я уже послала въ С.-Луи давно, какъ только узнала отъ васъ, что вы не справлялись ни разу на почтѣ. Письма, вѣроятно, придутъ скоро.

— Вы послали уже давно? Какъ у васъ выходитъ все въ пору, все хорошо! Вы—ясновидящая, миссъ Вудзонъ!

Миссъ Вудзонъ смѣется.

— Вовсе нѣтъ; я только немного лучше васъ знаю женское сердце. Женщина, сэръ, никогда не забываетъ того, кто ее любитъ, никогда! Въ особенности такая, какою вы мнѣ рисовали эту милую миссъ. Она не могла, сэръ, оставить васъ безъ отвѣта, я это твердо знала.

Да, онъ видитъ, что онъ былъ неправъ, очень неправъ. Какъ онъ счастливъ, какъ онъ радъ, что Галя его не забыла! Даже въ консульство бѣгала изъ-за него,—славная, добрая!... Ахъ, еслибъ только не затерялись эти письма, пришли поскорѣе! Чтò, если они затерялись?—отъ одной этой мысли ему дѣлается жутко. Но чтò, если Галя пишетъ ему то же, что писалъ онъ ей въ своемъ послѣднемъ, прощальномъ письмѣ? Чтò, если она тоже ищетъ

„выхода“, какъ онъ тогда, и думаетъ идти его дорогой? Что, если его письмо, его отъѣздъ натолкнули и ее на эту мысль? Что, что тогда? Что онъ ей скажетъ? Въ страшномъ волненіи садится онъ за письмо къ ней и пишетъ долго, до вечера, почти до самаго прихода доктора, который еще издали весело киваетъ ему головой и кричить:

— Ну, что, какъ? Успокоились?

— Успокоился!—улыбается ему Андрей.

— То-то... Вамъ, сэръ, пожалуй, скоро можно будетъ оставить больницу, а? — говоритъ докторъ, садясь съ нимъ рядомъ.

— Да, я думаю, я вполне поправился.

— Ну, положимъ, послѣ такой болѣзни вамъ, по крайней мѣрѣ, нужно еще три мѣсяца хорошей, покойной, сытной жизни... Помните, сэръ, нужна большая осторожность!

— Я знаю,—говоритъ Андрей.

— Но въ больницѣ не стоить оставаться. Нуженъ моціонъ, воздухъ, нетрудная работа... Кстати: одинъ мой знакомый, директоръ компаніи, нуждается очень въ секретарѣ. Вѣдь, вы знаете три языка—французскій, нѣмецкій и нашъ, да?

— Да. Я вамъ...

— Пойдите, — перебиваетъ докторъ дѣланнымъ, сухимъ тономъ, — прежде дѣло!... Семь часовъ работы, плата полтора ста долларовъ въ мѣсяцъ, при готовой квартирѣ. Согласны?

— Еще бы! Вы очень добры, докторъ,—говорить Андрей, сжимая его руку.

— Добръ къ себѣ, — перебиваетъ его тотъ, не выносящій, какъ истый янки, изъясненій благодарности,—къ себѣ!... Мнѣ вовсе не хочется, чтобы вы вновь заболѣли и затѣмъ возиться съ вами! Дня черезъ четыре выходите, а пока гуляйте чаще... Вѣдь, наши зимы не ваши, у насъ нѣтъ снѣга, а при больницѣ прекрасный садикъ.

На другой день, когда Андрей стоялъ въ садикѣ подъ большою филадельфійскою елью, густою и зеленою, напоминавшею ему такъ много и много, въ окнѣ показалась, вся сіяющая радостью, миссъ Вудзонъ.

— Ловите, сэръ!—крикнула она ему громко.

Онъ протянулъ руки и поймалъ цѣлыхъ три письма. Пока они еще долетѣли, онъ узналъ уже почеркъ.

Глава X.

Тихо спитъ Барвиновка.

Теплая лѣтняя ночь, вся пропитанная ароматомъ луга и лѣса, незамѣтно и нѣжно окутала землю, зажгла яркія звѣзды на голубомъ небѣ. Все спитъ, все дремлетъ: и могучіе, вѣковые дубы, и старая, старая колокольня, и бѣлыя хаты, и люди, и звѣри. Одинъ только соловей въ зеленомъ гаю не спитъ и все поетъ, да поетъ свою пѣсню, все разсыпается трелью, точно плачетъ и смѣется,

виѣстѣ, да старый, сердитый Бугъ, вѣковой свидѣтель и славы, и горя, не спитъ, а ворчитъ свои думы, все ворчитъ, да ворчитъ старикъ, все рассказываетъ старыя дѣланія и сердится, старый, что никто не пойметъ его, никто слушать не хочетъ. „Гей, — ворчитъ онъ, пѣнясь и хлеща о сѣрые, мшистые камни, — гей, послушайте мои сказки!... Я много видѣлъ и знаю... широкую волю, и грозныя сѣчи, и горе, и слезы, и сонъ безпробудный“. И многое еще шепчетъ дѣдъ, — много и много, но никому его шепотъ не нуженъ. Вонъ проснулась дивчина... ей такъ душно въ душистомъ, свѣжемъ сѣнѣ... Разметались косы... тяжело поднимается молодая, упругая грудь и дрожить и волнуется подъ бѣлою, расшитую сорочкой... Скучно спать безъ милаго... Гдѣ онъ? Хотъ бы обнялъ, зацѣловалъ ее!... Ей ли слушать рассказы дѣда? Нѣтъ, что ей это ворчанье!... Вонъ поетъ соловейко и она слушаетъ его всѣмъ сердцемъ, всею душой — соловейко, мала пташка, поетъ ей о миломъ! Проснулся косарь въ полѣ — и тоже сталъ слушать парубокъ соловья да гадать о чернобровой... Не хочетъ онъ слушать ворчанья стараго дѣда... Что въ нихъ?... Что было, то было, то... минуло.

Зеленовато-серебристая луна выплыла изъ-за гаю и перебросила черезъ синій Бугъ золотую ленту. Неслышною стопой, еле-еле касаясь, прошли по ней легкія русалки, какъ тѣни... И онѣ идутъ мимо, не слушаютъ сказокъ, — зачѣмъ имъ? Онѣ ждутъ, поджидаютъ молодаго парубка съ гибкимъ, высокимъ станомъ, чтобъ зацѣловать его до смерти, защекотать и унести къ себѣ

на дно для „дивочьей забавы“. Прошли и сны людскіе, что Богъ посылаетъ на землю, кому въ утѣшеніе, кому въ назиданіе... И они прошли мимо, не слушая думъ старика, его пѣсенъ, его сказокъ... У нихъ, вѣдь, тоже своя забота... Взвились они надъ Барвиновкой, закружились надъ бѣлыми хатами и разомъ опустились въ людскія сердца, замутили спокойный человѣческій отдыхъ.

Заворчалъ старый еще сильнѣе, озлился... „Гей,— кричитъ онъ,—вернитесь!... Вы—тяжелые сны, полные заботы и горя, а людямъ и безъ того тяжело... Вернитесь! Я навѣю свои сны, покажу инныя видѣнія!“ Но не слушаютъ они стараго дѣда,—какое имъ дѣло? Да и кто его слушаетъ?

Нѣтъ! Есть живая душа, есть человѣческое сердце, что внемлетъ его шепоту, что трепещетъ и бьется на его думы... Тамъ, высоко-высоко, на той скалѣ, что зовется Панскою могилой, у самаго обрыва высокой кручи, подъ зеленымъ, могучимъ дубомъ лежитъ высокій, худой, мускулистый человѣкъ и жадно,—не очами, а сердцемъ,—смотреть внизъ на волны, на сѣдую пѣну. Что же такое, что глаза его закрыты? Сказали бы люди, что спитъ человѣкъ, отдыхаетъ путникъ съ дороги. Старому Бугу нужны не глаза, а сердце, и знаетъ онъ, старый, какъ часто бредутъ на свѣтъ люди... Развѣ не стучитъ его сердце, не бьется, не шепчетъ: „Спой мнѣ пѣсню, дѣдусю,—спой мнѣ хорошую пѣсню!“ Слышитъ это старикъ, засмѣялся, моргнулъ усомъ, тряхнулъ бороною... Замолкъ его ропотъ... и, звонко ударяя о камни и ска-

лы, что въ струны бандуры, запѣлъ старый Бугъ свою пѣсню:

„Зналъ я когда-то ребенка, и былъ онъ живой и проворный. Богъ далъ ему чистое сердце и свѣтлую, добрую душу. Крѣпко любили его слѣпые, хромые калѣки, и крѣпко любилъ ихъ ребенокъ... „Учись,—говорили ему, глядя по черной головкѣ,—учись! Ты будешь калѣкамъ на помощь... Глаза намъ замѣнишь, замѣнишь разбитые члены... Одна ты надежда у насъ,—ой, одна на всемъ свѣтѣ!“

— Одна!—отозвалось со скалы сердце.

„И время текло и много съ собой уносило... Парубкомъ стало дитя,—высокимъ и смѣлымъ юнакомъ... Высоко, высоко онъ выросъ... Что дубъ многолѣтній, весь лѣсъ переросшій, стоялъ онъ всѣхъ выше и краше. „Иди-жь къ намъ,—зывали слѣпые, хромые,—иди... Теперь-то вотъ намъ ты и нуженъ,—ой, крѣпко, ой, крѣпко намъ нуженъ!“

— Правда!—отвѣтило сердце.

„И Божіи дѣти, что вѣкъ упивались слезами, что свѣта не знали, не знали ни счастья, ни доли, руки простерли къ нему, но онъ оттолкнулъ ихъ и бросилъ... „Душно мнѣ будетъ средь васъ,—о, душно, что соколу въ клѣткѣ! Въ свѣтъ меня тянетъ,—сказалъ,—гдѣ мѣсто найду развернуться... Ласточка рѣшетъ надъ крышей,—орелъ парить въ поднебесьи... Челну довольно и рѣчки,—кораблю нужно море,—ой, синее море!“

Ничего не отвѣтило сердце.

„И ринулся въ свѣтъ онъ широкій съ вѣрой, надеж-

дой, любовью. Весело шелъ онъ на встрѣчу живому дыханью и жизни, но видѣлъ лишь зависть, корысть или злобу, тупое молчанье и спячку. Точно въ пустынь стоялъ онъ, гдѣ все неподвижно и мрачно... „Свѣту,—кричалъ онъ,—и жизни!“—но самое эхо молчало. И злобой забилося сердце, облилося желчью,—ой, лютою желчью!“

— Да!—подтвердило сердце.

„И дальше пошелъ онъ за солнцемъ, куда оно страстно манило. Много нашелъ онъ всего, не нашелъ одного лишь—любви и привѣта. Пусто казалось ему среди ликованья и счастья, пусто и чуждо было въ его сердцѣ... „Возьмите съ собою меня!—кричалъ онъ толпѣ суетливой,—все вамъ отдамъ я: и сердце, и душу юнака,—все, лишь съ собою возьмите!“

„— Нѣтъ, ты чужой намъ!—кричали и люди, и небо, и воздухъ,—ой, ты чужой намъ!“

— Чужой!—отозвалось сердце.

„И въ страшной тоскѣ стоялъ юнакъ на распутьи... Куда же еще полетѣть, гдѣ найти ему миръ и отраду, гдѣ бы онъ не былъ чужой, гдѣ бы знали его и любили, гдѣ бы душу взяли его и дали бы сердцу напиться? Тяжко жаждалъ въ жару, но сердцемъ, душою — тяжело! Страшно въ лѣсу одному, но на людяхъ сто кратъ страшнѣе! Горе давило его,—ой, лютое горе!“

— Горе!—отозвалось сердце.

„Тогда-то спустилась надъ нимъ пташка. Съ неба слетѣла она, покружилась надъ нимъ и сѣла на вѣткѣ зеленой. Хвостикомъ сѣрымъ махнула, чирикнула разикъ-другой, завертѣлась... И сразу узналъ онъ ту птичку,

что слушалъ когда-то „дытнѣй...“ Узналъ онъ и ожилъ,— ой, сердцемъ, душою онъ ожилъ!“

— Ожилъ!—отвѣтило сердце.

„И малая сѣрая пташка запѣла... Любовно и нѣжно ему напѣвала про дѣтскіе годы. Родныя картины вставали предъ нимъ, въ его сердцѣ, вставали забытые люди...“

„— Зачѣмъ же ушелъ ты отъ нихъ?—напѣвалъ соловейко юнаку.— Не тоскуй, не горюй, а иди къ Божьимъ людямъ съ надеждой... Пригрѣютъ они, приласкаютъ, возьмутъ твою душу и сердце, и будешь ты счастливъ,— ой, счастливъ, юначе!“

— Счастливъ!—отвѣтило сердце.

„И тихо поникъ головою юнакъ, а очи сухія блеснули святыми слезами... Жемчугомъ крупнымъ онѣ показались одна за другою, а съ каждой слезою слетало съ него его горе и сердце въ груди оживало... Тихо рыдалъ онъ подъ старой, зеленою елью, а грудь наполнялась блаженными счастьемъ и нѣгой... А пташка все пѣла,—ой, пѣла!“

— Да, пѣла!—отозвалось сердце.

„И твердо побрелъ онъ домой, гдѣ родился, гдѣ знали его и любили. Страстно забилося сердце въ груди, когда онъ увидѣлъ все то, что забылъ съ малолѣтства... Въ восторгѣ нѣмомъ цѣловалъ онъ родимую землю, а сердце стучало: „Простите, слѣпые, хромые, Божіи люди!... Къ вамъ я пришелъ, примите вы блуднаго сына!... Вотъ вамъ плечо и рука, обопритесь, возьмите и очи мои, и душу, и сердце!... Все вамъ отдамъ я,—все, до послѣдняго вздоха и капли,—только примите меня, приласкай—

те, пригрѣйте!“ И легъ на скалѣ онъ подъ дубомъ и слушаетъ пѣсню до утра,—ой, свѣтлаго утра!“

Такъ пѣлъ старый Бугъ, а Андрей лежалъ и слушалъ, хотя люди, навѣрное, сказали бы, что ему только снится. Этотъ ребенокъ, юнакъ, этотъ блудный сынъ — онъ самъ, пришедшій искать мира къ родному порогу. Это онъ стоялъ на распутьи, это ему пѣла пташка, это онъ цѣловалъ родимую землю. Но кто же эта пташка, эта малая сѣрая пташка?

Онъ открываетъ глаза, ему свѣтло и ясно улыбается первый красный лучъ роднаго солнца.

Въ лѣсу еще темно, сѣро-синій сумракъ царитъ между стволами-гигантами, но верхушки уже зардѣлись и горятъ яркимъ багрянымъ свѣтомъ. Еще немного, немного, и все проснется, оживетъ, закипитъ жизнью, зальется живительнымъ свѣтомъ... О, если бы только скорѣе!

Онъ сидитъ и ждетъ. Онъ нарочно не вошелъ въ деревню ночью, когда всѣ спятъ, отдыхаютъ... Но ждать въ душномъ вокзалѣ не хотѣлось. Онъ оставилъ вещи, побрелъ знакомою дорогой, легъ и растянулся на высокой кручѣ у самой деревни, гдѣ такъ часто сиживалъ ребенкомъ... Бугъ узналъ его и спѣлъ ему пѣсню. Узнаютъ ли тамъ его? Что они?

А они тоже спятъ.

Старая дьячиха весь вечеръ молилась о сынѣ, о всѣхъ странствующихъ и скорбящихъ, просила для нихъ благословенія. Сотни разъ нагибалось ея тощее, старое тѣ-

ло передъ иконою „святой Заступницы“, сотни разъ подымалась для креста сухая рука, сотни слезъ, горячихъ, жгучихъ, слезъ материнскихъ, что спасаютъ какъ молитва, что сильнѣе всѣхъ чаръ и злыхъ козней, текли изъ ея старыхъ, почти невидящихъ очей. „Сыну мій! — зоветь ея старое сердце, — гдѣ ты, что съ тобою? Кто закроетъ мои очи? Гдѣ ты самъ сложишь свою буйную голову, мой любый, мой хорошій?“ И молясь, и рыдая вмѣстѣ, старуха такъ и заснула въ углу передъ иконою. Мотря всю ночь качала неугомоннаго сына, Даныло былъ въ полѣ, а старикъ Тарасъ ворочался на овчинномъ тулупѣ у порога своей мельницы. Долго не спалось старому, — тяжелыя думы бороздили старую голову, мучили старую душу, давно просившуюся на отдыхъ. Все тяжелѣе становилось хрещеному люду; видитъ это старикъ и мучить его, что помочь некому, некому научить, наставить...

И снится ему, что стоитъ онъ у старой дьячковой могилы въ самую полночь, темную, непогодную полночь. Буря воетъ, сверкаетъ молнія, дождь льетъ и мочить старика, а онъ все стоитъ да зоветь дьячка Григорія: „Гей, — кричитъ онъ ему, — встань же, панъ-отецъ, встань! Развѣ не видишь нашей бѣды, не знаешь, что опричь тебя помочь некому? Полно спать, дяде, — ты уже выспался въ волю!... Иди къ намъ на пораду, будь намъ головою!“ — зоветь старикъ, а самъ все плачетъ, — такъ горько плачетъ, что и могила сама съ нимъ заплакала. „Вонъ говорятъ, — кричитъ онъ ему, — что и пахать нужно иначе, и сѣять, что до многого дошли

ученные, письменные люди, чего мы не знаемъ,—встань, научи насъ!”

И видитъ вдругъ старикъ, — съ ужасомъ видитъ, что всколыхнулась могила и распалась. Страшно ему, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, что-то тянетъ, что-то толкаетъ глянуть въ раскрытую темную яму... Глянулъ, ничего не увидѣлъ, а только услышалъ вздохъ, точно стонъ, да такой тяжелый, что сѣдой чубъ его поднялся дыбомъ.

— Кто это? Какой ворогъ будить меня, не дастъ мнѣ покоя?—слышитъ Тарасъ голосъ могилы.

— Не ворогъ твой, Григорію-дьяче... я, другъ твой зову тебя и слезами плачу!—отвѣчалъ старый.

— Узнаю тебя, друже, — говоритъ голосъ, — чего же ты плачешь? Зачѣмъ тебѣ будить мой сонъ, тревожить мой отдыхъ? Развѣ мало работалъ я въ жизни? Чего тебѣ нужно?

И сталъ говорить Тарасъ, сталъ рассказывать, а самъ все плачетъ... Такъ и льются слезы изъ старыхъ очей и сбѣгаютъ по сѣдому козацкому усу въ могилу... Некому помочь, научить сердцемъ чистымъ, нелицемѣрнымъ, нековарнымъ. Нѣтъ ни друга, ни щираго сердца, ни головы разумной, чтобъ пошла къ нимъ и за ними, чтобъ они сами укрылись за ней, какъ за крѣпкою стѣной...

— Тяжко-жъ вамъ, бѣднымъ, — слышитъ Тарасъ изъ могилы на свои вопли,—тяжко, если ты мертвого будишь!

— Тяжко, Григорію-дьяче, тяжело!—отвѣчаетъ Тарасъ, падая на колѣни у могилы. — Встань же, дьяче, проснись, будь намъ порадою—защитой!

— А сынъ мой Андрійко? Не съ вами онъ, что ли,— не стоитъ вамъ подмогой?

— Не съ нами, пане-дьяче, твой сынъ,—далеко Андрійко, не стоитъ онъ намъ, бѣднымъ, подмогой!

Страшно застоналъ дьякъ на эти слова старика и все съ нимъ окрестъ застонало... Хрустнули кости въ могилѣ... Въ ужасѣ припалъ Тарасъ ницъ и зашепталъ святую молитву.

— Ладно, — слышитъ онъ вдругъ, — встану, Тарасе, приду вамъ на помощь, буду вамъ всѣмъ головою!... Дай только мнѣ свою свиту, потому что на мнѣ бѣлый саванъ, да дохни на меня своимъ духомъ!

Скинулъ Тарасъ свою свитку,дохнулъ своимъ духомъ въ могилу и чудо свершилось!... Вдругъ выросъ передъ нимъ дьякъ Григорій, а Тарасъ не чувствуетъ ни страха, ни ужаса... Исчезло кладбище, пропала буря... Солнце, Божье солнце свѣтитъ ярко... Кругомъ сбѣгается народъ, всѣ барвиновцы отъ мала до велика встрѣчаютъ дьяка старымъ козацкимъ привѣтомъ, отъ котораго такъ сладко трепещетъ Тарасово сердце. „Бывай здоровъ, дьяче,—кричитъ все окрестъ,—иди къ намъ и гдѣ голова твоя ляжетъ, тамъ и наши полягутъ!“ Только, что же это, Господи, гдѣ дьякъ? Куда исчезъ онъ? Что это такое? Оглядѣлись его старые глаза, что ли?... Это вовсе и не дьякъ, этотъ высокій, загорѣлый человѣкъ!... Кто же это, Господи?... Проснувшійся Тарасъ крестится, третъ глаза и упорно всматривается въ наклонившееся надъ нимъ молодое лицо.

— Тарасъ, развѣ такъ трудно признать меня? — съ дрожью въ голосѣ спрашиваетъ его Андрей.

И давно уже замерла на плечѣ сына пани-матка, давно уже плачетъ отъ счастья красавица Мотря, давно кричитъ вся Барвиновка, а Тарасъ все треть, да треть свои старые глаза.

Глава XI.

Рядомъ со старою мельницей выросъ новый маленькій хуторъ Андрея, въ который перебралась счастливая дѣвчиха съ сыномъ и Мотря съ Даниломъ и дѣтьми. Перебрался бы и Тарасъ, только жаль было старому своей мельницы. Сроднился онъ съ нею, сжился. Такъ и ночевалъ онъ всегда на мельницѣ.

Нельзя сказать, чтобъ этотъ крошечный хуторъ, почти незамѣтный, выросъ легко и свободно, какъ вырастаетъ, напримѣръ, грибокъ у корня стараго дуба. Чего только изъ-за него не было, чего ни говорилось. Прежде всего, волостной писарь никакъ не могъ освоиться съ мыслью, зачѣмъ Андрею „бѣдовать“ на пятнадцати десятинахъ, когда онъ могъ бы быть, если бы захотѣлъ, „самимъ господиномъ мировымъ посредникомъ“. А отецъ Арефа забылъ даже о штундѣ и только негодовалъ, ибо, въ самомъ дѣлѣ, Андрею ничего не стоило „поступить на службу“ и жениться на Арефиной дочкѣ. Цѣлыхъ три дочки, всѣ съ зонтиками, да такія пухленькія, кряжистыя... Любую выбирай!

Но хуторъ, все-таки, выросъ, — можетъ быть, потому

именно, что Андрей не обращалъ на все это никакого вниманія. „Хочу, да и только“, — говорилъ онъ на всѣ вопросы, совѣты, недоумѣнія.

Черезъ годъ, позднимъ лѣтнимъ вечеромъ, Андрей брелъ домой съ поля усталый, въ черной отъ пыли рубахѣ, весь потный, но счастливый, довольный. Этотъ день былъ днемъ его величайшаго триумфа. Жатвенная машина, которую онъ выписалъ на собранныя по грошамъ деньги, которыя, несмотря на все довѣріе къ нему, съ такимъ страхомъ и сомнѣніемъ вручали ему барвиновцы, майданцы, тернавцы и другіе „сосѣди“, производила сегодня чудеса. Какъ только онъ взялъ возжи въ руки и двинулся, сразу исчезли всѣ сомнѣнія. Весь народъ, смотрѣвшій со страхомъ, вдругъ ожилъ и всѣми овладѣлъ неподдѣльный восторгъ. Бабы даже крестились. Даже Тарасъ, который чего-чего только не зналъ уже отъ Андрея, и тотъ вынулъ изо рта люльку, сплюнулъ и сказалъ, поднявъ палецъ: „Вотъ такъ штука!“

Довольный и счастливый, брелъ Андрей къ хутору, но свернулъ на дорогу. Нѣтъ, теперь онъ пойдетъ справиться, нѣтъ ли писемъ. До вокзала не далеко, всего верстъ пять... А Галя такъ давно ему не писала... Онъ видѣлъ, какъ промелькнулъ поѣздъ, — не можетъ быть, чтобъ онъ не принесъ ему ничего... У него есть предчувствіе... Къ тому же, сегодня онъ такъ счастливъ, ему выпала такая удача, — навѣрное, будетъ письмо...

Вотъ уже кончается лѣсъ, а дальше будетъ поляна. Онъ идетъ, но вдругъ останавливается, потому что кто-то стоитъ передъ нимъ...

— Вы не узнаете меня?

Вмѣсто всякаго отвѣта, онъ протягиваетъ руки.

Какъ онъ могъ не узнать!... Онъ только не вѣрить себѣ, хотя и чувствуетъ, какъ трепещетъ на его груди маленькое сердце, какъ обнимаютъ его двѣ теплыя руки, какъ влажныя губы цѣлуютъ его и шепчутъ: „милый, милый, милый!“

— Гала, да вы ли это? — вырывается у него, наконецъ, крикъ и счастливой увѣренности, и сомнѣнія.

— А кто же?—отвѣчаетъ она.—И зачѣмъ это „вы“? Развѣ ты не хочешь повторить мнѣ того же... что тогда... въ лодкѣ... помнишь?

Какъ онъ можетъ не помнить!

— Я еще больше люблю тебя, кажется,—шепчетъ онъ ей, прижимая къ себѣ,—еще больше!

— И я только теперь узнала, какъ люблю тебя, только увидя тебя... Я сама не знаю, что сдѣлалось со мною, какъ это такъ вышло? Я ѣхала къ тебѣ погостить...

И рука объ руку, довольные, счастливые, полные вѣры въ себя, въ жизнь, въ свое дѣло, пошли они домой къ своему хутору. А скоро ли и какъ именно кончилась эта идиллія, объ этомъ когда-нибудь въ будущемъ...

И ш м н ъ.
1882 г.



ОГЛАВЛЕНІЕ.

	<i>Стран.</i>
„Онъ и мы“. Разсказъ. (1885 г.)	1
„Его часть настала!“ Повѣсть. (1886 г.)	39
„Безгласный“. Разсказъ. (1884 г.)	105
„Именемъ закона!“ Разсказъ. (1887 г.)	127
„Человѣкъ съ планомъ“. Повѣсть. (1886 г.)	149
„Конецъ Аячарова“. Этюдъ. (1887 г.)	291
„Блудный сынъ“. Повѣсть. (1882 г.)	332

Цѣна 2 руб. съ пересылкою.

Складъ изданія, въ конторѣ журнала „Русская Мысль“
(Москва, Леонтьевскій пер., 21).

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
REFERENCE DEPARTMENT

**This book is under no circumstances to be
taken from the Building**

[illegible]

